



# НЕВА 12

2016

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

**Иван ЩЁЛОКОВ**

Стихи • 3

**Наталья ГАЛКИНА**

Начальник Всего. *Роман* • 8

**Валерий СКОБЛО**

Стихи • 125

**Борис БАРТФЕЛЬД**

Фирс. *Рассказ* • 129

**Юлия ПИКАЛОВА**

Стихи • 134

**Сергей КИРИЛЛОВ**

Рассказы • 138

### ПУБЛИЦИСТИКА

**Карен СТЕПАНЯН**

Фрагменты из дневника (2016) • 146

### КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

**Евгений БЕРКОВИЧ**

Меланхолия, музыка и математика.  
*Гравюра Дюрера «Меланхолия» и ее отражения  
в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус»* • 153

**Николай НАБОКОВ**

Музыка под надзором генералов.  
*Глава из книги* • 168

## ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

**Личность и рок.** Владислав Бачинин. Ницше-динамит и предсмертный танец белой медведицы.

**Рецензии.** Ирина Муравьева. «То, что мы зовем душой...». Ирина Чайковская. Наша «Зона ответа». Александр Мелихов. Не мудрствуя лукаво. Ольга Богданова. Существенный этап. **Дом Зингера.** Публикация Елены Зиновьевой

• 187

## ПИЛИГРИМ

**Архимандрит Августин (НИКИТИН)**

Чесменская церковь — памятник славы  
российского флота

• 223

Содержание журнала «Нева» за 2016 год • 251

---

Издание журнала осуществляется  
при финансовой поддержке Министерства культуры  
и Федерального агентства по печати и массовой коммуникации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»  
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать  
на почтовый адрес журнала  
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

---

Главный редактор  
**Наталья ГРАНЦЕВА**

---

### РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Александр Мелихов** (зам. главного редактора). **Игорь Сухих** (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышкина** (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-библиограф). **Наталья Ламонт** (редактор-координатор).

---

Дизайн обложки **А. Панкевича**  
Макет **С. Булачевой**  
Корректор **Е. Рогозина**  
Компьютерный набор **Л. Жуковой**  
Верстка **Д. Зенченко**

**В САДУ В МЕЖСЕЗОНЬЕ**

Старинный сад — заброшенная сотка  
Земли, питавшей чудными дарами  
Не где-нибудь, в краю глухих селений,  
А в двух шагах от улицы центральной,  
Где каждый метр земли буквально дышит  
Историей Воронежа...

На зависть

Редчайшими представлен сад сортами,  
Таких на рынке в наши дни не купишь...  
Здесь все в едином торжестве и страсти  
Переплелось, срослось и совместилось  
В ветвях, сучках, побегах, сухостое;  
Здесь сливы, вишни, бузина, шиповник,  
И яблони, и груши вместе с вязом  
И с кленом, с диким виноградом даже  
Миролюбиво устремились к солнцу...  
Рассказывают: этот сад ничейный  
Сажали вновь в войну, когда изгнали  
Из города фашистов в сорок третьем,  
За исключением трех кавказских сосен:  
Их раньше, в девятнадцатом столетье,  
Взрастили сами Бунины...

Вот так-то!

Старинный сад...

Октябрь, покликнув ветер

В проулках, с вяза, клена, винограда,  
Со слив и вишен, с бузины и яблонь,  
С шиповника и груш листву стрясает,  
Чтоб все это цветастое убранство,  
Устав от бесконечной тяги к солнцу,  
Нашло приют в большущей рыхлой куче —  
Под соснами кавказскими, к забору...  
Старинный сад...

Дом Буниных...

Как странно

Себя здесь ощущать средь запустенья,  
Средь окаянных будней межсезонья...  
И лишь тропа в густой листве приметна.

---

Иван Александрович Щёлоков родился в 1956 году в Воронежской области. Филолог. Поэт, публицист. Автор десяти поэтических книг. Лауреат многих литературных премий, заслуженный работник культуры РФ. В настоящее время — главный редактор литературно-художественного журнала «Подъем», председатель Воронежской региональной общественной организации Союза писателей России.

\* \* \*

Когда и как я стал не отличимым  
От улицы с народом суетливым,  
С сосульками, с реформой ЖКХ,  
С растерянной улыбкой жениха?

И это — я?! Досадно и обидно!  
Моих шагов среди башмаков не видно,  
Средь глаз холодных остудился взгляд...  
Куда они? На чей спешат парад?

Не думаю, чтоб только из каприза  
Душа сосулькой ринулась с карниза.  
За ленту, за предел, как за флажки,  
Летит душа... Куда? Под башмаки!

\* \* \*

Живу на отшибе. Под боком — дубрава.  
Пустынные ветры, как псы при облаве,  
В утробе площадки строительной дерзки.  
Здесь даже луна над тобою по-зверски  
За башенным краном, у лифтовой шахты  
Готова к прыжку из заоблачной вахты.

Отшиб — не помойка. И все-таки страшно,  
Как в детстве, как в боли, как в жизни вчерашней.  
Залетошный желудь с макушки сорвется —  
Растяжкой сердце от звука замкнется,  
Как будто за ближним оврагом замшелым  
Пространство простерто кавказским ущельем.  
И птицею сердце порхнет за сторожку,  
Чтоб в темени гулкой разбиться в лепешку.

Отшиб — не тюрьма, лишь уклад, ожиданье,  
Надежда, что будет достроено зданье,  
Где сам ты — конструкций живая частица,  
Как в этой недалней дубраве синица...

Живу на отшибе у рая, у ада —  
На бывших делянках учебного сада,  
Где в пояс бурьян, корневищ терриконы  
И где в котлованах осколки, патроны  
Минувшей войны и растроченной славы...  
Нет вечного даже в масштабах державы!  
Лишь сторож на вверенном службой объекте  
Хозяйски приносит собакам объедки  
И курит ночами, и дверь нараспашку:  
Ему наплевать на любую растяжку!

\* \* \*

— Покурим! Покурим! Покурим!  
А слышу: — По коням! По коням!  
Живем на Руси — бедокурим,  
Лишая друг друга покоя.

Вот век проскочили — и что же!  
Другой под копытом — а, черт с ним!  
— Покурим? — вдруг кто-то предложит.  
— По коням! — аукнется черство.

### УХА

— Эй, на барже! Швартуйся до кучи, пора:  
Подспела уха у ночного костра.  
Красноперка, подлещик, стерлядка с ладонь,  
Два ерша с пескарями, карась да чехонь...  
Свежим варевом досыта брюхо набьем  
И опять — кто куда богоданным путем.

— Благодарствуем, братья! Ушицы такой  
Отродясь не хлебали за милый покой.  
Не с руки нам, чтоб миром пиры пировать,  
Где попало швартовы на берег кидать.  
Видно, в разные стороны вышли пути,  
Среди них нам друг дружку никак не найти.

\* \* \*

Лупоглазые дни мои, сущие,  
Среди знойных и стылых погод  
С неба в пригоршнях солнце несущие,  
Не наскучило ль так круглый год?!

Бесполезная, злая, нелепая  
Жажда жертвенности невпопад...  
Солнца хватит на всех! Только в небо пусть  
Ходят сами за ним и назад.

Все жующее, пьющее, лгущее  
Самое выбирало стезю,  
Где от сущего даже грядущее  
В прошлом прятало душу свою.

\* \* \*

Как все в этом мире бывает случайно!  
Случайно признание, случайно презренье,  
Внезапной любви закипающий чайник  
Вприкуску с клубничным на блюде вареньем...

Случаен твой взгляд и намеки на возраст.  
И сердце стыдится возможных предательств.  
И нервы пылают, как высохший хворост,  
Попутав в свиданьях тревогу и радость.

Напрасно себя извожу и итожу:  
Страшнее, чем годы, мгновенья нас рушат...  
Случайно эпоха впиталась мне в кожу  
И вряд ли случайно захочет наружу.

### **ЗАМОК ИЗ ПЕСКА**

Смастерил я чудный замок  
Из песка.  
Водрузил на башню знамя  
В два вершка.

Я не спал четыре ночи  
И пять дней,  
Весь песок переворочал  
До корней.

От восторга даже выпил  
За успех.  
На дверях повесил вымпел:  
«Вход для всех!»

Я проделал в окнах щелки  
Для зари  
И на память замок щелкнул  
Раза три.

Для архива, для потомков,  
Кто — в Кремле...  
Для блуждающих с котомкой  
По Земле.

Не пройдите, загляните.  
Вход — для всех!  
Добрым словом помяните  
Мой успех.

Я старался очень-очень  
Для людей.  
Я не спал четыре ночи  
И пять дней.

На шестой — с грозой страшной  
Дождь, резвясь,  
Знамя смыл с высокой башни,  
Плюхнув в грязь.

Где ж мой замок, окна, двери?!  
Все во мгле...  
Крах один у всех империй  
На Земле.

\* \* \*

Неприменно с тобою мы выпьем,  
А на чьем дне рожденья — не важно.  
Был бы повод ко времени выбран,  
Тосты — к месту на фоне пейзажа.

А о чем еще думать нам, если  
Мы оставили с возрастом ясли,  
Над которыми образ небесный  
Проступает звездой неясной?

Время ждет возвращенья мессии.  
Остальное — обман и лукавство.  
Как желательно, чтобы в Россию  
Он явился на Вечное Царство...

Лучший повод, конечно, рожденье.  
Воскрешенье не в нашенской воле.  
Жизнь — великое Божье творенье  
В лабиринтах планетной юдоли.

Ждать до завтра бессмысленно долго.  
Дней рождений по кругу десятки.  
Только — нынче! А завтра — на Волгу.  
Там — друзья. И уха со стерлядкой.

---

---

Наталья ГАЛКИНА

## НАЧАЛЬНИК ВСЕГО

Роман

Раньше я ничем не интересовался, теперь меня интересует все.

*Эрик. Трактат обо всем*

В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я.  
Мантия уже совершенно готова и сшита. Мавра вскрикнула, когда я надел ее. Гулял в мантии инкогнито по Невскому.

*Н. В. Гоголь. Записки сумасшедшего*

Одно из двух: или мы разумные, духовные люди, подчиненные навек абсолютным ценностям дао, или мы «природа», которую могут кромсать и лепить некие избранники, руководимые лишь собственной прихотью [...], некие существа, работающие над теми, кто сменил человека.

*Клайв Степлз Льюис. Человек отменяется*

### **Бабилония и Домодедов**

— Бабилония, — сказал я жене, — давай съездим в Барселону.

— Домодедов, — отвечала она, — ты опять слушал свою заповедную песню по дурацкому древнему компьютеру? Я ее уже слышать не могу, да и видеть исполняющую ее карикатурную пару не в силах.

— Ты не права, — возразил я. — Дама из карикатурной пары — великая певица, а мужик — автор песни, обожаемый толпами людей исполнитель.

— Толпы людей — не аргумент, — промолвила жена моя. — Цифрами и толпами оперировали фашистские идеологи. В Барселону! Да я в Москву к любимому племяннику на крестины малютки не смогла поехать, а ты знаешь, какое это событие в семье, учитывая личные и медицинские сложности. У нас денег нет на поездку, ты посчитай, какая у тебя пенсия, сколько стоят билеты. Оцифруйся, наконец.

С этими словами она, хлопнув дверью, отправилась на Сенной рынок, где продукты, как известно, с мая по октябрь отличались дешевизной. Из экономии ходили мы на рынок пешком (километров пять через мост), обычно это была моя вахта, чаще старался я совершать долгую пешую прогулку один, но намеренно вылил себе на ногу полчайника кипятку, лечился, сидел дома, совершенно оправдывая данное мне внучкой прозвище Домодедов. Само собой, бабушку Бабилонией прозвала она же.

---

Наталья Всеволодовна Галкина родилась в г. Кирове. Окончила Высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухомой. Пишет стихи, прозу, занимается переводами. Публикуется с 1970 года. Лауреат премии журнала «Нева». Член СП. Живет в Санкт-Петербурге.



Выдвинув самый мелкий узкий ящичек старинного обшарпанного многодетального петербургского бюро (называемого некогда «кабинетом»), достал я цветной шарик, стеклянный, что ли (иногда нам с внучкой казался он исполненным из неизвестного геологии нездешнего минерала). Застав меня с ним в руках, жена спрашивала: «Шариков не хватает?» Мерцал, перемещаясь, блик, огонечек марсианский в глубине шарика, украденного Каплей из волшебной комнатухи механических игрушек, мобилей, заводных мирков.

Тотчас пришел кот, спавший в соседней комнате, сидел, покачиваясь, сонный, снулый, встрепанный свалывшийся валенок. Он чуял шарик издалека, глядел неотрывно, притянутый темным магнитом. Катать! катить! закатить к ляду в щель в полу!

Когда жена моя уходила одна пешком в рыночную даль, я нервничал, по правде говоря, она ни силой, ни здоровьем не отличалась, разве что партизанской стойкостью и молчаливым глубинным упрямством. Вообще, чем-то походила она на баптистку, неведомой миру секты, со строжайшими правилами поведения; никто этого не замечал, кроме меня, она вообще не очень была заметна, меня радовало, что разглядел ее в юности именно я, повезло мне на всю жизнь.

Отличаясь невиданным терпением и стойкостью, она не жаловалась и не ворчала, редко, очень редко, когда усталость ухитрялась ненадолго ее доконать или перед единоличными походами на рынок. В ожидании возвращения ее с провиантом время для меня тянулось бесконечно долго, а по мобильному из соображений экономии звонить она запрещала. Но в этот раз марсианский шарик, втягивающий взгляд, привязывающий к глубинам своим зрачки мои незримыми нитями, как видно, проделал обычный фокус: сделал время иным, конвертировал его в точку, превратил в мгновения часы моей жизни.

Хлопнула дверь, вернулась с тяжелейшими сумками любимая моя, я заковылял к двери, она прикрикнула: «Хромай отсюда!» — совершенно счастливая, что пришла домой, добыв еду, и турнула кота, сунувшегося бодать ее ботинки. Кот тоже радовался приходу кормилицы, даже забыл спереть шарик, тут же спрятанный мною, так что Вавилония меня за лицезрением шарика медитативным не застукала.

В качестве рифмы вечерний телевизор в невыносимом очередном концерте показал воистину карикатурную пару: известная нимфоманка с не менее известным гомосексуалистом пели дуэтом песню о любви. По счастью, мое время пребывать у ящика истекло. Я убыл в комнатенку диванную, где тихо читал. По ночам Вавилония смотрела сериал о маньяках. После очередной серии спрашивал я ее, уж не является ли она адепткой какого-нибудь нехорошего дикарского культа с кровавыми жертвоприношениями? И она отвечала нежной, туманной улыбкой, не изменившейся с юности.

Она уснула моментально, как всегда после своего загадочного жуткого сериала. Тогда я сказал ей спящей:

— Дорогая, я хочу в Барселону потому, что там на горе Тибидабо есть музей механических игрушек, где, может быть, стоит маленькая пятиэтажная узкая тюрьма, где по этажам судьбы бегают фигурка Начальника Всего, запускающая события.

### **Дюма-внучка**

Будучи, как десятилетиями журналисты нам впаривали, представителями самой читающей в мире страны (или — самой читающей в мире нацией? эфир лутучий журналистских оборотов кто же в силах в голове удержать...), мы, конечно же,

отличали Дюма-отца от Дюма-сына. Хотя Дюма-сына читал я только «Даму с камелиями». А базовым произведением Дюма-отца считал «Трех мушкетеров». С возрастом история мушкетеров в воображении моем тускнела, оборачивалась горюю трупов, только шпагою верти да мушкеты заряжай, а трогательная оперная Виолетта-Травиата при ближайшем рассмотрении оказывалась проституткою, пусть расцветают все цветы, как китайцы до китайской культурной революции говаривали.

В семье нашей Дюма-отца и Дюма-сына не случилось, Дюма-мать проскочили мы, как большинство семей, образовалась у нас сразу Дюма-внучка: внучка наша Капитолина, которую звали мы Каплею, подалась в романистки лет с пяти с половиною, грамоте научилась она рано и как бы исподволь, мы вроде учили, но не настаивали.

Сперва писала она трактаты: «Жызнъ животных», «Фсе о гробах». Иллюстрировали мы сии писания в четыре руки, Вавилония сшивала получившиеся книжечки белыми нитками или скрепляла скрепочками, добытыми из ученических тетрадей. Потом — в шестилетнем возрасте — настала очередь романов, главными героями которых были мореплаватели и пираты. На волнах прозы нашей Дюма-внучки качались парусники, в водах плавали морские коньки, медузы, спруты, каракатицы, попадались радиолярии, киты, скаты и иже с ними: девочка любила Брэма. В уголке, отведенном для нее в нашем доме (на наше счастье, родители частенько подбрасывали нам Каплю), на подоконнике, среди домашних растений, стоял аквариум, писательница смотрела на мир сквозь его зеленоватую среду, читательница воображала себя капитаном Немо на «Наутилусе». Напротив диванчика, служившего Капитолине кроватью, стояло маленькое игрушечное бюро осьмнадцатого столетия (вполовину меньше моего антикварного, на четырех высоких ножках, так что пространство под бюро временами превращалось в логово разбойников или шалаш землепроходца), где, макая в чернильницу привезенное из деревни заточенное гусиное перо, Дюма-внучка писала свои рукописи, потерянные и найденные в Петрополисе белой ночью, а также письма от неведомых персонажей другим неведомым (иногда симпатическими чернилами из стаченной с кухни луковицы), кои запечатывались коралловым сургучом, обретенным в одном из прадедушкиных тайников старых бюро-кабинетов.

— Защищайтесь, сударь! — вскричал Артур, выхватывая шпагу.

Аделина упала в обморок.

И пока она валялась в обмороке, благородный граф с помощью разве что шпажонки своей и гусяного пера нашей Капли одерживал победу над злом.

— Все-таки почему, — спросил я жену свою, — ты смотришь эту кровопускательную ночную многосерийную телепортативную фильму про маньяков?

— Да потому, — отвечала она, — что главные герои ее хотят потеснить зло и одержать над ним верх.

— Мой дедушка, — сказал я, — называл такие бесконечные комиксы «Двенадцать хладных трупов, или Обосранный кинжал».

— Ты хоть при Капле это не ляпни. Ей твой вольный словарь ни к чему.

И впрямь, романы свои строчила наша Дюма-внучка самым что ни на есть высоким стилем, уснащенным прилагательными, деепричастными оборотами, засиженным насекомыми запятыми и многоточий.

— Домодедов, я придумала город по названию реки! — похвасталась Капля.

— Что за город?

— Свяжск.

— Ну-ну... — разочарованно сказал я, — тоже мне, придумала. Я в молодости в Свяжск на семинары ездил. Там мы и с бабушкой познакомились. Не делай большие глаза, не скажи вокруг меня, не проявляй свое нетерпение великое. Достану с ан-

тресолой папку, покажу тебе старые этюды, увидишь конфуз свой воочью. Придумала она. Его в шестнадцатом веке Иван Грозный придумал, а князь Серебряный воплотил.

### Котовский и Клеопатра

Антресоль наша висела в воздухе: часть потолочного пространства при входе на кухню, большой зашитый сундук от стены до стены, склад, глухой сараюшко над головой. Не имевшее окна (было бы окно, сошло бы за комнатушку для жильца, например, студента, хотя бы и по имени Родион) помещение снабжено было всего лишь закрытой дверцей: чтобы сунуться на антресоль, надо было подставить к дверце стремянку.

Если в старинных домах на антресолях и вправду жили (у знакомой моей художницы, соученицы, в мастерской свито было такое уютное гнездо под потолком: стояла кровать с ситцевым лоскутным одеялом, светила лампа с зеленым абажуром), в современных кубатурах там располагается небольшой склад прошлого, музейный запасник семейный, сонмище предметов, которые то ли по бедности, то ли из сентиментальных соображений, то ли по бестолковости планировки жилища никак не выбросить, которые могут понадобиться когда-нибудь, как то: печурка-буржуйка времен разрухи и блокады, старый докторский баул (или саквояж?) из свиной кожи, ботинки и калоши середины века (какого?), чемодан с бабушкиными архивными письмами и дневниками, рамы без картин и вытаскиваемая мной с превеликими трудами папка этюдов моих времен детства и молодости. Занятый выволакиванием папки (на голову мне пали два бамбуково-шелковых китайских зонтика с пейзажами на шелке и кистями на ручке, зеленый и красный), я что-то пропустил: кажется, открывали и закрывали дверь в квартиру.

— Ах ты, паршивец! — вскричала жена моя. — Нашлялся, да еще и дамочку домой привел!

Я уже слезал с папкой в руках, извлеченной из космической пыли и мистической паутины, когда под стремянкой моей прошли два неторопливых животных — наш рыжий Котовский, а за ним изящная черная мелкая кошечка с бирюзовыми глазами.

Котовский провел спутницу свою в ресторанный уголок, она незамедлительно принялась угощаться из его посудин, и пока подъедала она оставленные им на вечер объедки завтрака да попивала молочко, он сидел рядом, торжественно, вальяжно, с видимым удовольствием наблюдая за нею.

— Столовку для хахальницы своей у нас устроил, — сказала жена. — Ты что это, Котина, выдумал?

— Котовский привел себя Клеопатру, — сказал я.

Гладкая небольшая угольно-черная головка кошки, египетский профиль другого имечка и не подразумевали. Приведа ее вечером в пятницу (к ночи жена отправила Клеопатру на лестницу), он с ослино-кошачьим упрямством привел ее и в субботу, и в воскресенье, а в понедельник она осталась ночевать. Кот не ухаживал за подружкой своей — никаких признаков случки, прыжков, междометий. Иногда они вылизывали друг друга. Котят Клеопатра не принесла. То ли они дружили, то ли то была великая кошачья любовь.

Когда я открыл папку, с верхнего маленького портрета (единственного портрета, все остальное были пейзажи, этюды, наброски) глянуло на меня лукавое розовое женское личико с ренуаровской челкой.

— А ведь это Тамила! — воскликнула Вавилония.

И в первую минуту я удивился, как старый склеротик: откуда она знает Тамилу? Кажется, я забыл на мгновение, что с женой я познакомился там же, где и с Тамиллой, — на семинарах в Свяжске.

### Тамила

Подобно тому как пеннорожденная Венера, Афродита, появилась из пены морской, Тамила родилась из куста сирени, возникла из сиреневых куп, точно врубелевская девушка с картины «Сирень». Даже платье ее шелковое было лилово-сиреневое, где фиолет переходил из краплага в ультрафиолет, в цвета разных гроздей сирени, то светлых, то густо-лиловых. Пятна на ее платье (словно пятна шелковых халатов узбечек, акварельных одежд) соседствовали, чуть расплываясь, в линиях соприкосновений.

Это были годы сирени, сменившие годы пустых побережий.

Замечали ли вы, что в разные годы расцветают и царствуют разные семейства растений?

В то десятилетие сирень заполонила сады, окрасила в лиловый цвет белонощный Петербург, именуемый Ленинградом, самовольно заполонила бывший Кёнигсберг, ныне Калининград, легко завоевала Прибалтику, города и веси средней полосы, самостийную Украину, Волгу, колыбель нашу. Все утонуло в сиреновом счастье неправильных пятилепестковых соцветий, — их полагалось отыскать и, задумав желание, съесть.

Тамила вышла из куста сирени как задуманное желание. Челка ренуаровской девушки, розовое лицо, гранатовые губы, так часто подкрашенные улыбкой.

При тонкой талии, тонких запястьях и лодыжках все выпуклости тела Тамилы были... ну, и так далее. Она шла танцующей походкой, плавно колыбалась грудь, округлые плечи под солнцем, колоколом ходила пышная юбка. Не за эту ли походку семинарские звали ее Кармен?

— Я секретарь секции дизайна, — произносила она певучим плавным голосом, сопрано или контральто, теперь и не вспомнить, и эта непритязательная формулка превращалась в ее устах в певческую фразу.

Вскипал вокруг нее воздух, воздыхатели дарили ей цветы, начинали лихорадочно рифмовать: «томила», «утомила». Она улыбалась — чуть снисходительно.

То были годы сирени, но и семинаров (их развелось великое множество, так же как конференций); симпозиумы и коллоквиумы были впереди.

Народ, десятилетиями безмолвствовавший, отбезмолвствовал и заговорил. Слово «заговоры», правду сказать, некоторым на ум приходило. Заколдовать хотелось облое, стозевное, огромное чудище эпохи, заколдовать, зааминить.

Пену речей можно было сравнить с пеной сирени.

Говорили, говорили — с пеной у рта.

Шквал семинаров захватил и меня. Участвовал я в сенежских, ездил на свияжские; компании говорящих встречались то там, то сям; семинарские (семинаристские тогда еще не возродились) сборища напоминали — люби и знай свой край — перелетный кабак английского классика.

Местные жители — где бы ни проходили собрания сии — относились к ним скептически:

— Брехать не пахать, сбрыхнул, да и отдохнул.

И из другого угла:

— Лучше не бай, а глазами мигай, будто смыслишь.

В нашей колоде карт Тамила была дама червей: одно сердечко прямое, другое обратное, зеркальное, перевернутое, дама в лиловом с веером черным; а в волосах-то что? Венчик золотой? Алый мак Карменситы?

Она была прекрасной дамой словесных турниров, ей нравились главные герои, самые стилисты, краснобаи, оригиналы, рыцари заговорившего времени.

Некоторые из них и внешне были хоть куда: эспаньолки, усы, курточки иностранные, экзотика, стрижка длиннее, чем у чиновников, орлиный профиль. Состав семинаров, впрочем, был пестрый. Помню одну затрапезную, бедно одетую троицу ленинградскую: три дизайнера, искренне считавшие, что дизайн вот-вот спасет мир, ну уж страну-то непременно, и осчастливит заблудшее человечество. Пошивалов, Недошивин и Шитов. Тамила называла их «Всё-для-шитья», улыбаясь; когда улыбалась, на щеках появлялись ямочки, забывалось необычайное ее имя, вспоминалась простая, бойкая, округлая украинская фамилия.

По утрам видели мы иногда Тамилу сонной, с чуть припухшими губами, до полудня напоминала она помятый цветок, и знали мы, с кем просидела она полночи возле древней деревянной полусгнившей Троицкой церкви на скамеечке, на которой, по словам местных жителей, сживал во время оно царь Иван Грозный.

### **В огороде бузина, а в Киеве дядька**

Каждой твари по паре.

*Описание Ноева ковчега*

Участники семинара представляли собой натуральный сбродный молебен. Условно существовало разделение на секции, но ходили на лекции по интересам, на иные сообщения набивалась толпа, на других присутствовало от силы человек восемь.

С детства запомнил я, как наша школьная учительница истории рассказывала о средневековых спорах схоластов, об их умопомрачительных диспутах. «Сколько ангелов помещается на кончике иглы?» Ощущение блистательной темы этого доклада, давшего название всей конференции, не отпускает меня. Но я за всю жизнь так и не удосужился узнать, о чем в итоге шла речь: о габарите ангела или об иных мирах?

Напоминали ли наши толковища сборища схоластов или малые компании древних философов-перипатетиков, я не знаю.

Тематические семинары были невероятной смесью, не скажу, что гремучей, внешне наступивший (и растворившийся к концу восьмидесятых) брейн-штурм. Что штурмовали? крепость невежества? директивно-суконную страну советских газет? Не знаю я и этого.

Говорили о нелинейном мире, сравнивали языки науки и искусства, разбирали произведения всех жанров, включая клоунаду. Вот названия некоторых сообщений: «Признаки гениальности», «Игра в карты Проппа», «Первая скрипка на балу у Воланда», «Перемена участи», «Мы и синергетика», «Занимательная уголовщина» (лектор последней темы говорил о «Трех мушкетерах» и «Графе Монте-Кристо» Дюма; с места из зала вторили ему, вспоминая «Живой труп», «Преступление и наказание», «Бесов»).

Мы увлекались, восторгались, но и посмеивались.

Но каким праздником бытия кажутся мне сегодня наши фейерверки болтовни (а кроме чудачков и оригиналов, забредали на наши бредни блистательные умы), когда Бабилония, нажав не на ту кнопку телевизионного пульта, врубает какое-нибудь очередное «ток-шоу», где недалекие невоспитанные люди жуют жвачку повсе-

дневности, кричат, скандалят, перебивают друг друга. Ток-шоу! Ток-то тут при чем, о язык мой бедный? Лепестричество-то с какого боку в этой лишенной всякой энергии а-у-ди-то-ри-и?

Впрочем, вторглось же в одну из первых реклам нашего подновленного мирка (нашего Миргорода) посвященное шампуню слово «вошь». «Вош энд гоу», вошь энд гоу. Гоу хоум, вошь. Была ли то ослышка, оговорка или какой-то самоновейший стеб в стиле комсомольских работников? Высшей их, особо юморной вырожденческой расы?

Но в некотором роде на наших-то собраниях токовали, точно тетерева на току, бу-бу-бу, как детский писатель Бианки писал, бу-бу-бу. Падали спать в рыхлый снег усталые глухари. С деревьев лесных. Впрочем, нам за лесами надо было на другой берег переправляться: отсутствовали в Свяжске леса, не помещались, только палисадники, сады, отдельные деревья.

И, по выражению тогдашнего коллекционера канцеляризов, «наличествовала противу табельной положенности», отчаянно цвела избыточная сирень.

### Сбродный молебен

И кого тут только не было. Кроме известного уже трио «Всё-для-шитья», представительствоваала троица Джорогов, Джабаров и Джангаров (кажется, спецфизиологи). Поскольку иногда заседания разных секций, подсекций, межсекционных и междисциплинарных групп проходили одновременно, представления обо всех докладах составить было невозможно. Однако встречались: в столовой, у воды, у костра.

Тут было несколько знаменитостей, действительно известных ученых, проходили фигуры «широко известные в узких кругах», мелькали энтузиасты, городские сумасшедшие, поэты (просто поэты, авангардисты и концептуалисты), засекреченные персоны под псевдонимами, любознательные, любопытные, краснобаи, радующие глаз девушки, изобретатели из самых разных областей деятельности человеческих существ (кинематических игрушек, мобилей и стабилей, роботов, загадочных устройств вроде пневмоподъемника цемента, музыкальных инструментов), звезды будущей электроники с кибернетикой, секретные сотрудники и наблюдатели внутренних органов (и имелись в виду не желудок с селезенкой, а иные инстанции и реляции), вечные и обычные студенты, молодожены, красавицы, бездельники и несколько многообещающих комсомольских работников. Меня занимали доклады тех, кто по роду занятий не имел никакого отношения к предмету интересов своих: суждения об искусстве врачей (особенно психиатров) и итээровцев, математические выкладки дизайнеров и музыкантов, внеисторические бредни футурологов (в футурологи ломили кто ни попадя — от конструкторов до биологов, политологов, актеров и экономистов). На вечерних докладах, когда на улице можно было вывешивать экраны, светились пучки света из диаскопов, крутили кино, кинематографисты наезжали, сменяя друг друга, их график, как графики гастролирующих театральных деятелей и артистов цирка, вечно лихорадило.

Приезжали из разных городов, приплывали водными путями, прилетали бы, да аэродром отсутствовал, равно как и вертолетная площадка.

Впрочем, некоторые прилетали в Казань, добирались оттуда. Являлись учителя с самоновейшими методиками обучения, психологи с будущими технологиями внушения и охмуряжа, хирурги в преддверии революции в области трансплантологии и иже с ними. Остров наш был натуральный Ноев ковчег: каждой твари по паре.

Привозил катерок исследователей алхимии и тайных адептов ее, приподдавших с ретортами веков на пять. Ветром неизвестного направления заносило любителей

розенкрейцеров, консервированных масонов, невесть каких сектантов, прожектеров и еретиков.

И наблюдали мы пир мысли, ее сомнительную кухню и психоделические синдромы с продромами. О значении слова «дром» в любимом Пушкиным произведении Борроу «Лавенгро» поведал нам любимый всеми литературовед, он же рассказал о посещении Александром Сергеевичем Свяжска и о его восторге и удивлении: он узнал в нашем острове-граде придуманный им лично остров Буян.

Что до доклада о последней картине Левитана «Озеро. Русь» с изображением вышеупомянутого острова и *тенью облака*, он ожидался в последней трети семинара.

В общем, как ни велико было искушение назвать наше действие футурологическим конгрессом, некоторые ветви его принадлежали самому что ни на есть ветхому прошлому. И не одни милые энтузиасты топтали тропы его; ходило тут и зло.

### История Свяжска

Первый семинар открывал Александр Сергеевич Титов, директор Ленинградского филиала ВНИИ технической эстетики, ВНИИТЭ. В родном городе считалось, что увидеть приезд Титова на работу — к счастью: такая же верная примета, как увиденная баба с пустыми ведрами — к несчастью. Титов подкатывал к воротам Инженерного замка на маленьком ярко-алом самодельном автомобиле, напоминавшем одновременно и гоночное, и самое шикарное фирменное авто, то ли итальянское, то ли шведское. Чтобы вписаться в свое средство передвижения, высокий худой Титов складывался, как складной нож. Вот подъезжал он на возвышение бывшего моста по исторической брусчатке, выходил, элегантный, седовласый, в неизменном костюме цвета мокрого асфальта, похожий на киноактера; мы замирали на обочинах, те, кому повезло лицезреть его голливудское появление. Весь вид директора ВНИИТЭ, его спокойствие, неторопливость, серый костюм, автомобиль, красивый голос почему-то говорили о некоей иной жизни, которой нет ни в родном СССР, ни на ихнем Западе.

Титова можно было увидеть и услышать в нашем родном мухинском, где входил он в состав ГЭКа, и на художественных советах комбината живописно-оформительского искусства, КЖОИ. Во все спорные разбирательства, где иногда и голоса повышали, и ссорились, вносил он ноту спокойствия, достоинства и тишины.

На сей раз появление Титова было обставлено как некоторая мистерия, театральное действие. Сперва сопровождали его несущие на шестах плакаты; то были годы расцвета польской плакатной графики, публиковавшейся во всех дизайнерских журналах: в «Технической эстетике», в «Домусе», «Проекте», «Гebraусграфике», «Декоративном искусстве». Тотчас тема плаката подхвачена была краткими заданиями, клазурами, для мухинских студентов. И вот теперь вынесены были, подобно хоругвям, уникальные, выполненные своеручно плакаты, посвященные свяжскому семинару. Следом вынесли — тоже на шестах, выполненные на наклонных планшетах, чтобы всем было видно, — два редкой красоты макета старинного Свяжска: деревянный, темно-золотой и прозрачный, из оргстекла.

Титов напомнил собравшимся (и сообщил несведущим), что данный семинар проходит в Мировое десятилетие научного дизайна, открытое в Монреале великим Бакминстером Фуллером, признанным гуру дизайна, архитектуры и альтернативных поселений, и посвященное «применению принципов науки в решении проблем человечества».

Когда помянул он Бакминстера Фуллера, внесли в монастырский двор, где и проходило наше собрание (день был солнечный, безветренный, ясный), несколько

макетов, прославивших Фуллера и применявшихся во всем мире, особенно в студенческом проектировании геодезических куполов. Мы рассматривали их, закинув головы; следом шли люди с моделями фуллеровского «Девятого неба» — парящими геодезическими сферами летающих mini-городов.

Титов говорил не очень долго, должно быть, как его любимый Бакминстер Фуллер, рассматривал информацию как «негативную энтропию». Но он успел поведать, что именно Свяжск был задуман и исполнен мастерами (и мыслителями, сказал он) шестнадцатого века как уникальный дизайнерский город.

— «Воеводы, — читал Титов, — заметили посреди реки высокий холм с крутыми склонами и плоской вершиной. Холм стоял на чувашской земле и назывался Кара-Кермен. В воде оказывался он в половодье, превращаясь в остров, к лету вода отступала, мелкие речонки и овраги окружали холм. Окончательно превратилось место, где мы находимся, в остров после строительства на Волге плотины у Жигулевской ГЭС и создания Куйбышевского водохранилища.

Воеводы царя Ивана Грозного впервые увидели холм в начале мая. По приказу царя под руководством князя Серебряного в районе Углича срублены были все части крепости и города, пронумерованы до малейшей детали, сплавлены по Волге и собраны за четыре недели на острове-холме.

Основан был Свяжск 24 мая 1551 года. Вот как написал об этом в своих „Записках о Московии“ Генрих фон Штаден: „Великий князь приказал срубить настоящий город с деревянными стенами, башнями, воротами, а балки и бревна переметить все сверху донизу; тот город собрали под Угличем, затем разобрали, сложили на плоты и сплавили вниз по Волге вместе с воинскими людьми и крупной артиллерией. Когда он подошел под Казань, он приказал возвести на холме этот город и заполнить все укрепления землей. Сам он возвратился в Москву, а город этот занял русскими людьми и артиллерией и назвал его по названию реки Свяжском“. Таким образом, привезенный и собранный на месте как громадный дизайнерский „конструктор“ Свяжск, к ужасу казанского хана, „внезапно возник“ почти рядом с Казанью. Таково было блистательное исполнение первого, а может быть, и единственного в мире дизайнерского города, в весеннее половодье превращающегося в неприступную крепость. Когда Александр Сергеевич Пушкин в 1833 году увидел Свяжск, он пришел в неопишуемый восторг: именно так представлял он себе сказочный город на острове Буяне, когда писал „Сказку о царе Салтане“. На двух представленных здесь сегодня плакатах вы можете увидеть рисунки из летописи, посвященные строительству окружающей нас сегодня жемчужины Поволжья».

Тут закрыл он блокнот с текстом доклада своего и сказал, что, по легенде, возле самой маленькой и самой древней деревянной церкви острова по сей момент стоит у входа скамья, на которой сживал Иван Грозный. А на фреске Успенского собора «Шествие праведников» изображен был царь Иоанн Васильевич, прижизненно причисленный к лику святых. Тогда как на соседней фреске видим мы египетского бога Анубиса, нашедшего храм на берегу Ра; впрочем, сказал он, многие искусствоведы считают, что это не Анубис, а песьеголовый покровитель путешественников святой Христофор.

— Более четырехсот лет назад, — сказал Титов, — на этом самом месте зародился русский дизайн, и я счастлив, что нахожусь здесь сегодня с вами и с надеждой смотрю в будущее.

Тут вышла Тамила, возникшая из сиреневых кущ, она была из того же Ленинградского филиала ВНИИТЭ, что и Титов; Тамила улыбалась, в руках держала она за нитку огромный белый пятипалый воздушный шар, надутый из медицинской перчатки. Она протянула Титову ножницы.



— Поздравляю всех, — сказал он, — с открытием нашего прекрасного мероприятия. Он перерезал ножницами нитку, и шар воспарил, как придуманные Букминстером Фуллером летучие города будущего под кодовым названием «Девятое небо». На наших широтах, по нашим представлениям, небес было семь.

### Реплика о хитреце

Выступления докладчиков подразделялись на доклады, лекции, сообщения, краткие сообщения и реплики. Первая реплика, которую довелось мне услышать, называлась «Господин Г.» и посвящена была Гурджиеву. В аудитории, одном из классов краснокирпичной женской гимназии, мы с выступающим оказались с глазу на глаз.

— Надо же, — сказал он, почти улыбувшись, — вы единственный, кто интересуется личностью Гурджиева.

Я неопределенно отмычался в утвердительной тональности. Не мог же я сказать человеку в лицо, что я попросту спутал аудиторию, да еще и ногу у входа в нее подвернул, мне срочно надо было сесть. На самом деле хотел я услышать всеми любимого и уважаемого легендарного Раушенбаха, приехавшего на остров на один день.

Я сел в одном из последних рядов, изо всех сил стараясь не хромать.

— Ничего, — сказал я бодро, — Александр Блок тоже один раз читал послереволюционную лекцию единственному студенту, Всеволоду Иванову.

— Я в курсе, — мрачно отозвался выступающий.

Пошуршав, приступил он к реплике своей.

— Гурджиева, темного, восточного, плохо переодетого человека, словно являющегося не тем, за кого он себя выдает, называли «Танцующий провокатор». Поставленный им для учеников и адептов балет «Битва магов» сталкивал на тонком уровне некие силы, работал с коллективным бессознательным, раскалывал основы мира, провоцируя кризис, пройдя через который большое человечество должно оздоровиться. В группах, которые он тренировал, активировал он психические возможности, используя шаманские суфийские практики. Танцоры балета Гурджиева в 1923 году в Париже бросались к рампе, перемахнув через оркестровую яму, хаотично валились в первые ряды партера — и ни царапины! Люди были доведены им до состояния натренированных зомби или цирковых животных: автоматизм и математическая точность.

Тут дверь открылась, и появился второй слушатель.

Возможно, я видел его и раньше, но словно увидел впервые.

Обычно всматривался я в окружающих, когда рисовал их, когда делал то есть наброски, или когда человек чем-то притягивал меня. Вошедшего мне никогда нарисовать не хотелось. В лице его, бледном и холеном, несмотря на легкий загар, чего-то не хватало или было что-то лишнее. Как выяснилось позже, женщины находили его привлекательным, но женщин я, по обыкновению — за редким исключением, — не понимал. На семинарах представлялся он Энверовым, потом узнал я, что это был псевдоним.

Он извинился, расположился в первом ряду, приготовился записывать (конечно же, экзотической ручкою в шикарном блокноте). Лектор после краткой паузы продолжал:

— Боявшихся крови учеников заставлял он резать домашних животных. Он говорил: «Делай невозможное, затем сделай это дважды или занимайся сразу двумя несовместимыми занятиями». Экзальтированные дамы из его учениц чистили морковь в темноте и мыли посуду в холодной воде, одновременно производя в голо-

ве сложные математические вычисления, а прославленные хирурги и психологи копали глубокие ямы, чтобы потом закапывать их и выкапывать вновь (Франция, Приоре).

Провокационные методы были коньком Гурджиева. Во Франции он жил в поместье площадью двести пятьдесят акров, где стоял замок семнадцатого века и старый авиационный ангар, преобразованный в студию танцев, с надписью на стене: «Энергия, производимая созидательной работой, немедленно преобразуется для нового употребления. Энергия, производимая механически, теряется навсегда».

В России времен Гражданской войны он ухитрялся читать лекции и демонстрировать свои оккультистские практики и для белых, и для красных; у него были двухсторонние плакаты с противоположными лозунгами и для тех, и для этих. Гурджиев говорил: «Есть четыре пути: первый — путь факира, второй — путь монаха, третий — путь йога, четвертый — путь хитреца, им я и иду».

Учившийся в юности в той же Духовной семинарии, что и Сталин, в своей группе учеников-адептов он создал модель полностью управляемой организации, чьи участники, высокообразованные интеллектуалы с пробужденными телепатическими способностями, были полностью подчинены воле учителя.

И тут самым непонятным образом боль в ноге отпустила меня на мгновение, и я уснул, отключился, загипнотизированный начисто. По счастью, ни выступающий, поглощенный чтением писанины своей, ни единственный его настоящий слушатель, занятый своими записями, неприличной и неуместной отключки моей не заметили, а мне удалось, не загремев со стула, отдохнуть и благополучно проснуться к последнему предложению:

— Гурджиев писал книги, одна из которых называлась «Рассказы Вельзевула своему внуку». Его ученик Успенский, в свою очередь, написал о нем несколько книг: «В поисках чудесного», «Разговоры с дьяволом» и «Внутренний круг». Последние двадцать лет жизни провел он в инвалидной коляске, попав в аварию: автомобиль его врезался в дерево, точно так же, как позже врезался в дерево автомобиль Галлимара и Камю, погибших на месте. Гурджиев уже не вел групп, не писал музыки, не ставил балетов, его темная фантастическая энергия изливалась через тексты его.

Энверов зааплодировал, я неуверенно тоже похлопал, оба мы встали, прилежный слушатель стал вопросы задавать и записывать ответы, а я, благодарственно кивая, как китайский болванчик, попятился и спиной вперед вымелся в коридор ученической рекреации.

По коридору шла девушка, с преувеличенным интересом пронаблюдавшая мой одинокий выход рака-отшельника.

Глянул на нее и я.

И внезапно разглядел лицо ее, такое серьезное, веселое и теплое изнутри, с распахнутыми ресницами многоцветных глаз (только казались они карими, на самом деле состояли из пятнышек-точек медовых, желто-зеленых, темно-серых). Вот ее мне сразу захотелось нарисовать, можно было и скульптурный портрет с нее лепить, так прекрасно природою пролеплены были лоб, нос, скулы, нежные губы. Надо сказать, я и рисовал ее потом всю жизнь не единожды.

— Неужели вы были на реплике о Гурджиеве? — спросила она.

— Я аудиторию перепутал, — отвечал я. — И ногу подвернул.

— Я тоже перепутала, — сказала она, — и мне неудобно было в том признаться. Вон там, на берегу, целая толпа Раушенбаха провожает. Я так хотела его услышать.

— И я, — сказал я. — Пошли хоть проводим его на катер.

Нога моя не болела совершенно, мне стало весело и легко. Ее звали Нина, она была из Ленинграда, мы были земляки.

## Ночные выстрелы

Расквартированы участники семинара были кто где. Некоторые даже с палатками прибыли, наподобие улиток свои домики с собой привезли. В заброшенном монастыре, где царил мерзость запустения (впрочем, какие-то неведомые молчаливые волонтеры или иногородние второкурсники реставрационного отделения незнамо чего расчищали и разбирали несколько флигелей), было вполне пристойного состояния крыло келий, возможно, жилое до недавних пор, располагались и в них. Я спал на втором этаже школы, бывшей гимназии. Вечерами по модной туристской привычке то там, то сям, на берегу ли, на пустыре (во дворе монастырском не разрешалось, возможно, ожидалось что-то вроде музеефикации, реставрации, благоустройства) жгли костры, сидели у костров, пили чай и сухое вино, водка возникала редко, находились певцы с гитарами, все подпевали, советская туристическая цыганщина было тогда в моде. К полночи уставали все, особенно ленинградцы, архангелогородцы, северяне, привыкшие к белым ночам, из белых ночей явившиеся и оказавшиеся в среднерусско-южной звездной тьме. Большинство художников еще и на этюды ходили, колдовская красота острова зачаровывала их. Лето в самом начале стояло теплое, ясная погода без дождей, все дожди пролились весной, подняв сирень, вызеленив зелень.

Мне то снились сны, полные приключений, то дрых я без задних ног и вне сновидений. В ту ночь меня разбудили выстрелы. Я до сих пор не знаю, стреляли ли в моем сне, или то было городское прислышание, вид привидения для яснослышающих, которых так же мало, как ясновидящих.

Резкие крики, стоны, выстрелы. Не вполне соображая, как всегда спросонок, стараясь не разбудить соседей, спавших сном праведников, я оделся и вышел на улицу. Когда спускался с крыльца, выстрелы еще были слышны; я понял, что стреляют в монастырском дворе, туда и отправился, но пока шел, высвечивая фонариком световую дорожку, все стихло. В полной тишине оказался я в темном дворе монастыря. Ни фонарей, ни света из окон. Впрочем, светила луна, полнолунный ее волчий фонарь очерчивал призрачно-белые здания, мой маленький фонарик (отцов, дареный, трофейный) отвоевывал у темноты подробности, с помощью лунной декорации и маленького лучика разглядел я сидевшего на камне (то ли остатке полуразрушенной могилы, то ли постаменте неведомого памятника) молодого человека. Сначала даже мелькнуло: не он ли тут стрельбище устроил? Я подошел поближе. Трезвый, тихий, ни пистолета, ни ружья.

— Не спится? — спросил он.

Я ответил вопросом на вопрос:

— Вы выстрелы слышали?

— Сегодня нет, — отвечал неспящий.

— Я проснулся оттого, что стреляли.

— Это не сейчас стреляли. Давно. Тут так бывает. Что-то вроде привидений. Их называют — прислышания.

— Давно? — переспросил я. — Во времена взятия Казани?

— В некотором роде, — отвечал он. — Видите ли, почти столетия назад именно тут было первое место советских политических репрессий. По приказу военкома большевистского правительства Троцкого был расстрелян каждый десятый красноармеец расквартированных на острове воинских частей, не сумевших быстро выбить белочехов из Казани.

В паузе какая-то птица пронеслась над нашими головами; была ли то сова? летучая мышь? вспугнула ли кого невзначай несуществующая стрельба, которую птица услышала позже меня?

— Впрочем, — сказал задумчиво ночной собеседник, — это могли быть и другие выстрелы. Монахов расстреливали. Настоятеля монастыря Амвросия Гурко расстреляли.

— Когда? — тупо спросил я.

— Настоятеля перед самой установкой памятника Иуде. Да все в восемнадцатом году. Летом.

— Памятника кому?! — вскричал я.

— Иуде, — отвечал он не сморгнув. — Кандидатуру, по легенде, Ленин утвердил. Люцифера он Троцкому ваять запретил, Каина отверг. Памятник борцу с опиумом для народа, религией то есть. Вскоре после расстрела наместника обители открытие памятника и состоялось — с оркестром, парадом и пламенной речью вечно возбужденного Троцкого. Скульптура — фигура человека в натуральный рост, зловеще пригнувшаяся, грозящая небу воздетыми руками, лицо напоминало самого пламенного оратора. Памятник простоял две недели, а потом бесследно исчез.

— Уж не на постаменте ли вы сидите?

— Нет, конечно. На постаменте потом памятник Ленину стоял, но его тоже убрали, когда в монастыре образовали филиал ГУЛАГа, чтобы образ Ленина в тюрьме не находился; ну а когда филиал превратили в психушку, чтобы дурдом не возглавлял.

— Памятник Иуде?! — вскричал я. — Что за белиберда? Вы это сами только что придумали? Вы писатель? Литератор?

Поэты и писатели — в небольшой дозировке — на семинаре присутствовали.

— Я такое придумать не в силах. Тут совершенно другой, наособицу устроенный мозг нужен, чтобы не сказать: ум. Свидетельства очевидцев установки памятника существовали — мемуары датского дипломата Хеннинга Келера и писателя-эмигранта Вараксина.

— Может, они это сфантазировали?

— Есть такое мнение — ввали, ввали два антисоветчика. Ну, писатель, как вы понимаете, мог волю воображению дать, а датский дипломат? Дипломаты — шпионы большей частью и любят точность.

— А как их, с позволения сказать, в восемнадцатом году сюда на мероприятие занесло?

Молодой человек только плечами пожал.

— Тогда всех носило туда-сюда, мело по стране, как листья сухие ветром несет.

— Может, вы все же литератор?

— Журналист я недоучившийся.

— Вот видите.

В паузе по небу чиркнул болид. Было тихо, только кузнечики почему-то стрекотали в траве, как на юге цикады; может, в качестве еще одного прислышания мирного, канувшего в Лету летнего дня.

Тут, под ноги посмотрев, оступившись, спросил я: а где же этих расстрелянных хоронили? Кладбища вроде на острове нет.

— Всех хоронили на косе. И красноармейцев, и заключенных. Коса на костях стоит. Хотя и в городе то там, то сям, когда пустырь расчищают или берег, черепа выкапывают.

— Заключенных?

— Я ведь уже сказал вам, тут один из пунктов ГУЛАГа находился. Заключенных погибло около пяти тысяч. В том числе князь Оболенский. Вечером, как у костра запели про корнета Оболенского (в полной невинности и незнании, кстати, запели), мне аж не по себе стало: ушел, в сарай с сеном завалился, уснул как убитый. Вот как раз проснулся, выспался, к хозяевам, где остановился, ночью идти

неудобно, сюда пришел, а тут и вы явились. Идите, отдыхайте, успокойтесь, не было сегодня никаких выстрелов ночных.

— А вы тут останетесь?

— Вернусь в сено, авось убаюкает оно меня.

Уходя, я слышал, как он молится вслух в монастырском дворе, этот странный недоучившийся журналист.

Песня на самом деле была про поручика Голицына, думал я (вот журналистская неточность), но корнет Оболенский действительно упоминался в ней дважды. Надо же, в числе царских воевод, задумавших и построивших Свяжск, были братья Оболенский и Оболенский-Серебряный, а их потомок в этом самом дизайнерском городе мира через пять веков погиб. Впрочем, вспомним хоть Шекспира, все это вполне вписывается в исполненную нелепой жестокости историю человечества.

Засыпая на своем сеннике среди так и не проснувшихся от моего выхода и появления соседей, я слышал, как позванивают в ушах струны гитары:

Не падайте духом, поручик Голицын,  
Корнет Оболенский, налейте вина.

И уже из сна встречно подпели похороненные на здешней косе под названием Татарская Грива глухим, земляным, еле слышным хором:

Поручик Голицын, раздайте патроны,  
Корнет Оболенский, надеть ордена.

### **Первая скрипка на балу Воланда**

Говоря о Вьётане, невольно думаешь о Паганини. [...] С первой до последней ноты мы словно стоим в магическом круге, у которого нет ни начала, ни конца.

*Роберт Шуман*

Мы часто оказывались с девушкой по имени Нина на одних и тех же лекциях, вкусы наши во многом совпадали, судьба была к нам благосклонна. Но впервые сели мы рядом на выступлении человека со странной фамилией Времеонов. Доклад его назывался «Первая скрипка на балу Воланда». Роман Булгакова, для многих оказавшийся главной любимой книгой, привел в тот день в гимназический зал целую толпу. Докладчик, высокий, крупный, почти грузный, темноробордый человек, начал выступление почти с извинений.

— Выступление мое, — сказал он (и мы поняли, что он не только смущается, но и стесняется, хотя старается виду не подавать), — должно было бы проходить по разряду реплик, но поскольку я не музыковед, не музыкант, не литературовед и даже не искусствовед, а форменный дилетант, решено было считать его докладом из раздела «Путешествие с дилетантом», да к тому же реплика должна быть короче, цельнее и структурированной. Предварять мое любительское эссе должен был замечательный знаток музыки, музыковед, музыкант Петр М., но, к сожалению, он не смог сегодня приехать, поэтому впечатление ваше от личности, о которой пойдет речь, будет неполным; но я решил рискнуть. В главе романа «Мастер и Мар-

гарита», посвященной балу у Воланда и называющейся «Великий бал у сатаны», говорится об оркестре, аккомпанирующем всем действиям и танцам бала. Дирижер оркестра — король вальса Штраус, а первая скрипка — Вьётан.

«Глядите налево, на первые скрипки, — шептал Коровьев, — и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали в отдельности. Здесь только мировые знаменитости. Вот этому, за первым пультом, это Вьётан. [...]

— Кто дирижер? — отлетая, спросила Маргарита.

— Иоганн Штраус, — закричал кот, — и пусть меня повесят в тропическом саду на лиане, если на каком-нибудь балу когда-нибудь играл такой оркестр. Я приглашал его! И, заметьте, ни один не заболел и ни один не отказался».

Для большинства читателей, знающих текст романа чуть ли не наизусть, цитирующих его к случаю или просто из удовольствия процитировать, фамилия скрипача ничего не говорит. Тогда как мне по наследству от отца моего фамилия эта была очень даже известна, более того — отец переменял свою, перевел ее на русский, вслед за отцом получил ее и я, мы единственные в мире ее носители. На французском, насколько я понимаю, *Vieux temps* не только что не частотное *nom de famille*, а просто уникальное, этимологию и происхождение отцу выяснить не удалось, неведомы они и мне. *Vieux* переводится как «старое, старые», *temps* — как «времена». Но в сочетании, соединившись, они становятся сходны с какими-то невыразимыми *neiges d'entan* — прошлогодними снегами былых времен из стихов Франсуа Вийона, неведомым образом приобретая черты полусадов-полулесов, обводящих замок Спящей Красавицы с картинки в детской книге волшебных сказок Перро руки Доре. Отец мой, так же как и я, занимался переводами; вот и стою я перед вами и зовусь не Столетовым, не Старогородским, а Времеоновым — от «время оно».

Схожа с нашей только фамилия деятеля русской школы императорского балета Гедеонова. Но если мне было совершенно ясно и понятно, что за человек является первой скрипкой на балу у Воланда, я не понимал, почему он там и за что он там оказался.

Мой отец в детстве готовился к карьере музыканта: рано начал играть на скрипке и на рояле, проявлял недюжинные способности, однако жизнь решила иначе, превратности судьбы и травма руки сделали свое дело — отец стал врачом, но музыка осталась его главной любовью, он продолжал играть и на скрипке, и на фортепьяно дома, для себя, в библиотеке нашей было множество нот и биографий великих композиторов, матушка тоже была меломанка, ходили постоянно на концерты в филармонию, в консерваторию, брали и меня. Вьётан был одним из главных увлечений отца. До сих пор в доме моем висят два портрета мальчика-вундеркинда, гастролировавшего по Европе (четырнадцатилетнего, когда услышал его Паганини и воскликнул: «Он будет великим музыкантом!»), и состарившегося, знаменитого композитора, исполнителя-виртуоза). Музыку его впервые услышал я из рук отца, с превеликим трудом доставшего и скопировавшего для себя (а тогда не было ксерокопий, всё переписывали от руки) вьётановские ноты.

Родился Анри Вьётан в бельгийском городе Вerve в 1820 году. Отец его, суконщик, был скрипачом-любителем и гитарным мастером. В четыре года Анри сочинил первую свою пьесу — «Песня петушка». В семь лет мальчик выступил в концерте с оркестром, потом гастролировал в Бельгии и Голландии, получил стипендию короля Нидерландов, уехал сперва в Брюссель, потом в Париж, гастролировал в Европе. В 1844 году Вьётан женился на пианистке из Вены Жозефине Эзер, были они счастливы, боготворили друг друга. Был принят в почетные члены Бельгийской королевской академии наук. Многочисленные гастрольные туры охватывали уже не только Европу, но Турцию и Америку.

Но особо поражало воображение отца моего, а затем и мое то, что с 1846 года Вьётан семь лет жил в Петербурге. Отец мой исполнял его «Воспоминания о России» и переложение для скрипки известного алябьевского романса «Соловей». В Петербурге работал он придворным солистом, выступал в качестве квартетиста, преподавал в консерватории. Общался с Глинкой, Даргомыжским, Серовым, Одоевским, Рубинштейном.

Впервые в Петербурге Вьётан организовал квартетные вечера, превратившиеся в абонементные концерты в здании школы за немецкой Петеркирхе на Невском проспекте. Он и не думал расставаться с Россией, но болезнь жены, не выдержавшей сырого, пронзительного петербургского климата, заставила его уехать. В Петербурге написал он свой самый яркий, самый новаторский и романтический Четвертый концерт в ре-миноре.

Однажды отец мой вычитал в книге Карновича, что жил в Петербурге — между Коломной и Перузиной — полковник русской армии Луи Христул де Лузиньян, с фантастическим титулом, дарованным ему, генералу армии австрийской, императором Николаем Павловичем и переходившим в семье по наследству по мужской линии, — «король Кипрский и Иерусалимский». Тут же придумал отец мой, что де Лузиньян был на одном из концертов Вьётана: то ли привела его туда любовь к музыке, то ли волшеббно звучащая фамилия скрипача.

Мы гуляли с отцом по местам воображаемых прогулок Анри Вьётана, и иногда казалось, что он идет вместе с нами, особенно в мягкие дни ниспадающего снега или в белые ночи.

Вот он идет, нетерпение велико, на ходу смотрит он в ноты: надо изменить третью часть; начинает падать снег, некоторые снежинки занимают места на нотном стане, ему смешно. Он прячет ноты за пазуху и бежит домой.

Шествовали мимо нас со скоростью пешеходной маленькие уютные андерсеновские особняки каналов Коломны, разворачивались площади, подчиняясь совершенно неуловимой своей геометрии, плескались воды каналов, такие разные с набережных и мостов.

Отец хорошо знал город, увлекался краеведением, настольными прикроватными собеседниками служили ему книги Лукомского, Курбатова, Анциферова, Пыляева, он рассказывал мне о Петербурге девятнадцатого столетия, и окрестные ведуты для меня приобретали глубину и цвет, точно проявившиеся переводные картинки.

Да, мне казалось: Вьётан идет с нами, чуть поодаль (думаю, и отцу моему тоже), его ладную невысокую фигурку обводил реющий снег.

Хаживали мы по кварталам вокруг консерватории, где жили музыканты, актеры, певцы и танцоры Мариинского театра, по Фонтанке и по Литейному, любили Польский сад, заходили во двор Строгановского дворца, обходили Петеркирхе, на площади Искусств отец рассказывал мне о Виельгорских, о концертах в их особняке, первом русском квартете, мы стояли в Мошковом переулке возле дома князя Одоевского.

Князь имеет прямое отношение к теме сообщения моего.

Князь Владимир Федорович Одоевский, автор любимого мной в детстве «Городка в табакерке», член-учредитель Русского географического общества, помощник директора Императорской публичной библиотеки, директор Румянцевского музея, последний представитель одной из старейших ветвей рода Рюриковичей, бывший в родстве со Львом Толстым, увлекавшийся в юности мистикой, Сен-Мартеном, средневековой натуральной магией и алхимией, был музыкантом и меломаном.

Друзья называли его «Русский Фауст». В одном из самых известных своих произведений — «Русские ночи» — он повторяет это прозвище и описывает свой образ жизни: «— Поедем к Фаусту.

Надобно предупредить благосклонного читателя, что Фаустом они называли одного из своих приятелей, который имел странное обыкновение держать у себя черную кошку, по несколько дней кряду не брить бороды, рассматривать в микроскоп козявок, дуть в плавленную трубку, запирает дверь на крючок и по целым часам прилежно заниматься, кажется, обтачиванием ногтей, как говорят светские люди. Комната его уставлена было ретортами, колбами, химическими реактивами, выращенными кристаллами, с угловой полки смотрел на входящих череп».

Когда Времеонов описывал на семинаре кабинет Одоевского в юности, я еще не был женат, а только собирался проводить Нину до дома в вечерней сиреновой тьме, ни детей, ни внуков; но теперь, вспоминая, я тотчас сравнил обстановку Русского Фауста с закутком нашей внучки Капли, где играла она в мадмуазель Немо, в великую путешественницу и таинственную героиню романа; Одоевский играл в алхимика, в пражского короля, в исследователя.

— Но что касается музыки, — продолжал докладчик, — меломан Одоевский был таким дилетантом, какие не всегда встречаются в профессиональной среде. Он превосходно играл на фортепьяно, изучал древнерусскую церковную музыку, изобрел новый музыкальный инструмент. То есть он воплотил свои идеи о музыкальном инструменте, соответствующем вокальному интонированию, и назвал его «энгармонический клавицин», в котором все квинты чистые, диезы, отмеченные красным цветом, отделены от бемолей. Отец мой собирался написать об этом статью под названием «Красный диез», но все откладывал, да так и не успел.

Инструмент был заказан у мастера-немца А. Кампе, жившего в Москве и содержащего в Газетном переулке фортепианную фабрику (унаследованную его дочерью Смольяниновой). В каждой октаве «клавицина» было девятнадцать клавиш вместо двенадцати. В настоящий момент инструмент хранится в Музее музыкальной культуры имени Глинки в Москве.

А ранее, в Петербурге, в конце 1840 года, по заказу Одоевского петербургский органостроитель г. Мельцель изготовил кабинетный орган «Себастианон», на котором играл и импровизировал сам Одоевский и его гости, в частности Глинка. Орган не сохранился.

Я полагаю, что появлению Анри Вьётана в роли первой скрипки мы обязаны отрывку из письма Русского Фауста Одоевского композитору Верстовскому, автору «Аскольдовой могилы».

Одоевский писал Верстовскому: «...не забуду я одного вечера, проведенного мною у графов Виельгорских; не было назначено музыки, но нечаянно сошлись Серве с Вьётаном; давно уже они не играли вместе; оркестра не было, нот также, гостей человека два-три. Тогда наши знаменитые артисты начали припоминать свои дуэты, написанные без аккомпанемента. Они поместились в глубине залы, двери затворились для других посетителей, между немногочисленными слушателями воцарилось совершенное молчание [...]. Наши артисты вспомнили свою фантазию на оперу Мейербера „Гугеноты“. Помнишь, как мы однажды смеялись, рассматривая „Волш. стрелка“, переложенного на две флейты; но здесь было совсем иное: [...] перед нашими глазами проходила вся эта чудная опера со всеми ее оттенками; мы явственно отличали выразительное пение от бури, которая вздымалась в оркестре, вот звуки любви, вот строгие аккорды лютеранского хора, вот мрачные, дикие крики фанатиков, вот веселый напев шумной оргии... воображение следовало за всеми этими воспоминаниями и претворяло их в действительность».

Полагаю, что Михаил Булгаков, с юности отчаянный меломан (особенно любил он оперы), несомненно интересовался и Одоевским, и Погорельским и про-



чел этот отрывок из письма, где описание «шумной оргии» из импровизации Вьётана и Серве совершенно совпадает со стилистикой сцены бала у Воланда. К тому же скрипач с виолончелистом импровизируют на тему Мейербера, как известно, автора оперы «Роберт-Дьявол». Еще мне кажется, что Булгаков мог слышать сонату для скрипки и фортепиано Тартини—Вьётана «Дьявольские трели» («La trille de diable»)...

Я подивился разве что тому, что в воландовском оркестре не сидит за роялем Ференц Лист, написавший три «Мефисто-вальса» и одну «Мефисто-польку» и в первом, самом известном из этих произведений звучит голос «дьявольской скрипки». Впрочем, не исключено, что если бы Михаил Афанасьевич смог закончить чистовую редакцию всех глав «Мастер и Маргариты», Лист сел бы в вышеупомянутый оркестр на место пианиста.

Мне остается только добавить несколько слов о скрипке Вьётана.

Сегодня скрипка любимого скрипача моего отца — и моего тоже — один из самых дорогих музыкальных инструментов в мире, она носит имя «Экс-Вьётан». Сработал эту скрипку легендарный скрипичный мастер Джузеппе Гварнери дель Джезу (Иисусов Гварнери), с 1731 года начавший помещать на свои скрипки монограмму JHS (Jesus Nominem Salvator — Иисус Спаситель Человечества). И может быть, именно эта невидимая монограмма (неизвестно, знал ли о ней Булгаков) незримо и анонимно удерживает от соскальзывания во мрак весь роман, поддерживает душу его и твою, читатель.

Мне остается поблагодарить вас всех за внимание и терпение к моему совершенно ненаучному и глубоко дилетантскому тексту.

Зал начал было пылко аплодировать, но послышался женский голос: «Подождите, постойте!» — и появилась улыбающаяся, раскрасневшаяся Тамила, за которой один из множества дизайнерских пажей ее нес магнитофон.

— Вам это с нарочным Петр М. передал, сам приехать не смог, только что на катере от него человек прибыл.

— Что это?

— Это запись магнитофонная, — на щеках Тамила цвели ямочки, появляющиеся, когда она радовалась и улыбалась, — тут музыка скрипача, о котором вы только что читали доклад. Садитесь, слушайте. Сейчас вы все услышите.

— Интересно, кто играет? — спросил я Нину.

Времеонов, услышав меня через головы издалика, ответил:

— Яша Хейфец.

Звучал, звенел серебряный голос королевы-скрипки, парящей над маленьким оркестром, заставляющий нас мечтать о несуществующем бытии на берегу одного из ночных озер. Как будто мы, находясь здесь и сейчас, уже вспоминали нынешнее мгновение. И хотя музыка эта была конечна, не было ей ни конца ни края, мы, причастные, слушали второе столетие, и наши дети услышат, и внуки, и внуки их внуков, потому что отворяла она нам всем пространства времен.

О симфония! Раскрывающая тайну добра и зла, несущая структуру Вселенной в раковины ушные людские! Тобою, скрипкой и оркестром твоим, говорит с нами Господь. А мы почти поневоле видим волну мелодии и прозреваем бездонную глубину марианских впадин контрапункта...

Пока проталкивались мы к выходу (толпа слушателей окружила Времеонова плотным кольцом), слышали мы, как отвечал он на вопросы.

— Среди фольклорных источников «Фантазии на славянские народные темы» Вьётана — плясовая песня «От Киева до Лубен» и протяжная «Не белы снеги».

— А где это — Лубны?

— Между Миргородом и Белой Церковью, — отвечал худой высокий художник из Полтавы.

— Кроме того, — говорил докладчик, — русские темы звучат в «Фантазии апассионате». Ну, и в пьесах с цитатами Даргомыжского, Алябьева, Верстовского.

Наконец мы очутились у двери.

Ночное небо полно было звезд, напоминало небо юга.

Я провожал Нину, подсвечивая фонариком дорогу, главным уличным фонарем служила Луна, мне казалось, что мы знакомы давно, что провожаю я ее не впервые. Она жила в хозяйском доме, бывшем купеческом, с колоннами; собственно, хозяев было двое, две семьи, от одной из семей осталась одна хозяйка. Нина снимала у нее маленькую комнатку с лежанкой. Дом стоял на возвышении, на гребне холма, на купеческой улице, где остальные дома, каменные, находились словно бы за углом, улочка поворачивала. У дома два дерева вели долгие разговоры свои, угловая сосна и фасадная старая липа. Навершие дома представляло собой словно маленький фронтон с четырьмя колоннами балкона, под балконом поддерживали его четыре колонны поболее, на четырех прямоугольных постаментах. Купцы любили дома с колоннами: чем нелепей, тем лучше; их дома всегда играли в барские усадьбы, и то ли недоигрывали, то ли переигрывали.

По дороге выяснилось, что в детстве у нас были одни и те же любимые книжки, в частности «Животные-герои» Сетона-Томпсона с иллюстрациями автора.

— Я плакала, когда читала некоторые рассказы, про медвежонка Джонни, про Крэга — Кутенейского барана, про Снапа.

— О, — сказал я, — я тоже заплакал, а моя матушка, вдова, растившая меня одна и очень хотевшая вырастить настоящего мужчину, заругала меня: нюня, плакса, говорила она, прекрати немедленно. Я обиделся на нее, но потом, когда читал и слезы наворачивались, и не думал сдерживаться: кто-то ведь должен был оплакать Кутенейского барана и малютку Снапа, не только Сетон-Томпсон.

Тут нас обогнали Тамилла с тащим за ней магнитофон Энверовым, и она, и Титов остановились в одном из белых двухэтажных домов за углом; вероятно, дизайнерский паж растворился во мраке, и Энверов вызвался тащить магнитофон за нашей Кармен.

Мы долго болтали с Ниной у крылечка, потом, пожелав мне спокойной ночи, она исчезла, скрипнув калиткою (над забором цвел огромный сиреневый куст), а я, совершенно счастливый, развеселый, двинулся к своему краснокирпичному приюту, однако когда я увидел при всеобъемлющем свете Луны Тамиллу с Энверовым, целующихся на косе, радости у меня поубавилось. Он что-то сказал ей, она рассмеялась, ночной воздух с его храмовой акустикой объяла волна, и тут заколыхались, обводя косу, белые фигуры призраков, туманные силуэты их. Я смотрел на эту картину, точно Левко на русалок. Их видел, должно быть, я один, зашлись лаем собаки, призраки пропали, я пошел восвояси с чувством глубокого сожаления, что к этому лету совершенно завершился, растворился начавшийся на прошлом сенежском семинаре роман Тамиллы с одним из наших блистательных докладчиков, известным дизайнером, романтической фигурой: чего стояла одна эспаньолка, а уж книгами и статьями его мы зачитывались все, — а возник рядом с нею красавчик Энверов, которого и рисовать-то не хотелось. Откуда его только принесло, думал я, на лекции о Вьётане его мы не видели, музыка его не интересовала, хотя, может быть, явился он одним из последних, в последних рядах, привлеченный фигурирующим в названии балом Сатаны.

## Реплика о косе Тартари

Вот настал момент и мне, на манер наших семинарских, подать реплику, сказать несколько слов о Татарской Гриве, косе, которую называли мы с Ниной косою Тартари.

В давние годы, когда Свяжск становился островом во время паводков, чтобы потом снова стать холмом, Тартари называлась гривою, но после создания Камского (или Куйбышевского?) водохранилища в 1956 году она стала косою: ведь коса всегда отходит от берега, устремляясь в воды, а грива чаще всего длит свой протяженный хребет посуху.

Татарскую Гриву в народе называли Дорогой жизни: ее песчаная дорога соединяла остров с Большой землей и выходила на Сибирский тракт.

Зимой народ ездил на материк на санях, но безлошадная жизнь всех одолела вконец, и ко второй половине двадцатого века островитяне местные как-то приноровились скакать от берега до берега на «макаке» — на мотоколяске, к которой прикреплены три камеры от трактора. Так и прыгали, что у Сибирского тракта, что до Нижних Вязовых, то есть до железнодорожной станции Свяжск.

Перед ледоставом или ледоходом сушили сухари, запасались сахаром, солью, крупою, личных вертолетов не было, общественные сюда не летали.

В годы, когда Свяжск был сперва составной частью ГУЛАГа, а потом расположился на лагерной (и монастырской) территории сумасшедший дом, было очень даже кстати, что остров отрезан от мира.

Кладбища в городке не было. Прежде покойников везли на другой берег, плыл гроб в лодке, на пароходике. Расстрелянных и умерших в лагере и в дурдоме (новейшей истории) хоронили в братских могилах, в свальных ямах на косе Тартари. Когда до меня дошло, что Дорогой жизни называется это место на костях, на покойниках, мне стало не по себе.

Коса стояла полузатопленная, вдоль нее торчали из воды остатки полусгнивших столбов линии электропередачи, словно зубья ведьминых гребешков из страшной сказки о наших русских дао, русских дорогах сказочных персонажей: Ивана-дурака, Ивана-царевича, Василисы Премудрой и Василисы Прекрасной.

Но словно вселились в меня гоголевские есаул Горобец и гребцы его, плывущие по Днепру и видящие в сумеречные и ночные часы призраков прибрежных кладбищ; видел и я призраков невинно убиенных, зарытых на косе Тартари: в снах моих натуральных и во снах наяву.

Когда Татарская Грива почти полностью ушла под воду, остался от нее малый хвостик, отходящий от прибрежного песка, все множества скелетов оказались на дне, словно свидетели пиратских битв и кораблекрушений.

Почему-то Энверов с Тамилей постоянно встречались на косе Тартари, как зло, я регулярно проходил мимо, видел их, — не знаю, видели ли они меня, — и это производило на меня какое-то мрачное впечатление, оставляло на душе неприятный осадок, метило вечер тенью тьмы, глубже ночной.

## Байки от хозяйки

— На Руси спокон веку пироги пекли от бедности, — сказала хозяйка, придвигая ко мне большую тарелку с нарезанным пирогом и среднюю с горкой мелких пирожков.

Хозяйке нравилось, что я провожаю Нину до дома после вечерних докладов и заседаний, проводы теперь заканчивались чаепитиями, а за разговорами засиживались мы допоздна.

— Вот этот пирог с рыбою спекла я из хлеба.

— Как это?

— Корочку срезаете на сухарики, хлеб размачиваете, капелька дрожжевая, муки идет немного, начинка по вкусу, да вы ешьте, ешьте.

— Никогда не слышал, чтобы пироги пекли из хлеба, да еще такие румянькие и вкуснющие.

— Мало что, — произнесла польщенная хозяйка.

— В доме моем, — говорила она, — а дому уже больше ста лет, разные купцы ночевали, семейство за семейством, родня, по женской линии после замужества фамилии менялись: Илларионовы, Бровкины, Медведевы. Когда советская власть началась, приехал красноармеец расстреливать Троцкий, так с балкона речь и держал, сначала о народном счастье, потом о беспощадности справедливости, потом про памятник Иуде. Говорят, он всегда с балконов речи говорил.

— Вот у нас в Питере, — сказал я, — на красивейший балкон особняка балерины Кшесинской забирался, оттуда и ораторствовал. Как испанка в мантилье кружевной, балконы любил. Говорят, говорил лучше всех. Толпа в полный столбняк приходила. Пламенно выкрикивал, рукой махал, очки сияли, словно искры из глаз сыпались. Но вот что сказал, час говоримши, никто не то что повторить, а даже понять не мог. Глаголом жег сердца людей. Прилагательными тоже. Ни одного матюга. Но лаялся при этом по-заводному.

— Некоторые врут, — сказала хозяйка, — что он в нашем доме и останавливался. Нет, останавливался он в богадельне, она каменная, а уж балкон-то наш наглядел.

— А для чего он приезжал? — спросила Нина.

— Войска вдохновлять. Чтобы Казань от белочехов освободили быстрехонько, а не отступили, как в этот раз.

— Вдохновил?

— А как же. Каждого десятого велел расстрелять: ничего личного, мы не против никого из своих, кто десятый случайно оказался, того и в расход. Если и после этого, сказал он товарищам своим, скорехонько Казань не возьмете, каждого третьего расстрелять велю. Ну, всех-то нельзя, кто же тогда других расстреливать будет.

— Подействовало?

— Взяли опять Казань, как при царе Иване Грозном. Он, видать, Троцкий-то, краем уха слышал, что взятие Казани как-то с нашим Свяжском связано, сюда и приехал для усиления военных действий.

— Тень Троцкого меня усыновила, — продекламировал задержавшийся под окном, чтобы дослушать, ведущий под руку на косу Тартари Тамилу Энверов.

— Он еще и подслушивает, — сказала Нина.

— Так окна открыты, вечер тихий, — сказала хозяйка, — бывало, идешь, все знаешь, кто что говорит, кто чем дышит. Городок-то маленький, остров небольшой.

— А скажите, — спросил я, подцепив чудесный пирожок с ливером, — старинные призраки показываются тут? или только нашей новейшей истории, из расстрелянных, лагерных и психов, что на Татарской Гриве лежат?

Хозяйка пальцем погрозила:

— Откуда знаешь, что самоновейшие показываются, да еще и на косе? Сам видел? Никому не рассказывай. Даже и не заикайся. У нас тут не принято признаваться, если их увидишь. Дурной знак, плохая примета, игры не к ночи будь помянуты. Старинные призраки — это кто?

- Иван Грозный, например, — ляпнул я.
- Иоанн Грозный, — сказала хозяйка, — на скамеечке возле Троицкой церкви сиживал, скамеечка, говорят, та же, не гниет, не рассыпается. Зачем тут будет его призраком являться? Он в Успенском соборе в «Шествии праведников» среди святых при жизни изображен.
- До того, как сына убил, изобразили или после? — спросил я.
- Не знаю, не моего это ума дело, — сказала хозяйка.
- А отрок Угличский не является? — спросила Нина. — Царевич Дмитрий? Свияжск ведь воеводины плотники срубили в угличских лесах.
- В лесах между Угличем и Мышкином, — поправила хозяйка, — ближе к Мышкину, во владениях бояр Ушатых. Нет, царевич никогда не являлся. Вот отрока видели.
- Какого отрока? — спросили мы с Ниной дуэтом.
- Варфоломея, должно быть, — шепотом отвечала хозяйка. И, видя по лицам нашим, что мы ведать не ведали, кто такой отрок Варфоломей, пояснила нам, воспитанникам пионерлагерей и кружков ДПШ: — Когда заночевали воеводы в одном переходе от непокорной Казани, на высоком холме — останце Кара-Кермен, тут все было покрыто деревьями, сплошной лес рос на округлой горе (местные называли ее гора Круглая), с крутыми склонами и плоской вершиной. Рассказал им местный рыбак, что легенды ходили: мол, было тут некогда капище темного, злого, ветхого бога, злые духи кереметы обитали вокруг него, а потом стал в чаще невидимый колокол звонить, а по лесу ходить старец в белых одеждах, осеняющий остров крестным знаменем, и то был игумен Святой Руси преподобный Сергей Радонежский, защитник и заступник земли Русской, он остров освятил и отмолил. Когда воеводы отплыли, видели они на берегу отрока в белом, да и потом отрок являлся, только редко; стало быть, и был этот отрок Варфоломей.
- Стало быть? — переспросили мы с Ниной дуэтом.
- Да как же, ведь Сергей Радонежский до принятия схимы и звался в детстве отроком Варфоломеем. Он и являлся.

Тут вспомнил я картину художника Нестерова «Видение отрока Варфоломея», проходил я ее по истории искусств, однако не ведал, что изображен на ней Сергей Радонежский в отрочестве. Образование наше было хорошее, но несколько своеобразное, все мы в некотором роде были и оставались самородками.

— А уж потом, как возник в Свияжске Успенский монастырь, монахи это место, как могли, отмолили. В двадцать третьем году в целях борьбы с религией безбожники вскрыли раку с мощами святителя Германа, первого настоятеля монастыря, так тотчас такой смерч прошел, ни до, ни после не видали в наших местах подобного. А последнего настоятеля, епископа Амвросия Гудко, Троцкий расстрелял после расстрела красноармейцев: в полной тишине, замерло всё и вся. То-то, видать, капище радовалось в глубине земли, улюлюкало.

Тут она испугалась собственных слов, перекрестилась на темную икону в углу, за горевшей зеленой лампадкою, а мы с Ниной встали, я откланялся, поблагодарил за чай да за приятную компанию и соскользнул с крылечка во тьму. Было тихо, безлюдно, луна начинала таять.

### **Реплика о признаках гениальности**

В тот вторник я побежал на мастер-класс по пропедевтике — курсу подготовки к занятиям композицией. Народу было много, желающих участвовать непосредственно хоть отбавляй. Педагоги по дизайну интерьера предлагали придумать

и склеить из бумаги небольшой модуль, из таких модулей на планшете собирали ограды, башни, вертикальные и горизонтальные объемы. Были и готовые наборы модулей, из которых желающие могли строить свой бумажный городок. Вспомнили (потаенно) детство, постройки из кубиков, жилые единицы для маленьких фигурок.

Отделение индустриал дизайна, «промышленной эстетики», предлагало на чистом листе в четверть большого листа ватмана создавать композицию из вырезанных из цветного (или черного) картона квадратов, кругов, треугольников, прямоугольников разного размера; надо было расположить плоские геометрические фигуры так, чтобы создать у наблюдателя ощущение спокойствия, тревоги, направить его внимание на какой-то один треугольник, создать листы статические, динамические, равновесных и неравновесных состояний.

Вдоволь наигравшись в пропедевтику, вспомнил я, что собирался заскочить на реплику о признаках гениальности, поскакал в указанный в программном вторичном листочке класс и явился к шапочному разбору. Докладчик, высокий, красивый военный врач, заканчивал свою реплику. Как ни странно, класс был полон. Войдя, я оказался среди стоящих; за мной вошел москвич, звезда дизайнера, известный всем Г., в это лето расставшиеся с Тамилей, мы стояли рядом.

— Таким образом, — говорил лектор, — у женщин в геноме наблюдаем мы некоторый перебор мужских генов по отношению к среднестатистической норме, а у представителей мужского пола — преувеличенное количество генов женских. Разумеется, речь не идет о каких-то мужеподобных дамах и женоподобных господах, ничего подобного; но генная картина изменена, неравновесна. И это последний признак гениальности из перечисляемых. Благодарю вас за внимание. Задавайте вопросы.

Я так и не понял, была ли это его личная разработка, представлял ли он коллективную или предлагал вниманию собравшихся перевод одного из сообщений английского семинара, чем-то напоминавшего наш, но медицинского, с девиациями в сторону биологии, генетики, психологии, что ли.

Ему аплодировали довольно долго, потом приступили к вопросам.

Рядом с докладчиком, на боковых креслах у стены, заметил я и Тамилу с Энверовым.

Тут встала моя Нина и спросила (серьезно, она вообще отличалась серьезностью, ей в голову не приходило острить, зубоскалить, проявлять неуместный юмор):

— А что если признаки гениальности есть, а гениальности нет?

Зал рассмеялся.

Заулыбался и докладчик, взгляделся в Нину, картинно развел руками.

— Разумеется, такое возможно, — сказал он, — всегда отыщется какое-нибудь исключение, какой-нибудь казус, какой-нибудь входящий в противоречие с теорией и практикой организм, норовящий статистику испортить. Само по себе такое исключение ничего не значит. В худшем случае человек бывает уверен в своей несуществующей гениальности, по всем вышеупомянутым пунктам подтвержденной, — и злобится на окружающих, его гениальности и величия не замечающих. Тут открываются большие и малоприятные возможности — от психопатологии до античеловеческих отклонений разного рода. Но это уже не моя тема.

Энверов почему-то принял слова лектора на свой счет. У него было свойство быстро бледнеть: чуть свинцовым, голубоватым оттенком белого покрывалось красивое, смазливое лицо его, становясь еще неподвижнее, на мгновение превращаясь в маску.

Г., стоявший рядом со мною, тоже заметил реакцию Энверова, потому что все это время (рост ему позволял) неотрывно смотрел на Тамилу.

Он был старше и Тамилы, и меня, об Энверове, из молодых да ранних, что говорить. Я сообразил это в один из прошлых вечеров у костра. Пели песню Высоцкого

о книжных детях, я видел, как Г. слушал: книжные дети — это были мы (минус комсомольский божочек, нынешний Тамилин ухажер), а Г. помнил войну, пережил ее, голодал, жил под обстрелами и бомбардировками. Думаю, он иначе смотрел на жизнь. Я знал, что у Г. есть жена, поэтому роман его с Тамилей обречен, хоть он и любил Тамилу как-то заодно с дизайном — делом жизни своей, если можно так выразиться. В гомонящей толпе слышал я, как глубоко он вздохнул перед тем, как уйти. Дверь за ним закрылась, вопросы исчерпались, я подождал Нину, мы отправились посмотреть макеты мастер-класса пропедевтики, она еще не видела их.

### Этюд

- Ты женат? — спросила Тамила.
- Нет, — ответил Энверов.
- И не был?
- Нет. И не собираюсь.
- Почему?
- Ну, сперва жена куда ни шло, а потом она детей захочет, а я их терпеть не могу.
- За что?
- За то, что поселяется в доме такое маленькое, вонючее, заполняет квартиру, весь белый свет, все время. Да мне от одной мысли о гаженой пеленке мутит.
- Я поняла, — сказала Тамила. — Сблевать не сблюешь, а стошнит обязательно.
- Что?!
- Ой, это с другой страницы. Я хотела сказать: стошнить не стошнит, а сблюешь обязательно.
- Ты что говоришь? Что за хамские выражения слышу я из дамских уст румяных?
- Это цитата из великого произведения Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки».
- Какие кретинские книги читают наши пресловутые книгочеи! Кстати...
- Как всегда после «кстати», вплетал он нечто, что было некстати вовсе и к предыдущему разговору отношения не имело.
- Кстати, вот я все хочу спросить: что такое «дизайн»?
- Художественная конструйня, — отвечал я с косогорчика. — А говорить надо не «пресловутые книгочеи», а «грамотеи фиговы».
- Это еще кто? — Энверов нахмурил красиво отрисованные соколиные брови свои. — Что ты тут делаешь?
- Этюд пишу.
- Тамила тут же побежала посмотреть.
- Иди сюда! — воскликнула она. — Этюд-то хороший. Вон какой прелестный цвет небесный над крышами.
- Я не специалист по цвету небесному, — сухо промолвил Энверов.
- Он у нас специалист по маленькому и вонючему, — сказал я.
- Ты еще и подслушиваешь?
- Что ж тут подслушивать? Орете, как в рупор, громкость не регулируется, городок мал, остров невелик, всем слышно всё и всюду.
- Пойдем, — сказала Энверову Тамила, — сейчас катерок подойдет к пристани, мне ребята шампанское проспоренное привезут.
- Они убыли по узкой неровной улочке, навстречу попался им Г., элегантный, в легкой спортивной курточке, с легендарной эспаньолкой. Он церемонно раскладывался с Тамилей.
- Почему он на тебя так смотрел?

- Как умеет, так и смотрит.
- Он что, клинья к тебе подбивает?
- Да какие клинья, — сказала Тамила, — какие клинья, я с ним жила три года.
- Ч-черт! — выкрикнул Энверов.

Он сказанул бы и хуже, но почему-то сдержался. Тут выкатился им навстречу заводной чертик на лисапете с трубою, махавший цилиндром, сопровождаемый группой любителей заводных игрушек или авторов оных.

Чертик попал на дорожную выбоину, свернул с пути, слетел бы с возвышенного бережка, да я успел его подхватить.

Сложив этюдник, собрав манатки в холщовую сумку, пошел я вдоль берега к Нининому дому. Поскольку остров был округл, куда ни пойдешь, налево или направо, путь вел именно к ее дому с двумя деревьями, липой и сосной. Но левая дуга никогда не была равна правой, неважно, откуда движешься, на длину дуги влияла не только отправная точка, но и рельеф, и застройка, и степень извилистости стежек с дорожками да бездорожных прибрежных трав, и то, что против часовой стрелки остров обходить всегда было легче, чем по часовой.

### Трактат обо всем

— «Раньше я ничем не интересовался, теперь меня интересует все, я увидел все не сразу, уже научился я ходить и немножко знал слова, пел без слов, знал, как называются мои ноги, руки, голова, глаза, уши, рот, нос, волосы, пупок, но словно я все еще находился в утробе матери, как до поры находились в нашей кошке котята, в собаке щенята, в корове телок, как цыпленок сидит в яйце, а вокруг защитный мешок, вокруг цветочные пятна, многое на ощупь, но ни слов, ни того, что называют „глаголы“, иногда видишь волны, как на отмелях свей, рябь, только мелькнет над отмелью еще один отмелёк, уйдет к невидимому дну еще один глубиноид, а твоя срединная жизнь тебе не дается, матушка, у которой я так отчасти в утробе и сидел, не любила меня, не понимала, как из нее такое могло родиться, я не походил ни на братьев, ни на сестер, хотя внешне мы были чуть-чуть похожи, посторонние тут же угадывали, что я им брат, зато отец меня любил, и из его любви постепенно стало возникать **всё**, впервые в ту летнюю ночь, когда я не спал, кричал, бегал, и мать, устав, тоже стала кричать и сходить с ума, тогда отец вытолкнул меня в наш внутренний сеной двор и запер дверь на засов. Я продолжал бегать, биться, орать, но сено пахло отцветшей сушеной разнотравной травой, полевыми цветами, я не мог даже сняжка на лбу набить, вокруг было мягко, шуршало, я устал, лег на спину, глянув вверх, увидел, сколько там звезд, окруженных высокой рамой стебельков, еще не съеденных коровой, и с этого началось **всё**, оно началось со звезд и трав, а потом стало прирастать, и продолжает, и пока я живой, будет прирастать, потому что в человеке **всё** может вместиться только помаленьку, по чуть-чуть, постепенно, в разные дни в разных количествах, иногда это день зеленого трилистника, окруженного ярко-белым снегом, если весна, а если путешествие и лето, получится море океанского размера, даль из волн, облаков, обещаний своей земли, еще не виденных чужих мест, но в другой раз все прирастет старой кофемолкой, будешь крутить скрипящую ручку, молоть зерна для кофья, почувяв запах колониальных исторических земель, где так тепло вокруг плантаций, где пальмы, сезон дождей, ночные бабочки большие птиц, а колибри меньше наших стрекоз, где берег океана с мелким теплым песком, а в океане и его теплых морях есть медузы, дельфины, морские коньки, вдруг настанет тебе момент догадаться, что морской конек — это Пегас, малютка бог поэзии, а под шорох набегающей волны ты поймешь цезуру, паузу, вздох в стихах Гомера и всех поэтов всех времен на Земле, вот учили тебя, учили, то отдельно, сё отдельно, а настанет мгновение чудное



разломанную картину складывать из кусочков, из пазлов, все начинает сходиться, находить свое место, гуляют короли старинные по разным странам, этот пазл — золотая корона, а соседний маленький насекомый комар, а тот золотой выпал из золотых волос сказочной Златовласки, а насекомые цифры играют в свой муравейник, его столбики, задачи, примеры перестали тебя пугать, ты узнаешь их в номере дома, где твое жилище, в числе, месяце, годе своего рождения, в сантиметре, если тебя измеряют им, чтобы справиться тебе пальто или новые штаны, тебе уже не хочется плакать и приставлять к ногтям их похожие на лунные полумесяцы острижки, когда стригут себе ногти и у тебя есть кот, собака и соловей императора в книге, а завтра будет новое сегодня перед новым завтра, и опять тебя обступит все все все все все все все все все, а теперь я поставлю временно подпись свою, закончив этот трактат обо всем, а завтра или послезавтра начну новый...»

*Эрик...*

Эрик был тридцатипятилетний аутист, вышедший из аутизма к тридцати двум годам, его большая фотография висела в классе, где переводчица трактат читала. Эрик был швед, ученик известной Ирис Ю.; тоже выйдя из аутизма, она работала с аутичными детьми, в том числе с Эриком, которого привели к ней неговорящим, перепуганным, казавшимся пятилетним. Автор трактата смотрел нам в глаза, рука-ва свитера доходили ему до кончиков пальцев, на плече у него сидел хомячок.

После подписи Эрик всегда ставил многоточие.

### **Хозяйка и художник**

Вечерами после чая мы играли с Ниной и с хозяйкою в карты на деньги: в «пьяницу», в «Акулину», в «Фофана» и во «Всеобщий пасьянс»; на кон ставили копейки. Я ходил из семинара в семинар и всех просил мне этих копеек побольше поменять. В результате собрал чуть ли не на монисто. Потом, через несколько лет, да чуть ли не через десять, я и впрямь сделал к Новому году для Нины монисто, стерев надфилем копеечные рельефы.

В тот четверг устроил я себе окно в слушаниях, написал этюд, показавшийся мне удачным, явился к Нине с этюдом, не то похвастаться, не то порадоваться, хозяйка тоже увидела работу мою и неожиданно вскричала, почти повторив слова Тамилы: «А какой цвет-то небесный на самом верху над облаками!» Я подивился ее живописному чутью, а она сказала:

— К нам ведь часто художники приезжают, и теперь, и в прошлом веке ездили, а один у меня останавливался и сперва просто работал, а потом разговорились, он мне много чего рассказал, а уезжая, один пейзаж свой подарил. Человек был необычайный! А какой художник! А жена его, что за ним приехала, тоже чудесная художница была, ни на кого не похожая.

Карты в тот вечер и не доставали, все чайная наша церемония посвящена была этому художнику, о котором я прежде не слышал.

— Сначала только здоровались, тихий, немногословный, мы незадолго до отъезда его разговорились. Писал он левой рукой, я думала, он левша, но в жизни обычной он ел правой и дрова колот правой, так что и вторая мысль моя — мол, фронтоник, после ранения правую руку щадит тоже оказалась неправильная.

Он объяснил мне: правая рука у него испорчена академической реалистической школой, так хорошо его в Академии художеств выучили, что рука сама автоматически рисует и пишет, как положено, так и называлось, как у музыкантов, «руку

поставить». Я, сказал он, ученик одного великого мастера, которого в глаза не видел, мастер умер от голода в блокадном Ленинграде, при жизни его не признавали, говорили, что он формалист. Что такое формалист, — спросила я, — а он ответил: большое значение форме предметов придавал и форме изображения их, тогда как у нас в официальном государственном живописном искусстве считалось, что форму изучать раз и навсегда надо в студенчестве художнику изъяснить, какой научили, такая и правильная, главное — социалистическая идея произведения, формально все должны выражать ее одинаково, никакой такой формы своеобразной в природе как бы не существует. Как же так, — спросила я, — ведь, куда ни глянь, у всего форма своя, можно и потрогать, на ощупь полуслепому понять, о камень или об угол стукнешься, паутина паучья невесоома, одуванчик вот-вот разлетится на семена, но и его в руку возьмешь, если успеешь, а облака вообще не пойми что, а ведь видно, одни круглые, пухлые, другие как птицы волшебной с великих высот перышки.

Он очень обрадовался, что я так сказала, прямо развеселился. Видя, что он оттаял, спросила я: как же он учился у художника, который ко времени обучения умер? А мне, отвечал он, книга о нем попала, где мысли его прижизненные ученики пересказывали, много репродукций его работ было, а также работ учеников; называлось его направление — аналитическое искусство, сначала подумай, помысли, а затем изображай, а рука моя правая думать не хочет, рука набита, со своей глупостью и халтурой вперед лезет, стал я, сказал он, переучиваться и левой рисовать.

Нравился ему балкончик мансардной комнатки, где он обитал, я рассказала ему: Троицкий, мол, некогда на балкончик выходил, пламенную речь народу говорил, все околдованные стояли. Художник мой и тут развеселился, заговоренный, говорит, стало быть, балкончик, надо бы мне на него выйти да народу крикнуть: «Люди! Любите аналитическое искусство!» — и все полюбят.

— Это вряд ли, — сказала я.

— Я, как он уехал, думала: может, ему со своим обращением надо было на другой балкончик выходить, в городе родном, балкончик особняка известной балерины, царской любовницы, тогда бы, возможно, и его художественное начальство возлюбило работы учителя моего художника, а также картины самого призвавшего возлюбить.

— Нет, это невозможно совершенно, — сказал я, — у них не только рука набита, но и глаз тоже.

— Глаз бывает только подбит, — заметила Нина.

— Глаз бывает замылен, — возразил я, — и смотреть можно на свежий глаз и на несвежий, тухлым взором, нездешним, неживым.

— Несвежий глаз у тухлой рыбы, — вздохнула хозяйка. И продолжала: — Кроме работ своего великого учителя, любил он особо еще одну картину, возил картинку, с нее напечатанную, с собою и из-за нее к нам и прибыл. Репродукцию эту он мне подарил, увидите, она у меня рядом с его пейзажем висит. У нас места особенные, заговоренные, остров волшебный, воды вокруг в слияние играют, сливаются Свяга со Щукой, впадают в Волгу, и еще между ними Щучье озеро. На острове нашем, кроме Ивана Грозного, побывали царица Екатерина Вторая, царь Александр Первый, Радищев, декабристы, Герцен, Достоевский Федор Михайлович, граф Лев Толстой, множество художников, в том числе написавший любимую картину художника моего Левитан. Картина называется «Озеро. Русь», написал ее Левитан и вскорости умер. На картине озеро, справа плавни, слева в глубине остров наш со Свяжском, а главное — вода, а над озером большие кучевые облака, а от одного облака на берег острова нашего падает тень.

И вот моему художнику рассказали, что тенью Левитан пометил особое зачарованное место: кто туда придет, там побудет, получает особый дар провидения, особое зрение, и желания его, если задумает их там, исполнятся.

— Кто же ему такое рассказал?

— Какой-то... Как это... Экстра...

— Экстрасенс? — спросила Нина.

— Да. Это кто ж такой, кстати? Вы знаете?

— Экстрасенсы, — сказала Нина сурово, — это жулики, мракобесы и доморощенные маги.

— Не все, — вступился я.

— Нет, все.

— А как же старцы монастырские? — спросил я. — Ведь они были ясновидящие, целители, великая сила в них была.

— Ясновидящий одно, — упрямо сказала девушка моя, — а экстрасенс другое.

— Не спорьте, — устало сказала хозяйка, — мой-то художник мудрый, у него талант от Бога, он нипочем жулика слушать бы не стал. Знающего слушал.

— Есть знания, — сказала Нина, — которые человеку вовсе не нужны.

— Художник мой, — продолжала хозяйка, — все хотел это место, куда тень облака на картине Левитана упала, отыскать. Каждый день брал лодку, отправлялся, да все точку не находил. В Левитановы времена остров был то остров, то холм среди оврагов и лугов речных, а теперь и плавней правого угла «Озера» не отыщешь.

Он говорил: есть в десятилетиях день и мгновение совпадения всего — течения воды, скорости ветра, положения солнца; такое же облако так же поплывет, и туда же падет тень от него.

Сын у художника болел, болел мальчик, думаю, в волшебном месте бережка хотел художник исцеления для него просить.

Стали у него получаться особо хорошие работы, он был радостный, надеялся; а тут его собрат по живописи из Ленинграда прибыл с другими вестями.

Моего художника ни одной работы закупочная комиссия не купила, ни одного заказа ему не дали, сказали, он теперь формалист, ученик формалиста, а какие надежды подавал, как хорошо начинал. Так что остался художник наш с семьей без средств к существованию.

Вестник недобрый обратно уехал, а художник запил, что стало для меня полной неожиданностью. Что я, пьющих не видела. Но он-то буйным не становился, только задумывался все больше и больше говорил. Я хотела его остановить, уговорить. Говорю, зачем вам дурь такая? У нас и так вокруг все пьют.

— Пьют? — сказал он. — Ну, пьют-то пьют, но еще и выделываются. Артистичный народ-то. Вроде хлебнул — и самовыражайся. В случае чего скажут: «Спьяну». Да они и трезвые такие же. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

Утром соседи прибежали, заberi, говорят, постояльца из лодки, отплыть не может. Бегу, а он у берега отчаянно гребет, а нос-то лодки на берег смотрит.

К середине дня приехала за мужем жена художника. Звали ее Метта, родом она была из Прибалтики.

Чудо что за женщина. Едва вошла — в комнате светлее стало. Где только такую нашел.

Она с собой альбом квадратный привезла, французский, что ли, собиралась побыть дня три, поработать, а как мужа увидела, раздумала, нет, говорит, едем завтра, а я ее попросила — можно ли мне ее работы посмотреть, разобрало меня любопытство. Конечно, говорит, невелик секрет, улыбается, волосы золотистые в скобку, глаза светлые, прозрачные, улыбка солнечная. И, верите ли, у меня эти ее неболь-

шие работы в глазах по сей день стоят, такая в них была красота, а работы как будто чуть-чуть детские.

Развязала она припасенный пакет со сбором трав, мне неизвестных, по запаху учуяла я разве что мяту, тархун да тимьян, мужа до вечера отпаивала, наутро встал он трезвей трезвого, как стеклышко, и уехали они, она грести сама взялась, отдыхай, говорит; я говорю: не так близко вам плыть-то, а она говорит: да мы сколько лет почти по полгода в Старой Ладогe живем, там все время на лодке, мне, говорит, легко. Бывают такие женщины, им все легко, и с ними легко. «Как же вам лодку вернуть?» — «А ничего, я вам объясню, на каких мосточках привязать, мне потом пригонят». Долго я им вслед смотрела. Художник мне рукой помахал. Я ее еще спросила: как же так, у него такие пейзажи хорошие, работающий, почему же с ним так начальство обошлось? а она ответила: что делать, фашисты они, сами того не ведают.

Как уплыли, дождь пошел, шел десять дней. А мне он одну свою работу подарил, потом сосед к ней раму сделал из ломаных золотых рам бывшего клуба с того берега, хотите, покажу?

### Комнатка

Комнатку с лежанкой, в которой висела дареная картина, как раз Нина и снимала. На лежанке красовался полосатый половичок из разноцветных тряпочек, два похожих на полу. На левой стене висел ряд портретов, взглядевшись, я чуть не расхохотался, но сдержался, по счастью. То были репродукции из «Огонька» и неведомых мне, канувших в Лету дореволюционных изданий, компания престранная: Иван Грозный (по счастью, не репинский, убивающий своего сына, жуткая картина, я ее боялся с детства, — а в роли Грозного из кино артист Черкасов), Екатерина Великая, Александр Первый, Радищев, крупное фото медали с профилями повешенных декабристов, Лев Толстой рядом с лошадью, Достоевский (портрет Перова), Пушкин Кипренского рядом с лирою, Левитан с репинского портрета.

Увидев, что я перед этой галереей обмер, хозяйка не без гордости пояснила:

— Всё гости нашего города. Вот только Герцена не нашла, не знаю, где взять. И Троцкого нету, мне он ни к чему. Скажите, а правда ли, что его в Бразилии мексиканец-коммунист ледорубом убил? Я не понимаю, где же он на такой жарнице с кактусами ледоруб взял?

Странные вещи занимали умы сограждан моих. Картина хозяйкиного художника, обрамленная поталевым самоварным золотом правительственных портретов, зеленовато-синей листвой деревьев, лиловыми тенями, темными избами, граненым предгрозовым небом, и впрямь была хороша. Я не видел в ней особого сходства с Филоновым, не видел «формализма», но у начальства от искусства глаз был наметан на все живое, особой оптики: не о чем говорить, понять невозможно, почувствовать тоже нельзя.

У окна стояла раскладушка, покрытая ситцевым одеялом, на тумбочке в углу светился букет сирени, на плечиках у двери висела Нинина одежда, на двери прикреплена была узкая длинная икона, судя по петлям сбоку — часть трехстворчатого триптиха или двустворчатого узкого шкафчика. У святого на иконе на голове была плетеная корзинка, а нимб напоминал огромную, полную луну, святой стоял босиком на непонятной формы плотике; вокруг него до горизонта простирались воды; на руках держал он овцу, чье узкое неовечье лицо повернуто было к молящимся, то есть ко мне; овца глядела неотрывно.

— Кто это?

— Спиридон Тримифунтский, — отвечала хозяйка, крестьясь, — на плаще своем пастушеском море переплывает, нашел свою заблудшую овцу.

Стучали в окно.

— Молоко привезли! — вскричала хозяйка. — Пойдем, Нина, поможешь мне.

Они убежали, я остался один.

Тишина и свет комнатки объяли меня. Я вспомнил слово «светлица». Светлица, светелка: ярко-белая, недавно выбеленная печь, обои наклеены наизнанку; светлые, без рисунка, белые занавески, и Нинино платье, висевшее на стене, тоже было белое, с редкими блеклыми колокольчиками.

В тишине и белизне меня осенило моментально: хочу, чтобы Нина была моей женой, хочу жить с ней всю жизнь, хорошо бы было жить именно тут, но раз это невозможно, хоть где угодно, например, в нашем с ней городе родном.

Она появилась в дверях, неся пол-литровую баночку с молоком, как-то смешно ее держала, обхватив ладошками.

— Нина, — сказал я, — выходи за меня замуж.

Мы стояли в светелке неподвижно, она смотрела на меня, в первый момент от неожиданности не поняв моих слов.

— Мы ведь только что познакомились, — сказала она. — Ты меня совсем не знаешь. И я тебя.

— Чтобы познакомиться, — сказал я, — у нас вся жизнь впереди.

Все, что я ей говорил, было сюрпризом не только для нее, но и для меня самого.

— Ты только не говори «нет», — продолжал я, словно произнося текст выученной роли, — подумай, думай, сколько хочешь, ну, не год, конечно, да хоть три месяца, хоть пять, а потом ответь «да».

— Обычно за девушкой ухаживают... — сказала она несколько неуверенно.

— Буду, обещаю.

— Цветы ей дарят, знаки внимания оказывают...

— Конечно, — сказал я. — Все впереди.

— В любви объясняются...

— Я объяснюсь, вот только слова подберу, пока ты думаешь. Если хочешь, приедем в город, буду просить твоей руки у твоих родителей.

— Я сирота, — сказала Нина.

— Ну, как вам молоко? — спросила хозяйка из сеней.

Тогда я взял из Нининых ладошек банку с молоком.

— Осторожно, — сказала Нина, — налита с верхом.

Я загадал: если выпью, не пролив ни капли, она согласится.

Ни капли не пролил.

И сказал хозяйке за дверь:

— Лучшее молоко в мире.

## Пляж

Ночью не спалось мне, дождался я утра, пошел с этюдником куда глаза глядят; впрочем, было мне известно: тут, куда по берегу ни пойти, придешь к Нининому дому. Утро было теплое, день ожидался жаркий.

На узкой прибрежной полосе пляжа под высоким срезом бережка на покрывалах узорчатых загорали Энверов и Тамила. «Интересно, — подумал я, — всем они так постоянно попадают или только мне?»

— Да ты и сама знаешь, — говорил он ей, — что есть существа высшие, а есть низшие, и мы с тобой принадлежим к высшей касте. Я по роду занятий, своих и родителей, по происхождению, а ты по природным данным.

— По природным данным? — переспросила она его почти механически, думая о чем-то своем.

— Ведь не у всех, — отвечал он, — такие округлые плечи, бедра, грудь при тонюсенькой талии, например. Не у всех такая потрясающая походка, ты ходишь, как танцуешь.

— А что такое низшие существа? — спросила она.

Я ответил с высокого бережка:

— Амебы, дафнии, простейшие, инфузории.

— Черт, он опять идет на свои этюды, — раздраженно промолвил Энверов, — следит он за нами, что ли? Может, ему врезать? Я какой только борьбой не занимался.

Тамила встала, сказала мне:

— Да иди уже ты на свой пленэр.

А потом ему:

— Здесь ни к кому со своей борьбой не лезь. Тут интеллигентные люди собрались, ты понял?

И пошла к воде.

Мы оба глядели ей вслед, смотрели, как идет она танцующей походкой, высоко держа красивую, коротко стриженную головушку свою. Она вошла в воду, поплыла, порывисто взмахивая руками.

Едва отошел я, как попался мне еще один зритель Тамилиного купания, человек, произносивший реплику про Гурджиева, по фамилии Филиалов. Он стоял как вкопанный, поздоровался со мной, не отводя глаз от плывущей.

— Какой, однако, неподходящий спутник у этой прелестной девушки, — сказал Филиалов.

— Вы с ним знакомы?

— Я таких видел не единожды. Они все одинаковы, но этот много хуже остальных. Я имел возможность хорошо его разглядеть и вслушаться в слова его, он очень интересовался Гурджиевым, по поводу гурджиевских сочинений, метода и личности как таковой, со мной не раз и не два общался. Еще интересовался он Фаустом, магией и собственно сатаной, — тут Филиалов усмехнулся (мне показалось — не к месту).

— Вы думаете, он из тех, кто мечтает сатане душу продать? Или уже продал?

Филиалов, отведя взор от выходящей из воды Тамилы, посмотрел на меня. Я не увидел бликов в глазах его, мне это не понравилось.

— Полно, молодой человек, — сказал Филиалов, внезапно повеселев, — чтобы продать душу дьяволу, нужно, как минимум, иметь душу.

Тамила выходила из воды, мокрая, обведенная солнечным светом, Энверов шел ей навстречу с махровым полотенцем.

— Через день, — сказал Филиалов, — я читаю лекцию о механизмах, заводных игрушках и просветительской философии механицизма. Приходите. Кстати, думаю, что и этот поклонник прекрасной нашей Тамилы явится всенепременнейше. Если захотите, станете в начале лекции моим пятиминутным ассистентом, поможете с курочками и лягушками.

— С какими курочками и лягушками?

— С заводными. Будем их, знаете ли, ключиками заводить. У меня их много. Целая орда.

Слегка прихрамывая, он удалился.

А я, выбрав самый старый, неказистый, покосившийся сарай, только и успокоился, написав серебристые крыла выдавшей виды крыши. Сарай на моем этюде растворялся в зелени, в воздухе, совершенно утерьял светотень, объем, вес, не о них думал я в то утро, а о любви.

### Девять рядов до Луны

Актный зал женской гимназии, служившей мне гостиницей, набит был под завязку, желающих услышать доклад об основоположниках дизайна как такового оказалось более чем достаточно. На сцене стоял высокий столик для докладчика с высоким канцелярским стулом, напоминавшим сиденье в баре (бары видели мы в кино и в журналах вроде «Domus'a»), висел экран, ждал своего момента диапроектор, но начало непривычно затягивалось — по обыкновению, все сообщения начинались у нас с самолетно-вокзальной точностью. Зал уже зашумел, зарокотал, когда вышел один из координаторов нашего семинарского действия и произнес:

— К сожалению, докладчик по заявленной в программе заседаний теме «Девять рядов до Луны», всем нам известный советский теоретик и популяризатор дизайна, не смог сегодня приехать, мы приносим всем вам, дорогие слушатели, свои извинения. Однако решено было доклад не отменять, поэтому сейчас на близкую несостоявшемуся сообщению тему перед вами со своим эссе выступит Тамила Николаевна Доренко из Ленинграда.

И вышла Тамила, в лиловом шелке, темном бархатном узкоплечем пиджачке, с пылающими щеками.

— К сожалению, — так начала она свое выступление, — я не знакома с полным текстом докладчика, вместо которого придется вам послушать меня, хотя реферат его я читала. Как вы догадались, очевидно, по названию, в большой мере речь должна была пойти о Бакминстере Фуллере, авторе известнейшей статьи «Девять рядов до Луны», о котором уже говорил перед вами Александр Сергеевич Титов, а также о других великих архитекторах, ставших основоположниками дизайна: Петере Беренсе, Вальтере Гропиусе, Мисе ван дер Роэ и Ле Корбюзье.

Фуллер, признанный гурӯ новейшей архитектуры и дизайна, автор понятия «синергетика» (которая тоже нашла свое отражение в пределах программы наших семинаров), увлекался разнообразными парадоксальными статистическими выкладками и оставил нам, кроме своих блистательных разработок, ряд весьма оригинальных книг; я перечислю некоторые из них: «Четырехмерное время», «Похоже, что я — глагол», «Интуиция», «Послание детям Земли», «Тетрасвиток», «Космический корабль Земля; техническое руководство».

Но поскольку сообщение мое возникло неожиданно для меня самой, граничит с импровизацией, я изложу вам свою, совершенно женскую версию рассказа о наших великих путешественниках, связанную с женщинами, с их спутницами, теми, о которых мне, волею судеб, известно.

Зал притих, все наострили уши, в первых рядах вытянулся в струнку (а он и так держался как аршин проглотил, выправка от природы) ее бывший возлюбленный, должно быть, она сочинила это свое эссе о женщинах и дизайне, думая о нем, о своих мечтах, что вот будут они вместе, единомышленники... ну, и так далее.

— Бакминстер Фуллер, — продолжала Тамила, — подсчитал, взяв за основу средний рост человека, равный ста семидесяти сантиметрам, что если люди встанут, как в цирке гимнасты, на плечи друг другу, то человечество образует девять рядов до Луны. Некогда, когда людей на планете было меньше и рядов было меньше,

а к концу двадцатого века и началу двадцать первого число их может дойти до двух десятков; но во время написания фуллеровской статьи рядов было семь, в них входили и наши герои, а также их женщины, о которых я сейчас расскажу.

И поскольку начали мы с названия доклада, оно же — название книги Фуллера, не по хронологии, не по порядку, но в честь Баки, как его называли, я начну с его дочери и его жены. Потому что мое эссе — о дизайне, о жизни, смерти, ревности и любви.

Щеки ее пылали, сиреневый куст на ветерке стучался в окно, словно хотел войти, потому что знал, как и все мы, что Тамила возникла из сирени.

— Волею судеб, — продолжала она, — я читала, что время дискретно, мне объясняли смысл слова «дискретно», но по-настоящему поняла я и утвердилась в этом свойстве времени на примере виденных мною фотографий Ричарда Бакминстера Фуллера. Сначала полумальчик-полуюноша, гимназический отрок, потом красивый молодой человек, спортивный, с высоко поднятой головою. Промелькнул было портрет между молодостью и зрелостью: волосы тронула седина, лицо еще то же — и все. Дальше изображения исчезают. Баки выныривает из времени в пятидесятые уже в старости: седой ежик волос, гуру, морщины, монументальные черно-белые портреты, одно цветное фото — два старых человека — с улыбающейся Энн.

В конце двадцатых годов, когда был он безработным, неудачником без средств к существованию, когда его красавица жена родила вторую дочь Аллегру, а первая любимая доченька Александра умерла, годовалая, от воспаления легких, и он винил себя в ее смерти, потому что жили они бедно, неустроенно, в жалких холодных меблирашках тесного пыльного района Чикаго... Он сначала запил, а затем хотел покончить жизнь самоубийством.

И впечатление такое, что он действительно покончил с собой: он исчез, пропал, верите ли, ни одного фото в зрелости. Вернулся под старость.

Студентом он был лихим, его то отчисляли, то собирались отчислить, за ним водились донжуанские подвиги, он знакомился и на пари заводил романы с модистками, хористками, девчонками из варьете. В 1914 году он познакомился с Энн Хьюлетт, красавицей, она была легкая, тоненькая, ему по плечо, а эти шляпы с полями, глаза из-под полей кинематографических... В 1917 году они поженились и, прожив вместе шестьдесят шесть лет, умерли в один день.

Находясь на грани самоубийства, он вдруг приходит к мысли о нелепом эксперименте, задумывается: что может сделать один человек, надеясь только на свои силы, для блага всего человечества, ни больше ни меньше. И опыт этот начинается.

Результат известен.

Но мне кажется, что его великие геодезические купола, летающие города проекта «Девятое небо», идея о том, что человечество должно полагаться на возобновляемые источники энергии (солнечного света, ветра, воды), большинство его идей и открытий связаны напрямую с защитой от холода, голода, неустроенности, болезней маленьких детей, таких, как его годовалая девочка, которую он не смог защитить.

В старости жили они с женой, с Аллегрой и внуками в Калифорнии. Энн Фуллер тяжело болела, онкология, операции, — не все удачные. Она лежала в коме, он сутки напролет проводил у нее в больнице. В тот день он вскочил, совершенно счастливый, вскрикнув на всю палату: «Она сжала мне руку!» И упал, потерял сознание, умирая от обширного инфаркта. Энн, так и не придя в себя, через час последовала за ним.

И приняли их его неосуществленные, несуществующие летающие города в последний полет. О, простите, виновата, я забыла про диапроектор!

Тут стала Тамила показывать свои диапозитивы, перепутала последовательность: в обратном времени возникали перед нами цветные портреты Ричарда и Энн



Фуллер, цветные геодезические купола всего мира; далее мир стал черно-белым: монументальные изображения старого гуру в мастерских, макеты, модели. Вот они с юной Энн, в широкополой шляпе, с малышкой Аллегрой, — лицо его так и не оттаяло после смерти ее годовалой сестры, а вот красавец из Кембриджа, крутивший романы с куколками-танцовщицами, и, наконец, школьник.

Потом, безо всякой паузы, на экране появилась картина Климта «Поцелуй».

— Один из «четырех великих» архитекторов двадцатого века, ставший основателем знаменитого Баухауза, Вальтер Гропиус, после трех лет работы с Петером Беренсом начал работать самостоятельно. Как дизайнер проектирует он внутреннее оборудование цехов, автокузова, тепловоз, обои, как архитектор — знаменитое здание обувной фабрики Fagus-Werke. В 1910 году он знакомится с Альмой Шиндлер, то есть уже Альмой Малер, женой композитора Густава Малера. Считается, что именно ее изобразил на своей известной картине влюбленный в нее без памяти Климт.

Альма тяготела к истории искусств, все ее мужья и любовники по истории искусств проходят: и Малер, и Кокошка, и Климт, и Верфель, и Гропиус. Она сама писала музыку; Малер сказал ей: «Твоя музыка лучше моей»; я полагаю, он имел в виду нечто метафорическое, музыку ее тела, но Альма поверила, решив, что и вправду ее опусы превосходят произведения гениального Малера. Это неоспоримое доказательство ее непроходимой глупости, но в те времена, как и во все другие, ума от женщины вовсе не требовалось. Муза многих, она вдохновляла своих мужчин, с ней ощущали они особый вкус бытия, теперь буржуазные заграничные люди назвали бы букет ее свойств «сексапильностью», а саму Альму секс-бомбой, во времена ее молодости слов таких не говорили. Она переходила от гения к таланту (и наоборот), словно кубок Нибелунгов, как переходящий приз. Похоже, такие женщины встречались в начале века не единожды, соответствовали стилю эпохи.

Тут на экране появилась Альма, и Тамилла осведомилась у слушателей своих, не напоминает ли им ее точеный профиль и прочие отточенные, выверенные, пролепленные природой части фигуру на носу корабля, прекрасную ростру.

— Призрак Альмы-ростры, — сказала Тамилла, — видится мне на носу утонувшего «Титаника». На мой взгляд, «Титаник» — тоже один из создателей дизайна: его изощренная, необузданная роскошь, многодетальность, избыточность, пойдя ко дну к чертовой матери, не могли не породить минимализма и конструктивизма.

Этот ее пассаж, особенно совершенно неожиданная в устах Тамиллы чертова мать, породил некий ветерок, пронесшийся по залу.

Почему-то «Титаник» в последнее время частенько вспоминали, хотя от будущего создания оscarоносного фильма отделяли нас несколько десятилетий. При мне известный искусствовед сказал: «Целая эпоха пошла ко дну, Серебряный век вместе с нею». А один из мухинских, помладше меня, из самых одаренных, Копылков, узнав, что заведующий кафедрой керамики, штигличанский проректор Владимир Федорович Марков родился в день гибели «Титаника», произнес: «Чья-то душа всплыла».

А меня от слов Тамиллы о «Титанике» пробрала минутная судорожная дрожь, я вспомнил о том, что мы на острове, а там, на косе, под водой, пребывают множества скелетов безымянных лагерников, подобные пассажирам затонувшего корабля незнакомой недавней эпохи.

Свет лекторского фонарика, освещавшего Тамиллины листки с текстом, освещал и ее лицо с пылающими щеками, тенями ресниц, подобное портрету Латура; луч диапроектора высвечивал на экране образы прошлого. Интересно, подумал я, о чем книга Букминстера Фуллера «Четырехмерное время»?

Дочь художника Шиндлера, очаровавшая Климта, влюбившаяся в композитора и дирижера Цемлинского, жена Малера, любовница, а потом жена Гропиуса (они поженились, когда Альма стала вдовой), разлюбила биолога Каммерера и рассталась с художником Кокошкой. Любовница и невенчанная жена писателя и поэта-экспрессиониста Верфеля за год до своей смерти (в восемьдесят четыре года) выпустила книгу с откровенными описаниями всех своих возлюбленных (достаточно оскорбительными), расистскими высказываниями и словами, полными сочувствия нацизму. Мы больше не будем о ней говорить, напоследок увидев ее образ в картине Кокошки «Невеста ветра».

Невеста ветра, написанная Кокошкой, спала с мужчиной — возможно, ветром, — в гнезде из экспрессионистических облачных бурь, изломанных линий; я вспомнил простонародное «ветром надуло» о младенцах, прижитых с «проходимым молодцом».

— Поговорим о Манон, — сказала Тамила.

И на экране показалась серьезная девочка с кошкой.

Потом та же девочка с отцом, с Вальтером Гропиусом.

В ней было что-то притягивающее взгляд, она запоминалась: вот ушел кадр, что вам до него, что вам до этой девочки, а почему-то она западала в сердце, оставалась с вами.

А теперь она выросла, стала девушкой, барышней, смотрела на вас, улыбаясь: нежное милое лицо, странный ракурс, три четверти почти, но как-то на бегу, чуть исподлобья, словно она проехала мимо вас на неспешной карусели, а вы сфотографировали это мгновение чуть-чуть сверху. Отец любил ее без памяти.

Когда узнал он об очередном романе своей невероятной жены, о том, что умерший в колыбели младенец Мартин сыном ему не был, он уехал, — собственно, навсегда. Чтобы не компрометировать жену, бывшую мать обожаемой дочери, он подстроил randevu с проституткой (свидетелей полно) — это было объявленным поводом для развода. Альма тотчас снова вышла замуж, теперь уже за Верфеля.

После развода девочка осталась с матерью и отчимом, вспыльчивая, своенравная, невыносимая. В переходном возрасте разрыв родителей дался ей тяжело.

В 1930 году она стала сговорчивой, почти безмятежной. Ее сопровождали кошки и собаки. Она кормила диких косуль, которые не боялись ее. Питала бесстрашный интерес к змеям. Протестантка, она в 1932 году перешла в католичество. Ее увидел Канетти, писавший о ней: «Газель вернулась легкой походкой под видом молодой девушки, шатенки, нетронутого существа, в великолепии моложе ее невинности и ее шестнадцати лет. Она излучала больше радости, чем красоты, ангельский гость не из ковчега, а с неба».

Альма сказала Канетти: «Она красива, как ее отец. Вы когда-нибудь видели Гропиуса? Большой красивый мужчина. Тип истинного арийца. Единственный человек, подходивший мне в расовом отношении. В меня обычно влюблялись маленькие евреи».

Альма была не в курсе, что Канетти, родившийся в Болгарии и носивший итальянскую фамилию, был из семьи сефардов, европейских евреев; он выслушал ее, но слова эти запомнил. Перу Канетти принадлежит жесткая характеристика некоей роковой красавицы, облик ее неприятен, почти карикатурен.

Когда я впервые услышала о дочери Альмы и Гропиуса и увидела ее лицо, я подивилась: да разве есть такое имя — Манон? Моей любимой книгой была и остается «Манон Леско» аббата Прево, я даже духи покупаю с названием «Манон». Но я полагала, что героинь Прево зовут уменьшительной именной формой, вроде Манечки или Мани. На самом деле нашу девочку называли в честь бабушки, матушка

Гропиуса тоже была Манон, но форма уменьшительная, от имени Мария, и вправду французская.

Она хотела стать актрисой, мечтала о театре. Ей предлагали роль первого ангела на одном из представлений театрального фестиваля в Зальцбурге, но отчим не разрешил ей появиться на сцене.

В марте 1933 года Манон и ее мать отправились на Пасху в Венецию. Там Манон заболела полиомиелитом. Полностью парализованная, в 1935 году она умерла.

Композитор Альбан Берг посвятил памяти Манон скрипичный концерт. Верфель написал некролог для католических журналов. Его персонажи — Бернадетта, невеста — это она. Еще он описал ее жизнь и смерть в двух рассказах.

Скрипичный концерт Альберта Берга назывался «Памяти ангела»; иногда музыковеды пишут: «Реквием по ангелу».

Я забыла сказать, что уменьшительное Манон, так же как и Мариетта, стало самостоятельным, отдельным именем.

Альма похоронила нескольких детей от разных мужей, сама же прожила мафусаилов век.

В одной из статей — больше нигде мне об этом не попадалось ни одно упоминание — прочла я, что Манон прекрасно играла на скрипке.

Даже сейчас мне неохота менять диапозитив, почему-то мне жаль прощаться с Манон Гропиус, но мы с ней простимся.

На экране возник шезлонг из металлических хромированных или никелированных трубок, на шезлонге лежала, рекламируя самоновейшее дизайнерское изделие, девушка в короткой для довоенной эпохи юбочке, она отвернулась, на шею ее блестели бусы.

— Это, — сказала Тамила, — девушка в ожерелье из шарикоподшипников. Шезлонг свой рекламирует автор. Ее зовут Шарлотта Перриан. Двадцати четырех лет от роду («а выглядела я, — напишет она в воспоминаниях своих, — как семнадцатилетняя девчонка»), начитавшись работ Ле Корбюзье, который тут же стал ее кумиром, она пришла наниматься на работу в его мастерскую, в его atelier. Мэтр был не то что женоненавистник, но мужским шовинизмом страдал определенно, даже средний рост его знаменитого «Модулора» был рассчитан на средний рост мужчины. Знаете, это как молитвы, которые все в мужском роде; вспоминаю я и украинскую версию: «чоловік» и «жінка». Оглядев хорошенькую, худенькую, элегантную девчонку, с коротенькой стрижкой, в самодельном ожерелье из шарикоподшипников, прижавшую к груди маленькую кожаную сумочку, Ле Корбюзье промолвил знаменитое (все цитаты отличаются, смысл остается): «Девушка, что вы тут у нас будете делать? Подушки вышивать?» — и указал ей на дверь.

Шарлотта удалась, раздосадованная, расстроенная, однако, альпинистка, монтарьянка, переполненная жаждой жизни, зачарованная работой, чувствуя свою силу, свои способности, она была еще и упряма как осел.

Свою мансарду на парижской площади Сен-Сюльпис превратила она в выставочный зал из стекла и металла; уже тогда, в начале, но и позже, мебель из трубчатой стали — ее конек. Шарлотта решила участвовать в Парижском осеннем салоне, где ее работы из стекла, стали и алюминия не заметить было невозможно. На ее мебель обратил внимание архитектор и дизайнер Пьер Жаннере (и на нее самое тоже, как всем известно), кузен Ле Корбюзье, и девушка была приглашена — с извинениями — на работу в студию Ле Корбюзье на rue de Sevres. Что было совершенно естественно и справедливо, потому что маленькая Шарлотта Перриан со вздернутым носиком (она все еще носила свое ожерелье из шарикоподшипников) была мадемуазель Дизайн.

- Мисс Дизайн, как сейчас бы сказали, — промолвил сидящий передо мной.
- Причем Мисс ван дер Роз, — откликнулся сосед его.
- И с 1927 года Шарлотта разрабатывает мебель и фурнитуру для архитектурных проектов Ле Корбюзье, в том числе знаменитый стул для переговоров с подвесной спинкой В301, квадратное кресло для отдыха ZC2 Grand Comfort и элегантный шезлонг В306, для рекламы которого позирует сама, как вы уже видели, стеклянные столы, стулья на металлических ножках с кожаной и матерчатой обивкой и так далее.

Некоторые журналисты с журналистской четкостью называют ее «музой и возлюбленной» Ле Корбюзье. На самом деле вся мастерская, вся студия Корбю была в нее влюблена, но роман у нее был с Пьером Жаннере.

У Ле Корбюзье Перриан проработала десять лет, после чего покинула студию. Вместе с Фернаном Леже оформляла павильон на Международной сельскохозяйственной выставке в Париже, работала на лыжном курорте в Савоие, где экспериментировала, в частности, с необработанными природными материалами, например неотесанным деревом.

После начала Второй мировой войны она возвращается из Савоии в Париж, где продолжает работать с Жаном Пруве и Пьером Жаннере. С Жаннере они совершают поездки к французскому побережью, где собирают гальку, обточенное морем дерево, рыбные скелеты. В Париже эти находки будут расчищены, сфотографированы, станут произведениями, подтолкнут — позже — к новым идеям, новым конструкциям.

Жаннере и Перриан назовут это «спонтанным искусством».

На одной из фотографий суровый Корбю держит тарелку над головой смеющейся, счастливой Шарлотты на манер белого нимба — вот это фото. Но одно из лучших ее изображений — фото на пляже в Нормандии. Фотограф, Пьер Жаннере, снял ее снизу вверх, она только что вышла из воды, он любит ее подругой своей, ее молодостью, ее обнаженной грудью. Они расстались во время войны, когда ее пригласили в Японию дизайнером-консультантом с императорской зарплатой.

Тамила, продолжая говорить, сделала знак одному из своих пажей, который за ташил на сцену магнитофон и приготовился включить его.

Тут восприятие мое раздвоилось — свойство с детства, забавное, о котором я больше ни от кого не слышал (говорят, такое бывает у актера, когда играет он роль и одновременно видит себя глазами зрителя). С одной стороны, слушал я голос Тамилы, говорившей о странах, в которых побывала Шарлотта: она работала в Японии, жила во Вьетнаме, в Бразилии, а когда Ле Корбюзье с Пьером Жаннере проектировали здание Центросоюза, приезжала с ними в Москву. С другой стороны, видеоряд кресел руки Перриан, стульев, полок, встроенных шкафов вызвал в памяти моей дизайнерские проекты студенток Мухинского, самых талантливых, и их самих. Они прошли по залам воображения моего, точно младшие ее сестры. Я видел изображения их работ, четкие, с особо гармоническими пропорциями, глубокими тенями, благородным цветом, длинно заточенный нос карандаша 3Т в маленьких руках, решительность, стройность; они были фанатически преданы своему делу, дизайн — это была их любовь, они готовы были возиться со своими чертежами, макетами, моделями, отмывками денно и ношно, у них получалось все, от малых изобретений ноу-хау до рыцарских, связанных ими серо-стальных свитеров, в которых щеголяли они сами и их возлюбленные. Пробегала по галерее главного зала и мимо копий лоджий Рафаэля Нелли Колычева в разлетающейся юбке, в сандалиях Дианы, проходили Галя Ильина, белокурая модница Сурина, маленькая Стрельцова со стрижкой Лайзы Миннелли, они так же любили спорт,

как Шарлотта, но по бедности нашей жизни не могли заниматься спелеологией, каяком, альпинизмом, греблей, как она; в спортзале родного института играли в волейбол и баскетбол, их можно было встретить с лыжами или рапирой.

Пока Тамила говорила об отеле «Савой», горных курортах, мебели из шоколадно-алого бразильского дерева, семинаре Жана Пруве, сотрудничестве с великим мебельщиком Тонетом (кто из вас не сиживал в бабушкиных питерских квартирах на его венских стульях-гнушках?), я вспомнил встречавшихся мне мисс и мадемуазель Дизайн.

Потом, много позже, когда смотрел я в интернетовых дебрях тексты и картинки, посвященные Перриан, вставала передо мной Москва, где она окончательно рассталась с коммунистическими идеями юности. Москва тридцатых годов; на одной из зимних фотографий утепленный кое-как Корбюзье, сидящий на фундаменте здания Центросоюза, напоминает одного из гулаговских эзков, строивших московские высотки.

Очки его, по обыкновению, фантастичны, одно стекло всегда получается бликующим, полуразбитым, полуслепым, выглядит деталью портрета булгаковского персонажа из свиты, не к ночи будь помянутого.

И возникает передо мной образ юной Шарлотты Перриан, любившей горы и побережья, одиночки-путешественницы, ночевавшей в стогах сена, среди камней, прогретых солнцем, долго отдававших в ночи древнее тепло, или на топчанах пастушеских приютов, покрытых овечьими шкурами, с первобытным, первозданным уютом человеческого гнезда.

На Тамилином экране еще светила цитата: «La forme, c'est le fond qui remonte à la surface» («Форма — это глубинная суть, поднимающаяся на поверхность»). Charlotte Perriand, — а наш уже врубил свой магнитофон раньше времени, и излился в воздух женской гимназии теплый, переливчивый, обволакивающий, околдовывающий слушателя, льющий в уши мед соблазна женский голос, певший немудрящий *chanson* довоенных лет.

— Вы слышите, — сказала Тамила, улыбаясь, — легенду эстрады, звезду кабаре, по прозвищу Черная Пантера (впрочем, было и другое прозвище — Черная Жемчужина), Жозефину Бейкер.

Зал, разумеется, оживился, увидев полуодетую красотку мулатку в перьях и побрякушках, с ослепительной улыбкой, — мы не привыкли к подобным изображениям.

— Ну, намылят шею, — весело сказал мой сосед справа, ни к кому, собственно, не обращаясь, — не только Тамиле Доренко, но и всем организаторам да кураторам за этот вертеп разврата.

Сидевший в первом ряду Энверов картинке заплодировал.

На одной из виниловых пластинок моих друзей-художников Жозефина Бейкер пела «Hello, Dolly».

По дуэтам очаровательная мулатка была большая специалистка. Несколько мужей, без счета любовников, список солидный, кого только там не было: Сименон, Де Голь, Хемингуэй, король Швеции Густав VI и иже с ними.

Жозефина Бейкер, дочь еврея-оркестранта и негритянки, встретила с Ле Корбюзье на борту корабля. Я лично слышал два разных названия этого корабля; плавали ли они вместе не единожды? туда и обратно? или журналисты были, как всегда, неточны?

Ле Корбюзье, страдавший отчасти, как в начале двадцать первого века будут выражаться, «мужским шовинизмом» и «манией гендерного превосходства», чуть-чуть бирюк, слегка боявшийся «этих баб», — чему мы обязаны фразой о вышивании подушечек в адрес Шарлотты Перриан при первой, неудачной ее попытке ус-

троиться к мэтру на работу, — совершенно оттаял, расколдовался, обрел свободу после корабельного приключения.

Бейкер провела все время круиза в каюте Ле Корбюзье, рисовавшего ее нагой; она ему пела; пишут, что потом создавал он новые здания в духе ее танцев; после встречи с Жозефиной Корбюзье построил свою виллу Савой (Villa Savoy). На мой взгляд, дом на побережье, на мысе Кап-Мартен, построенный им для жены Ивонны, его последнее обиталище, напоминал — в память о Жозефине — корабельную мультиплицированную каюту. Когда он пил кофе с молоком, он улыбался, вспоминая Черную Пантеру, да и вид светлых кофейных зерен возвращал ему блики ее атласной кожи. Его эротические рисунки и фрески, возникшие после каютных радений 1929 года, — это тоже Жозефина.

После краткого корабельного курса науки любви он разморозился, оттаял, ослабился, сделал наконец (после восьми лет знакомства) предложение своей Ивонне Галлис (чем-то отдаленно напоминавшей Жозефину) и женился на ней в 1930 году.

Изображение малоодетой Жозефины Бейкер несколько задержалось на экране, что вдохновило на классическую реплику из советской кинокомедии моего соседа слева, произнесшего:

— Облико морале!

Тут появились на экране Ле Корбюзье с Ивонной Ле Корбюзье. Они прожили вместе двадцать девять лет, брак их был счастливым.

— Еще одна женская фигура из девяти рядов до Луны, — сказала Тамилла, — связана с Ле Корбюзье самой необычной на свете темой, эта тема — ревность. И ревность одного из великих архитекторов была — к дому. К дому, спроектированному и построенному Эйлин Грей.

— Голубоглазая, черноволосая ирландка Эйлин Грей, — звенел голос Тамиллы, алые пятна горели на щеках ее, — проектировала и выполняла мебель из металлических трубок хромированной стали, служивших несущими конструкциями, с 1918 года, когда в ходу была резьба, редкие породы дерева, лакировка времен модерна. Яркий пример ее авантюристического дизайна — кресло Vibendum с регулируемой спинкой «работа — отдых». Столик из дома E-1027, стулья, зеркала, табуреты, ширмы — хрестоматийные, известные всем мебельщикам работы.

Но самое известное ее творение — дом на Лазурном берегу E-1027, дом, на котором Ле Корбюзье был отчасти помешан, к чему испытывал он неадекватное и малопонятное чувство отчаянной ревности, — как к автору, Эйлин, посмевшей построить его, так и к самому дому, дразнившему его с момента возникновения. «Дом — это машина для жилья», известные всем архитекторам и дизайнерам слова великого и ужасного Ле Корбюзье, создавшего Модулар, построившего задуманную им как некий идеал Жилую единицу в Марселе, капеллу в Роншане, монастырь в Ла-Гуретте, музей в Токио, город Чандигарх в Индии. Словно в пику ему Эйлин произнесла и превратила в текст совсем другие слова: «Дом — не машина для жилья, это раковина человека, его продолжение, его отдушина, его духовная эманация». Ей же принадлежит фрейдистское высказывание о входной двери: «Вход в дом — это как попадание в рот, который за тобой захлопнется».

Перебравшаяся из аристократического дома в Ирландии в Париж маленькая баронесса Эйлин Грей вращалась в лесбийском обществе Гертруды Стайн и ее окружения, ее видели за рулем в черном авто, в котором каталась она по улицам столицы искусств в компании знаменитой шансонье Дамии, любившей разгуливать с ручной черной пантерой на поводке.

— Черной пантерой? — произнес за моей спиной Филиалов. — Однако эти нетрадиционно ориентированные дамочки отличались храбростью. Но я надеюсь, это не было намеком на Жозефину Бейкер?

Почему-то образ Дамии с пантерой запал мне в голову, и когда через много лет увидел я фотографию Сальвадора Дали с муравьедом на сворке, стал преследовать меня сценкою из сна наяву, возникшей в воображении моем: Дамия с пантерой на одной стороне узкой улочки, Сальвадор Дали с муравьедом на другой, они смотрят друг на друга не вполне гендерными взорами эпатажника и эгоцентристки.

— В возрасте сорока лет, — продолжала Тамила, — Эйлин Грей влюбилась в румынского архитектора, писателя и прожигателя жизни Жана Бадовичи, который был на семнадцать лет моложе ее. Походя он произносит фразу о собственном доме с сугубо личными предметами — и она строит для него дом на Лазурном берегу, буквально строит, спроектировав, — своими руками, с помощью двух рабочих. У дома есть имя, в котором зашифрованы инициалы любовников: E — это Эйлин, 10 — это J (Jean), 2-B (Badovici), 7 — G (Gray). Дом, белый корабль, выброшенный на скалы, окруженный пиниями, оливами, камнями. Ветер колеблет парусиновые занавески, блестит металл стульев, столов, перил, то там, то сям лежат отмели ковров с морским рисунком. На одной из стен огромная карта с надписью — строкой о плавании из стихотворения Шарля Бодлера; ночью карту освещает настольная лампа. Кожаное кресло Transat с металлическим каркасом напоминает шезлонг на трансатлантическом лайнере — все, что осталось от «Титаника». Мебель Грей сделала сама. Столы ездили по рельсам, табуретки служили лесенками, полки вращались на петлях, шкафы прятались и появлялись, с помощью зеркал и ширм одна комната превращалась в несколько, зеркала играли в операционную и в обсерваторию, все напоминало декорацию с превращениями, исчезновениями — метаморфный мир пьес Карло Гоцци. Три изречения встречали входивших: в прихожей — «Entrez lentement» («Входите медленно»); на кухне — «Sens interdit» (запретные чувства? запретное направление?); под вешалкой — «Defense de rire» («Смеяться воспрещается»).

Среди комнат для одного и одной заблудились две комнатухи для прислуги (или неведомых спутников? незваных гостей?).

Они прожили в доме несколько лет. Все время приходили гости, друзья Жана. Когда приходил Ле Корбюзье, Эйлин пряталась: она то ли стеснялась, то ли боялась его, то ли терпеть не могла.

А самого мэтра с возникновения дома на утесе преследовала, словно амок, безумная страсть к E-1027 и неприязнь к его создательнице.

В какой-то момент Эйлин Грэй, вместо дома любви для двоих оказавшаяся в архитектурном салоне, собрала одежду и ушла, захватив с собой только маленький столик E-1027.

Грей увлекалась работой и статьями Лооса, сторонника минимализма — чистых стен, полупустых комнат. В своей работе 1908 года «Орнамент и преступление» Лоос писал: «В основе потребности расписывать стены лежит эротическое начало. Современный человек, ощущающий потребность размалевывать стены, — или преступник или дегенерат».

После ухода Эйлин то ли по просьбе Бадовичи, то ли с его разрешения, Ле Корбюзье расписывает стены — корабль перестает быть чистым и белоснежным.

Эйлин приходит в ярость, пишет ему отчаянную открытку, называет происшедшее актом вандализма — она оскорблена.

На фресках — эротические сцены, иногда это двое любовников, иногда — то ли гарем, то ли бордель. На большой фреске в гостиной две обнаженные женщины с парящим между ними ребенком, у одной из женщин на груди свастика.

В 1948 году Корбюзье пишет в статье: «Дом, который я оживил своей росписью, был довольно мил и вполне мог обойтись без моих талантов. Для больших фресок были выбраны самые бесцветные и непримечательные стены».

Через несколько лет Корбюзье приобрел участок возле E-1027, построил на нем свой знаменитый домишко «Саваноп», а после смерти Жана Бадовичи выкупил через подставное лицо виллу Эйлин Грей; он приходил туда, прокрадывался, его притягивало магнитом, он видел белый пароход на скале со своего крыльца, но жил у себя.

Потеряв жену Ивонну и любимую мать, он стал угрюмым, замкнутым и как-то сказал: «Как славно было бы умереть, плывя к солнцу».

Есть подозрение, что гибель Корбюзье во время одного из дальних заплывов в чудесный августовский день была самоубийством. Его выбросило волной на пляж под виллой, столько лет мучившей его. Он лежал, словно загорая на песке.

— Утоп утопист, — произнес за моей спиной Филиалов.

— Может быть, — сказала Тамила, — есть на самом деле кельтские чары, ирландское колдовство, существовал когда-то ирландский бог Тевтат, жертвы которому топили в воде, и негоже было сыну швейцарского часовщика оскорблять ирландку. В квадратном дворе Лувра греки посыпали гроб Ле Корбюзье землей с Акрополя, а индийцы окропили водой из Ганга. Корбюзье похоронили рядом с Ивонной на сельском кладбище Кап-Мартена, неподалеку от его «Саваноп» и от белого дома Грей. Дом несколько раз переходил из рук в руки, последний хозяин был убит, зарезан в его стенах, после чего E-1027 опустел и стоит по сей день заколоченным.

А теперь несколько слов о Лили Райх, женщине четвертого из «четырех великих», Миса ван дер Роэ.

Вот он перед вами, немецкий архитектор Мария Людвиг Михаэль Мис, соединивший аристократическим «ван дер» отцовскую голландскую фамилию Мис с материнской Роэ. На этой фотографии он улыбается, у него близко поставленные светлые глаза, он похож на инка или ацтека, морщинки на лице словно прорисованы стеклом или стилем по глине, как у одного из божеств дождя — чак-мооля древней Мексики. Подобно Корбюзье, он приезжал в Россию, но не в Москву, а в Петербург, где в 1912 году руководил строительством спроектированного Беренсом здания немецкого посольства на Исаакиевской площади.

Когда в нацистской Германии закрыли всемирно известный Баухауз, которым он, последний директор, управлял до 1933 года, после нападков со стороны национал-социалистов, называвших институт еврейско-коммунистическим гнездом, Мис эмигрировал в США. Тоталитарному государству оказался чужд баухаузовский стиль ясного мышления и функционализма, архитектура съезжала к гитлеровскому и муссолиниевскому ампиру; с ним будет схож и наш сталинский ампир, знакомый всем нам по построенным в Москве эсками высоткам и домам для государственной элиты.

Дизайнер и архитектор Лили Райх работала с Мисом ван дер Роэ тринадцать лет; они не расставались: она проектировала мебель в его домах, вела дела, была его секретарем, делопроизводителем, его женщиной.

Теперь вы видите ее лицо. Я не знаю подробностей биографии Лили. Она могла быть кем угодно — немкой, еврейкой, австрийкой. Женщина с таким лицом могла бы жить в Ленинграде, в Боровичах или в Иркутске.

Когда Мис ван дер Роэ уехал в Америку, Лили Райх осталась в Германии, однако и оттуда продолжала вести его дела, помогать ему. Потом она поехала в Штаты к Мису, но пробыла там неделю и вернулась на родину. В сорок третьем она попала в концентрационный лагерь, в сорок пятом ее освободили вошедшие в Германию войска, а в сорок седьмом она умерла.

Всем нам известны построенные Мисом ван дер Роэ здания: «стеклянный дом» хирурга из Чикаго Эдит Фарнсуорт, Сигрэм Билдинг, павильон Германии в Барсе-



лоне, вилла Тугенхагт, нью-йоркские высотные дома — стекло, сталь, избыточная инсоляция; его работы определили стиль архитектуры двадцатого века.

В быту этот революционер архитектуры, один из «четырёх великих», был традиционалистом: ему нравилась старая деревянная мебель эпохи модерна, его личное гнездо напоминало дом его детства. О нем говорили, что у него нет ни приятелей, ни друзей, ни привязанностей, одни сотрудники. Он слыл брюзгой и нелюдимом. И до конца дней не мог себе простить, что отпустил Лили Райх — допустил ее возвращение в Германию.

Все они остались в девяти рядах до Луны: теперь человечество исчисляется в других цифрах, рядов стало больше, раз людей больше, а эти поддерживают свою Луну, чей свет рисует блики на стеклах домов их великой архитектуры, на стальных деталях фурнитуры, мебели, на ожерелье из шарикоподшипников. А у нас сейчас уже стемнело, вышла наша сегодняшняя луна, и я закончила свое сообщение.

С этими словами Тамила забрала свои бумаги и сошла со сцены, а зал устроил ей овацию, точно певице.

### **Человек из полнотной тени**

После доклада, как всегда, расходились быстро, почти разбегались, как птицы разлетаются: только что была стая, а вот и нет никого.

Я вышел на улицу, собираясь проводить Нину: она говорила, что хочет услышать доклад об основоположниках, но Нины не было, и я пошел пройтись перед сном.

Обгоняя всех, прошли к спуску к воде, видимо к своей косе Тартари, Тамила и Энверов, и он сказал ей:

— Не отставай от меня, будь со мной, когда-нибудь я построю тебе в подарок дом для занятий любовью на Лазурном берегу.

Она засмеялась, они сошли с высокого берега, пропали из виду.

— Интересно, — сказал уходящий Времеонов, — что, кроме формулировки «отстань от меня», существует и «не отставай от меня»...

— Нельзя построить дом для занятий любовью, — сказал я вечернему воздуху, — разве что публичный.

— Собственно, и для любви нельзя, — откликнулся Филиалов, резко поворачивая налево, чтобы исчезнуть за углом.

— Вот с этим я согласен, — сказал некто невидимый, курящий в тени сиреневого ночного куста. — Для чего дом? Достаточно тьмы под кустом южной ночью, фрагмента луны, стога сена, топчана любого, расстеленного плаща.

Тут сделал он шаг, луна осветила силуэт его, он был высок, костист, худ, широкоплеч, волосы с сильной проседью, сначала я подумал, что передо мной Титов.

— Но человек-то неприятный, — продолжал он, словно рассуждая вслух и не ко мне обращаясь. — В люди не годится, хотя молодой и в деле пока не бывавший. Даже если так думаешь, кто же такое вслух женщине говорит; только в узкой прослойке уголовников говорят: «Пойдем по.....». «Для занятий любовью». Дурное существо.

— Как вы сказали? — переспросил я. — В люди не годится? Странное выражение.

— Это не выражение, — отвечал он. — На одном из особых лесосплавов, а архипелаг ГУЛАГ лесосплавами славился, была расстрельная бригада. Людей лесосплав выматывал очень быстро, выматывал до нитки, эта бригада расстреливала тех, кто в работу уже не годился. Но ходили среди эзков слухи, что и саму бригаду после двух лет работы тоже расстреливали, потому что в люди они уже не годились.

— По правде говоря, я думал: куда подевались работники лагерные? кем они теперь работают? где? может, мы их встречаем?

— Однажды ко мне, — сказал он, — в мой прекрасный южный город (а я по рождению южанин, а Таймыр, Колыму, Тайшет, Норильск, Заполярье обживал десять лет по случаю) приехали московские гости, светские люди — художник с женой. Повел я их в гостиницу. Раскланялся со мной швейцар при входе, дверь открыл, поднес их чемоданы в номер, а когда выходили (а жена моя ждала нас дома на обед), снова дверь отворил, кланялся, и я дал ему чаевые. Прошли мы полквартила, жена художника, тоже женщина искусства, сказала восторженно: «Ваш город как особое царство, все тут прекрасно. Вон какой замечательный добрый дяденька швейцар в ливрее встречает постояльцев гостиницы!» А я ей ответил: этот добрый дяденька — бывший лагерный охранник, убийца и садист; однажды наш ночной портье вел меня через лагерный двор, все во мне кипело, я обернулся (на самом деле не только для него внезапно, но и для себя) да и дал ему ногой изо всех сил, а силы у меня тогда были, я был одним из самых сильных. Валялся потом избитый в карцере, видать, как рабочую силу подходящую не забили насмерть, еле жив лежал, однако при полном моральном удовлетворении. «Как же вы с ним теперь здороваетесь, чаевые даете?! — вскричала московская гостья. — Что же это такое?» — «Это жизнь», — отвечал я ей, прожившей с детства до зрелого возраста в невинности благополучия. Знаете, отлежавшись, я подготовил побег и через месяц бежал из лагеря.

— Разве можно было из лагеря бежать?

— У меня было шесть побегов, — легко отвечал он. — После шестого я в Заполярье и оказался. После каждого побега мне срок прибавляли, в общей сложности должен был я отсидеть восемьдесят пять лет. Так что я, знаете ли, профессиональный беглец. Один из садистов заполярных лагерей, у которого была склонность метить заключенных, приказал мне насильно сделать татуировку, художественную часть мастер-татуировщик из уголовников добавил от себя, а текст был от начальника: «Склонен к побегам».

— И вас каждый раз ловили?

— В соответствии с меткой меня стали переводить из лагеря в лагерь, чтобы не успевал подготовить побег, катали по Заполярью в пульмановских телячьих вагончиках туда-сюда. А в предыдущие побеги, — да, ловили. Но один раз был я в бегах четыре года, по поддельным документам устроился работать на белорусскую лесопилку, мне родственники жены помогли, и так там хорошо трудился, что вышел у меня быстрый карьерный рост, стал я директором деревообрабатывающего завода, на беду, решили мне выдать правительственную награду, стали документы оформлять, тут и выяснилось, что я не я, а беглый каторжник Жан Вальжан.

— Вы больше похожи на графа Монте-Кристо, — сказал я.

— Боже упаси! — весело отвечал он. — Вон какой чудесный доклад был намени про графа Монте-Кристо, благородного мстителя, под заголовком «Занимательная уголовщина».

Не знаю, почему рассказал я ему про тень облака, про особое место на острове, встав на которое обретешь ясновидение, необычные свойства и черты.

Должно быть, руководило мною русское дао, путь, географически безбрежный в том числе, транссибирский, к примеру, трансцендентальной некуда. Вот встречаемся мы, пассажиры, путники, страннички, секундно, мгновенно, случайно, наше наличие по закону пути — всегда последующее отсутствие.

И по непреложному необъявленному закону русских дорог, географически долгих, длинных, физически странных (неописуемые объезды всех ремонтируемых

шоссеек первой половины двадцатого века, безумные шоферы в последней его трети...), мы разговаривали как положено, как местные путники, очарованные странники: никогда больше не встретимся, увиделись мимолетно, потому можно рассказать друг другу всю свою жизнь; кому исповедник священник, нам — *первый встречный*.

— Особые свойства? — переспросил он, брови приподняв, — особые свойства особой породы, племени незнакомого? Да уж мы-то, конечно, племя незнакомое, сами по себе и отличаемся от всех жителей земли. Ведь у людей во главе страны — кто? царь, король, хан, президент, деспот; а у нас не одно десятилетие был главарь государства. Скромно именовал себя «вождь», намекал, что мы — племя, не народ, не нация. Главарь по закону языка только у банды бывает. А если людей все время держать в мятежном теле страха, у них некие свойства появляются самоновейшие, а ряд других человеческих свойств улечучивается. Знаете, кто у своих рабов-адептов сверхъестественную породу осознанно и умело вырабатывал? Некто Гурджиев. Он утверждал: сделай невозможное, сделай это еще раз, повтори трижды. Заставлял кротчайших, доверившихся ему овец резать, кроликов или кур, например; они у него на представлениях валялись то в оркестровую яму толпою, то в проход перед первым рядом зрителей, совершенно спонтанно, по его приказу, и ни одного не то что перелома либо вывиха, а даже ушиба либо синяка — вывел-таки породу.

— Что-то я не видел вас на реплике о Гурджиеве.

— Мне о нем в лагере китаец рассказывал.

— Китаец?

— Мне за десять лет каторги заполярной (предыдущие каторжные места мои находились значительно южнее) попались три китайца, я называл их одним и тем же именем, придуманным мною, — это их сместило, но они откликались. Все трое были необычные существа, ко всем трем относился я не то чтобы со страхом (когда постоянно живешь в аду, не до страхов), — но с особым вниманием. Между прочим, каторга сама по себе вырабатывает нечеловеческие свойства. Жил молодой человек, у которого убили отца (у меня тоже ведь отца убили, ни в чем не повинного отца семейства, юриста, — а ведь бежал из тюрьмы, хватило храбрости, но был пойман, — следователь убил, забил молотком на допросе), который помешан был по юношеской вспыльчивости на идее социальной справедливости, связался с заговорщиками, революционерами, попал на каторгу, выжил, — и получился великий писатель Достоевский. А без каторги был бы милый беллетрист. Но я вспомнил о китайцах. Один из них, кажется, был великий разведчик, работавший на несколько стран, в том числе на нашу, но в первую голову, я полагаю, именно на Китай. Двое других совершенно загадочны и непроницаемы. Один, например, в норильском лагере объявление о своей лекции на стене барака повесил, такой клочок бумаги зловещий: «Учу побеждать».

Тут закурил он — вспышка огонька осветила его теплым желтым светом, в отличие от холодного лунного, серебристого, — я увидел сеть мелких морщинок на лице, большие складки морщин, при этом была в его чертах красота, поразительная молоджавость, даже молодость. Я однажды в Москве видел женщину, вдову великого писателя и философа (тоже лагерника, да вроде и ее сажали как жену врага народа), в молодости красавицу редкую, а в старости испещрили черты ее мелкие морщинки, словно тонкая вуаль, хотя и сквозь вуаль бывшие прекрасные черты светились. Такие морщинки встречаются у старых людей юга, пустыни, Крайнего Севера, у деревенских, у тех, кто ходит под ослепительным ярым солнцем — Ярилом, под ветрами — нордом, бореєм, австром. Может быть, подумал я, есть судьбы, подобные пустыне либо белому безмолвию приполярному, над которыми стоит такое ветхозаветное роковое солнце, неведомое большинству.

— Где-то я вас видел.

— Может, во сне? — серьезно спросил он. — Мне уже несколько человек говорили, что видели меня во сне задолго до того, как мы натурально познакомились. Раз уж я склонен к побегам, то и к побегам в чужие сны.

— Если честно, мое воображение долгое время занимали именно три китайца, — сказал я.

Он только брови поднял, улыбаясь.

— Прежде всего, китаец из пьесы Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Когда один из моих друзей стал заниматься личным расследованием обстоятельств смерти Есенина (и пришел к выводу, что поэт был убит), стал он читать мне свою работу и спрашивать, что я обо всем этом думаю, а я совершенно неожиданно для себя сказал ему: посмотри пьесу «Зойкина квартира», по-моему, она имеет некое отношение к случившемуся в гостинице «Англетер», а еще наркотикам, да ты заодно и к персонажу-китайцу приглядишься. Он прямо-таки отшатнулся от меня и спросил, знаю ли я, что в «Англетере» портье был китаец. Откуда мне было знать?

— Ну вот, — весело сказал собеседник мой, — а еще хотите в тени облака какие-то свойства по части ясновидения приобрести. Оно у вас и так в латентном виде обретается. Тогда о портье догадались. Мне эту историю рассказываете и не боитесь, что я стукну кому положено о вашем приятеле с его запрещенной темой об убийстве Есенина да и о вас заодно.

— Этого быть не может.

— Конечно, не может, да вам-то вроде сие неизвестно. А третий китаец кто?

— Я почему-то потом с истинным страхом вспоминал портье из гостиницы; он в голове моей связался с наркотиками, с наркоманами из властных структур: Есенин дружил с темными советскими чиновниками, может, и морфий делили, кто проверял. А третий китаец, чьего имени я не знал, — отец нашей известной ленинградской красавицы полукровки, жены талантливого художника. Он был великий разведчик, жил с матушкой нашей красавицы недолго, внезапно исчез еще до войны. Может, и сейчас он где-то обитает с миссией своей потаенной — в Англии, в Бразилии, в штате Мэн.

— Не исключено, — сказал он, закурив, — что ваши три китайца и мои три — одни и те же лица.

— Какая все-таки странная у нас жизнь, — сказал я.

— Да мы, — отвечал он, — прямо-таки притча в лицах и во языцех, картинка на тему «как не надо жить».

— Я никогда не думал, что побег из лагерей возможен. Ваши шесть побегов для меня полная фантастика. Хотя одну историю о лагерном побеге я слышал. В ней тоже было что-то нереальное. Оказывается, существовало при советской власти большевистское подполье...

— Один из моих норильских друзей, — перебил он меня, — прекрасный человек, мы дружим и по сей день, — был сыном коммуниста (расстрелянного героя Гражданской войны) и коммунистом совершенно истовым. Мы чего только с ним в лагере не обсуждали. Всё, кроме его коммунистических взглядов. Но я вас перебил, извините; я только хотел сказать, что наличие большевистского подполья меня не удивляет.

— И этим подпольем, — продолжал я, — руководили старые большевики с большевичками, в частности Стасова. Речь идет о молоденькой девушке, попавшей, как многие, в лагеря ни за понюх табаку. Подпольщики выбрали ее на роль курьера, она — по молодости — согласилась. Ей устроили первый побег, по цепочке переправили в Москву, там она передала нужные сведения Стасовой, получила инструкции,

выучила наизусть сообщение: ей надо было попасться, оказаться в лагере более строгого режима, передать, что должно. Ей опять подготовили побег, теперь встретилась она с курьером и снова разыграла свой арест, чтобы перевели ее в самый что ни на есть насторожайший из лагерей. Там снова передала она наказания, приказы или инструкции, и подпольщики подготовили ей последний побег. После него попасться ей уже не следовало. Пять человек легли на проволоку под током, она вышла из лагеря по трупам. Говорят, она прожила долго, жива до сих пор, живет в одном из маленьких провинциальных городов под чужой фамилией.

— Не слышал про такое, — сказал он. — Вполне правдоподобно.

— Вы из Москвы? — спросил я.

— Нет, я вернулся в родной город. Я из Тбилиси. Но бываю в Москве. Там друзья мои живут. И любимая старшая сестра. Мало того, в Москве памятник сестре стоит. Золотая статуя. Одна из шестнадцати сестер-республик СССР на ВДНХ. Скульптор был реалист, искал натуру, нашел мою красавицу сестру. Я этой статуе во всякий свой приезд розу приношу. Друзья надо мной смеются.

Позже, много позже, когда я увидел его фотографии в газетах, прочел его книги, я узнал, что Окуджава посвятил ему песню: «Без паспорта и визы, лишь с розою в руке слоняюсь вдоль незримой границы на замке». Всякий раз вспоминал я в связи с этой розою одну из притч дзен-буддизма (два друга моих помрачились на даосах и дзен, чего я только от них не слышал), где говорилось: «Прошло уже довольно много времени, а он еще не вымолвил ни единого слова, в руке его был цветок».

Несколько выстрелов прогремели со стороны монастыря, я обернулся на звук, вспомнил человека с монастырского двора.

— Это не настоящие, — сказал я собеседнику своему, — редкое здешнее прислышание со времен расстрела каждого десятого красноармейца по приказу Троцкого.

Но за те мгновения, когда отвернулся я на звук несуществующей пальбы, мой собеседник исчез, пропал, беззвучно бежал, словно его и не было.

Я пытался разглядеть, учуять движение в ночи, расслышать звук шагов, — тщетно. Лунный пейзаж, тени сиреневых кустов, сонное царство, больше ничего.

### **Спляшем, Пегги, спляшем!**

Случалось, вечерами жгли костры. Почему-то у советских людей была особая тяга к кострам, особый синдром огнепоклонников. Играли в дикарей, идущих цепочкой туристов (туризм с рюкзаками, палатками и костром, реже с байдарками, был распространен особо), в бывалых людей, в Дерсу Узала, в цыган, мой костер в тумане светит, взвейтесь кострами, синие ночи. Взвивались. Летящий над страной воздухоплаватель на воздушном шаре мог бы принять эти хаотические точки костровых огней за некие пригласительные посадочные сигналы для летающих тарелок.

Костра было два: молодежный, студенческий, где верховодили Тамилины пажи, и второй, для молодежи постарше.

У первого костра пели: «Бродяга Байкал переехал», «Динь-бом, слышен звон кандалный», «Я помню тот Ванинский порт», «В Одесском порту с пробоиной в борту», «Товарища Парамонову», «Мурку». У второго — Окуджаву, романтические туристские песни вроде «Сиреневого тумана», бардовские, авторские. К двум гитарам второго костра присоединился местный аккордеонист.

Сквозь туман идя, снег, техногенный смог,  
помню, пока не умру:

двенадцать евреев и Господь Бог  
проповедовали в миру.

Норд или зюйд, ост или вест,  
navigare necesse est!  
Поставь парус, плыви, плыви  
и думай о любви.

Автор, архитектор из ЛИСИ, после припева дудел на дудочке, похожей на патрон от лампочки.

А враг не дремлет, но друг не спит,  
Делят зенит и надир.  
Три еврея и антисемит  
решили подправить мир.  
Такой развели прогресс и дизайн,  
но не плюнули через плечо:  
из нефти вылетел динозавр,  
а за ним еще и еще.

И подхватили все:

Норд или зюйд, ост или вест,  
navigare necesse est!

В разгар войны под морзянку в эфир  
о спасении каждой души  
трубку мира выкуривал мир  
с примесью анаши.  
Нам атолл бы в бермудскую тишину,  
где двое нас, Элизабет,  
где самолеты идут ко дну,  
а ураганов нет.

Норд или зюйд, ост или вест,  
navigare necesse est!

Тут подошли, держась за руки, Тамила с Энверовым, пламень отсвета делал его лицо привлекательнее и живее, румянил ее щеки.

Но нам на двоих не найти тишины,  
остров наш уплывает в сны  
долготы без широт.  
Наши — только семь рядов до Луны,  
семь струн или семь нот.

Поставь парус, плыви, плыви  
и помни о любви!

— А кто такие три еврея и антисемит? — осведомился Времеонов.

- Четверо великих. Корбюзье-то был антисемит.
- Помилуйте, — возразил Времеонов, — но какие же Беренс, Гропиус и Мис ван дер Роэ еврей? Гропиуса его дама называла истинным арийцем.
- Они руководили созданным им Баухаузом. А фашисты считали Баухауз рассадником еврейской идеологии.
- Зачем же вставать — даже и для рифмы — на точку зрения национал-социалиста?
- Да полно, — сказал Филиалов, — если тут Двенадцать апостолов названы евреями, трех немцев тем более можно тремя евреями именовать.
- Вы только поете? — спросил Энверов. — А нет ли у вас таких песен, под которые можно танцевать?
- Танцевать можно подо все, — ответил гитарист, перебирая струны.
- А почему из нефти вылетает динозавр? — спросила Нина.
- Во-первых, потому что послезавтра я в разделе «Книжная полка» делаю сообщение о книге Сагана «Драконы Эдема». А во-вторых, нефть и есть спрессованная кровь и плоть древних саблезубых динозавров, буде вам известно.
- Энверов пошептался с музыкантами, те быстро переговорили друг с другом.
- И вот уже выкрикнул, стуча по гитарному тулову, а второй гитарист подстучал по подвернувшемуся к случаю вместо рояля в кустах перевернутому ведру:
- Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Час, два, три, четыре, пять, шесть, семь! Five o'clock, six o'clock, seven o'clock, rock! five o'clock, six o'clock, seven o'clock, rock!
- Вывалил Энверов Тамилу за руку на маленькую полянку-пустырек, поросшую низкой травой (я еще подумал некстати: что тут было прежде? разрушенная часовня? порешенный сарай? угол монастырского сада? оторопь охватила, мурашки по спине: а что если какая очередная братская могила? и уж не то что огород на могилах, а натуральная пляска на костях, пляска смерти?), и заплясали, как полоумные, в сонный воздух ворвалась лихорадочная скорость рок-н-ролла.
- Вот оно, племя младое, незнакомое, — произнес стоявший рядом со мной Времеонов. — Смотрите, как он скачет, его, должно быть, укусил тарантул, как выражался Эдгар По. Смесь гремучая европейского заводского конвейера великих времен с африканскими ритуальными плясками мумбо-юмбо.
- Третью составляющую забыли, — сказал Филиалов. — Французский канкан.
- Прыгали неостановимо, скакали, вздымая руки и ноги, взлетала Тамилина юбка «солнце-клевш».
- Тут нехотя и вспомнишь старые вальсы Вены да российских больших балов, — Времеонов снял очки, протер их уголком ковбойки. — Вальс как вращение планет вокруг некоего центра, все волчкам подобны, ветром уносимы. А эти пляски конвульсивны, отчасти судорожны, катастрофа шаманская.
- Полно вам, — откликнулся подошедший Титов. — Молодость, силы некуда девать, птичьи брачные танцы.
- Чего поют-то, слышите? — сказал Филиалов. — Круглые сутки — рок, рок, рок. Брачные танцы? Роковые яйца. Птичьи, согласен. А птицу Рок помните?
- Это которая над кораблем из сказки зависла со скалой в когтях?
- Именно. Кстати, и скала тоже имеется — рок.
- Но весело и хорошо было плясать этой паре, весело и отчаянно хорошо было им вместе в это мгновение и в некоторые из предыдущих. Однако я почему-то устал, глядя на них. Почти с дыхания сбился, как на лыжной гонке.
- И, на мое счастье, выкрикнул гитарист:
- Время вышло!
- Разом замолкла музыка, танцоры вышли из круга, Тамила раскраснелась, глаза ее блестели, блестели зубы улыбающегося Энверова.

Они направились было прочь, но перед Тамилою возник Филиалов — как из-под земли: только что рядом со мной стоял.

— А со мной станцуете? — спросил он. — Не изволите ли со мной станцевать, окажите мне честь.

Рядом с красавцем Энверовым в белой рубашке Филиалов выглядел особо карикатурно: вечно мятые брюки, нелепая курточка, лысоватый, тени под глазами, остро пролепленные скулы, нос уточкой, заштатный чиновник, Акакия Акакиевича сосед.

— Мне бы дух перевести, — сказала Тамила, улыбаясь, обмахиваясь платочком.

— Я же вас не на скачки с препятствиями безлошадные приглашаю, — с полупоклоном вымолвил Филиалов. — На танец-с, сударыня.

— Прямо сельский клуб, — осклабился Энверов.

— Так сельский и есть, — ответил Филиалов каким-то совершенно другим голосом.

Энверов даже стал его разглядывать.

— Да я согласна с вами станцевать, согласна, — сказала Тамила.

Теперь настала очередь Филиалова шептаться с музыкантами.

И под детскую песенку Филиалов, заложив левую руку за поясницу, сняв курточку, оставшись в дурацкой жилетке поверх неглаженной черной рубашки, картинно вывел свою даму на неведомый лужок.

У Пегги был веселый гусь,  
он знал все песни наизусть.  
Ну до чего же умный гусь!  
Спляшем, Пегги, спляшем!

Как ни странно, этот нескладного вида докладчик был из тех не очень многочисленных существ, в которых вселился бес танца. Одержимые, они подчинялись известным только им ритмам, наборам и стилям движений с легкостью, особой элевацией на всех широтах и долготах всех народов мира. Один из моих соучеников, прекрасно танцевавший на институтских вечерах, сказал мне однажды в ответ на комплименты мои: «В детстве я с отцом из дипломатического корпуса жил в Южной Америке; и лучшая танцовка изо всех, кого я видел, была толстая негритянка в летах».

Филиалов, картинно и изящно вытянув руку, вывел Тамилу, чтобы показать ее зрителям, он импровизировал, придумывал па и коленца на ходу. Тамила слушалась, обучаясь на глазах; ей было превесело; улыбаясь, она пускалась вприпрыжку; крутясь по кругу, обходила, изгибаясь, вставшего на колено партнера, топотала каблучками.

У Пегги был смешной щенок,  
он танцевать под дудку мог.  
Ах, до чего ж смешной щенок!  
Спляшем, Пегги, спляшем!

Вместо дудки дудел гитарист почем зря в патрон от лампочки. Все уже подпевали последнюю строчку, приглашая Пегги сплясать.

У Пегги старый жил козел,  
он бородой дорожки мел.  
Ах, до чего ж умен козел!  
Спляшем, Пегги, спляшем!



В детстве водили меня, маленького совсем, на «Щелкунчика» и «Лебединое озеро», на даче в деревне в старших классах ходил я в клуб на «Сковородку» — так называлась сельская танцплощадка; танго, вальсы и фокстроты «Сковородки» и институтских вечеров были школой прикосновения к телам девушек. Но понял я — что такое танец — именно в тот свияжский вечерок, глядя на Филиалова и Тамилу. Не six o'clock, sex o'clock, брачная пляска долговязых птиц, не мистические пассы шаманские, не привычный ритуал маршеобразных посиделок и карнавалов, — что-то вроде искусства настоящих художников (неважно, гениальных или мало-мальски способных), неизвестно отчего, непонятно для чего, но почему-то жить без этого уныло и нельзя.

Филиалов, в заключение взяв свою даму за талию, поднял ее на воздух, взлетела черно-лиловая юбка, — и поставил Тамилу (выбрал, видать, место, пока по кругу скакали) на малый холмик перед огромным, в буйном цвету, сиреневым кустом. Он знал, как все мы, что Тамилу зародилась из сирени.

Она улыбалась, зрители улыбались, один из Тамилиных пажей, штигличанский студент последнего курса отделения промышленного искусства дизайнера, до Мухинского учившийся в цирковом техникуме, выйдя на середину лужка, сказав: «Браво!», встал на голову. Так выражал он особо сильные чувства, и в институте, и на территории семинара.

Все были почему-то счастливы, кажется, кроме Энверова, с чьей возлюбленной неожиданно лихо сплясал старый козел в мятой рубашке.

Я пошел провожать Нину, мы заговорили о сирени.

— Дело не только в том, что самая моя любимая картина Врубеля именно «Сирень», — сказал я. — Но у меня с детства к сирени чувство телка, мне хочется ее... съесть, что ли...

— Так мы ее и едим, — откликнулась Нина. — По цветочку, по счастливому пятилепестковому: выискать, желание загадать, и пяти- а если повезет, и шестилепестковый съесть. И не останавливаешься на одном желании, придумываешь еще и еще, выискиваешь, она и горьковата, и сладковата, но поскольку ты не пчела, попробовать не успеваешь.

— И живописать ее можно бесконечно, — сказал я. — Врубель писал трижды, Кончаловский не счесть, сколько раз. Сколько ни пиши, не получается, все выходит не то и не так, она ненасытима, жажда неутолима наших родимых мест. Почему это врубелевскую сирень называют сумрачной? Скажи, ты видела сирень после дождя?

— Да! — отвечала она. — Сияющие грозди в каплях, большие, крутые, как котята.

Мы подходили к ее дому, у меня пересохли губы, мне казалось, что слова мои шлепятся, и она может это заметить.

— Я один раз чуть не угорела от сирени, — сказала Нина. — Комната в тетушкиной избе была маленькая, я наломала огромный букет, ночью пошел дождь, окно закрыла, дверь затворила, меня еле добудились, от сиреневого ацетилена голова болела полдня. А помнишь про сирень в романе...

Конечно, я помнил, она собиралась что-то сказать про мой любимый роман «Обломов», как там пропали сирени, отцвели, но я не дал ей закончить предложение.

Мы целовались, стояли, обнявшись, прижавшись друг к другу. Было хорошо, как никогда.

Нина отстранилась и сказала:

— Да, я согласна.

— Что?

— Я согласна. Я выйду за тебя замуж.

Секунду стоял я как вкопанный, хотя все время знал, что она согласится.

— Но, — сказала она, — давай мы сейчас не пойдем ни на сеновал, ни на чердак, ни в мою комнату, ни под кустик. Мы поедем в город, там ты за мной немножко поухаживаешь, а потом мы поженимся. Ты обещал.

— Годится, — отвечал я, хотя уже и позабыл, что я там обещал, да это и не имело значения.

Хлопнула за ней калитка, за калиткой дверь, вспыхнул свет в ее оконце, но окна она не открыла, к оконцу не подошла, я пошел, как спьяну, в свой дортуар женской краснокирпичной гимназии, думал, что не усну, однако уснул как убитый и снов поутру не помнил.

### Пульхерия и Авенир

Двух ленинградских дизайнеров, содокладчиков, работавших вместе — и друживших, — Левандовского и Кушнарера, Времеонов, специалист наш по фамилиям, называл Левантом и Кушантом.

Левант было слово понятное, я буду думать о Леванте, от французского «levant» («восток», место, где восходит солнце); «couchant», напротив, обозначало «запад», еще одно значение — не «закатиться» либо «сесть», но «лечь». Кушнарера и впрямь любил то растянуться на скамье, на лавочке, то залечь на полосе пляжного песка, то на кровати, отведенной ему в нашем гимназическом общежитии. Он был склонен к полноте, приветлив, голос негромкий, симпатичное, открытое лицо. Левандовский же не столько ходил, сколько пробегал, поджарый, спортивный, двигателью деятельный. Они и на дипломе разделили общую тему, их распределили в одно огромное номерное предприятие. Работая вместе, они прекрасно понимали и дополняли друг друга. Мне потом рассказывали, что они и женились-то на сестрах, но, кажется, не на родных (и не на близнецах), а на двоюродных.

На своем предприятии с туманным названием «Волна» чего только они не проектировали: приборы, станки, засекреченные изделия, брошюры, инструкции и выставочные плакаты, этикетки, даже интерьеры; в последнем случае хаживали они в Мухинское, в Alma mater, консультироваться на кафедре интерьерера.

В сообщении их на нашем семинаре показывали они мебель, точнее, часть спроектированной ими и выполненной на их фабрикозаводе мебели, — кресло и табуретку. Как знаменитые кресла и стулья великих дизайнеров прошлого, и у кресла, и у табуретки были имена: кресло звалось Пульхерией, табурет — Авениром.

Текст читал Левандовский, Кушнарера показывал диапозитивы, на которых снова увидели мы исторические стулья и столики из металлических трубок, а также встреченную мной в ленинградских квартирах не единожды великолепную блистательную прабабушкину кровать: никелированная трубчатая конструкция с шарами и шариками, напоминавшими шарикоподшипники и елочные игрушки; в больших шарах спинки повыше и спинки пониже отражались окна, лампы, интерьеры, хозяева и гости.

В конце доклада Тамилины пажы вытащили на сцену блестящую серебром парочку. Спинку, сиденье и подлокотники Пульхерии заполняли мягкие, казавшиеся надувными подушки из кожи, а Авенир был словно из фантастического будущего: открытая конструкция, бар космической фешенебельной станции из фильма по роману Лема, например.

Нереальные, нездешние предметы, сияя, красовались на сцене. Кто-то спросил из рядов: а сидеть-то на них можно? или это бутафория, макет? Только что объяснявший, как регулируются по высоте и наклону (работа — отдых — удобное положение для людей разного роста и комплекции — эргономические зазоры — линия Аккерблома) спинки и подлокотники, Кушнарев двинулся было показать, усестся, подрегулировать на глазах у публики, Левандовский за ним, но вопрошающий из рядов сказал: нет, нет, пусть посидит на них кто-нибудь, кто видит их впервые. Тут из первого ряда поднялся Титов, сделал знак сидевшей неподалеку Тамиле, они взошли на сцену.

Высокий Титов в серо-стальном элегантном костюме, с никелированной сверкающей булавкой в галстук (из карманчика пиджака торчала таковая же ручка) моментально подрегулировал спинку и подлокотники Пульхерии, уселся и развел руками: вот, убедитесь.

Невысокая Тамиле разместились на серебристой конструкции Авенира, поставив ногу в босоножке с блистающими заклепками на приступочку, делающую табуретку похожей на барную мебель. На запястьях Тамилыных блестели серебром плоские широкие браслеты с маленькими висячими цепочками, напоминавшие наручники. Сговорились, что ли? Нет, полная импровизация, их стали фотографировать. У меня фотоаппарата не было, но я получил уже в Ленинграде фото на память в подарок. Долгие годы оно лежало в моем ящике с фотографиями, то теряясь в ворохе, то находясь, пока не исчезло. Походила запечатленная сценка на кадр кинопробы: улыбающийся, разводящий руками Титов, вот, пожалуйста, сажу, как видите; ямочки на щеках Тамилы, ее улыбка, поднятая в приветствии рука, правая ножка на приступочке табурета, левая касается носком босоножки пола возле колесика одной из опор Авенира. В воображении моем на черно-белом прямоугольнике фотографии окрашивались цветом темно-вишневый галстук Титова, Тамилыно черно-фиолетовое шелковое платье, черно-сливовый бархатный пиджачок, все блики вспыхивали навстречу фотовспышке, не хватало разве что ожерелья из шарикоподшипников. Мебель будущего, которое промедлит с наступлением на много десятилетий, загадочная глагольная форма *future-in-the-past*.

### Карл и его драконы Эдема

Нечто происходило тогда со временем в Свяжске, как это часто бывает на островах и у воды.

Многие сообщения, доклады, семинарские обсуждения, на которых хотелось мне побывать, происходили в разных местах синхронно — успеть всюду не получалось, в иные дни я перебежал из дома в дом, из зала в комнату, однако от многих интересующих меня тем доставался мне лишь хвостик, концовка, листочек с тезисами в лучшем случае, тетрадка с Ниниными конспектами.

Так, к рассказу о Тейяре де Шардене прискакал я к шапочному разбору; зато ожидала меня история о Карле Сагане и драконах Эдема.

Как классический представитель советской образованщины, знающий Дюринга по «Антидюрингу», представление о Тейяре де Шардене черпал я из вольных устных пересказов и трактовок.

На самом деле манера пересказывать прочитанное на свой лад не так и плоха, как понял я впоследствии, надолго засев перед телевизионным циклом передач некоего Иннокентия Иванова, причесанного на косой пробор человека с не вполне актерской дикцией, заявлявшего: «Мы говорим обо всем своими словами». Да и бли-

стательный Хорхе Луис Борхес, слепой библиотекарь, хотел, я полагаю, незамедлительно и по-быстрому познакомить нас всех с библиотекой Вавилона времен и пересказывал, как мог, все и вся.

Биография де Шардена, рассказанная разными людьми и прочитанная отрывками мною самим, никак не вмещалась в биографию одного человека.

Поначалу он представлялся мне кабинетным философом, аристократом, в уединенной тишине писавшим работы свои. С трудом уложилось в голове моей, что он был ярым католиком, закончил иезуитский колледж, что вся его жизнь была жизнью монашеской, миссионерской, тесно связанной с католической церковью. Потом я узнал, что он был одним из первых первооткрывателей синантропа в горах Чжоукоудяня близ Пекина, *pekinensis*, совместно с Пэй Вэнь-Чжунем, Анри Брейлем — международной командой археологов, работавшей в пещерах с 1927-го по 1931 год. Именно Тейяру обязаны мы свидетельствами использования синантропом примитивных орудий и огня.

А в 1931 году де Шарден принял участие в знаменитом «Желтом круизе» Ситроена (чей отец был родом из Одессы и носил там фамилию Цитрон...) — дорогостоящей опасной технической, научной и культурной экспедиции на четырнадцати полугусеничных транспортных вездеходах — «ситроенах». Из-за осложнившейся геополитической обстановки Ситроену пришлось отступить от намеченного плана — экспедиция разделилась на две группы. Первая — «Памир» — шла из Бейрута через Гималаи, вторая — «Китай» — пересекала пустыню Гоби, чтобы встретиться с «Памиром» и вместе вернуться в Китай.

По удивительному стечению обстоятельств в состав «Желтого круиза» входил русский художник Александр Яковлев (Арлекин из парного портрета «Пьеро и Арлекин», написанного им вместе с его другом Шухаевым). Яковлев написал внушительных размеров полотно (около двенадцати квадратных метров), на коем запечатлел всех участников экспедиции, ситроеновские вездеходы, песок пустыни. Среди прочих видим мы на картине и Тейяра де Шардена.

Косвенным последствием раскопок экспедиции и встречи с Гоби было то, что Тейяр получил много свободного времени для разработки своих идей, философских, эволюционных, теологических: он оказался взаперти. После июля 1937 года, когда Япония начала войну по захвату всего Китая, де Шарден не успел эвакуироваться и оказался на десять лет почти изолированным в посольском квартале Пекина, затворником запретного города Духа. С 1937-го по 1946 год он поддерживал связь с внешним миром лишь перепиской, работал над трудом своей жизни и заботился о сохранении драгоценных палеонтологических коллекций миссии.

В 1946 году с готовой рукописью «Феномена человека» он вернулся в Париж. Разрешения на печатание от своего иезуитского ордена он не получил. На долгие годы его основной труд остался под спудом: многое в нем казалось генералу ордена и всей иезуитской верхушке подозрительно неортодоксальным, антидоктринальным, а в 1951—1954 годах ему даже запретили ездить в Париж и преподавать. И в 1951-м он принимает предложение, связанное с работой в США и руководством археологическими раскопками в Африке. За год до смерти, уже живя в Нью-Йорке, он напишет: «Все приключения в области духа — это Голгофа». Он успел дважды посетить места предполагаемых раскопок в Южной Африке, побывать в замке Сарсена, в Оверни, где он родился. В 1955-м он умер в Америке от сердечного приступа.

Я узнал от одного из своих друзей, что во время Первой мировой войны Тейяр был мобилизован, прошел всю войну санитаром, получил военную медаль и орден Почетного легиона.

Другой мой друг позже, много позже прочитал в Интернете о парижском знакомстве Тейяра и дружбе с Вернадским, о родственности их идей.

Его матушка была родственницей Вольтера: должен же был кто-нибудь в семье отмолить вольтерьянское безбожие. Полное имя родившегося 1 мая 1881 года мальчика было Мари Жозеф Пьер Тейяр де Шарден — вот и биографий в биографии его было на четверых.

В Оверни, где жил он в детстве, поговаривали об обитавшем в горах и возле города Орийяка первобытных людях.

В горах было много потухших вулканов. Первое, что я запомнил о Тейяре раз и навсегда, — его детское бегство из дома в горы.

Уж не читал ли докладчик «Книжного обозрения» доклад о «Феномене человека» в обратном времени? Докладчик напоминал синантропа, бородатенький, круглоголовый. Когда я к шапочному разбору прокрался в зал, пропустив и полную биографию, и все о ноосфере, точке Омега, коллективном духе и разуме, Сверхжизни, — он заканчивал выступление свое.

— В шесть лет Пьер исчез из дому, его с трудом нашли на дороге, ведущей в горы: по его словам, он шел «посмотреть, что находится внутри вулканов».

После чего похожий на синантропа ушел со сцены, и его сменил веселый румяный мэнээс с вихром либо чубом на лбу, собирающийся поведать нам о Карле и его драконах Эдема, — по материалам, как он выразился, неопубликованной статьи, созданной Карлом Саганом перед защитой диссертации о происхождении жизни.

Мэнээс (так и в программке было помечено — МНС, то ли инициалы, то ли младший научный сотрудник) оглядел трибуну докладчика, она ему не понравилась, попробовал было приземлиться на стул за столом, да не понравились ему подлокотники, поэтому присел он на край стола, бочком, наподобие амазонки, да еще и ногой в сандаlette время от времени побалтывал. Этот человек в клетчатой ковбойке и выдавших виды туристских брюках вообще был свободен до крайности, почти развязен.

— Автора, о котором идет речь, — начал он, на секунду заглянув в мятый клочок бумаги, видимо, с тезисами, — будем называть Карл С. Фамилию его вы узнаете по его редкому имени да по названию будущей книги — «Драконы Эдема». Книга задумана, одна из глав написана вчерне, общие тезисы существуют, но автору пока некогда заняться осуществлением своего плана. Книга появится непременно, но когда — не знает никто. Может, через пять лет. Может, через десять. Вы встретитесь с ней, и моя цель — заинтересовать вас, сделать так, чтобы вы запомнили, о чем в ней идет, то есть пойдет, речь, не пропустили ее в суете дневной. Книга эта доставит вам немало радости, развлечет вас, поведает вам нечто о человеке, заставит вас задуматься.

— Да откуда вы знаете, — спросил некто из рядов, — что автор вообще ее напишет?

— Он мне сам сказал, — жизнерадостно ответил докладчик, — а все намерения свои осуществляет он непременно.

— Этот ваш Карл — ученый из Москвы? — последовал второй вопрос из первого ряда.

— Он иностранец.

— Где же вы с ним виделись? — спросил, улыбаясь, Времеонов.

— На одном из западных симпозиумов. Впрочем, может, то был коллоквиум. Или конференция. Какая разница? Кстати, тогда же он с одним из наших популяризаторов науки задумал общую книгу, она выйдет вскорости.

— Ваш Карл биолог? — спросил Энверов.

— Он астроном, астрофизик, экзобиолог, популяризатор, физик, преподаватель астрономии и так далее. Работал с генетиками, планетоведом Джеральдом Койпером,

физиком Георгием Гамовым. Вторая диссертация его связана с происхождением жизни, первая — с астрофизикой.

Отец нашего автора, Самуил С., родился в Каменец-Подольске. Дед и бабушка по материнской линии эмигрировали в Австро-Венгрию, где дед был лодочником на реке Буг, к востоку от Львова. Мальчика назвали Карлом в честь бабушки Клары, которую он никогда не видел. Так что по мнемотехнической части вы можете к образам райских драконов добавить знакомую с молодых ногтей фразу: «Карл у Клары украл кораллы». Несколько слов — вполне некстати — о драконах. Однажды нанялся я на лето на раскопки в археологическую экспедицию в Старой Ладогге. Там на одной из фресок Георгиевской крошечной чудной церкви святой Георгий (Егорий, как местные его именуют) побеждает дракона не копьем, а силой духа или мысли, и освобожденная дева Елисава, сняв пояс, обвязывает им шею дракона, следующего за ней в итоге, как послушная собачонка на сворке, то есть поводке. А раз уж мы тут — пара слов об Эдеме. Интересно, что на фресках свияжских храмов нет ни одного изображения геенны огненной, Ада: только Рай. Притом что в сонме святых присутствует изображенный в компании святых Иван Четвертый Грозный, чья святость, мягко говоря, сомнительна, а также песьеголовый, без имени, то ли египетский бог, то ли покровитель путешественников, святой Христофор.

— А сами вы кто по профессии? — перебили его из первого ряда.

— Я математик, — отвечал докладчик, одарив вопрошающего сияющей улыбкой своей. — Но вернемся к нашим баранам, как французы говорят. И в будущей книге, и в прочитанной мною главе речь о том, что в нас присутствует вечное противостояние рептилий (змеев, драконов, динозавров) и кротких (большей частью) млекопитающих, наших пращуров, с которыми мы паритетно в родстве. Но саблезубый динозавр, монстр, веками, тысячелетиями блокировался в человеческом мозге, в человеческом существе: религией, наукой, искусством, правилами и законами общежития, воспитанием.

Рептилии, млекопитающие и наработки по разумной части представлены в нас, дамы и господа, дорогие то есть товарищи, разными отделами мозга. Если мы испытываем чувство агрессии, приступ ярости, немотивированной жестокости или пещерного древнего ужаса, значит, хищник в нас сорвался с цепи. Время от времени змей либо дракон выползает из архаической части мозга, стремясь занять высшую ступень в иерархии. А если учесть, что правое и левое полушария выполняют разные функции и не всегда пребывают в гармонии, можно наконец уяснить себе, как трудно каждое утро просыпаться приличным человеком, Homo sapiens'ом, и оставаться им до наступления ночи. Будьте начеку, не давайте своему дракону проснуться и восторжествовать, запомните название книги, которая встретится вам в будущем. А я заканчиваю свое сообщение извинениями за некоторую его краткость и некорректность и — убегаю, потому что опаздываю на катер.

Соскочив со стола, вихрастый математик в ковбойке вылетел на улицу, за ним следом помчался Энверов, вышел и я, поскольку сидел рядом с дверью.

Энверов настиг докладчика, они разговаривали, математик в ковбойке переминался с ноги на ногу; отвечал он Энверову весело, пару раз даже рассмеялся, наконец удалось ему откланяться и убежать.

Некоторое время шел я за Энверовым и догнавшей его Тамилей. Я слышал их голоса, они не обращали на меня внимания, все расходились, рассредотачивались в вечерней мгле.

— О чем ты с ним говорил?

— Я хотел нанять его.

— Как — нанять?

— Ну, пригласить на работу. Он ведь действительно один из лучших наших математиков, ум оригинальный, разносторонний, я навел о нем справки.

— Когда же ты успел о нем узнать?

— Ты вообще меня недооцениваешь.

— И что? Он согласился?

— Нет. Он, видишь ли, такая неудобоваримая помесь советского упряма с российским. Деньги его, как он выразился, не особо волнуют, главное — чтобы работа была интересная. Я его спросил: что ему нужно? Не пристроить ли его на службу в какое-нибудь достойное место за рубежом? Да я при желании, отвечал он, и сам туда пристроиться в состоянии. Тогда, спросил я, может, он хочет переехать в Прованс или во Флориду? Нет, не хочу, отвечал он. Чем же мне вас соблазнить? — спросил я. Если у вас будут деньги и свобода, у вас будут и прекрасные женщины. Тут он расхохотался и сказал, что не понимает, какие могут быть проблемы с женщинами. Первая любовница, сказал он, у меня появилась еще в школе, в восьмом классе. Простите, сказал он, меня катер ждет, я рад, что мое сообщение вас заинтересовало. И ускакал.

Они спустились к воде, я пошел к Нининому дому. В ее окне горел свет. Неподалеку на одном из пустырей горел молодежный костерок. Пели:

Мама, я жулика люблю!  
Мама, я за жулика пойду.  
Жулик будет воровать,  
А я буду торговать,  
Мама, я жулика люблю!

Я сделал круг, глянул на скамеечку, на которой сживал Иван Грозный, меня охватила печаль, динозавр заворочался в одном закутке мозга моего, архаический страх из соседнего уголка шлепнул его ладошкой.

### Популярная механика

С театрального появления Филиалова и всей свиты его мелких шумливых персонажей началась в моей жизни некая глава, длившаяся (с перерывами, по одним только этим перерывам и возобновлениям сюжета можно догадаться, что время дискретно) долгие годы.

Тамилины пажи, вооруженные маленькими ключиками, всем ведомыми с детства (я даже к концу вечера усомнился: уж не должна ли была моя любимая книжка называться не «Золотой», а «Заводной ключик?»), запустили под ноги докладчику и себе целое стадо мелких заводных игрушек: скакали гладкие железные, с острыми птичьими лапками, лягушки; остервенело клевали, надвигаясь на слушателей, жестянки-курочки; неслись мотоциклы с мотоциклистами в касках и обезьянами с непокрытыми головами; целый автопробег разномастных автомобилей, легковых и грузовых, пер на обомлевших участников семинара; носились, описывая несуществующие восьмерки, мальки-автобусы; выныривая из вэдээнхашных павильончиков, зеленых нейтральных лужаек, прыгали зайцы, кенгуру; переваливались клоуны; тряслись, самомасштабируясь, слоны, медведи, жирафы.

— Аки пружи... — выдохнул за моей спиной молодой человек, чьи длинные волосы (тогда не было моды на длинноволосых) выдавали в нем редко в те времена встречающегося семинариста или молодого священника.

Железные создания помалу затихали, их заводили снова; заводные куры, обскакав всех, скакали, точно Тамерланова конница.

— Устрашающе... — сказал Времеонов.

Молодые пажы отскакивали, уворачивались от громыхающих малюток, совершенно свободно чувствовал себя только Филиалов, интуитивным чутьем танцовщика, степиста, что ли, чувствовавший, куда поставить ногу, чтобы не наступить или не споткнуться, бестрепетно приближавшийся к авансцене.

Из двери выпущены были самые скоростные автомобили, засновавшие в толчее маленького стада, сбивая задумавшихся лягушек и кур, остававшихся, дрыгая лапами и стрекоча, лежать на боку после столкновения.

Хохотал до слез сидевший в первом ряду Энверов, громко выкрикивал:

— По лапам, колесом! По клюву, по хвосту! мордой в бок!

Он был в таком возбуждении, заводе и восторге, что у меня мысль мелькнула: уж не нанюхался ли он кокаину? не накурился или анаши? не мухоморчиков ли на костерке для кайфу наварил?

Наконец цирковой паж вынес на столик докладчика часы-ящик, Филиалов слегка подвел стрелки — и из распахнувшегося окошечка высунулась, выскочила на пружинке железная кукушка: она махала маленькими крашеными крыльями, развала клюв, орала свое «ку-ку»! На двенадцатом «ку-ку» вдвинулась она в свою нишу, дверка захлопнулась, затихло, дотрепыхалась вся утино-лягушачье-куриная саранча, заглохли все моторы, замолк Энверов, и в наступившей тишине Филиалов начал свой доклад, обозначенный в программке заголовком «Популярная механика».

— Часы, которые видите вы перед собою, господа, имеют прямое отношение к механическим игрушкам, валяющимся у меня под ногами, к игровым автоматическим инсталляциям, роботам, кинематическим устройствам, к зарождающейся арт-механике, механическим картинам, автоматам и автоматонам восемнадцатого столетия, механоидам эпохи барокко, японским подающим чай куколкам-каракури и французским и английским жакемарам, которым уже лет двести или триста.

Именно изобретение и усовершенствование часового механизма, его колесиков, пружин, шестеренок и передач превратили единичные аристократические фигуры, восходящие к древнеегипетским мистериям и к пневматическим божествам и актерам Герона, в только что увиденную вами массовку. Чтобы запустить последнюю, нам понадобился ключик, похожий на тот, которым спокон веку заводили часы. Герону, чтобы запускать его автоматы, потребны были падающий груз, струя воды или струя песка. Нам остается только вспомнить — чтобы отдать им должное — ходячую статую Дедала в Афинах и летающего голубя Архита Тарентского.

Тут один из пажей принес стремянку и подвесил к потолку белую птицу — мобиль, непрерывно махавший крыльями слева от докладчика.

— Голубь мира, — сказал Энверов, хохотнув.

— Чайка с занавеса МХАТа, — возразил Титов.

— Белая ворона, — сказала Нина, и все рассмеялись.

Повесили на заднике сцены экран, поставили диапроектор, принесли магнитофон.

— Итак, — продолжал Филиалов, — все мы знаем, что автомат или автоматон — заводной механизм, напоминающий человекообразного робота. Другое название этих изошренных кукол — механоиды. Были еще и мелкие заводные куклы — фигурки, чаще всего встроенные в корпуса больших часов, водившие хороводы, возникающие и прячущиеся жакемары, иными словами, жакушки и джекушки. Jack было название главного инструмента, используемого механиками-часовщиками, строящими башенные часы. Хочу обратить ваше внимание на то, как тесно связаны с изменением человеческого сознания и образа жизни способы измерения време-



ни. Когда-то время определяли по солнцу, по луне, по звездам, как, например, мореплаватели. Люди изобрели солнечные часы, разумеется, южане, жившие на солнечной стороне Земли. Существовали водяные клепсидры и песочные часы, мерные свечи, позже звон церковного колокола сообщал слышащим его посвященным, который час.

И вот явились изобретатели-часовщики («он был колдун, часовщик, он одушевлял вещи»), сцепились шестеренки, двинулись стрелки, качнулись на цепях точные гири, закачался туда-сюда маятник, новое время явило адептам своим круглое лицо циферблата.

Быстро темнело, куст сирени стоял в окне, дело шло к тому, чтобы включить магнитофон и диапроектор, Филиалова слушали внимательно, в тишине присмирившего зала звучал голос его.

А мне в эту минуту остается только вспомнить будущее, двигавшееся навстречу Свяжску дней юности моей. Позже, много позже волею судеб оказался я в Англии, точнее, в Шотландии, не в туристической, но отчасти деловой поездке, связанной с конференцией художников, керамистов и стекольщиков; я входил в группу дизайнеров-монтажеров передвижных выставок.

Маленький музей подле Московского проспекта уже вошел в нашу с Каплей жизнь, но пока тихо, радостно, в виде первого ознакомительного посещения. Поэтому с удовольствием великим, попав в Глазго в Mechanical Cabaret Theatre, театрик автоматов и кинематографических устройств начала двадцать первого века, где множества маленьких жакемаров неустанно трудились и шерудились вокруг очарованных, развеселившихся слушателей, получил я в подарок диск с изображениями малюток и буклет кабаре-театра, предвкушая, как будем мы дома с Каплей и Ниной увеселяться приключениями всей этой мелочи с открытыми конструкциями передач, зубчатых колесиков, шестеренок, трансмиссий и рычажков из дерева, пластика и металла. Кто только не трудился тут на ниве кулибинского изобретательства веселых шотландских мастеров!

В большинстве своем мелкие кинематоны снабжены были этикетками с названиями: «Пловец», «Лодка с гребцами на волнах», «Всадник», «Поедатель мышей», «Пожиратель рыбок» (особо уморительный поедатель-пожиратель сидел в ванночке, наполненной сосисками, ел их безостановочно *da saro al fine*, сосиски не убывали, вспомнилась строчка поэта Дроздова: «Любимая в углу сосиски ест, уничтожая их, как пилорама»), «Пропилеи», со скачущими из пропилеи в пропилею овцами (я сразу же представлял себе это охрнительное стадо перед пропилеями Смольного), «Танцор», «Стрижка», «Дрессировка», «Вольтижировщица и циркачка», «Рыбки», «Заяц со скакалкой», «Диалог», «Механический кот побольше, играющий с механическим котом поменьше» (игрушка со своей игрушкой), «Бегущий пес», «Бесконечное отъедание львом башки дрессировщицы» (голова возвращалась на место, лев отъедал ее снова и снова), «Игрок на банджо», «Кот ест колбасу», «Забивание гвоздя», «Сверловщик» и так далее. Особую роль в экспозиции играл египетский бог Анубис. Почему изобретатели заиклились именно на этом широкоплечем, с тонкой талией, с длинной, узкой профильной собачьей головой, осталось тайной. Два Анубиса ехали на тандеме. Анубис делал зарядку. Трио пляшущих Анубисов. Анубис — всадник. Апогеем являлся «Анубис, приносящий кофе в постель Олимпии». Маленькая деревянная Олимпия, карикатурно похожая на свой прототип с хрестоматийной картины Мане, и египетский шакальеглавый с подноском возле ее кровати; на подносе, кроме кофе, стояла бутылочка абсента. Рядом наблюдала сию сценку фигура чертика, у которого росли рога — вырастали на глазах у веселящихся посетителей.

Когда еще в институте я учился, один из самых талантливых рукоделов-дизайнеров, из группы младше меня на курс, на кафедре «Заводная игрушка» к своему проекту из подручных средств (видать, пару заводных лягушек-курочек и старый будильник разобрал) сделал еще и действующую модель под названием классическим «Чертопханов и Недопюскин». Чертопханов, по ассоциации с Черепановыми, — два бесенка, побольше и поменьше, на паровозике с колокольчиками катались. Чертенки из Глазго напомнил мне этих бесенят: одна семья.

Неведомо, что мог бы значить этот всплеск интереса к механическим заводным игрушкам, кинематоном механической анимации как таковой. В конце двадцатого века и в начале двадцать первого наблюдали мы поистине новую волну, *new wave*, как местные уездные англофоны говорят.

Однако, в отличие от юмористов из Глазго, Скандинавии, Германии, отечественные господа оформители тяготели к некоему романтическому стилю: одна из работ ведущего арт-механика страны Виктора Григорьева так и называлась — «Романтическое путешествие»; названия других тоже говорили сами за себя: «Сон маленького Чкалова», «В погоне за счастьем», «Мечта о театре». Разве что в автоматических его партиях звучала нота юмора, если можно так выразиться, — в «Икарушке» и «Ихтиандрушке», например. Но все кинематоны его стилистики, виденные мною, напоминали глюки, сны, рисунки сумасшедших или еще только сходящих с ума почти незаметно. Они словно составлены были из фрагментов разных игрушек, разломанных и собранных: вот перепончатое крыло-парус, вот светящийся монгольфьер, маска полуптицы, полу-Бригеллы, корабль на колесах, песочные часы, «Наутилус» в разрезе. Какая эклектика! Немножко ужаса, доля бреда, и — как некогда формулировали само понятие дизайнера — все это «обогащено средствами искусства». Фантастично, рукодельно (но и рукоблудно), чудный художественный конструкт. Словом, снова вошли в моду древнегреческие создатели движущихся кукол и декораций *тавматурги*. И не исключалось, что вот-вот телезрители увидят ремейк с нотами хоррора под названием «Господин тавматург».

— Восемнадцатый век, — продолжал Филиалов превесело, — известен как время изобретателей: фон Кемпелена, Пьера Жака Дро с его автоматами «Писарь», «Рисовальщик» и «Музыкантша», Кулибина с его часами с птицами, любимца Петра Первого Брюса с его таинственными девушками-андроидами.

Но существовали и созданные монахами-францисканцами пятнадцатого века садовники-автоматы, заводной монах шестнадцатого века, молившийся за короля Испании, а в семнадцатом веке у русского царя Алексея Михайловича, в Коломенском, по обе стороны трона стояла пара механических львов: они рыкали, вращали глазами, «зияли устами». Да что далеко ходить: у Ивана Четвертого Грозного, сживавшего на скамеечке возле стоящей неподалеку Троицкой церкви, по свидетельству иностранных послов, имелся автомат-слуга — «железный мужик», побивавший медведя, прислуживавший гостям. Гости не верили, что мужик не настоящий, — царь позвал трех мастеровых, открывших спрятанные под одежкой «железного» крышки, где были шестерни и пружины. Царя нашего Ивана, по прозвищу Грозный, по прямому имени Тита и Смарагда, в постриге Иону, тирана, самодура, садиста, диктатора, человека высокообразованного и начитанного, оторопь гостей при виде шестеренок «слуги» привела в неслыханное веселье, изволил смеяться зело.

И вот уже отпели петух и павлин часовые, отловил рыбку серебряный аглицкий лебедь, плывущий под музыку по струям стеклянным, отыграли на струнных маргышки, на барабанах и клавишах красотики и красавчики, — настало восстание масс. Ведь тут у нас полно дизайнеров, не так ли? адептов серийности с тиражностью? Вместо фарфоровых панночек Вия да гофмановских дев-исчадий пошли серийные

барышни с кудряшками, в капорах для среднего сословия, — вариант для тех, кто побогаче, модификация для тех, кто победнее. Поставили на поток и механических скромных зайчиков, и заводную лошадку, с машинкою, с заветным ключиком.

Оставались, самой собой, всплески, отменить их невозможно: один мастер девятнадцатого века, Карл Б., создал, например, трехликую куколку с поворачивающейся головою, нужное лицо выставлялось по фасаду: личико веселое, личико печальное, личико спящее. Два, в данный момент ненужных, лица прятались под капором либо чепцом — этакая доморощенная, страшноватая, древняя Тривия-губки-бантиком.

Кстати, все слепленные и вырезанные по образу и подобию дамочек куколки, особенно снабженные механизмами автоматы, были страшноватые, как гальванизированные мертвецы. Э.-Т.-А. Гофман, посетив один из современных ему «домов механики» — Данцигский арсенал, собрание диковинок автоматов, утерянное во время наполеоновских войн, — пришел в ужас: собрание показалось ему «некромантическим кошмаром».

Заводные автоматы семнадцатого и восемнадцатого века старательно подделывались под живое (совершенно натуралистические имитации, раскрашенные, облаченные в настоящие костюмы, в париках из натуральных волос, кивающие головами, моргающие, дышащие) и именно поэтому напоминали магически оживленных некромантами мертвяков. Обыкновенные куклы, серийные, не блещущие красотой, нам, кстати, мертвецов, вурдалаков и вампиров не напоминают. Еще веселее и легче играть с крестьянской тряпочной куколкой, маменькиным благословением: одежда из старой одежды, лица вовсе нет, чем и хороша, — годится в игру, дает волю и свободу воображению.

Совершенно естественно, что в семнадцатом и восемнадцатом веках в Европе возникла устойчивая мода на заводные игрушки. То была эпоха Просвещения, «время машины мира», период взгляда на мир как на огромный (по Лейбницу, бесконечный) механизм. На мой взгляд, именно Французская революция, плясавшая вокруг гильотин и певшая «Вешай аристократов на фонарях!», была первым шагом к замене уникальных дорогих механизмов для богатых и избранных серийными и тиражными зайчиками да курочками, которых вы наблюдали все детство и которые скакали и клевали перед вами четверть часа назад.

Тут Филиалов посмотрел на меня, глаза его сверкнули в свете включенной им лекторской лампы (он как раз собирался обратиться к диапроектору), как некогда сверкали в свете маленького софита глазки куколок вертепа старого кукольного театра, приводившего меня в детстве в священный восторг.

И совершенно неожиданно я молниеносно заснул. Неожиданно и незаметно. Словно бы находился я на том же месте, в том же ряду того же зала, но неуловимо оплыло, поменялось околдованное сном пространство: пажи унесли часы с кукушкой, вместо них принесли прямоугольный ящичек — подставку для кашпо, Филиалов нажал на секретную кнопчку, двери ящичка распахнулись, и виден стал маленький кукольный театр, где две небольшие куколочки-автоматы пили чай и вели диалог на языке механоидов сновидения ненастоящими голосками:

— Ванко топанго бюджета джета?

— Бюджета лапо топинари.

Я не смог ни досмотреть, ни дослушать: Нина схватила меня за руку, я проснулся рывком.

Никакого ящичка на столе не было — прежние молчащие часы. Свет горел только на сцене. Звучала музыка восемнадцатого века, то ли Рамо, то ли Глюк, может, и Моцарт. С экрана диапроектора на меня смотрела кукла. Она повернула голову, я видел ее глаза без ресниц — а ведь она и глаза умудрялась повернуть, настоящий

взгляд! Губы ее прорисованы были алым, она была бледна, серьезна, смотрела в упор. Нина (а мы сидели рядом с боковой дверью) вскочила, бросилась прочь, на улицу, я — за ней. На улице была ночь, полная звезд. Нина расплакалась, я стал ее успокаивать, она рыдала: что с тобой, что? Мы шли прочь, к ее дому, краснокирпичная гимназия с замершим под взглядом куклы залом осталась позади, некоторое время я еще слышал музыку.

— Мне... жалко... жалко королеву... зачем ей отрубили голову?..

— Какую королеву?

— Марию... Антуанетту...

Она всхлипывала все реже и реже, я утирал ей слезы, поцеловал в висок, в соленую щеку, накиннул ей на плечи пиджак.

— Нина, прости, я не понимаю, про что ты. Я уснул, как дурак, минут на десять. Видел во сне тот же зал. При чем тут Мария Антуанетта?

«Мария Антуанетта», та самая кукла-автомат, которая смотрела, повернувшись, на нас с экрана, вначале звалась иначе — «Играющая на цимбалах» или «Цимбалистка». Сделали ее два известнейших мастера: мебельщик из великой династии мебельных мастеров, по фамилии Рентген (и Нина, и я видели рентгеновские бюро да секретеры в Эрмитаже), и часовщик, чье имя Нина забыла. «Цимбалистка» ударяла молоточками по струнам цимбала, играла несколько мелодий Глюка. Автомат-андроид поворачивал голову и глаза, дышал. Одета музыкантша была в точную копию любимого платья французской королевы, причесана, как она, и походила на нее.

Мария Антуанетта, совершенно очарованная автоматом, купила эту чудесную игрушку, тогда-то кукла и стала тезкой королевы. Потом грянула Французская революция, чьи механики изобрели автомат по своему вкусу — гильотину; королеве отрубили голову; мастера, создавшие «Цимбалистку», бежали из страны.

По счастью, куклу не сломали, она сохранилась в бурях времен, повернула к нам бледное личико свое с губами, обведенными яркой помадой (как любила Мария Антуанетта), смотрела пристально, печально, спокойно, мы встретились с ней в стоящем на костях узников, в нашей раскинувшейся от Чопа до Кушки Бастилии, в вечернем Свяжске.

— Завтра последние экскурсии, — сказала Нина, совершенно уже успокоившаяся, стоя у калитки, — и все разъедутся. Мы вместе поедem?

— Конечно. Нам пора в город. Мне пора за тобой ухаживать и водить тебя под ручку по ленинградским вестям Петербурга.

Я возвращался, редущая толпа, расхидившаяся в разные стороны после фиаловского доклада, окружила меня. Не все разбрeдались, иным было со мной по пути, переговаривались, я шел в жужжащем облаке реплик; потому что я был один и не разговаривал ни с кем, я слышал всех.

Вот наши семинары и закончились; какая хорошая погода стояла, нас ведь мог и дождь поливать; вы завтра едете на экскурсию? на которую? экскурсий несколько, катера придут с утра, кто в Казань, кто в Углич, кто в город Мышкин. Жаль, что не удалось услышать всех, да это и невозможно было, случались чудесные одновременные доклады, не раздвоиться; хотелось бы ваш ленинградский адрес записать, я вам дам визитку, я вам напишу, а я отвечу.

Энверов уговаривал Тамилу прямо из Казани лететь с ним на юг: летим, летим, давай недели на две. А как же работа? Работа не волк, в лес не убежит, ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем. Нет, говорила Тамилу, мне ведь надо материалы семинарские готовить для печати, потом перебрать адреса для рассылки и разослать, я обещала Титову. Хочешь, я тебя на две недели отпрошу у твоего Титова? Навру что-нибудь, врать я мастер. Нет, не получится, кроме меня, некому этим

заниматься. Неужели какие-то бумажки, искренне не понимая, вопрошал он, важней нашей с тобой новой жизни? Ну, не две недели, хоть десять дней; выберем, где нам лучше: в Хосту, в Анапу, ты станешь на солнышке шоколадная, я знаю, где самые лучшие гостиницы для высокопоставленных персон, номер с балконом, вид на море, теплый пляж, пустой ночной пляж для нас двоих, виноградные вина, розарии, если ты любишь цветы; да что ты упираешься? я не понимаю. Он начал раздражаться. Что ты все нет да нет, у нас еще день, думай, я тебя уговорю. И вообще, я тебе письмо напишу, завтра отдам. Они свернули вниз, на берег, к своей исконной косе Тартари, стоящей на костях убиенных.

— После сегодняшней «Популярной механики», — говорил спутникам своим Времеонов, — я как-то по-новому воспринимаю выражение «Deus ex machina».

— А я, — произнес я в воздух, ни к кому, собственно, не обращаясь, — теперь иначе ощущаю слово «машинально».

Времеонов обернулся, улыбаясь:

— О, Федор Дорофеев! Тодор Божидаров! Рад видеть вас.

### **Бедный Жорик**

Нина убыла в город Мышкин, я остался в надежде написать несколько этюдов. Свияжск был так хорош, куда ни глянь — все годилось для живописца, а я не был уверен в том, что судьба еще когда-нибудь занесет меня сюда.

Я сидел на возвышении, в стороне, мне было видно все с невольной зрительской точки зрения.

Катерок в Казань наконец-то подошел, экскурсанты начали спускаться с возвышенной части берега на низкую — пляж, где малая пристань со сходнями пересаживала всех в скромные плавсредства. Энверов оглядывался: Тамила опаздывала, он не видел ее. Зато видел ее я, она уже подходила к линии высокого бережка, когда ее задержали два подбежавших пажа: один вручил ей письмо, белый длинный конверт, другой — две канцелярские папки. Помедлив, Тамила решила взять папки с собой, оставить их на острове она уже не успевала.

Компания экскурсантов гуськом шла по тропке к сходням катерка, Энверов шел первым. Тут из-под лопаты одного из копателей, рабочих (должно быть, наемных, приезжих), трудившихся над наделом будущего цивилизованного спуска к пристани (во второй мой приезд тут уже красовались деревянные пологие лесенки, пересекавшие аккуратно выровненные, параллельные воде эспланадки), выскочил череп и скатился на тротуар (черепа тут попадались повсюду, только начни копать). Энверов, вместо того чтобы поднять его, произнес классическое шекспировское «Бедный Йорик!», поддал череп ногой со словами «Бедный Жорик!», и с кратким хохотком Гамлет-хам наш комсомольский отпасовал его обратно, наверх. Отфутболенный череп залег в траве. Один из копателей спустился за ним и отнес его в сторонку, чтобы присоединить к уже откопанным прежде собратьям. К удивлению моему, увидел я со своего места наблюдателя лежащие вдоль примыкающей к высокому берегу линии, отсортированные по-вурдалакски горки костей: черепа с черепами, ребра с ребрами, берцовые с берцовыми и так далее.

Кто-то из идущих за Энверовым хохотнул, большинство ничего не заметило, приняв отфутболенное за детский старый мяч. Тамила побледнела, побелела, развернулась, пошла по тропе наверх, прочь. Когда вся группа достигла сходен, ее и след простыл. Энверов с несколько растерянным видом, в полном недоумении головой вертел: куда делась? Однако быстренько загрузились на катерок, умчались,

он и с катерка все оборачивался, но бережок был высок, Тамила давно вышла за пределы видимости.

Уйдя с написанным этюдом с берега, я застал ее сидящей на лавочке возле прибрежной сараюшки, она курила, я никогда не встречал Тамилу с сигаретой, глаза ее были заплаканы, я спросил: в чем дело, не нужна ли помощь моя? Она только головой помотала. Я оставил ее на лавочке в облачке сигаретного дымка. От Тамилы не должно было пахнуть табаком — только ее любимыми духами, «Ландыш серебристый», шлейфным ароматом тех лет; болгарским розовым маслом, сменившим духи «Манон». Некоторые доставали где-то французские флаконы — экзотический, дорогой подарок.

Вечером уже темнело, когда забегал по Свяжску вернувшийся с экскурсии Энверов, искавший Тамилу.

- Она уехала, — сказал ему один из пажей.
- Как уехала? Куда?
- В Ленинград уехала, с группой из ВНИИТЭ.
- Этого не может быть, — сказал Энверов. — Ты врешь.

Паж (а то был цирковой паж) хотел было на голову встать, да раздумал, только плечами пожал.

- Мне ничего не передавала?
- Нет.
- Не может быть.

Но паж уже ускакал.

### «Норд»

- Расскажи мне.
- Про что?
- Про «Норд».
- А ты потом расскажешь мне про лося.
- Хорошо.

Мы рассказывали друг другу истории из нашей жизни, чаще всего — из детства. В течение года одна и та же история рассказывалась не единожды. Это была наша игра на двоих, любимая игра.

Мы поженились зимой, через несколько месяцев после приезда из Свяжска. Нина переехала к нам с мамой: мы жили в коммунальной квартире в центре города. В Нинину комнатку переехал наш сосед, и в коммуналке остались только наша семья и симпатичная старушка соседка. Мы в четыре руки сделали ремонт: покрасили стены по обоям водоэмульсионной краской, добавив в белила немного охры, вышел бело-золотой. Зимой Нина вешала холщовые шторы, летом кисейные или две полосы марлевки. Живопись моя украшала нашу комнату, в иные полнолуния в зеркало старинного платяного шкафчика, стоявшего у двери, вливалась луна.

Нина сшила на наш раскладывающийся диван покрывало из разноцветных квадратов: однотонные алый, вишневый, ультрамариновый из новой ткани, остальные из отстиранных и отглаженных лоскутов старых сарафанчиков и занавесок. Синий, алый и зеленый стекла прабабушкиной лампы времен модерна перекликались с цветами покрывала, аукались с живописью моей. Мы жили тихо, счастливо, у нас были свои праздникам подобные походы: на стадион для меня, в театр для Нины, на выставки или в филармонию для нас двоих.

Судьба прервала эту идиллию неожиданно и жестоко. Нина была на четвертом месяце беременности, когда попала она в страшное ДТП, потеряла ребенка, долгое время балансировала между жизнью и смертью. Уверившись наконец в том, что она останется со мной, врачи не были уверены, что она меня узнает, заговорит, сможет ходить. Но потихоньку, постепенно (реанимация, реабилитация, палата за палатой, потом лечебная физкультура, санатории, дома отдыха) она стала возвращаться, не совсем такой, как прежде (а внешне — совсем такую — почти). Она настаивала на том, чтобы работать, переучилась, работала на полставки. У нее была одна странность, природная ли, из детдомовского ли детства: она была очень старательная, ей хотелось сделать все быстро, идеально почти; ее очень угнетало, что теперь уборка и стирка даются ей с трудом, занимают больше времени и так далее. Она чувствовала себя виноватой, что стала мне не такой женой, как мечталось, не вполне полноценной. В первый день выхода из больницы она принялась мыть пол и потеряла сознание. Оказалось, что у нее сломаны несколько ребер, и когда она наклонилась резко, осколки ребер вошли в плевру; по сравнению со всем остальным такая мелочь, как ребра, была не в счет, не ими занимались доктора. Но она опять попала в больницу, к счастью, ненадолго.

— Будешь полы мыть — задушу, — сказал я ей.

Она улыбнулась узнаваемой милой улыбкой, ставшей чуть-чуть асимметричной, чего никто, кроме меня, не замечал.

Дважды за несколько лет съездили мы с ней на юг, весной и осенью, чтобы не было слишком жарко.

Мы сидели, как прежде, на диване с чуть выцветшей накидкой из разноцветных квадратов, Нина была на пятом месяце, просила рассказать про «Норд». Матушка моя, переехавшая полгода назад к двоюродной сестре в Валдай, — пожить, дать нам побыть вдвоем, звонила накануне, обещала приехать назавтра. Она получила мое письмо о том, что Нина ждет ребенка, спешила, волновалась, хотела помочь.

— Когда я был маленький, — начал я выученный до малейшей интонации рассказ, — мы с мамой раз в три месяца ходили на Невский в кафе «Норд». В начале пятидесятых, в связи с «борьбой с космополитизмом», название ославянилось, превратилось в «Север». Однако горожане по-прежнему называли заветное заведение, славившееся своими пирожными, «Нордом».

К посещению «Норда» мы готовились, как к походу в театр: матушка надевала нарядное театральное выходное платье, коралловое ожерелье, я — праздничную вельветовую курточку. Отец никогда с нами не ходил.

Кафе находилось в цокольном этаже, в глубине, за магазином; в маленьком гардеробе снимали мы пальто или плащи — и оказывались в маленьком волшебном зале с искусственными окнами, застекленными, однако; стекло покрыто было с изнанки серо-голубой краской. По периметру шли отдельные подковообразные кабинки: диванчики темного дерева с бархатными спинками и сиденьями цвета голубино-го крыла, маленький столик. Спинки были до плеч, соседей мы видели, но вместе с тем сидели отдельно. Интерьер зала украшали большие фарфоровые белые медведи. Куда они потом делись, когда закрылось кафе? Переехали на дачи и в дома начальников городских? В пресловутые охотничьи домики Карельского перешейка, Псковской, Новгородской, Тверской областей, где охотились партийные и комсомольские боссы?

Мы заказывали по пирожному (мне эклер, маме картошку), мне чай с лимоном, мама пила кофе глясе, в котором плавал шарик мороженого. Все, вместе взятое, напоминало какую-то другую жизнь, английскую или дореволюционную. В «Норде» было тихо, уютно; в глубине зала находилась маленькая эстрада с пианино, где

могли бы поместиться трио музыкантов с певицею, возможно, вечерами звучала и музыка, но я не уверен: наши посещения были всегда дневными.

Нине особенно нравились белые медведи из моего рассказа, большие, полуметровые, толстолапые, с чуть поблескивающей фарфоровой шерстью. На следующий день, поскольку был я в Публичке (сидел в журнальном зале, надо было собрать кое-какой материал для следующего проекта), решил я зайти в магазин «Север», чтобы повеселить Нину парой пирожных из моего рассказа. Кафе, куда ходили мы с мамой, давно в низочке не было, зато на втором этаже работало большое новое заведение, днем обслуживавшее посетителей по расценкам столовой, вечером превращавшееся в ресторан. Я решил там пообедать; однажды в Москве, не найдя по пути из одной проектной конторы в другую ни пельменной, ни пирожковой, так отобедал я в знаменитом «Славянском базаре», где дневные цены были много меньше вечерних. Заказав чашку бульона с профитролями, котлеты с пюре и чашку кофе, стал я разглядывать помещение, показавшееся мне, должно быть, по контрасту с детскими воспоминаниями о «Норде», несоразмерно высоким. Окна тоже — очень большими. Народу было немного. Женщина, только что вошедшая в «Север» и направлявшаяся по проходу к столику у окна, показалась мне знакомой: танцующая походка, бархатный пиджак, она прижимала локтем к боку маленькую черную сумочку; я взгляделся — и узнал Тамилу. Человек за столиком, к которому она под села, повернул голову, я увидел его в профиль; это был Энверов. Он не встал навстречу даме, не усадил ее за стол, что показалось мне не просто неучтивым — странным. Официанты ходили взад-вперед, две дамы за соседним столиком стрекотали почем зря, группа обедающих командировочных провинциального вида хохотала и звякала вилками. Из разговора Тамилы и Энверова до меня долетали обрывки, отдельные фразы, слова. Он, как мне показалось, вовсе не изменился за те десять лет, если не больше, которые прошли с лета свияжских семинаров. Тамила, конечно, то ли повзрослела, то ли постарела (последнее слово не подходило: тогда, давно, она была очаровательной девушкой, теперь стала красивой дамой). Разговор у них был неприятный. Она слушала его, опустив ресницы, вертя на столе свою рюмочку с коньяком, на щеках ее загорелись пятна румянца. Он что-то требовал от нее, речь шла о каком-то письме, он настаивал, она отнекивалась. Мне показалось, он ей угрожал. Не допив, она встала и ушла. Он остался, официант уставил его стол судочками и тарелочками, бутербродами с икрой, салатами. Энверов принялся за обед с видом недовольным и раздраженным: холеный москвич, в шикарном костюме, богатый, нагловатый.

Я подивился, через столько лет увидев их вместе. Хотя роман их то ли заканчивался, то ли закончился, с любимыми, возлюбленными или любовницами так не говорят. Меня подмывало сказать ему какую-нибудь гадость, проходя мимо него к выходу, но не хотелось на него тратить драгоценные мгновения жизни. И я ушел. Он меня не заметил.

Когда к вечеру прибыл я домой с коробочкой с тремя пирожными (продавщица, привыкшая к тому, что покупатели уносят по три коробки, не без брезгливости завязала розовой бечевкой мне, нищевроду, три пирожных; а я знал, что Нине нельзя много сладкого), Нина обрадовалась, как я и думал, продолжению истории про «Норд». «Как хорошо, что их три, — сказала она, — мама Зоя завтра приедет, один эклер положим для нее в холодильник».

Но что-то в любимой жене моей было непривычное. Должно быть, она хотела о чем-то попросить или спросить и сочиняла, как лучше это сделать.

Когда я отужинал, она сказала:

— У меня к тебе просьба. Обещай, что не откажешь.



Это был запрещенный прием, но я вконец превратился в подкаблучника и пообещал.

— Не мог бы ты, — произнесла Нина, — поехать в командировку в Казань? Ты что-то говорил о заказчиках из Казани.

— Может, и мог бы, — отвечал я, подивившись, — надо спросить у начальника. А что я должен привезти тебе из Казани? Башкирский мед?

— Ты заедешь в Свияжск и привезешь мне письмо. Я забыла в доме моей хозяйки чужое письмо, данное мне на сохранение. Все случайно вышло, я не нарочно. Сегодня заходила Тамила, это ее письмо, ей Энверов написал, а теперь она должна ему это послание вернуть. Я не поняла, да и не расспрашивала, но Тамила плакала и сказала: очень важно, вопрос жизни.

Откуда Тамила узнала, где мы живем? Она никогда у нас не была. Впрочем, и в Институте технической эстетики, и в Мухинском нашлись бы мои друзья или знакомые, знавшие мой адрес.

— Вопрос жизни? — переспросил я.

— Для чего нам знать, что там у них происходит? Может, поссорились, может, помирились, может, хотят пожениться или расстаться. Пожалуйста, съезди, постарайся! Я это письмо у хозяйки в комнате сунула за икону.

— Думаешь, там и лежит?

— Конечно. Ты обещал.

Да, я обещал.

— Ладно, — сказал я, — я только боюсь тебя одну оставлять.

— Как же одну? — обрадовалась Нина. — Завтра мама Зоя приезжает.

Засыпая, я сообразил: должно быть, у Тамилы с Энверовым крупный разговор был в кафе именно из-за этого письма. Какая чушь. Капризы моей бабушки. Нина спала сном младенца, слегка улыбаясь. Да поеду, поеду, ведь обещал; с тем я и уснул.

## Снега

Начальство нашего номерного концерна ко мне благоволило. Хотелось быть людьми передовыми, щеголять дизайном приборов, рабочих мест, изделий. Заказчики моей работой всегда были довольны; инженерам, конструкторам, руководителям нравились мои макеты в натуральную величину, нравилось, когда в статьях о товарных знаках страны в одном из известнейших журналов товарные знаки и бренды, эмблемы, спроектированные мной, назывались в десятке лучших, приводились в пример. У нас действительно ожидалось совместные разработки с аналогичным предприятием в Казани, несколько человек из самых начальственных собирались туда днями; захватили и меня с фор-эскизами и вопросами по уточнению задания на дизайнерскую разработку. В пути я спросил — не могу ли я на день, на сутки, на два дня, как угодно, заглянуть в Свияжск, находящийся в тридцати километрах от Казани. Быстро справишься со своей документацией, поедешь, еще и отвезут, — было мне ответом. Путь тоже был не вполне обычный: я наконец понял, как сильно отличается в бесклассовом обществе нашем жизнь начальства от жизни подчиненных. А на охоту не хочешь? — спросили меня, а на зимнюю рыбалку? а на лыжах покататься на настоящих? Нет, отвечал я, мне бы в Свияжск. До Казани добрались мы не за сутки, а за три часа особым авиарейсом, в аэропорту встречали нас на машинах, все свои вопросы и проблемы решил я с конструкторами и инженерами до обеда, потом меня на уникальном вездеходе-амфибии (я и представить себе не мог, что в стране нашей где-то катаются на подобном транспортном средстве — только что не летало) домчали до места назначения, объяснив, кому должен я звонить,

добравшись через сутки на электричке до Казанского вокзала, чтобы меня конвертировали в Ленинград примерно так же, как из Ленинграда.

Сумерки только начали окрашивать снега в голубое, когда прошел я по зимнему острову к дому Нининой хозяйки, издали увидев отороченные белые ветви двух деревьев — сосны и тополя, возле которых мы в первый раз обнялись с Ниной и поцеловались.

В любимом моем Ленинграде, где погода капризничала, чудила, играла в ветры с Атлантики, мечтала о Гольфстриме, я чуть было не забыл то, что понял еще в детстве в зимние месяцы в тетушкиной валдайской избе: главное в нашей стране — небо и снега.

Древние модницы наши любили свой, речной и привозной жемчуг скатный за его льдистую снежность; окультуренные дворяне семнадцатого и восемнадцатого столетий любили статуи беломраморные за их сходство со снеговиками, как бояре — белокаменные палаты за молочную, снежную белизну.

И не таял ли камень придорожный, бел-горюч, потому что был льдом?

Один из любимых писателей моих сказал: всю ночь падал снег, он принес с неба тишину. Другой писатель и писать-то начал потому, что все начало книги его представлялось его внутреннему взору фигурками на снегу.

Зимний Свяжск развернул передо мной свое убежденное околдованное царство.

Нина снарядила меня в поездку с гостинцами для хозяйки: в нашей проектно-заводской лавре велено было мне зайти в стол заказов, который посещал я реже всех сотрудников, где приобрел я кило гречи, две банки тушенки, две банки сгущенки, банку сгущенного кофе, шоколадный торт и индийский чай «со слоном». От себя Нина положила клеенку с ретроавтомобильчиками (где только отрыла?) и десять свечек; а свечки-то зачем, спросил я; там свет часто гаснет, отвечала жена моя.

Хозяйка очень обрадовалась мне, пришла в восторг от подарков, расплакалась, узнав о наших злоключениях, перекрестилась, услышав, что Нина ждет ребенка, протопила на ночь вторую печь, достала из-за иконы пропылившееся письмо; мы угомонились за полночь; свет и впрямь не горел — горела керосиновая лампа.

Лежанка и сенник были теплы, за сплошь разрисованными морозом окнами брезжила луна, тишина снегов обводила дом.

— Федор, милый, не сходишь ли ты на лыжах на тот берег, — спросила меня утром хозяйка. — Я тебе покажу, в какую избу. Там моей подружке для меня лекарств привезли. Ты на сколько приехал? Так меня выручишь.

— К вечеру съеду, — отвечал я. — Схожу, конечно. А лыжи-то есть?

— Ох, жаль, думала, поживешь, погостишь. Лыжи сейчас от соседа принесу.

Снегом покрыты были льды давно вставшей реки; из прибрежной проруби набирали воду; следы, лыжня, да и не одна; у берега из снега торчали метелки водных трав. Светило слепящее солнце, мороз был изрядный, но сухой волжский мороз в двадцать градусов с гаком был много легче нашего, сырого, двенадцатиградусного петербургского, с шалым ветерком.

«Что же нам делать, — думал я, — если мысль наша чувственна, а прикосновения снега духовно?»

Благодатное покрывало, точно рождественский камуфляж, скрывало все изъяны опечаленной десятилетиями революционных пробелов в настроенной некогда жизни: разрухи, войны, бедности. Всем сараюшкам, всем посеребренным беспощадным воздухом объявленной незнамо зачем новой эры домишкам выданы были праздничные белые уборы, графические сияющие линии обводили купола, выступы, аркатурные пояски, арки, колокольни, порталы уцелевших церквей. Ни мусора, ни

дикой травы пустырей, ни луж миргородских в переулках и на улицах: снега, праздничные белые одежды. Я даже подумал: должно быть, и несчастные скелеты косы Тартари и потаенных братских могил находят сезонное упокоение под снегом, павшим с небес, подобно молитве.

Подружка хозяйки, в отличие от нее полная и веселая, поила меня чаем с вареньем (от обеда я отказался), чуть не забыл отдать ей посланную в подарок банку сгущенного кофе и коробку изюма в шоколаде из Нининого пакета, взял лекарство, узелок с сушеной травой, связку грибов, двинулся обратно.

Левее моей лыжни кто-то слепил целую ватагу снеговиков, были среди них и нагие красотки вроде каменных баб; я сделал крюк, отправился их смотреть: должно быть, где-то гостили художники или скульпторы, прибывшие на зимние квартиры на этюды.

Белая орава осталась позади, справа стеной стояли в снегу сухие стебли камыша, метелки осоки. Я глянул на остров и обмер, поняв, что нахожусь в точке, с которой Левитан писал свое «Озеро». И было видно мне отсюда, где находится место на берегу, куда падала тень облака на его картине.

Конечно, вместо того чтобы вернуться в дом с двумя деревьями, я рванул туда, не веря глазам своим.

Заповедное белое безмолвие, окружая меня, смотрело на меня со всех сторон; белое на белом разворачивало, по мере продвижения моего, веерные близнечные пространства, помечая снега то крохотной веткой, неизвестно откуда взявшейся, то рисунком-следом протекторов «макаки» — превращенного в вездеход старенького мотоцикла.

На реках — и Шуке, и Свяге, и Волге — кто-то заботливо метил проруби воткнутой в снег вешкою с навязанной на нее узкой алой ленточкой, клочком алой тряпки; уж не красной ли свитки, подумал я, отдыхая возле заснеженного берега, запечатленного тенью облака рукой Левитана, воображаемой виртуальной тенью третьего мира: искусства. Уж не из ключев ли гоголевской красной свитки собраны были все красные флаги страны? Что только в голову от усталости не приходит, думал я, как это я так растренировался: совершенно забыл, начисто, о дальних расстояниях и лыжных прогулках детства и юности.

Ничего заповедного в этой части бережка я не замечал, возможно, тишина была еще плотнее, хотя... И тут в склоне берега, в косой стенке между приподнятым плато острова и полосой прибрежного пляжного песка, в сугробе, распахнулась дверь. В занесенном снегом склоне была занесенная снегом дверь, она открылась вместе с налипшим на нее прямоугольником белым, откинулась на петлях, обнаружилось темное пятно лаза, вышел из подземного хода монах в черной рясе (или то был подрясник? я не знал названия одежд церковных людей) и ватнике с брякающим, звонким новеньким серебристым ведром в руках. Он оставил в темном провале зажженный фонарь, похожий на шахтерскую лампу, и направился к проруби. Мы поздоровались, по неписаному деревенскому правилу здороваться со встречаемыми: знакомый ли, незнакомый, сосед или прохожий, все едино — здравствуйте.

Неизвестно откуда взявшийся праздный лыжник в городской одежде и монах, в те времена оку советских людей непривычный и дикий.

Он набрал воды и пошел к своему лазу. Должно быть, мое ошалевшее лицо остановило его.

— Вы приезжий? — спросил он, улыбнувшись. — Художник? Из Казани?

— Художник, — ответил я для краткости, слово «дизайнер» на фоне снегов прозвучало бы странно. — Из Ленинграда. А вы... Вы из прошлого?

— Нет, — отвечал он серьезно. — Я из будущего.

И пояснил:

— Тут будут восстанавливаться храмы, а может, и монастыри. Вот мы потихоньку разбирать старые завалы и приступили.

Восстанавливаться монастыри? Я не стал вникать в это неправдоподобное сообщение.

— И ходите за водой по подземному ходу?

— Да, — отвечал он, — тут старинный подземный ход, монахи да войсковые люди еще при Иване Грозном, при закладке крепости, его соорудили, чтобы на случай осады незаметно за водой ходить или нападения отражать. Извините, меня ждут, я пойду.

Может быть, он ждал, что я попрошу, чтобы он благословил меня, но тогда я ни о чем таком не думал и не помышлял вовсе.

— Всячески желаю вам удачи, — сказал я, — в благом вашем деле. А также победы реставрации над разрухой.

Дверь за ним закрылась — легкий ветерок, осыпь, облачко снежное затерло швы. Стало еще тише. Я пошел по кругу к дому с двумя деревьями, хорошо помнил: тут, куда ни пойдешь, придешь к Нинину дому.

На станцию под названием Нижние Вязовые повез меня на «макаке», оснащенной шинами с массивными протекторами от грузовика, один из соседей. Мы примчали на этом варварском транспорте, изобретении неунывающих россиян, за четверть часа до электрички. Банка с солеными огурцами не разбилась от тряски в портфеле моем, моченые яблоки не выплеснули маринад свой на мои бумаги: на остренькое женщины в тягости падки, сказала хозяйка, береги Ниночку, поцелуй ее от меня.

Возвращающимся в Ленинград из Казани начальством был я подхвачен как бандероль, самолет наш благополучно приземлился, в ленинградском аэропорту нас снова встретили на машинах, меня довели до дома, я разбудил и Нину, и матушку.

— Как ты быстро обернулся, — сказала Нина, — письмо нашел?

— Забирай, пока в портфеле не замотаю со своими бумажками.

— Я положу конверт в старое бюро, в верхний левый ящик, — сказала Нина.

— Мне-то зачем знать, куда ты его положишь? Придет Тамилла, сама и отдашь.

— Ты только не волнуйся, — сказала Нина. — В понедельник меня кладут в больницу. Нет, ничего страшного, это называется токсикоз второй половины беременности, он у меня не сильный, врачи перестраховываются, я ненадолго.

Но ее так и не выписали, она пробыла в больнице почти четыре месяца, я бегал к ней с передачами, вечерами за чаем мама успокаивала меня, а я ее.

В конце весны у нас родился сын. Не знаю почему, но не только в нашем семействе, не вполне после Нинино автомобильного ДТП нормальном, но и в семьях друзей и знакомых рождение ребенка оказывалось чем-то вроде семейной коллективной болезни. Может, на наших широтах это не всегда было так? — думал я, гуляя с темно-синей колясочкой по хрестоматийным ведутам, хоть малость обшарпанным и заброшенным, но все же прекрасным.

Назвали мальчика Сережей. Нина была совершенно счастлива, похорошела, помолодела, вот только уставала быстро, и мама, и я помогали ей, как могли; бабушка обожала внука, я вообще молчу — из меня вышел совершенно сумасшедший отец.

Так доскакали мы до первого Сережиного дня рождения.

А за письмом Тамилла так и не пришла. Да мы и сами об этом письме забыли, жизнь летела на крыльях, мы вместе с нею.

### Юкими

Когда лежала Нина в дорожном отделении, принес я ей туда открытую по случаю в «Старой книге» совершенно новенькую книгу о Японии.

Атеистические советские люди, склонные к духовной жизни (к «духовке», как тогда говорили), обзаводились увлечениями, кумирами, фетишами иногда престранного свойства. Были негласные клубы искателей НЛО (в девяностые годы ставшие на некоторое время гласными), компаниями играли в индейцев или древних славян, разумеется, умозрительных, ненастоящих, киношных (причем игроки были формально, по паспорту, взрослые, зрелые люди). Были фанаты «Мастера и Маргариты», адепты фантастики; увлекались другими странами (где не были никогда), розенкрейцерами, алхимией, выращиванием орхидей, выпиливанием лобзиком; изучали индийский язык (или санскрит?); коллекционировали совершенно немыслимые вещи, например неправильные спички (слишком тонкие, слишком толстые, кривые, цветные, с излишне толстой головкой серы или вовсе без оной). Позже из этих волн «духовных увлечений» в качестве «новой волны» возникли общества последователей Рериха и знатоков Толкиена, так называемых «рерихнутых» и «толкиенутых».

Мы с Ниной отдали дань этому неопределимому явлению, поувлекавшись книгой о Японии.

В ней были чудесные цветные вклады, листы восемнадцатого века — Хокусаи, Хиросигэ. Была одна копия руки Ван Гога, влюбленного в работы японских мастеров и копировавшего их. Приводились отрывки из «Маньёсю» («Собрание мириад листьев») и «Ямато-моногатари». Рядом с русским переводом танки написаны были кириллицей японские строки:

Омофру раму  
Кокоро-но ути ва  
Сиранэдомо  
Наку-во миру косо  
Вабисикарикэри.

Мы гадали, как расставить ударения. В некоторых японских словах было два ударения, а Нина предполагала, что в иных даже три. Предположения наши были совершенно досужие. Японские поэты любили символы, игру слов, иероглифических картин-ребусов. Мы любили японских поэтов. «Долгие ночи провожу я, встречая рассвет, сгорая от любви к тебе, и, превратившись в дым, неужто я застыну в тебе? Конечно, я улечу ввысь».

Мы знали наизусть слова, обозначающие главные принципы эстетики дзен: ваби (красота бедности, суровая простота, шероховатость и одновременно изысканность); саби (прелесть старины, печать времени); югэн (невывразимая словами истина, намек, подтекст, недоговоренность). С дзен связана была и традиция любования: момидзигари (осенними листьями клена); ханами (цветами); цукими (луной) и юкими (тихими снегами).

Ребенок родился, похожий на маску театра Но — с узкими глазками и точеным плотным носиком. Нина боялась, все ли у него в порядке, считала пальчики на ножках и ручках. Мальчик плакал мало, вот только говорить начал очень поздно. Он хорошо нас слышал, поворачивал голову, когда мы его звали, оглядывался на мяукающего кота. А сам молчал.

Утром, перед работой, с ним гуляла работающая на полставки мама, вечером я: Нине было тяжело тащить коляску и младенца, отнюдь не худенького, с шестого этажа — лифта в доме не было.

Днем Нина одевала его, одевалась сама, открывала балконную дверь — так гуляли они, стоя: она в шубке, он на ручках. «Смотри, какой чудесный снег, — говорила Нина младенцу, — это наше юкими, давай любоваться тихими нашими белыми снегами».

В тот день я пришел с работы чуть раньше, услышал за дверью непривычный рев полторагодовалого Сереженьки. Нина носила его по комнате, он вырывался, тряс руками, подпрыгивал, орал.

— Чего он хочет? — спросил я, стоя в дверях.

Тут ребенок наш выкинул в сторону окна ручонку повелительным жестом Медного всадника и вымолвил:

— Юкими!

Обомлевшая Нина поднесла его к окошку, он тотчас успокоился и уставился на заснеженный дворик.

— А я-то думала, — сказала просиявшая матушка, — что первое слово его будет «мама»...

Тут младенец, слегка откинувшись, глянул на нее, обратил на нее благосклонное внимание, схватил ее за щеку и произнес:

— Мама.

— Вот, дождались! — вскричал я от двери. — Может, ты, красавчик, и отца наконец признаешь?

Ребенок повернулся ко мне, махнул в мою сторону императорским жестом ручонкой и сказал:

— Пама!

С этого дня он начал говорить, как все дети, развлекался и звукоподражаниями: мяукал коту, лаял уличным собакам, каркал, чирикал, бибикал.

### Капля

Дочь родилась у нас, когда Сереже было четыре года. Нине второй ребенок дался тяжело. Она окончательно ушла с работы, какие там полставки, четверть ставки. Ей пришлось лечиться после родов: были трудности и с позвоночником, и с давлением, мучила ее мигрень, ухудшилось зрение, она мало-мальски выправилась лет через пять. Я брал халтуры на дом, подрабатывал, где мог. В частности, подрядился в одной архитектурной проектной конторе выполнить пятиметровой длины панораму Владивостока, всем всегда нравились мои перспективы, освоил я и архитектурную, с превеликим удовольствием изобразив небо с кучевыми облаками, которыми славятся города и села, стоящие у воды. Еще научился я готовить и немалые способности по кулинарной части в себе открыл.

Время было трудное: отхлестали черномыльские дожди (в лето 1986 года мы снимали комнатенку с верандой в Дибунах: бабочек не было вовсе, лопухи выросли колоссального размера, и всюду видели мы колонии каких-то немислимых, инопланетных грибов — лиловые поганки, лимонно-желтые, страшное дело); промчалась неразбериха перестройки, уплыли по реке времени пустые магазины начала девяностых, пронеслась по городу (да и всем городам) волна уличных убийств с грошовойми, стоимыми жизни грабежами.

Однако дети наши выросли, отучились — при полной неразберихе со школами (где восьмилетка, где одиннадцатилетка), открывающимися и закрывающимися гимназиями. Учились и Сережа, и Леночка прекрасно, он окончил университет, она — Политехнический. Когда появились внук (Леночкин сын) и внучка (дочкина), дети уже разъехались. Леночка с мужем жили в Пушкине, работали в Пулковской обсерватории, а Сергей с женой сначала наезжали, подрядившись, в заграничные командировки, а потом и вовсе переехали: шло к тому, чтобы так и остаться жить в Дании. Вот их дочку, внучку нашу Капитолину, получали мы время от времени, то на месяц, то на полгода, то на год, что для нас было несомненно счастливым обстоятельством. Какие бы сложности и неувязки нас ни подстерегали, один вид золотистой головенки с кудряшками, особенно против света, затмевал все — жизнь становилась прекрасной. Капитолину звали мы Каплей.

Капля, девочка востренькая, фантазерка, больших печалей нам не доставляла, хотя была с характером и раз в году болела какой-нибудь немислимой ангиной, корью или ветрянкой. Мне было страшно: а вдруг Нина заразится? Но обходилось. Читать Капля начала рано, на даче была в детской компании заводилой. Мы разделяли ее увлечения. Толклись вместе с ней в цокольном эрмитажном древнеегипетском зале с мумией. Я лепил и отливал из гипса маленькие фигурки ушебти, кошкоголовой богини Баст, песьеголового Анубиса. Мы их раскрашивали. Одну из фигурок мой знакомый стекольщик отлил из темно-голубого матового стекла. И я, и Нина изучали египетскую письменность, обменивались иератическими записками с Каплей. Я научил ее писать симпатическими чернилами, макать старинное перышко перьевой ручки в молоко или тыкать им в луковицу; надпись была невидима, но стоило бумагу нагреть — текст проступал на белом листе.

Потом пошел период романов. Капля строчила их почем зря. Об имени лорда я уже упоминал. Был там еще злодей, которого звали сэр Сам Мерсет Мойэм.

— Мойэм и Стирайэм, — сказал я. — Два злодея-близнеца. Лучше если вообще двойняшки. Различить можно только по родинке на попе.

— Что ж ты надо мной смеешься? — Капля надулась и вышла на кухню.

Впрочем, была она отходчива, быстро вернулась.

— У тебя там только герои? — спросил я. — Героини тоже есть?

— Вот будешь читать, увидишь, — сказала она загадочно.

— А я буду читать?

— Конечно. Ты ведь будешь к моему роману иллюстрации рисовать. Ты обещал.

Когда я был занят, чертил или делал эскизы, а Капля приходила и что-то говорила, я не вслушивался, поддакивал, не вникая, наобещать мог что угодно.

— Героини там вот именно двойняшки, — сообщила наша Дюма-внучка. — Сью Причард и Причард Сью.

— Лучше Пью и Сью, — предложил я.

Пропустив Пью мимо ушей, она продолжала:

— Одна белокурая, другая чернокурая. Кудрявые обе. С локонами до плеч.

— В одном известном старинном романе, — сообщил я, — действовали две Изольды: одна белокурая, другая белорукая.

— О! Домодедов! — вскричала Капля. — Как мне нравится! А если я это спешу? Украду то есть?

— Это называется плагиат. Спиши, конечно. Писатели все друг у друга сдувают почем зря. Из глубины веков идет традиция.

В романе Капли отважно сражались два розенкрейцера — Розенблум и Розенфельд.

— Откуда фамилии взяла? — осведомился я.

— В девятом «Б» есть девочка и мальчик с такими экзотическими фамилиями.

— Капля, а ты у нас не антисемитка?

— Вот еще, — отвечала наша внучка, — антисемиты во время войны дедушку и бабушку Эдьки Когана хотели убить, они фашисты, а я нормальная.

Еще один персонаж звался Брандмауэр. Дюма-внучка заканчивала повесть «Приключения принца-мореплавателя» с главами «Расхищение сокровищ» и «Приручение чудовищ».

Она мечтала написать повесть «Знаки Злодияка», где главным героем был бы злой волшебник Злодияк, чей особняк сторожил карликовый цепной дракон Фуфель.

— Там еще будет, — сообщила она, — писатель Фаустовский.

— Все решат, что он алхимик или химик.

— Может, он по образованию химик, — предположила Нина, — а по призванию писатель?

— А по роду занятий сторож, дворник или кочегар? — предположил я.

— Не умножайте сущности, — сказала внучка наша, уже прочитавшая про бритву Оккама, — писатель, и все.

— Недавно мне приснился сон про новую книгу. В нем Землю заселяли колонисты разных цивилизаций из разных Галактик. Временами они по древней привычке предков опять начинали воевать друг с другом. Поэтому все войны человеческие — звездные войны.

— Мне больше нравятся книги о мирных временах.

— В книгах о войнах, — убежденно промолвила она, — больше приключений.

Подумав, она сказала, противореча сама себе:

— Может быть, люди воюют потому, что ищут приключений.

— Нет, — возразил я, — человек потому воюет, что у него в башке то корова пасется, то саблезубый динозавр вылетает всё и вся пожрать.

Она опять задумалась, потом, помолчав, произнесла:

— Я придумала новую специальность ученого: эхолог. Он изучает эхо, охотится за ним — у колодца, в пещере, в лесу, в городских подворотнях, дворах и дебрях. В конце концов он спасет мир, не пустив в него эхо зла.

Я не всегда понимал ход ее мыслей.

### Городок в городе

— Домодедов, а что такое популярная механика? — спросила Капля.

— Музыкальный ансамбль, — сказала Нина.

— Название лекции на одном из семинаров в Свяжске, где мы с бабушкой познакомились.

— А еще?

— Еще?

Она протянула мне клочок бумаги, филькину грамотку, выведенный детским почерком адрес и название: «Музей популярной механики, арт-механики, кинематонов, кинематической игрушки».

— Что это за улица? Где это?

— Недалеко от Московских ворот, кажется. Сейчас на карте посмотрю.

— Деда, мы поедем туда? Ты поедешь со мной?

Конечно, я с ней поехал.

— Какие странные фамилии на «ж», — сказала Капля, глядя в окно троллейбуса, неспешно следующего по Московскому проспекту, — Житков, Жур, Железняк, Жеймо, Жербин, Живанши.



— Еще Жухрай, — сказал я. — Странные фамилии есть на любую букву.  
— Почему-то на Московском проспекте я всегда думаю о фамилиях.  
— Может, тут в старину водили по этапу заключенных? — предположил я. — Из Литовского замка, например. Их выкликали по списку, они отзывались. И ты за чем-то из дали времен это слышишь.

Летом, в ненастные дни, мы играли в знаменитых людей. Иногда я играл всерьез, чаще честно Нине и Капле поддавался.

Первой читала свой список Капля.

— Дюмон-Дюрвиль! — воскликнула она.

— Вычеркнули, — говорила Нина.

И мы вычеркивали.

В перечень знаменитых людей разрешалось включать фамилии и имена литературных героев, существ третьего мира.

— Джульетта, — говорила Нина.

— Д'Артаньян, — говорил я.

И мы начинали спорить: на «Д» он или на «А».

У нас были любимые имена-фамилии из этих списков: Грумм-Гржимайло, Ломброзо, Дамаянти, Литке, Марион Делорм (поддаваясь, я разрешал своим девочкам писать ее и на «М», и на «Д»). Оказалось, что Нина увлекалась историей балета: ее список украшали неведомые нам Легат, Леньяни, Кякшт, Эльслер. Нижинского и Ваганову мы знали.

Поскольку Капля зачитывалась книжкой Сетон-Томпсона (затрепанной, чудесной, из моего детства, с иллюстрациями автора) «Животные-герои», включались в перечни знаменитостей клички животных из рассказов о них: Арно, Снап, Крэг-Кутенейский баран, Билли-из-Бэдленда.

Странными коммунальными соседствами отличались в самые дождливые дни наши реестры: Суворов, Снап, Сулико, Сулимо-Самойлов, Суок. Или: Кулибин, Козловский, Кутузов, Крэг-Кутенейский баран, Куинджи, Кук.

Засчитывались за два разных персонажа мышонок Пик и Пик Вильгельм. В двух лицах фигурировали на паритетных началах фамилии писателей и их псевдонимы: Стендаль и Анри Бейль.

Нас веселило, что иногда у всех список на какую-нибудь букву начинался с одной и той же фамилии либо имени.

Были буквы гробовые, вроде «Э» или «Ц»; были легкие — «М» или «Н».

Мы разлучали Бойля с Мариоттом, Борда с Жангу, Чука с Геком.

К концу второго лета Капля с ее цепкой детской памятью, вслушивающаяся в наши списки, постоянно выяснявшая, кто есть кто, без всякого подыгрывания выбилась в чемпионки, даже на «Ч» и «Щ», с уверенностью опережая нас пропущенными нами Чимабуэ или Щуко. Теперь уже Нине приходилось выяснять, кто такие Гейтс, Рианна, Меркьюри, Курт Кобейн или Адамсы. Зато она знала, кто такие Амонасро и Сюимбике. А я знал, кто такие Пуркинье и Виктор Орта. В городе Капля могла бы их тотчас прогуглить, но в летней деревне, где мы играли, не работал Интернет, молчали мобильники: глухое было место, заповедное.

— Надо посмотреть, — сказал я, — как этапировали из Петербурга на каторгу Достоевского, не этой ли дорогой.

Мы заговорили о женах писателей и поэтов.

— Мне Наталья Пушкина и Софья Толстая не нравятся, — сказала, накупившись, Капля.

— Главное, чтобы их мужьям, авторам, они нравились, — сказал я.

— Они похожи на запоминающиеся образы персонажей, — произнесла она задумчиво. — Авторы женились на образах?

— Авторы женились на ком попало и превращали жен в образы? — предположил я.

— А кто тебе из писательских жен нравится? — спросила Капля.

— Анна Достоевская.

— Знаешь, — сказала внучка, — она чем-то напоминает нашу Вавилонию.

В этот момент проезжали мы советскую биржу. Она была черно-серая, с фальшивыми простенькими слоновьими колоннами, называлась «Союзпушнина», предназначалась для торгов мехами, мягкой рухлядью. Мягкая рухлядь была золотая, дороже денег; на дверях одного из флигелей висела надпись — стекло, золотом по черному: «Управление управляющего». Остальное мелким шрифтом. Поскольку я всегда проезжал мимо или пробегал, два эти слова остались для меня на всю жизнь нерасшифрованными. Страна торговала содранными со зверей шкурами и кровью динозавров — нефтью.

Свернув с Московского меридианного проспекта в жилмассив, где должна была находиться улица, означенная на клочке бумаги, оказались мы словно в другом городе.

Мне не раз приходилось открывать в любимом моем Ленинграде малые лавры внутренних городков: огороженные территории Военно-медицинской академии напротив Витебского вокзала и Педагогического института имени Герцена, квартал вокруг университета, загадочные рынки на Лиговке и в Апраксином дворе.

Похожие места окружали Институт Иоффе, Лесотехническую академию, Оптический институт — лавры мирские.

Квартал, по которому шли мы с Каплей, напоминал уездный околоток в каком-нибудь Урюпинске или Царевококшайске. Увидев акварели Баганца, где в блистательном Санкт-Петербурге девятнадцатого столетия не то что на окраинах, а в самом ни на есть центре брандмауэры пяти- и шестизэтажных домов соседствовали с деревянными одноэтажными домиками, двухэтажными флигельками, арочными каменными воротами в несуществующие сады, вспомнил я наш первый визит в музей «популярной механики». Тут легко встречались и сливались в солнечный день тень и полутень, тон и полутон; оттеняя разные их срезы, вспыхивали в акварелях Баганца яркие пятна сушащегося возле дворового сарая белья, а в нашей с Каплей прогулке возникали то там, то тут остролистные листья сорняков — желтые малютки, подобные львиному зеву, столь неуместные в двух шагах от парадной, причепурившейся дороги на Москву, украшенной триумфальными воротами имени Первопрестольной.

Должно быть, лет сто или около того стояли в окнах двухэтажного домишки с деревянным вторым этажом под двускатной крышей алые герани, неведомо как пережившие настойчивые ужасы эпохи.

Привалившись к древнему забору, стояла трансцендентная лавочка, на которой временно некому было семечки лузгать. Над забором нависали совершенно неуместные яблони с китайскими яблочками, оставшиеся, видать по недосмотру, от здешних, давно выкорчеванных и позабытых загородных садов.

И над всем этим неправильным, неуловимо уютным в нелепости своей околотком парила огромная масса неба. Как заметил один наш заезжий гость уже в восемнадцатом веке: «России досталось слишком много неба». Заметим и мы: ее окну в Европу тоже достался переизбыток небесных пространств. С чем безуспешно пытаются бороться собаки-зодчие, хваткие и якобы деловые заказчики их и все, не переваривающие слово «небесный», — бесовское воинство.

— Домодедов, асфальт кончился!

Те, кто набивал подобную старинным сельским дорогам мостовую, знали, что делали. Такие набивные улицы видел я в детстве на Карельском перешейке: они сильно отличались от сельских объездов, в ямах, выбоинах, промоинах и колдобинах.

— А вот булыжник!

Булыжные мостовые встречались ей и раньше, очень нравились за то, что булыжники были все разные и по цвету, и по форме. Капля увлекалась минералогией.

— Что за квадратики!

— Диабазовая плита, — сказал я, — раньше в центре города встречалась. У Преображенского собора, у Греческой церкви.

— А тут вообще пеньки!

— Это не пеньки — торцы, торцевое мощение, спилы стволов. Твоя бабушка рассказывала — полно было в городе торцовых улиц, но в наводнение вода их подмыла, они всплыли, их потом сушили на дрова, улицы пришлось перемостить. Когда я был маленький, в районе Новгорода был участок торцового шоссе Ленинград—Москва, ехали, как по шелку.

Не в краснокирпичном трехэтажном (о, этот чудесный вишнево-краплавый клинкер конца девятнадцатого века!), напомнившем мне женскую гимназию-гостиницу Свяжска, не в желто-белом, времен сталинского ампира (с белыми колоннами! порталами!), то ли клубе, то ли кинотеатре, то ли особняке для особых людей, — но в маленьком, двухэтажном, прилепившемся к четырехэтажному соседу флигельке, выкрашенном кладбищенской голубенью, расположился наш пункт назначения, то ли музей, то ли выставка больших механических игрушек.

### Войти в музей, выйти из музея

Когда мы впервые привели маленькую Каплю в Эрмитаж, чтобы показать ей часы «Павлин», она долго стояла, вглядываясь, а потом, показывая на петуха, спросила меня шепотом:

— Его заперли, чтобы он никого в лысину не клевал и чтобы не было войны?

Я в первый момент не понял, что речь идет о пушкинском золотом петушке.

При входе в зал кинематических диковинок висела табличка с надписью: «Входите весело!». Когда мы уходили, Капля заметила на обороте таблички другую рекомендацию (обе в стиле Эйлин Грей): «Входите крадучись».

— Когда вы вешаете ее на ту сторону? — спросила она у смотрителя.

— Это для ночных посетителей.

— Они приходят каждую ночь?

— Нет, — отвечал он, — в последнюю ночь перед полнолунием.

Хотелось сказать: «Черт знает что!» — но я смолчал.

— По правде говоря, — сказал он нам в затылок, — есть и другая табличка. Про выход. «Выходите весело!» и «Выходите крадучись». Иногда мы вешаем и ее. Только редко.

Я не спросил когда, он ответил сам:

— В день новолуния.

— Но есть и третья табличка, — снова сказал он нам вслед.

И мы снова вернулись.

— Какая?

— «Вход как вдох», — сказал он. — А на обороте «Выход как выдох».

— А эта для кого?

— Мне не хотелось бы говорить на эту тему, — сказал он.

— Мы еще придем, — сказала Капля. — Если можно, когда вы увидите, что мы подходим, не вывешивайте ни одной, пожалуйста.

— Согласен, — сказал он.

— Как вас зовут? — спросил я.

— Можете называть меня господин Сяо.

Едва ступили мы за порог, Капля сказала:

— Я сразу догадалась, что он китаец. А ты, деда?

Чтобы он не успел сказать нам что-нибудь еще, мы затащили нашу любимую песню. Мы быстро уходили по околотку, квартал бежал навстречу, пели мы:

Милее всех был Джеми,  
мой милый, любимый,  
любил меня мой Джеми,  
так преданно любил!

Одним изъязном он страдал:  
он сердца женского не знал,  
любимой чар не понимал,  
увы, мне жаль, мне жаль!

### **Механоиды и жакемары**

Колокольников собирал объемные подвижные произведения из бесчисленного количества причудливых мелочей: игрушек, винтиков, пружин, деталей замысловатых приборов и часовых механизмов, дополняя собственноручно выполненными элементами, объединяя их в единую хитроумную систему, и оживлял в итоге всю конструкцию путем «включения ее в электросеть»...

Тогда начиналось Действо! В меняющейся цветной подсветке вращались небесные своды и земные сферы, Солнце, Луна и звезды вступали в медленное движение, затем, тоже по очереди, объявлялась масса мелких персонажей, словно по расписанию точно знающих свои выходы и роли, — мир оживал! Невообразимые птицы и животные, в несколько сантиметров величиной, населяли пространство меж объемными сюрреалистическими конструкциями из фигурных гор, покрытых узорами, русел рек, ущелий, каскадов. В этих ландшафтах произрастали узкие высокие сооружения, включавшие архитектурные фрагменты разных эпох. С уходом Солнца небеса наливались синевой, в сооружениях этих зажигались огни, медленно выплывал Месяц, из верхнего освещенного окна появлялся и начинал пересекать пространство крошечный средневековый канатоходец, держа поперек груди отвес и балансируя на еле заметной проволоке. Когда же исчезала Луна и звездная пыль рассыпалась по небу, освещая лишь контуры предметов, придавая им мистическую завершенность, серебряный рыцарь на бронированном коне торжественно проезжал по горным вершинам, и ни зверя, ни птицы не оставалось уже в этом замершем, застывшем пейзаже, изрытом, словно поверхность мертвой планеты, таинственными воронками и кратерами.

Несколько творцов одновременно уживались в Колокольникове: один, философ-поэт, занимался науками отвлеченными; второй, мастеровой типа Левши, конструктор à la Кулибин, доморощенный инженер-волшебник, вроде тех, кого отобразил немецкий сказочник Гофман, что в романтические времена умудрялись вдохнуть в своих механических кукол некое подобие жизни; третьим же был художник, рисовавший ясные и добрые образы с наивными, отрешенными лицами, чистой воды строгая русская классика нового, так никогда и не наступившего времени.

*И. Чернова-Дяткина. Пришлец*

...Меня так и подмывает бросить им слова Макбета: «Незряч твой взгляд, который ты не сводишь с меня. [...] Мне глубоко претит вся эта механика мертвых фигур, подражающих человеческим жестам».

*Э.-Т.-А. Гофман. Автоматы*

Когда позже прочитал я в журнале «Нева» роман «Пришлец», я понял: написавшая его Чернова-Дяткина несомненно посещала наш волшебный флигелек и с господином Сяо водила знакомство.

Он выдал нам билеты, разложенные при входе на крохотном столике с табличкой: «Детям и пенсионерам скидка», — и мы оказались в зале, уставленном экспонатами. В центре стояли вертикальные витрины (целая компания), поэтому передвигались мы по кругу.

Увиденное показалась мне занятным, забавным, а на Каплю произвело необычайно сильное впечатление.

Стояли экспонаты на открытых подставках, в долгих остекленных ящиках, в футлярах, в шкафчиках наособицу, снабженных этикетками, пусковыми кнопками, прорезями для шарика, монетки или жетона (иногда соседствовали две прорези: шарик и монетка вызывали разные действия маленьких андроидов).

Встречала посетителей при входе заводная современная яркая парочка с итоговым дарением букета, снабженная этикеткой: «8 марта. Внезапное весеннее обострение любви». При входе комната была освещена, вторая, дальняя ее половина погружена была в полумрак, — зато освещены витрины с персонажами: четверка времен Шерлока Холмса (полицейский, священник, два жулика в кабинке, напоминающей кабинку лифта); печальный отец в летах, шлепающий монстрика-малютку; старая гадалка с картами, гадательным кристаллом, зеркалом (из прорези желающим выкатывались подобные чекам или билетикам предсказания); старинные автоматы (шарманщик с сурком и куколка-панночка с лютней). Все — совершенные чудеса механики, ничего от кукольного театра, где маленьким актерам, одушевленным рукодельной неправильностью и не вполне одинаковым действием, необходим актер-человек: его голос, его сбой, его чувства.

В освещенной части, где прозрачный бесенок катался упоенно на прозрачном конструкте-паровозике с колокольчиками, а железный хамелеопард перманентно сбивал с ног и поедал незадачливого сафари-охотника, встретился нам яркий, свеженький Анубис, то ли точная копия одного из близнецов своих из музея в Глазго, то ли и впрямь кто-то из них, путешествующий, купленный, взятый напрокат.

Древнеегипетский бог бальзамирования, смерти, загробного мира, ядов и лекарств, проводник умерших, оберегатель кладбищ и мумий, обладатель острой шакальей морды и мафиозного шарфика, некогда бывший черным псом, с упоением по-

ливал из лейки свой заговоренный посох, на глазах прорастающий побегами ядовито-зеленого цвета. Потом он ставил лейку, посох втягивал побеги в прорези. Анубис снова поливал, посох опять прорастал.

Полной загадкой для меня, как и прежде, осталось: почему именно Анубис? Что за борьба с божествами путем снижения их страшноватых образов до скромных, превеселеньких бытовых действий? Чем, кстати, посох-то поливает? Каким ядохимикатом, химия-на-поля?

Середина зала посвящена была арт-механике. Смесь дизайна, антидизайна, театральной феерии, загадочных предметов и инсталляций из фильмов «Обыкновенное чудо» (дом волшебника) и «Господин оформитель». Кинетические скульптуры, механические картины, видения наркотических снов, сюрреалистических рисунков сумасшедших и полупомешанных (которые видел я в старинном учебнике психиатрии).

Андройды и их создатели, отсутствующие тавматурги (последнее название восходило к древним временам — древнегреческому мастеру Герону, древнеегипетским умельцам, нанятым жрецами и создававшим изваяния божеств: изваяния поворачивали головы, открывали рты, говорили) обступили нас вместе с малютками жакемарами.

Название «жакемары», применявшееся к старинным заводным куколкам (например, выходившим из часов, каждому часу соответствовала своя фигурка), толковали, насколько я помню доклад Филиалова, по-разному: эти жакушки и джекушки, по мнению большинства трактователей, обязаны были наименованием своим некоему *Jacque* или *gack* — инструменту, используемому механиками, строящими башенные часы.

Я же склонялся к тому, что слово «жакемар» находилось в родстве с французским «кошмаром» и английским «nightmare» — персонифицированными ужасиками чарами, то ли суккубами, то ли инкубами, я их путал всю жизнь.

О, сотвори мне парочку жакемаров, тавматург! Страшное дело...

Один постамент был пуст, хотя этикетка сообщала, кто отсутствует: «Японская куколка каракури, подающая чай и уезжающая с поклоном»; видимо, она уехала дальше, чем ожидалось.

— Деда, дай мне монетку! — теребила меня Капля за рукав. — Я хочу предсказание от гадалки с картами.

Предсказания вряд ли могли сойти за таковые, скорее, напоминали они рекомендации или глубокомысленные сентенции; такие бумажки достают с давних времен лапкой из шапки ярмарочные ученые попугаи. На бумажке, доставшейся Капле, было начертано: «Живи своей жизнью!». Капля уговорила и меня получить свою рацею на сложенной бумажонке. На моей значилось: «Никогда не унывай, даже на мгновение!»

— Давай возьмем с собой предсказание для Вавилонии!

Нина, развернув свою цидулку дома, прочитала: «Ты элегантная подвижная личность, маскирующаяся под спокойного, тихого человека».

Особо привлек внимание внучки нашей стоящий в дальнем левом углу длинный ящик высотой со старый аппарат газированной воды или самоновейший полузапрещенный игровой.

За его застекленной дверцею расположен был кусочек улочки с узким высоким трехэтажным зданием в центре (был и подвальный этаж — под мостовую, в выемке под улочкой) и двумя — ювелирной лавки справа, баром слева — домишками по бокам. На высоком здании написано было: PRISON — ТЮРЬМА. Множество жакемаров-малюток принимали участие в маленьком спектакле в нескольких действиях, разыгрываемых по указке опускаемого в прорезь матового стеклянного шарика и дополнительно открывающих следующие картины действия монеток.

Все вертелось вокруг крошки-шаромыжника, который руководил каждым новым поворотом сюжета. Каждое действие в зеленом угловом ящике начиналась с появлением позитивистской фигурки мизерного главного жакемара; он был пружиной событий, заводилой, с него начинались драки, потасовки, кража драгоценностей, попытка побега, тюремный мятеж, убийство полицейского.

— Он тут начальник всего, — сказала Капля.

Когда она увлеклась танцами маленьких балерин под звуки музыкальной шкапулки, я спросил у господина Сяо, какая история закрыта и затемнена в подвале «тюрьмы»? Что там вытворяет попавшийся жакемар?

— Там гильотина, — отвечал господин Сяо, — там ему отрубают голову. Мы не включаем эту сцену днем, когда нас посещают дети. Только для вечерних и ночных посетителей.

— Однако нам пора, — сказал я. — Капля, ты опоздаешь на плавание.

— Мы еще придем! — сказала она зрителю. — Домодедов, ведь мы еще придем?

В троллейбусе я рассказал ей о любимых витринных автоматах моего детства: оживающей объемной картине «Охотники на привале» возле кинотеатра Колизей в магазине «Спорт—охота» и пьющего (через полквартила, на углу Маяковского и Невского, со стороны проспекта) томатный сок медведя. Чучело натурального медвежонка, снабженное механизмом, исправно подымало лапу со стаканом, опорожняя его; в моем послевоенном детстве медведь пил томатный сок, возможно, до войны, со времен нэпа, предпочитал он красное вино либо портвейн.

Обычно устававшая и быстро засыпавшая после бассейна Капля болтала без умолку, спеша рассказать Нине об околотке, музее, господине Сяо, предсказательнице и Начальнике Всего из углового шкафа. Наконец она иссякла.

— А чем отличается механоид от жакемара? — спросила Нина.

— Чертик на паровозе, Анубис и все арт-кинематоны — механоиды, — убежденно отвечала Капля, — а Начальник Всего — самый что ни на есть жакемар. Правда, Домодедов?

Я подтвердил.

Засыпая, подумал я, что Начальник Всего на кого-то похож; я увидел это, когда надел очки, вот только на кого, я не мог вспомнить.

### Постоянные посетители

Именно к периоду постоянных посещений относились и повторяющиеся просьбы съездить то в Барселону, то в Лос-Анджелес, то в Тель-Авив, то в Глазго: места самых известных музеев автоматических игрушек, оазисов кинематических царств.

Пожалуй, и у Нины, и у меня была, по крайней мере, одна совершенно одинаковая черта — чрезмерность увлечений чем бы то ни было. Так что у Капли сложности по части наследственности возникли, как минимум, с двух сторон. Она увлеклась кинематоном, механоидами и прочими заводными игрушками не на шутку. И мы стали постоянными посетителями. Господин Сяо встречал нас как хороших знакомых или родственников.

— Для вас сюрприз, — сказал он в третье наше или четвертое посещение. — У нас появился экран с несколькими сюжетами.

Он включил экран, и я увидел сидящую за цимбалами Марию Антуанетту. Не знаю, сколько времени длилось ее появление передо мной, возможно, минут десять, но на экране десять минут — очень много, а если еще учесть ее первое появление, когда я уснул на лекции Филиалова в Свяжске, а Нина расплакалась и мы выбе-

жали из зала в вечер, полный сирени, да еще то, что я знал о французской королеве, присутствие ее маленькой копии-андроида было неимоверно долгим.

На точеной шее куклы красовалось жемчужное ожерелье (шесть рядов жемчуга, ожерелье королевы), скрывающее, может быть, рваный шрам от гильотины: в какую-то минуту, когда она остановилась, прекратились изящные движения рук ее с тонкими, небрежно держащими молоточки цимбал пальцами, закончилась одна из пьес Глюка, она опускала голову, дышала, смотрела на струны, — и она повернулась, движением головы и глаз, она посмотрела прямо на меня — возник тот самый кадр, на котором проснулся я и расплакалась Нина. Я понял теперь, отчего Нине стало так жаль Марию Антуанетту. Каким-то непонятным образом кукла стала ею.

Дальше показали нам цимбалистку со спины, без парика (великолепная работа скульптора): тонкая талия, расширяющиеся ягодицы, как у Венеры с зеркалом на картине Веласкеса, стройные ноги. Были видны механизмы, было видно, что перед нами кукла, но было в ней что-то трогательно живое, настоящее. Может быть, та любовь, с которой делал ее мастер? Или то, что маленькая, жестоко обезглавленная толпой искателей справедливости французская королева теперь стала этой музыкантшей?

Тут на экране возник Анубис, подносящий лежащей на кушетке деревянной Олимпии Мане кофий и шкалик абсента, — и я очнулся.

Я чувствовал себя слегка помешавшимся, как помешалась на ящике с тюрьмой и вездесущим жуликом Капля.

Посмотрев на господина Сяо, я подумал: уж не гипнотизирует ли он нас?

И хотя я ничего подобного не произносил, покачал головой господин Сяо:

— Нет, я никаким внушением и гипнозом не занимаюсь. Но хочу заметить, что вся эта компания человечков и кинематических устройств создает какой-то эффект гипнотический. Мне, как вам сейчас, частенько приходят в голову в этой комнате всякие несообразности.

— Я все пытаюсь понять, — сказала Капля, когда ехали мы на троллейбусе домой, — как он перебирается с этажа на этаж? Может, там, сзади, за декорацией, есть что-то вроде лесенок или лифтов?

— Кто перебирается? — спросил я, думая о своем.

— Начальник Всего из тюрьмы в углу.

Ей не приходило в голову, что одинаковых фигурок ее героя было несколько, а я смолчал.

И если с каждым посещением я все острее чувствовал однообразие, автоматичность, какую-то мертвенность эстетики этих аккуратно сработанных, остроумно сконструированных жакемаров, — ее они очаровывали и завораживали все сильнее. Пока наконец это обольщение не прервалась самым неожиданным образом.

### «Это он!»

Вечер был как вечер, ничто не предвещало: мирно струилась омывающая посуду вода на кухне, лепетал телевизор, шептало свое старое радио, лаял пес соседей слева, снова что-то сверлили соседи справа, по чердаку над нами носились просочившиеся туда по недосмотру (с крыши на крышу) бездомные коты, кричали на улице повадившиеся с залива на городские помойки чайки.

И в эту ткань неизвестной миру очередной городской симфонии Пендеревского влился звонкий голосок Капли, кричавшей во всю глотку:



— Бабилония! Домодедов! Идите скорее, пока он в телевизоре! Он появился! Он превратился в человека!

— Кто появился? — спросила Нина, появляясь из кухни.

— Кто превратился? — спросил я, возникая из маленькой комнатухи-кладовки, служившей мне кабинетом и мастерской.

— Эн Вэ! Начальник Всего из угловой тюрьмы музея!

С телеэкрана смотрел на нас Энверов. Как следовало из дикторского текста, он и вправду вышел из тюрьмы, где просидел довольно-таки долго за махинации с совершенно фантастическими суммами денег, переводы их на счета (что такое «офшор»? — спросила Нина) в неведомые края: до посадки владел он некими фундаментальными предприятиями, связанными с нефтью.

«Эн Вэ»? Энверов? Не называл ли он сам себя Начальником Всего? В телевизоре звучала совершенно другая фамилия.

— Надо сейчас же ехать в музей! Надо посмотреть, есть ли он в автомате-тюрьме! Теперь автомат не должен работать, потому что он оттуда исчез и стал человеком!

Я объяснил Нине, что такое «тюрьма в углу» (та, в которой сидел настоящий Энверов, вряд ли была угловой), чей главный персонаж, по мнению нашей внучки, походил на героя телесериала последних известий, а Капле — что я никуда с ней в ближайшую неделю не смогу поехать: у меня срочная работа, я подрабатываю, надо сделать заказ, дней через десять. Перед тем как Энверов пропал с экрана, я еще раз успел его разглядеть. Он и вправду был похож на жакемара из угла, и это показалось мне забавным.

### Пропущенная новая эра

Как выяснилось, человек, которого знал я под фамилией Энверов (я так его и буду называть впредь), был известным лицом, детали его блистательной карьеры, прерванной заключением, его письма из тюрьмы, подробности суда, факты биографии и тому подобное не были новостью ни для кого из моих друзей, знакомых и родственников. Все были в курсе дела, кроме меня.

Так сложилась моя жизнь, что я пропустил целый отрезок времени — объявленную новую эру, и хотя она донимала меня пустыми полками магазинов, безденежьем, запустением, всплесками уголовщины, касавшимися моих друзей и родственников, большинство деталей ее и свойств прошли мимо меня. Ужасающее дорожное происшествие, чуть было не отнявшее у меня жену, страшные травмы Нины, ее балансирование между жизнью и смертью, все испытания, выпавшие на нашу долю в связи с этим, включая рождение детей, воспитание их, уход за ними, — в то время как матушка их была так слаба и сама нуждалась в помощи, восстановлении и уходе, работа на нескольких фронтах, которые только на житейском языке назывались «халтурами» (я всякое дело делал старательно и честно, изо всех сил, по врожденной привычке, помня, что в сутках двадцать четыре часа), — все, вместе взятое, обвело меня какой-то непонятной тем, кто так не жил, стеною. Бритоголовые разбухшие существа без затылков, с золотыми цепями на шеях, ваучеры, монетизация власти при помощи «приватизации», легализация тюремной этики омывали остров обитания моего, где я боролся за жизнь любимых моих.

Я пропустил блистательные биографии вышедших на сцену новоиспеченных хозяев жизни, новых певцов, новые песни, дебаты, горы болтовни, всплеск газетных откровений, статьи о покушениях и убийствах, моду на цветные пиджаки и кожаные куртки.

— Вы на редкость аполитичный человек, Дорофеев, — сказала мне одна из активисток нашего конструкторского бюро.

Да хоть горшком назови, только в печь не станови. Хотя спал я, подобно одному из отроков Эфесских, именно в печи пропущенной мною эпохи, объявленной во всеуслышание новой эрою вездесущими журналистами. И два ее порождения, севшие за руль (жулики? холоуи жуликов? у меня лично денег на машину не было, поскольку я был обычный честный человек), хотя им, видимо, и самоката нельзя было доверить, столкнувшись, чуть было не отправили всю мою жизнь в тартарары, потому что моя любимая жена, переходившая улицу по зеленому свету светофора, оказалась между ними.

К тому же большинство актеров, разыгрывавших долгую пьесу тех лет, особым талантом не отличались, о драматургах и тавматургах вообще молчу; а я, знаете ли, театрал, завсегдатай, душа партера, вздох с галерки, видал великих артистов, их и предпочитаю.

Даже Нина слышала (и читала) настоящую фамилию Энверова и в общих чертах представляла себе его, так сказать, жизненный путь; но ей никогда не попадались его фотографии: мы не выписывали газет, сэкономили и на этом, старый наш телевизор давно погас и свалил на помойку, нового нам было не купить; я был счастлив, что компьютер у меня имеется. Что до подробностей существования самоновейших, как их нынче называли, «олигархов» (а Щедрин говаривал «вор-новотор»), то они мне были как-то ни к чему. Только иногда, очень редко, мелькало в сознании моем что-нибудь по их поводу, например: «Есть ли у новых миллионеров и миллиардеров общак?» И тотчас улетучивалось, мелькнув.

### Капля изучает образ НВ

— Как?! — воскликнула она. — И ты, Бабилония, и Домодедов встречали НВ в молодости? Он тогда еще не был в тюрьме?

— Тогда еще не был, — отвечала Нина.

Она имела в виду натуральную тюрьму, а Капля игрушечную.

— Так он превращается туда и обратно?! Домодедов, когда мы поедем в музей? Как ты думаешь, господин Сяо в курсе, что вытворяет один из его подопечных жакемаров?

— Поедем дней через пять.

— Как долго ждать!

Она завела общую тетрадочку, в которую выписывала отрывки из газетных статей и интернетных сообщений, связанных с Энверовым. «НВ» выведено было на обложке.

— Что это? — спросила Нина, когда в один из вечеров принес я ей сию тетрадь, благо хозяйка уснула.

— Это досье.

Нина стала листать, читать вырезки из старых и средней новизны газет (три разных мальчишки приносили Капле пачки разных газет и газетенки-эфмерид; я не мог запомнить, кто Петька, кто Васька, запомнил Эдика, поскольку тот был рыжий), услышанные или почерпнутые из Интернета сплетни, записанные аккуратным почерком Капли, фотографии Энверова разных лет. В конце концов жена моя расплакалась.

— Феденька, что нам делать? Что этот чертов мафиозо делает в нашем доме? Может, наша внучка с ума сходит из-за первого переходного возраста? Что дальше-то будет?

### Что ни дальше, то все хлеще

И запотряхивало мир, страну за страной: что ни дальше, то все хлеще. Трясло бывшие республики Советского Союза; дружба народов, запечатленная в фонтане на ВДНХ в виде хоровода золотых женских фигур, оборотилась яростной враждой, войнами, резнею. Трясло то там, то тут: восстания, марши протеста, теракты, взрывы, потасовки, выстрелы на всех широтах и долготах, включая Африку.

— После Чернобыля, — говорил один из друзей моих, чьи коллеги изучали Зону, вот только результаты их исследований были тайной за семью печатями, — рехнулись все. В небе таможен нет — тучи плывут, куда хотят, всех полил ласковый атомный дождь, а нас еще и на демонстрацию всех гоняли под дождиком этим. Между прочим, там не только от радиации люди страдали, — поплыли все хроники, проявились все предрасположенности, генетические и структурные, которые могли бы в человеке не просыпаться вовсе.

Он был помешан на Чернобыле и отдаленных результатах аварии на АЭС (он говорил: какая авария? катастрофа мирового масштаба), как Капля на Начальнике Всего.

— Это он! — кричала Капля. — Он мстит всем за то, что сидел в тюрьме! Он думает, что он граф Монте-Кристо! Он ненавидит всех! Кого подкупает, кого покупает, кого убивает. Он хочет расшатать весь свет и стать председателем Земного шара! Я это знаю. Никто не понимает. Деда, надо бороться со злом. Мы должны его остановить.

— Думаю, что «Графа Монте-Кристо» он не читал, — возражал я. — Читающие люди чаще всего такими не вырастают. Председателем Земного шара был поэт Велимир Хлебников. Второму не бывать.

— Бороться со злом? Остановить? — говорила мне Нина. — Она метит уже не в правозащитницы, а в террористки. Феденька, что нам делать?

— Успокойся, дорогая. Не плачь. Что-нибудь придумаем. Не худо бы посоветоваться с нашей психиатрессой.

Речь шла о славной докторше, которая очень помогла Нине после травмы.

— Ты думаешь, она больна? И ее пора сажать на психотропы и нейролептики?

— Все, все, перестань, не убивайся раньше времени. Сменим тему. Сменим пластинку?

— Пластинку?

— Расскажи мне.

— Про что?

— Про лось. И про «никогда».

### Лось и никогда

Наши рассказы друг другу о детстве начинались со слов: «Когда я был маленький» и «Когда я была маленькая».

Кроме ее коротенького рассказа про «никогда».

— Наша детдомовская воспитательница, женщина тихая, строгая, могла бы показаться суровой, если бы мы не чувствовали, как она любила нас. Она старалась по всякому поводу поговорить с нами, внушая нам правила жизни. Но одно присловье повторяла она время от времени без повода вовсе: «Никогда не лгите, дети. Кто лжет — тот ворует; кто ворует — тот убивает. Не лгите никогда!»

— Теперь лось.

— Когда я была маленькая, наш детдом во время ремонта переехал на полгода в старую дачу на Карельском перешейке. Воспитательницы и повариха топили из-

разцовые печи, снега окружали наш временный дом, но в нем было тепло и чисто, хоть бедно и пустовато. Мы не были голодны, но не были и сыты, всегда хотелось чего-нибудь погрызть. Хотя нас не посещали мечты — навязчивые образы сыра, колбасы, котлет, сосисок, возникавшие в начале девяностых у всех и каждого, кроме жуликов и начальства. Однажды ночью я проснулась, может быть, что-то снилось. Может, что-то почуяла. Тихо, бесшумно, чтобы не разбудить всех девочек нашей спальни, проскользнула я к окошку. Полнолунный свет лежал на пушистых снегах, на отороченных белым елях и соснах. И тут я увидела его. Ограды вокруг нашего стоявшего чуть на отшибе от поселка, чуть дальше околицы дома не было — то ли ее давно сдали в металлолом, то ли старинные хозяева предпочитали живую изгородь. Он вышел из леса, шел к дому, лось с великолепными рогами, скорее, подросток лосенок. Я уже читала «Серебряное копытце» Бажова, он показался мне героем сказки, я вспомнила, как Серебряное копытце высекал, стукнув ножкою, россыпи драгоценных самоцветов, стояла, замороженная. И тут пришло мне на ум: если, подобно мне, проснется кто-то из взрослых, его поймут, убьют, мы будем есть лосятину и лосиную колбасу. Я решила спасти лося. Тихо-тихо спустилась я со второго этажа по деревянной скрипучей лестнице: ступени были за нас, не скрипнули. У входа висел ватник поварихи, ее огромные валенки, в рукаве ватника старый оренбургский платок. Я оделась: валенки были огромные, у меня ноги сводило оттого, что я старалась удержать их и не упасть. Отодвинув засов, я вышла в лунный снег. Лось стоял и смотрел на меня. Я не боялась его, хотя была девочка трусоватая, не отчаянная, и он меня не боялся. Я подошла. Он стоял: чудные рога, глаза с ресницами. Я, осмелев потрогала его, он дался потрогать, не убежал. Я стала толкать его, гнать в лес обратно. Он не хотел уходить, как упрямый ослик. Я сорвала с маленькой ели ветку, стала гнать его, как гонят коров. Наконец он пошел в лес, в свое царство. Перед тем как скрыться в лесу, он остановился, обернулся, посмотрел на меня. А потом исчез. Я вернулась в спальню, залезла под одеяло; сердце мое колотилось: я спасла его, спасла, его никто не съест. Утром меня едва добурили. Я никому не рассказала про ночное приключение, а в конце ночи стал валить снег, он покрыл наши следы, мои и лося, словно их и не было. Я было подумала: уж не приснилось ли мне все это? Но на прогулке увидела я сломанную мною ночью еловую ветку, хворостинку в иголочках, и счастье снова охватило меня. Пока длилась наша зимняя жизнь в покинутом особняке, всякий раз на ночь я вспоминала лося, желала ему счастья и засыпала блаженным сном.

### «Уезжайте!»

— Вот! Вот! — кричала Капля, вбежав и потрясая своей досьеподобной тетрадкой. — Вот еще доказательства! В сентябре Начальник Всего собрал на своей загородной вилле заговорщиков-единомышленников — обсудить, как выгнать нескольких президентов, начиная с нашего, чтобы захватить власть. Это пишет один из заговорщиков. Их было пятеро за столом. А осталось трое: одного отравили, другого застрелили среди белой ночи прямо в центре города! Теперь четвертый про все рассказал: он боится, что и его НВ прикажет прикончить, он в бегах!

Тут швырнул я об пол коробку с чешскими карандашами (разлетелись в разные стороны дротиками) и закричал:

— Да это черт знает что! Раньше ты писала романы: приключения, пираты, сокровища. Когда твой китайский император припарковал коня у пещеры волшебника,

я душой отдыхал! Ты могла бы сочинять чудесные истории о королевстве жабцов, республике ос, древнеегипетских царствах термитов и мурашей, о перелетах птиц, о жуках-оленях и жуках-носорогах! Так нет! Твои герои — не семья Адамсов или Хогбенов, нет, это мафия, крестный отец, братья-преступники, сестры с гранатами, шурина свата с кофлей и теща-подельница! Нашла чем интересоваться. Мало дерьмовых детективов наснимали киношники по заказу мафии, которая, вишь ли ты, бессмертна! Какая новость: мафиози — лгуны, воры, убийцы, мочат всех подряд, своих и чужих, плетут интриги, баламутят, мутят воду, подстрекают к войнам, чтобы было кому сбывать оружие, которое варганят ради денег, или наркотики, убивая толпы людей на всех широтах и долготах! Это давно известно, никакие доказательства тут не нужны! Носишься как курица с яйцом с жакемаром-подлецом, обокравшим всю страну, чтобы трясти своими нахапанными деньгами, живущим за счет грабежа и лично за мой счет! Я больше этого слушать не желаю!

Капля и Нина смотрели на меня, разинув рты. Услышав мои вопли, вышел из угла своего потаенного кот, сидел, как статуя, неотрывно глядя на меня. Шапку в охапку, куртка нараспашку (шарф висел, как у мафиозо), вымелся я из дома, трахнув дверь, — французский замок щелкнул наподобие курка.

Уже на улице набрал я номер нашей знакомой психиатрессы и через час сидел у нее в кабинете при новомодной получастной поликлинике, где консультировала она всех желающих с поехавшей крышей. Со стен строго и с сожалением смотрели на меня столпы психиатрии — все незнакомцы, кроме Юнга, которого знал я в лицо.

Она слушала меня спокойно: у нее таких рассказчиков на дню сживало человек по пять не один год. В какую-то минуту мне показалось — она и ко мне присматривается: не сыпануть ли мне в кулак вместо семечек каких-нибудь транквилизаторов таблетированных и не плеснуть ли в стакан граненый брома либо валерьяночки.

— Прежде всего, успокойтесь. У девочки вот-вот начнется первый переходный возраст, он у среднестатистического ребенка наступает около десяти лет. Она, конечно, скучает без родителей, совершенно неосознанно, ее воспитывают бабушка с бабушкой, она одновременно под большой опекой и преувеличенным вниманием — и чувствует себя младше, чем есть, и отчасти лишенной самостоятельности. Плюс компьютер, нагрузка на глаза, врожденная повышенная эмоциональность... Где у вас дача? Какое там окружение?

Я сказал где. Три часа на машине, телевизора нет, Интернета нет, мобильник не работает, — только на холме у моста в двух километрах точка есть, мне одному известная. Иногда к деду-соседу внук приезжает, иногда художники с детьми. Медвежий угол, полузаброшенное село.

— Замечательно! — воскликнула она. — Вот и уезжайте. Прямо на днях. Она ведь отличница? Отпустят пораньше, до начала лета. А мы ей справочку напишем. Что вы так вздрагиваете? Не про психиатрические отклонения справочку, докторов знакомых полно. Слабые легкие, сотрясение спинного мозга после травмы: придумаем что-нибудь. За справкой заедете послезавтра. Надо сменить обстановку. Коренным образом. А осенью посмотрим. Думаю, все наладится.

Юнг смотрел мне вслед. И вдруг на улице вспомнился мне один эпизод из свияжских рассказов, промелькнувший в разговоре вне рамок семинара. Речь шла о девушке из России, почти подростке, привезенной в Швейцарию на лечение: истерия? шизофрения? Юнг лечил ее, у них начался роман, она вылечилась... Ее звали Сабина.

### Кот падчерицы. Воспоминание о Сабине

Я приходил к переводчице С. на Гаванскую. Из покоев выползал кот, подобранный на кладбище.

*Борис Ванталов*

Из подзабытого, растворенного времени семинаров Свяжска выплыла сценка — разговор на берегу, неподалеку от косы Тартари. Хотя, возможно, память подводила меня — все просто вышли в перерыве между сообщениями передохнуть, перекусить, посидеть на солнышке: а где сидели? на завалинке? На скамье, на которой некогда сиживал Иван Грозный? И почему вдруг всплыла фамилия Трощкого? Впрочем, она так и плавала в воздухе с незапамятного года его блистательного появления здесь: вот явился, не запылится, чтобы открыть столетие расстрелов, произнести речь с балкона, поставить памятник Иуде, тотчас же унесенный одной из рек.

— Трощкий увлекался психоанализом и покровительствовал психоаналитикам, — сказал Филиалов.

Энверов тотчас уши наострил и пересел поближе. Все, что касалось Трощкого и Гурджиева, вызывало в нем живейший интерес.

— Да с чего вы взяли?

— Мне это рассказал кот падчерицы Сабины Шпильрейн. Одному из своих гостей падчерица эта, известная ленинградская переводчица из Санкт-Петербурга (к тому же еще и однофамилица крупного чиновника армейского политотдела, за что советские издательства ее жаловали и уважали), поведала, что кота подобрала на кладбище. Не знаю, не вкралась ли тут ошибка. Мне рассказывали, что последний кот падчерицы Сабины был дареный, а никакой не кладбищенский. С которым общался я, когда был в доме в гостях? Может, с предпоследним? Или кот был точной копией увиденного хозяйкой на одном из кладбищ, петербургском или ростовском? Короче говоря, кот мурлыкал, передавал на кратчайшем расстоянии мысли, истории, эпизоды жизни, чувства и тому подобное. Хотя я не исключаю, что даритель дареного кота подобрал его именно на кладбище (возможно, на Смоленском).

Молоденькую ростовчанку Сабину Шпильрейн, полудевушку, полуробенка, то ли истеричку, то ли шизофреничку, привозят лечить в Швейцарию: первые попытки вылечить ее неудачны, она попадает в цюрихскую клинику Бургхельцли, где ее начинает лечить Юнг, применяющий метод психоанализа: уговоры, разборы полетов, гипноз и т. д. Лекарств для «малой психиатрии» тогда не существовало. Она становится его любовницей; ее роман с женатым, обремененным семьей Юнгом длится семь лет. Зигмунд Фрейд в одном из писем делает Юнгу внушение: как можно крутить роман с пациенткой? Они напоминают карикатуру на трио из пьесы Шоу «Пигмалион»: Юнг — профессор Хиггинс, Фрейд — полковник Пикеринг, Сабина Шпильрейн — Элиза Дулитл. В пьесе Элиза говорит Хиггинсу, что изучила его метод досконально и теперь будет обучать желающих английскому языку так, как учил ее он (Хиггинс возмущается). Сабина вылечивается, заканчивает Цюрихский университет, становится известным психоаналитиком. Она работает в Вене, в Берлине, в Женеве, в Лозанне; ее статьями и диссертацией восхищаются Юнг, коллеги и сам Фрейд; ее влияние испытывают Пиаже и Выготский. Она выходит замуж за ростовского врача Павла Шефтеля (которого встретила в Вене), рождает дочь Ренату, уезжает в Ростов, но через год супруги расходятся (не разводясь, на время). В списке городов, где с успехом практикует Сабина, есть и Москва: она науч-

ный сотрудник нескольких психоаналитических кафедр. И фантастического детского дома-лаборатории «Международная солидарность», для детей высокопоставленных чиновников (среди ее воспитанников Василий Сталин и сын Отто Шмидта). Это психоаналитическое гнездо расположено было на углу Малой Никитской и Спиридоновской, в особняке Рябушинского, и так же, как Институт психоанализа, находилось под патронатом Троцкого. «Вечно возбужденный» Троцкий мечтает с помощью психоанализа создать «нового человека». Воспитанникам «Международной солидарности» преподают азы сексуальной жизни с детсадовского возраста, приучая их к свободе и удовольствиям, раскрепощая их и т. п.

Потом Троцкий попадает в опалу, эмигрирует — Институт психоанализа закрыт, «Международная солидарность» тоже (особняк Рябушинского поделен пополам между Горьким и Алексеем Толстым). Сабина узнает, что в Ростове у ее мужа появилась невенчанная русская красавица жена, родившая ему незаконнорожденную дочь Нину (нашу будущую переводчицу); она уезжает из Москвы; семья восстанавливается. Но после того как у Сабины рождается вторая девочка, Ева, двоеженец Шефтель скоропостижно умирает, а его жены умудряются подружиться.

— Так что, — уточнил Филиалов, — наша Нина С. формально не совсем падчерица Сабины, но дочери Сабины, Рената и Ева («мачехины дочки»), — Нинины единокровные сестры, а в нашем языке нет слова, определяющего родство бесчисленных детей бесчисленных жен. Ну, дети — братья и сестры; а кем пятому сыну приходится третья жена? Было ли такое слово в культурах с многоженством? В Древнем Китае, например? Так пусть уж будет падчерица, так нам понятно.

Начинается война, немцы подходят к Ростову, и тут женщины разделяются: мать Нины С. уезжает, эвакуируется вместе с Ниной, а Сабина с Евой и Ренатой остается в Ростове. Она ждет немцев — это культурная нация, говорит она, бояться нам нечего. Скрипач Давид Ойстрах, некогда услышавший игру на скрипке младшей, Евы, говорит: у нее талант, ее ждет большое будущее. Рената играет на виолончели. Сабина мечтала родить Юнгу Зигфрида, но зигфридов нарожали другим другие.

Когда зигфриды входят в Ростов, они сгоняют пятнадцать тысяч евреев в Змиёвскую балку и расстреливают их. В числе прочих — Еву, Ренату и Сабину, которая к тому моменту перестала быть любовницей Юнга, любимицей Фрейда, известным психоаналитиком Европы, а стала беспомощной старухой ненужной национальности.

— Для полноты абсурда, — сказал задумчиво Времеонов, — не хватало только того, чтобы кто-то из палачей в детстве, когда у нас была дружба с Третьим интернационалом (а далее, к слову, с гитлеровской Германией), воспитывался бы в «Международной солидарности», сексуально раскрепощенный, без комплексов и культурных табу новый человек.

— Должно быть, вашей переводчице снилась время от времени гибель сестер, — сказала Тамилла. — Недаром у нее оказался кот, подобранный на Смоленском. Весь подземный мир земли связан там, в глубине, артериями скрытых рек. И черными ручьями, венами, связаны все кладбища всех городов и стран, по ним мертвые передают свои мысли и чувства друг другу.

— Прекрати, — сказал ей Энверов, — пошли отсюда.

Он взял ее под локоток, увел к ночному речному берегу.

— Какие фантастические ужасы, — сказал Времеонов. — Хотя... Стикс и Ахерон... реки царства мертвых...

— Я лично ей верю, — сказал один из Тамилиных дизайнерских пажей, в тот вечер слегка подвыпивший. — Она должна знать толк в кладбищах и шепотках изпод земли: недаром ее любовные свидания с гансиком комсомольским всегда проходят на косе Тартари, а коса-то на скелетах стоит, как коралловый риф.

### Последний визит к господину Сяо

Наврав с три короба классной руководительнице Капли и ей самой, я чувствовал себя не в своей тарелке: врать мне не нравилось, но в роли я удержался. Капля настаивала: перед отъездом мы должны съездить в музей кинематических игрушек. Она была в школе, я поехал для начала один, объяснил кратко ситуацию господину Сяо, он выслушал спокойно.

— Перед тем как выезжать с внучкой сюда, — сказал он, — наберите меня, чтобы я мог вас встретить как надо.

Что и было сделано.

Я уже знал, что в прошлый раз Капля ухитрилась открыть витрину и отломать маленькую фигурку Начальника Всего, стоящую на улице. Она прятала ее в коробке из-под леденцов. Мне было неудобно признаваться господину Сяо в ее воровстве, но он только улыбнулся:

— У меня есть запасные фигурки, да и мастер-наладчик в любой момент сделает еще одну. Это детская фантазия — бегающий по этажам человечек. На самом деле их шесть, для каждой сценки свой.

У входа нас с Каплей встречал электрический монстр — старичок с моноклем в глазу (стекло увеличивало вытарашенное око); нимб, голубоватый, электрический, искрился за его лысой головой; от пальца к пальцу шла вольтова дуга; низкий голос пел: «Томас Альва Эдисон, Томас Альва Эдисон».

— Деда, деда! — зазвенел голосок Капли из дальнего левого угла. — Иди скорее!

Тюрьма Начальника Всего была зачехлена, укрыта огромным брезентовым мешком, на котором висела табличка: «Автомат временно не работает». Как я был благодарен господину Сяо в эту минуту!

Когда мы уходили, он поклонился нам на какой-то старинный китайский лад, я ответил полупоклоном, Капля сделала книксен.

— До осени! — сказала она.

— До осени, — сказал и я.

Глянул на меня господин Сяо.

— Удачи вам во всех начинаниях ваших.

В троллейбусе Капля сказала:

— Он тоже должен был ответить: «До осени».

### Котовский и магия

В предотъездной суете коту нашему удалось осуществить наконец свое давным-давно вымечтанное намерение.

Кота нашего звали Котовский, имя-отчество — Кот Котович. Котенком и молодым котиком-подростком не желал он откликаться ни на одну кличку: ухом не вел, игнорировал, даже отворачивался, рыло, так сказать, воротил, — откликался только на слово «кот». Ну, мы и назвали его по полной программе.

Отследив недреманным ястребиным оком туманный стеклянный шарик из поведенного кинематического автомата, Котовский вскочил на край бюро, сшиб лапой шарик, погнав его к цели, Нина только вскрикнуть успела, а уж кот, паршивец, точным ударом загнал шарик в лузу дыры, единственной дыры в полу — незаделанному хвосту щели на порожке кухни, с которой он предварительно неусыпными трудами отодрал краешек линолеума. Шарик пополнил мышинные сокровища, некогда описанные Каплей в одном из первых романов ее, стал главным сокровищем Мышиного Короля. Котовский сидел, жмурясь, покачиваясь от счастья. Он



даже не протестовал, когда его загнали в переноску и понесли, наподобие саквояжа, в джип, на котором друг мой перевозил нас на дачу. На сей раз животное молчало всю дорогу, ни одного вопля-подвыва, видимо, счастье расправы с шариком переполняло его.

Изба наша всегда отсыревала за зиму — надо было протопить печи, открыв настежь окна и двери. Сосед, дед Онисифор, двоюродный дядя привезшего нас друга моего, к нашему приезду подмел дорожки у нашего дома; так мы и заселились в летнюю жизнь раньше лета.

Художники были на месте: пришли с этюдов, поприветствовали нас. Дачники из Москвы не ожидалась в это лето: отправились на какие-то теплые острова в океане показать детям пальмы.

Кот ел траву у дома, валялся в старой Каплиной песочнице на солнышке. В сенцах Нина постелила его коврик, на котором он и лежал, когда мы вечером пошли спать. Кошачий леток в нижней части входной двери — я гордился своим дизайном: дверца открывалась и туда, и сюда, распаивалась на вход и на выход, смотря с какой стороны головой животное его боднет.

Первые три дня по приезде мы настраивали сельскую жизнь свою — пожитки стояли запакованные: сумки, чемоданы, узлы, старый баул, манатки, причиндалы, мунгурки.

В первую ночь на новом месте Котовский неожиданно решил пометить помещение. И вместо того чтобы выйти во двор, осквернил один из пакетиков, оставленных на полу в сенях, где поутру встретила нас волна тропического благоухания кошачьей мочи.

Но выбрал он не приоткрытую сумку с одеждой, не связки газет и картонок на растопку (по счастью), а сверточек, привезенный Каплей, — связку маленьких ярких книжек. Она чуть не расплакалась с досады, а я, прочитав названия и увидев картинки на обложках, тайно возрадовался. То были не виденные мной в городе пособия по магии: «Как сделать куклу вуду», «Что такое гри-гри», «Гаитянские зомби», «Инициальная и имитативная магия» и тому подобное. Мы отнесли всю библиотечку мракобесную, завернув ее в полиэтиленовые пакеты, в мешки с мусором, которые друг мой, собиравшийся в середине дня в город обратно, традиционно возил на городские помойки, чтобы не утруждать деда Онисифора.

Капля шлепнула Котовского по заду — тот удрал, обиженный, обходить деревеньку; вернулся к ночи, грызть свои кошачьи сухарики, пил молоко, умывался с невинным довольным видом.

— Только попробуй осквернить нашу растопку, — сказал я ему, — выгоню в лес, дикие звери сожрут.

Котовский терся о ноги, польщенный вниманием.

Я сунул его башкою в его леток, туда и обратно. Да он и так помнил, как входить и выходить.

— Магию не любишь? — сказал я ему. — Я тоже не люблю.

Капля устала, уснула рано, мы сидели на нашей веранде с горсточку, пили чай.

— Можешь себе представить, — мы почти шептались, чтобы девочку не разбудить, — она целую подборку книжонок про прикладную магию приволокла. Инструкции, как правильно сделать куклу вуду, тыкать в нее иголки и врага на расстоянии извести. А Котовский ее учебники оккультные осквернил и тем уничтожил. За это я ему особо благодарен, благородному животному. Как в город поеду, ему его хека любимого или минтая привезу.

— Моя подруга Л., — отшептала Нина, — помнишь, та, которая увлекается поисками геопатических излучений...

— Что такое геопатическое излучение?

— Не помнишь? Она говорит — когда под землей пересекаются две подземных реки или ручья, даже если они на разных высотах, в перекрестье возникает вертикальное излучение определенных характеристик. Оно не опасно. Если над точкой пересечения стоит дом, вертикаль идет до крыши и далее, сколько бы этажей в доме ни было. Но человек не должен в зоне такой вертикали ставить кровать: он будет плохо засыпать и не отдохнет за ночь. А кошки прекрасно себя чувствуют в местах геопатических излучений и норовят спать именно там. Может, от книжек про магию тоже идет какое-нибудь излучение, и Котовский его почувствовал?

— И осквернил кошачьей мочой? Нелогично.

— Почему? Они так помечают пространство: дескать, мое. Не осквернил, а тавро поставил.

— Ладно, — сказал я, — давай спать. Ты такая же фантазерка, как твоя внучка. Но если она так же упряма в квадрате, как ты и я, она будет шить или лепить из глины своих убойных куколок по памяти. Согласись — это все же лучше, чем по инструкции. Перепутает, дофантазирует. Может, ветер и дождь будут за нас и развеют этот ее заскок, как дурной сон.

— Как сон, как утренний туман.

Кот ширкнул своей дверкой, ушел во двор проверять тьму, мышей, ушанов, наличие собратьев.

### Леонтьев

Я пришел на эту землю,  
чтобы делать хорошо.  
Я пришел на эту землю,  
чтобы делать всем ништяк.

*Василий Уриевский,  
авторская песня*

Утро было ясное, тихое.

— Ты куда, Федор? — спросил дед Онисифор, положив локти на свой заборчик.

— К Леонтьеву.

— Подожди, я с тобой пойду.

Почему-то дверь леонтьевской избы закрыта была на ключ, дед стал ее открывать.

— А хозяин где? В город уехал городское жилище навестить?

— Нету хозяина. Осенью утонул.

— Как утонул?!

— Не видал никто. Поплыл на лодке то ли к приятелю в Большое Сельцо, то ли на рыбалку. Лодка, ты знаешь, у Леонтьева была с течью, давно мог починить, а специально не чинил, чудил, это, говорил, мое дзен, белое пятно, и как чуть-чуть набираться начинает, вычерпываю, набирается медленно, я, говорил, пока отчерпаю, в действительность и в полное бдение сознания прихожу; мне, говорил, так плыть в удовольствие, а при моих приступах задумчивости прямая необходимость. Никто не знает, как вышло. Бутылка-то заповедная с буфета пропала, может, с собой взял, выпил, заснул, может, с сердцем плохо стало, хотя он вроде не болел. Затонул вместе с лодкой. Через пять дней нашли. Водолазов милиция вызывала. Бывают в жизни вещи непонятные. Вроде особой загадки нет, а понять никак.

Мы вошли.

— Художники говорят, один из их друзей дом бы купил, переехал бы; да у кого покупать? а переезжать, говорят, пока рано, пусть дом без хозяина в трауре год отстоит. Вот хожу, прибираю, проветриваю. Маринка приходит на крылечке и на своем чурбаке-постаменте лежать.

Слева от входа стояли колонны, антики. Первую колонну притащил Леонтьев из усадьбы, где служила она подставкою то ли для вазы с цветами, то ли для небольшой статуи. Коринфский верх с площадкою был попорчен, он добавил своих листьев, площадку сделал с кашпо или цветочным горшком, раскрасил верх с листьями, от еле заметного, разбеленного зеленого, до яркого, под кашпо, — настоящие листья и цветы смешивались с искусственными. Колонна, самая высокая, чуть выше человеческого роста, считалась самой главной. Ее соседка, пониже, скромней, увенчана была смешной женской фигуркой, держащей в руках цветочный горшок, — туда можно было поставить букет или горшечное растение. Жена Леонтьева очень любила именно эту колонну и говорила, что садовница-малютка похожа на нее. Еще пара колонн, ионическая и дорийская, заканчивались подставками, на которые ставили ушаты или тазики с рассадой. Между колоннами хозяева сеяли овес или сажали прибрежные травы-метелки; перед травой стоял чурбанчик широчайшего векового дерева, на котором любила спать маленькая тихая леонтьевская кошка Маринка.

Когда Леонтьев овдовел, он хотел жене на могилу поставить колонну с маленькой садовницей; уже и договорился, что из большого села за мостом, где на окраине и находилось кладбище, приедет друг на телеге (сам Леонтьев был безлошадный), отвезут, поставят; да раздумал, говорил: «Нет, не годится, языческий символ греко-римский, крест своей барочке сделаю». Почему-то жену свою звал он «барочка моя», дед Онисифор сказал: у нее девичья фамилия была то ли Баркова, то ли Баринова.

В моем первом конструкторском бюро один из инженеров звал жену свою «божочек мой», я все дивился, а выяснилось — девичья фамилия ее была Божок.

Поставил Леонтьев на могиле жены сделанный им за зиму редкой красоты крест, а в изножии креста маленький замок птичий: узкая двускатная крыша, под которой жила фотография. Вокруг креста с замком посадил ландыши.

За грядками, за кустом сирени, в дальнем левом углу, красовались башни деревянные (вот те были повыше колонн), из серебристого сушняка, некрашенные: Эйфелева, Пизанская, Татлина и Леонтьева.

— Пизанская у художников сейчас. Они еще при Леонтьеве к себе на время унесли скрепы смотреть.

— Просто их должно быть не четыре, а три; их и есть три.

— Мне кажется, он хотел пять поставить: непостроенную колокольню питерского Смольного собора, у него было фото макета, да не успел.

Все серебристые деревянные столпы, арт-объекты, скульптуры, стоявшие у двух дорог, задуманные и изготовленные художниками дядей Петей и дядей Пашей (моложе дяди Пети в два раза) вместе с Леонтьевым, и появились-то на свет именно из-за этих четырех башен — не моделей, не макетов, не игрушек — образов воплощенных.

Что касается фигур, то и они появились благодаря двум любимым героям Леонтьева: чучелу и снеговика. Впервые художники приехали зимой и, увидев трех снеговиков, налепили еще штук шесть, а потом Леонтьев, развеселившись, еще три поставил, сказал: «Летом приезжайте, вдарим по чучелам». Что и было исполнено. Художники и Леонтьев, рукоделы и фантазеры, прямо-таки нашли друг друга.

За колоннами, между ними и сараем, стояло несколько шестов, нет, все-таки большие столпы просек были помесью колонн и шестов. На деревянные шесты-

вешки вдоль зимних троп и дорог Леонтьев стал сажать деревянных птиц: сову, ворона, сокола, просто птицу; некоторые сидели, раскинув крылья, то ли только что сели, то ли взлетали. В заросшем крапивой саду уехавших в город Дометовых хотел он поставить посерединке крапивного чеса шесток с крапивником. Они спорили с дедом Онисифором — ухаживать ли за участком дометовским, увеличив площадь своих грядок и картофельных прямоугольников за его счет; крапива, говорил Леонтьев, скоро окажется в Красной книге, да и нужна: и от простуды сушим, и для кроветворения, и от прострела хлещем, давай оставим как есть. И оставили как есть, соблюдали только тропку к крыльцу да финскую розу у дома, чтобы нежитью не пахло. А до шеста с крапивником все руки не доходили.

— Все-таки спивался он мало-помалу, — сказал дед Онисифор, — побеждал его зеленый змий. При жене лучше держался. Давно ведь началось-то.

Тут вспомнилось мне, как встретил я свою однокурсницу с возлюбленным ее, высоким красавцем, перманентно пьющим, очень одаренным художником. Он пошел в картофельный ряд рынка, она остановилась со мной поболтать.

— Что ж ты такая мрачная, — спросил я. — Генрих твой сейчас в порядке, трезвый, тихий, не пьет.

— Это по-твоему он не пьет, — возразила она. — А по-моему он силы копит, чтобы в запой впасть.

Не раз потом мне на ум приходило это ее «силы копит».

Перерывы между леонтьевскими запоями были большие, за лето мы его пьяным большей частью не видели. Кроме одного раза. Я шел мимо его дома с этюда: калитка нараспашку, что-то темное ворохается во дворе, точно забредший зверь. Леонтьев подымался, земля вертелась, его снова клонило к ней притяжением адова магнита, он падал, опять пытался встать, вставал, падал, на четвереньках добрался до полной дождевой воды бочки под водостоком, цепляясь за бочку, встал, макал голову в воду, весь заплескался, упал с разворотом, его заклинило между бочкой и домом, и он моментально уснул, бледный, в неудобной позе, с вывернутыми руками и ногами. Вода стекала по лицу, лила за шиворот с волос. Дед Онисифор смотрел из-за забора.

— Давайте его в дом затащим, уложим, — предложил я.

— Даже и не думай, — сказал дед. — Еще забуянит или приступ судорожный с ним станет. Пусть спит. Через час встанет, пойдет в кровать завалиться и проспится. Иди уже, только калитку притвори.

Через час, крадучись, пошел я дедовы слова проверить. Никого на участке, одинокая бочка, в доме тишина, на крыльце спит маленькая кощонка Маринка, возле крыльца дремлет приходящий пес Свободный: сторожит сон хозяина.

Назавтра увидел я Леонтьева преувеличенно аккуратным, выбритым, собранным, разве что молчаливей обычного, — и сделал вид, что ничего не было.

С первого знакомства, с первого лета, я узнал, что Леонтьев пишет, у него издаются рассказы и повести, в город он ездит в издательства и в Союзе писателей состоит, где смотрят на него, писателя из народа, как на самородка. «Как на чудище трехглавое», — сказал он мне тогда. Критики сравнивали его героев с персонажами Зошенко и Шукшина. Пил ли он, когда ездил в город? Я не знаю. Если поездка совпадала с загадочным и невычислимым циклом запоя, думаю, да. Если не совпадала — являлся тихим, каким увидел я его после сцены около бочки, сверхакуратным, преувеличенно корректным.

В доме было, как всегда, прибрано, вещей немного — минималистский интерьер с принесенными тремя предметами иного стиля, все из той же, в итоге спаленной, усадьбы: резное кресло модерн, под готику, с высокой спинкою, буфет с зеркалом, застекленный книжный шкаф.

— Вот тут, наверху, на буфете, на уголочке, заповедная бутылка и стояла, — подал голос дед. — Я все удивлялся: что это он в сельпо за три километра за водкой выдвигается, когда у него вон на буфете своя поллитра есть? Он говорил: особое зелье, плохой человек подарил, пусть стоит. А как утонул он, зашли мы с художниками, сразу я приметил: нет бутылки-то.

— Может, паленая была водка? — предположил я, — И он отравился?

— Какая водка? Коньяк стоял. Коньяка паленого не бывает.

### В лесах

— Феденька, она взяла у меня тряпочек и нитку с иголкой.

— Вот и хорошо.

— Ничего хорошего. Она шьет эту чертову куклу для черной магии.

Капля возилась с шитьем, Нина с обедом, я с картофельным полем.

— Пойду погуляю, — сказала Нина. — Посмотри за ней.

Я видел: Нина пошла к просеке.

— Капля, — сказал я, — помоги деду Онисифору с рассадой, пожалуйста, а я пойду за Бабилонией присмотрю, чтобы не заплутала.

Я и вправду не любил, когда она уходила одна.

— Ладно, — сказала Капля, откладывая свою чертову куклу.

Я шел за Ниной леском, крадучись, чтобы она не видела меня. Я знал, куда она идет: к маленькой церкви, которую восстанавливали дед Онисифор и Леонтьев с художниками.

Аккуратные строительные леса обводили церквушку снаружи и изнутри, внутри полы были застелены пленкой, газетами, по центру лежали мостки из досок, — уже не руины, еще не храм.

Нина вошла, я остался, не замеченный ею, у входа.

Я хорошо слышал ее голос.

Она легла на доски, глядела вверх, где с купола — единственное полностью расчищенное и отреставрированное изображение — смотрел на нее Христос.

— Господи, — говорила Нина, — извини, что я молюсь тебе так, лежа, но так я вижу тебя, а голову наверх мне не поднять, голова у меня закружится, могу упасть: что если расшибусь, кто же будет хозяйство вести. Прости, я такая, и молиться я не умею, так жизнь сложилась, хотелось бы, чтобы сложилась иначе, но все таково, как есть. Господи, спаси и сохрани нашу маленькую внучку Капитолину, должно быть, мы неправильно воспитывали ее: мы говорили ей о добре и зле, но неточные были наши человеческие слова, и вот теперь она хочет бороться со злом самым прямым образом — она хочет уничтожить злодея при помощи колдовства и тем спасти мир. Она не понимает, что это тоже мечта об убийстве и что будет с ее маленькой душой, если она утвердится в сегодняшних мыслях своих. Господи, спаси ее и сохрани, Тебе лучше знать, как это сделать, потому что мы не знаем, придумать не можем, и молюсь я Тебе: будь милосерден к маленькой девочке, отведи от нее всякую мысль о колдовстве, пошли ей ангела-хранителя, отвоюй ее воинством ангелов своих, проведи путями Провидения Своего, не дай пропасть, аминь.

И пока она вставала, я дунул рысцей к дому через лесок, чтобы она не заметила меня и не узнала, что я ее услышал. Я успел усесться на крылечко и кое-как пере-вести дыхание, когда Нина вошла в калитку, а вслед за ней Капля, воскликнувшая:

— Мы сажали с дедом Онисифором рассадку! и семена! и огурцы в прямки со стеклышками, как в маленькие парнички! и лук-севок! Вот у меня мешочек с луком, можно я его посажу? Бабилония, ты уходила? Где ты была?

И отвечала Нина:

— В лесах.

Она улыбалась своей нынешней нежной косой улыбкою, почти такой, как в молодости, когда свел нас с ней до конца дней островной град Свияжск.

### Неудачный день

Друг мой, родственник деда Онисифора, привез ему припасы, загрузил в багажник мешки с мусором, переночевал и утром повез меня в город, где должен был я кое-что выяснить в Публичке к очередной своей халтуре, получить пенсию, проветрить квартиру и к вечеру с ним вместе вернуться в нашу деревеньку, куда, встретив в аэропорту племянника, отвезти собирался он его к деду Онисифору на месяц.

Перед отъездом успел я спереть у Капли маленькую коробочку из-под монпансье, где хранила она украденную фигурку Начальника Всего (собиралась ее зашить в свою неподобную колдовскую куклешку). Мы теперь, я в частности, ввали и воровали. Я положил в коробочку камешки, заклеил ее скотчем, а когда подъехали мы к мосту перед большим селом, попросил остановить джип, да и шваркнул коробочку с моста в воду.

Друг высадил меня у Публички, в журнальном зале и в зале эстампов нашел я все, что мне надо было, но занесла меня нечистая сила в интернет-кафе Лавки Крылова, и тут заплескались вокруг меня недобрые волны.

То ли рассказывавший про Сабину Шпильрейн человек обмолвился, спутав Львов и Ростов, то ли моя память меня подводила, — я путал эти два несхожих города и решил уточнить, где именно жила она с дочерьми. И я набрал запомнившееся мне название места ее гибели: Змиёвская балка.

Несколько человек под ник-неймами переговаривались на страничке. «Вот эти три фамилии, — подавал реплику один из них, — значатся в списке в Змиёвской балке погибших. А мне доподлинно известно, что один из троих погиб в бою, второй в настоящий момент живехонек и проживает в Израиле, а третий умер после войны. Перед нами обычная жидовская манера врать и приписывать, преувеличивая количество людей, погибших в холокосте». Остальные собеседники, подхватив тему, талдычили на все лады про соответствующие морды и жидов как таковых.

Хоть меня считали моралистом, я никогда никому не указывал, как ему выражаться, ругаться и обзываться, да хоть матом крой: тебе жить — мне есть кого воспитывать. Но здесь, на краю этого крайнего оврага, заполненного кое-как валявшимися телами беззащитных, безоружных людей, женщин, детей, стариков, расстрелянных сытыми, молодыми, вооруженными до зубов зигфридами, все эти «морды» и «штучки» зазвучали для меня так, что в ушах зазвенело — волна мгновенной ярости ослепила меня.

Я выключился, включил прогноз погоды, отдышался.

Но воспоминания о семинарах дней юности, лета в Свияжске, где встретились мы с любимой моей, уже обвели меня туманом своим: я вспомнил доклад Тамилы, вместо биографий основоположников и их известных всем нам великолепных дизайнерских и архитектурных работах рассказавшей нам об их женах, дочерях, спутницах, — и захотелось мне увидеть тех, о которых я тогда узнал впервые.

Вот два портрета Альмы Малер, Брунгильды, роковой женщины Третьего рейха, а вот нежное, тихое личико Манон Гропиус. Бакминстер Фуллер с женой, с которой дожили они до глубокой старости и умерли в один день.

Изображение прекрасной мулатки, Черной Жемчужины, Черной Пантеры — Жозефины Беккер, певицы и танцевавшей весь рейс в каюте сухаря Ле Корбюзье (как увлекался я в юности его идеями! его Модуларом!). Одежды на ней было всего ничего. Но рядом с ее изображением имелся текст, и дернул меня черт этот текст прочитать. Любвеобильная мулатка (все тот же феноменальный длинный список, замыкаемый Хемингуэем), кроме бесконечных любовников, путалась и с любовницами, по современному — была бисексуалкой, по-старому — двусбруйной; и среди ее нетрадиционной ориентации дам значилась художница Фрида Кало, чьи работы прилагались, чья биография прилагалась: бедняжка, попавшая в страшную аварию, как моя Нина. Работы показались мне тяжелыми, исполненными патологией. Муж, великий монументалист Ривера (как увлекались мы в институте его росписями!), ревновал ее к любовницам, но особенно ревновал ее к Троцкому, в которого была она влюблена, которому посвящен был самый сухой и неприятный ее портрет.

Я совершил еще одну попытку переключиться, глянул на виллу Эйлин Грей на Лазурном берегу: вот эта героиня романов с дамами, наконец-то влюбившаяся в мужика, построила для него чудесный «дом для любви». Но и тут текст подловил меня в сети свои.

Избранник ее, Жан Бадовичи, тоже оказался нетрадиционной сексуальной ориентации: ну и парочка. «Пропади все пропадом!» Съехав на соседнюю статью, увидел я два фото Ле Корбюзье, расписывавшего виллу Эйлин Грей («по просьбе Бадовичи») престранными фресками. Корбюзье осквернял белые стены полуэротическими изображениями, позируя перед фотографом в чем мать родила.

Вот тут выключил я ящик и двинулся к выходу; голова слегка кружилась; посетители интернет-кафе, уставившиеся в одну точку, манипулировали иероглифами и иератами посредством мышей своих, мурлыча в свое удовольствие.

Я вымелся на улицу злой и голодный, в пирожковой стояла длинная очередь, в «Север», где последний раз видел я Тамилу с Энверовым, идти не хотелось, я поскакал в скромный буфет Публички, ныне называющейся РНБ. Вид бедно одетых читателей, вкус дешевых сосисок с пюре и чая с лимоном вернул меня в подобие равновесия.

Идя по набережной Фонтанки, весь этот букет патологических пристрастий и фашистских диалогов никак не мог вытряхнуть я из головы. Магазины индийский, в котором собирался я купить подарок Нине ко дню рождения, исчез, пропал, вместо него некое кафе зазывало голодных. Любимый книжный (дверь в стене) закрыт был «по техническим причинам».

В сердцах стукнул я кулаком по безвинной гранитной тумбе набережной и в воздуг произнес:

— Да что ж это за день-то неудачный такой!

— Что за неудачи преследуют нашего Тодора Божидарова под тихим весенним солнцем? — подал реплику обгоняющий меня слева прохожий.

Передо мной стоял Филиалов.

Лицо его за долгие годы стало морщинистей, мятые брюки штопором завивались вокруг тощих длинных ног, каблуки элегантных пыльных ботинок были выше, чем надо, как у степиста.

Он улыбался.

Сбоку проплывал трагический замок цвета оранжево-розовых перчаток фаворитки императора, фрейлины Лопухиной, в котором работала Тамилу; впереди справа *Alma mater* вздымала стеклянный купол — кунсткамера юности моей.

И я рассказал ему про сегодняшнее свое утро, про свою жизнь, про Каплю, желающую известить Начальника Всего, про тяжелые травмы Нины, словно он ждал моего рассказа, как первый встречный русского дао из неведомого поезда.

— Знаете ли вы, — сказал он, выслушав меня, — что Сабина Шпильрейн теперь вовсе не безвестна, о ней знают все, о ней фильмы снимают, в начале восьмидесятых в Вене был найден ее архив, дневники, письма Юнга.

Я остановился. Остановило меня слово «письма».

— А ведь у нас дома, в третьем левом ящике старого бюро, лежит письмо Энверова! Может, от него идет какое-то хреново излучение, оно создает фантастическое поле, и Капля из-за того на нем и зациклилась?

— Письмо от Энверова? — поднял брови Филиалов. — Вы с ним переписывались? Он вам писал? С чего бы это?

— Он не мне писал, а Тамиле. Тогда, давно.

И я рассказал ему о «Севере», о приходе плачущей Тамилы в дом наш, о моей поездке в зимний Свяжск, о снеговиках, о месте, где лежала левитановская тень облака и где встретился мне с ведром воды монах из будущего монастыря, о том, как родились и выросли наши дети.

— Я как будто обо всем забыл, пока дети учились, росли, пока Капля была маленькой, — сказал я. — А за письмом Тамилы так и не пришла.

— Так вы не знаете? — спросил Филиалов.

— Что?

— Тамилы погибла много лет назад.

— Как?! — вскричал я. — Не может быть!

— Вы ездили в Свяжск зимой. А она погибла весной.

— Где? Каким образом?

— Здесь, неподалеку. Все неподалеку. Место ее работы, «Север», куда ходила она в обеденный перерыв и где встречалась — вот об этом я не знал ничего — с Энверовым. И подворотня, из которой она вышла, тоже рядом.

Тамила вышла средь бела дня из подворотни, упала, потеряла сознание. Вызвали «скорую».

— Она за обедом любила выпить пару рюмочек коньяку.

— Да, я видел, и тогда в «Севере» тоже.

Врач из «скорой» учуял запах спиртного, решил, что дамочка пьянчужка, вызвал милицию, Тамилу увезли в вытрезвитель, где она, не приходя в сознание, умерла к ночи от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. «Со знанием дела ее ударили», — сказал Филиалов. Сумочка Тамилы была пуста — ни денег, ни документов. Назавтра новый дежурный нашел в боковом карманчике сумочки визитную карточку директора ВНИИТЭ, позвонил, выяснилось, где Тамилы работала и кто она такая.

— Вы письмо читали?

— Нет, — отвечал я.

— Отдайте его мне.

У меня никакого желания хранить послание Энверова (после стольких лет хранения...) не было.

— Конечно.

— Вы когда уезжаете на дачу?

— Часов через пять друг за мной на машине заедет.

— Через три часа буду у вас. Давайте адрес. Вот мой телефон.

И мы разошлись.

В метро я вдруг вспомнил, что в лето рождения нашего первенца по всему городу: во дворах, садах, скверах, на бульварах — стали вырубать сирень. Тамилы, как знали все, зародилась из сирени, как врубелевская девушка весенней ночи; выкорчевывая, уничтожая сирень, словно уничтожили ее возможность вернуться, чудом ожить, зародиться снова. Голова кружилась — вот сейчас кондрашка хватит: что девочки



мои будут делать? С валидолом в зубах выбрался я из подземки, побрел к дому, ментоловый холодок заставил меня собраться.

### Письмо

«Я много раз пытался объяснить тебе, в чем для меня смысл отношений с женщиной, но ты не слушала меня, вечно думая о чем-то своем. Придется изложить все на бумаге; может быть, читая и перечитывая, ты будешь внимательнее. Да, конечно, очень важна физическая сторона, праздник, который всегда с тобой, исправляющий настроение, создающий веселье в любую сложную минуту, дарованное от природы, ни с чем не сравнимое бесплатное удовольствие, одинаковое для богатых и бедных (что несколько унижительно и несправедливо, ты не находишь?), усиливаемое тренировкой с добавками „Камасутры“, а также малыми дозами спиртного, травного, афродизиакковой приправы с таковой же диетой.

Но важен момент выборочности, принадлежности к некоему определенному слою, а в идеальном варианте — и он, и она, и я, и подружка моя должны принадлежать к высшей расе, высшей касте, никакого плебейства, все самое лучшее с детства, возрастите дитя на шоколадках, отбивных, фитнесе, пусть плавает, катается на лыжах и коньках, умеет управлять автомобилем и яхтой, охотиться, стрелять и т. д.; для девочки хороша художественная гимнастика (балет слишком преувеличивает поступь и статью, балет перетренировывает, в нем есть нечто рабское). А тебе многое дано от природы: тоненькая талия, округлость ляжек, икр, плеч, легкая, танцующая походка, атласная кожа. Веселая полнота жизненных чувств. В нас обоих есть данные принадлежности к высшей касте.

Само собой, люди должны быть с детства безбедные, состоятельные, никакой жалкой, позорной нищеты, штопаных чулок и носок, все в человеке должно быть шикарно — от стрижки до обуви. И у мужчины обязательно должно быть желание власти, вкус к власти над всеми окружающими его существами более низшего порядка. Истинный представитель высшей касты — вернее, хозяин, начальник всего и всех; это тест.

И у меня есть мечта повелевать людьми: чем больше людей, тем лучше; пусть постепенно, наращивая количество толп: предприятием, городом, страной, миром. Власть хороша и явная, и тайная. У меня есть такой набор бутылочек водочных, „Двенадцать апостолов“, они собраны нижней круглой подставочкой, отделанной серебром, воедино (и общей большой, тоже с серебром, пробкой); каждая бутылочка — сегмент, сектор, могут доставаться отдельно или стоять вместе. В каждой своя настойка, свой вид водочки: вишневая, сливовая, рябиновка рыжая, рябиновка черноплодная, лимонная, апельсиновая, мятная, можжевельниковая, калгановая, семитравная, анисовая и одна с ядом, помеченная тайно, не скажу чем. Это моя русская рулетка. Один раз, признаюсь тебе, я ее применил на практике. Ни с чем не сравнимое чувство — знать, что один из твоих собутыльников через шесть часов умрет, а ты в роли Рока.

Во мне есть все, чтобы повелевать миром. Я изучал разные методики (в том числе гурджиевскую) и практики и понял науку шахматных виртуальных партий, где на доске стоят живые люди, а ты провидишь много ходов вперед, ты всегда начинаешь и всегда выигрываешь. Я иду к своей цели. И сам я, и моя женщина будут абсолютно свободны в передвижении, в осуществлении своих желаний, поступков, капризов, поездок, да хоть на Марс. Нам будет принадлежать весь свет.

Поэтому нужна не жена, не любовница, не партнерша; мне нужна сообщница. И я выбрал тебя. Ты мне подходишь.

Но я должен тебя предупредить: кроме „Двенадцать апостолов“, в арсенале моем наборы неопределяемых ядов и неуловимых киллеров. И предательства — любого — я не прощаю. Склонен уничтожить любого и любую, кто встанет у меня на пути, тебя в том числе, тебя тем более. Так что в словах „моя дорогая“ для меня важнее „моя“, а цена, обозначаемая вторым словом, несущественна. Мы за ценой не постоим.

Ты наконец поймешь меня, услышишь, пойдешь со мною, придешь, приедешь, прилетишь, когда позову, где бы я ни был.

И теперь я снова целую тебя всю, готов одеть тебя во все прекрасные побрякушки мира: бриллианты, жемчуга, рубины, изумруды, что там еще? и всегда помни, что твой главный выигрыш, твой главный лунный камень, твой алмаз „Раджа“ неисчислимого числа карат (или каратов?) — это я».

Письмо начиналось словом «я», им же и заканчивалось.

Филиалов читал, стоя у окна, ко мне спиной.

Прочтя, он некоторое время стоял молча, не поворачиваясь. Когда он повернулся, я подивился, как изменилось лицо его: стало маской отчасти, пролепилось, подбралось; некогда замеченное отсутствие бликов в глазах (обязательное даже для персонажей портретистов) неприятно поразило меня.

— Вы сами-то прочли?

— Да, — отвечал я.

Он щелкнул замочками маленького старомодного портфеля — конверт исчез, опущенный в портфельную тьму молниеносным движением фокусника.

— Ваша внучка — умная, наблюдательная девочка. Просто ей данная тема ни к чему. При случае — не теперь, не сейчас — постарайтесь донести до нее, что со злом должно бороться зло.

— Первый раз слышу, — сказал я.

— Вы вообще человек глубоко невинный, да у вас вся семья такая, таковыми и оставайтесь. Теперь это мое дело. Ваша задача — задержаться на даче подольше, ну хоть до середины сентября. Я позвоню вам или напишу — сам.

— Да как это — подольше? А школа? Первое сентября? Мы и так, наврав с три короба, уехали раньше.

— Где три короба, там и четыре. Мы вам поспособствуем, в случае чего.

«Что значит „мы“?» — подумал я, чувствуя холодок на загривке.

— Она согласилась танцевать со мной, — сказал Филиалов (с какой, однако, раздельной, великолепной дикцией...), — на одном из пустырей бытия, хотя, по сравнению с ее блистательными кавалерами, был я существо невинное, некрасивое, непрезентабельное, в мятых брюках, чтобы не сказать штанах. Не захотела унижать отказом. Как-то упустил я ее из виду. Прощайте. Все у вас будет хорошо.

Он ушел, и я не видел в окно, куда он пошел: он не появился на единственной дорожке через двор от нашей парадной, словно улетучился или не было его вовсе.

## День рождения Нины

Миллион, миллион, миллион алых роз...

*Андрей Вознесенский*

Мы ехали по окраине, пробираясь к выезду из города, к вечернему шоссе. Племянник друга моего, Денис, сидел на заднем сиденье с большим лохматым существом семейства кошачьих, черно-рыже-белого окраса.

— Что же я натворил! — воскликнул я. — Ведь я так и не купил Нине подарок, а отчасти затем и ездил. У нее завтра, в среду, день рождения.

— Среда сегодня, — дуэтом сказали дядя и племянник.

Друг развернул машину, мы покатали назад, потом вбок:

— Ничего, не тушуйся, тут на выезде из города большой магазинище, там и сувениры, и ювелирка, и цветы, а мы пойдем торт с пирогом искать, встретимся у машины. Ты в силах запомнить, где мы остановились?

— Да я не вовсе рехнулся, — сказал я, — так, поплыл, рассеянный с улицы Бассейной.

— Это что ж такое? — спросили идущие с этюдов, увидев, как вылезает я из машины с букетом-кустом алых роз.

— У Нины день рождения.

— Через полчаса зайдем поздравить на десять минут.

Зашли с двумя бутылками шампанского: салют пробок, пили шампанское из граненых стаканов, и торт, и пирог ели с бумажных салфеток, как студенты. Дед Онисифор с внуком Денисом принесли аккордеон с гитарой, пели; слова не все были им известны, они вставляли текст собственного сочинения: «Я счастливый дед Пыхто, я счастливый, как никто, я счастливей всех в миру, так счастливым и помру...»

— Я теперь не усну после шампанского, — сказала Нина.

— Я вам Кузю на ночь принесу, — сказал Денис. — Кузя в родстве с лемурами. Дрыхнет волшебным образом, как в сказке про «Спящую красавицу».

— А они с Котовским драться не будут? — спросила Капля.

— Ваш Котовский сам уснет, как загипнотизированный.

Нина перерезала сворку, на которой болталась огромная, страшная в красотище своей, надутая гелием серебряно-золото-ало-фиолетовая лошадь, — и под выкрики и посвист монстр-Пегас воспарил.

Разошлись быстро, звезды светили всюду, возле розового куста (про миллион алых роз тоже спели) стоял маленький лабрадоровый бычок со стразами глаз.

— У тебя со мной была жизнь такая трудная из-за аварии, — сказала Нина, — и из-за того, что стала я полуинвалидным существом.

— Про тебя, красотка, этого не скажешь, глянь в зеркало.

— И жили мы из-за этого так бедно.

Сон действительно валил с ног, заколдованный сон от одолженной лемурианской кошки. На столе стоял в стакане граненом подарок художников: маленький букет из сухих ветвей, посеребренных и отполированных временем до блеска, как заборы и старые избы заброшенных деревень. Он цвел мелкими, с ноготок мизинца ребенка, бубенчиками, поблескивал каплями росы стеклянных шариков.

Нина подняла упавшую мою куртку, из кармана выпал листок, который вытащил я из ящика вместе с письмом Энверова и машинально сунул в карман.

— Что это?

— Случайно дома подобрал.

Она рассмеялась.

— Да ведь это я в Свяжске записывала текст доклада из «Книжной полки»! Это отрывок из книги сына Ренуара об отце. «Представления Огюста Ренуара о бедности и богатстве».

Ренуар питал отвращение к дешевым вещам. Часы, по его мнению, должны были быть золотыми или серебряными. Он не признавал никель. Белье должно было быть только полотняным. Мать не пользовалась бумажными тряпками, которые оставляют на стаканах белые пылинки. И, напротив, терпеть не мог хрусталь, который считал вульгарным из-за его безупречной чистоты, с удовольствием глядел на бутылки кустарного производства из Вар-сюр-Сен, неодинаковые, из толстого зеленоватого стекла, с отсветами, «богатые, как волны океана в Бретани». Прилагательное «богатый» он употреблял так же часто, как и про-

тивоположное — «бедный». Охотнее Ренуар прибегал к определению «тос» — подделка. Но богатство и бедность для Ренуара означали вовсе не то, что для большинства смертных. С его точки зрения, особняк в Монсо, гордость какого-нибудь миллионера, был всего-навсего «тос». Покосившаяся, набитая детьми в отрешках хижина на юге была для него «богатой». Однажды он со своим другом обсуждал Рафаэлли, известного живописца того времени, достоинства которого отец признавал с некоторыми оговорками. «Вы должны его любить, — сказал друг, — он писал бедных». — «Тут-то и возникают сомнения, — ответил Ренуар, — в живописи нет бедных!» Вот перечень некоторых вещей, относимых им безоговорочно к категории «бедных»: ярко-зеленые, подстриженные английские газоны, белый хлеб, натертые полы, все предметы из каучука; статуи и здания из каррарского мрамора, «пригодного только для кладбищ»; мясо, тушенное на сковороде; соусы с мукой; красители для стряпни; бутафорские каминные, выкрашенные черным лаком; нарезанный хлеб (он любил его ломать); фрукты, очищенные ножом со стальным лезвием (он требовал серебряного); бульон, с которого не удален жир; дешевенькое вино в бутылке с красочным ярлыком и громким названием; лакеи, подающие в белых перчатках, чтобы спрятать грязные руки; чехлы, покрывающие мебель, и того более — люстры; щетки для хлебных крошек; книги, резюмирующие писателя или научный вопрос или излагающие историю искусства в нескольких главах, и заодно — иллюстрированные и периодические журналы, тротуары и дома из бетона; асфальт на улицах; литые предметы; простыни с набойкой; центральное отопление, иначе говоря — «ровное тепло»; к этому разряду он относил смешанные вина; предметы серийного производства; готовую одежду; муляжи на потолках и карнизах; проволочные сетки; животных, стандартизованных рациональными методами выведения; людей, стандартизованных обучением и воспитанием. Один посетитель как-то сказал ему: «В таком-то коньяке я больше всего ценю то, что качество одной бутылки совершенно тождественно качеству любой другой. Никаких сюрпризов!» — «Какое удачное определение небытия!» — ответил Ренуар.

Теперь читатель достаточно знает моего отца, что-бы угадать, что ему нравилось, а что нет. Я дополнил список перечислением нескольких вещей, которые Ренуар считал «богатыми»: фаросский мрамор, «розовый и без признака меловатости»; жженую кость; бургундские или римские черепицы, обросшие мхом; кожу здоровой женщины или ребенка; предметы из золота; серый хлеб; мясо, поджаренное на дровах или древесном угле; свежие сардины; тротуары, вымощенные плитками; улицы, выложенные слегка синееющим песчаником; золу в камине; вылинявшую одежду рабочих, многократно стиранную и заплатанную, и т. д.

— Я склонен верить Ренуару, дорогая моя, — сказал я. — Не думаю, что мы прожили жизнь в бедности, хотя нам вечно не хватало денег на самые обычные вещи. У нас были свои перечни, свои представления о богатстве — были и есть: наше счастье!

И уснули все.

И снились всем сны.

А над нашими снами, над пространствами весей, дорог, лесов, разрухи, любимых гнезд, путей сообщения, катящих привычно воды свои в загадочных границах берегов рек летела раскрашенная балаганная лошадь, бликовали анилины и самоварное золото лошадиной гривы в лучах луны.

Утром встал я ни свет ни заря, тихо-тихо затопил печь, чтобы было тепло, снова лег спать. В окне цвела сирень. Засыпая, подумал: не скажу Нине про Тамилу. Не сегодня. Но и не завтра. Может, вообще никогда.

**Дионисий Онисифоров  
и Доротея Капитолийская**

Денис чистил канаву на улице, собирал землю со дна, носил в ведре в дедову компостную кучу, сквозь редкий низкий заборчик видна была ему Капля, занятая шитьем.

— Куклу шьешь?

— Не то чтобы куклу, — отвечала она. — Вольта шью для колдовства.

— Иди ты, — сказал он и ушел с полным ведром.

— Что за вольт? — спросил он, возвращаясь с ведром пустым.

— Гаитянское колдовство вуду. Сшить куклу по инструкции, зашить в нее какую-нибудь деталь твоего врага: пуговицу, прядь волос, ноготь, а потом тыкать в куклу иголки: в сердце, в печень, куда ни попадя.

— И что будет?

— И враг помрет.

— В киллера играешь? — спросил он, уходя.

— А что за враг? — спросил он, возвращаясь.

— Один мафиозный интриган. Людей убивает, ворует миллионы, мелкие страны стравливает до малых войн, враньем стравливает большие.

— И ты решила мир спасти?

— Ну.

— Нет слов, — сказал он, наполняя ведро весенней донной грязью со дна канавы.

Из ворота рубашки его выбился крестик на гайтане, блеснул на солнце.

— Ты крещеный? — спросила Капля.

— Да.

— И в Бога веришь?

— Да.

— И в церковь ходишь?

— Да.

Тут он ушел, вернулся и спросил ее:

— Капля — это прозвище?

— Уменьшительное имя, — отвечала она, приосанившись. — Меня зовут Капитолина.

— А фамилия?

— Дорофеева.

— Надо же! Доротея Капитолийская! Ты должна держаться чинно, ходить прямо и жить величественно, а не играть в туземное колдовство.

— Теперь ты свою фамилию скажи.

— Такая же, как у дедушки, Онисифоров.

— У него имя как фамилия! И имя-то древнее, я его раньше не слыхала.

— В роду, должно быть, много веков назад имя повторялось, отсюда и фамилия пошла.

— Ты, значит, Денис Онисифоров. Тебя зовут как героя 1812 года.

— Это я в паспорте Денис. А в крещении я Дионисий. Не герой двенадцатого года, а великий художник.

— Художника не знаю.

— Мастер Дионисий, автор древних церковных фресок. Как Андрей Рублев.

— Рублева папа любит.

— Мой папа говорит: с таким именем надо держать ухо востро и жить достойно.

- А мама что говорит?
- А мама говорит: вы, Онисифоровы, хоть и на все руки мастера, за вами нужен глаз да глаз. А то вы в ванной из подручных средств атомный котел сварганите вместо бойлера.
- Вроде Хогбенов! — вскричала Капля в восторге.
- О Хогбенах не слышал, — сказал он и ушел с ведром.
- Я тебе расскажу! — воскликнула Капля. — Это фантастические рассказы Катнера про одну деревенскую семейку!
- Семейку знаю только Адамс.
- Хогбены круче.
- Денис опять ушел с ведром, а вернувшись, осведомился:
- Ты знаешь, что такое презумпция невиновности?
- Пока суд не доказал, преступник не виновен.
- Вот пока суд не доказал, все твои догадки, доказательства и прозрения насчет твоего монстра недействительны. А если ты его колдовством угробишь, это будет такое же бандитское мочилово, как у него.
- Когда рыцарь убивает дракона, — вскричала Капля, — у дракона нет никакой презумпции невиновности!
- Тебе до рыцаря семь верст до небес, — сказал Денис. — Пойду дедов бредень чинить.
- Что такое бредень?
- Рыболовная снасть.
- Через минуту он ненадолго вернулся, чтобы произнести:
- Ты приостановись в колдовство-то забредать, а то по следующей инструкции с благородной целью нашему черному петуху башку колуном оттяпашь.
- И ушел чинить бредень.
- А Капля убежала в избу, начала там шуровать.
- Домодедов, ты не видел мою коробочку из-под монпансье?
- Нет, не видел, — нагло соврал я. — Конфетку хочешь?
- У меня в ней фигурка Начальника Всего краденая лежит.
- Всегда следи за краденым.
- Она исчезла.
- Слушай, — предположил я, — мы намедни банки консервные пустые собирали, чтобы на джипе мусор в город вести; может, ее случайно прихватили.
- Что же я теперь в свою куклу зашью?
- Вопрос ее остался без ответа.
- Денис чинил дедовы ходики с кукушкой, Капля пересказывала ему истории о Хогбенах.
- Наконец кукушка закуковала.
- Ты прямо часовщик.
- В приборостроении хочу работать. Например, в оптической лаборатории, делать пробные образцы новейших разработок. Папа говори: из меня толк выйдет.
- А мама что говорит?
- Она говорит: толк выйдет, бестолочь останется.
- Ты бы собрал из старых неработающих чердачных не боящийся помех приемник, мы бы слушали. Мы ведь не знаем, что происходит в мире.
- Тебе это летом к чему?
- А вдруг что-то в мире стряслось?
- Ежели что, отец за мной приедет. И вас вывезет.
- Дорогу, например, паводком размочет.

— Если надо, он вертолет найдет, эмчээсовский, пожарный, прилетит, это ведь мой отец. Дыши ровнее. Какие хорошие рассказы фантастические ты рассказала. Надо тебя в леонтьевскую баньку сводить.

— А что там?

— Увидишь.

— Так пошли.

— Нет, лучше не к ночи, туземцы сниться будут. Завтра днем.

— Скажи, — спросила Доротей Капитолийская, — а Анциферов и Онисифоров — не одна и та же фамилия?

— Нашла кого спрашивать, — отвечал Дионисий Онисифоров, — я в этимологии и в ономастике как свинья в апельсинах.

### Банька Леонтьева

Я приколачивал рейку, чинил край крыши старого сарая, когда вопль Капли чуть не снес меня со стремянки. Змея ее укусила? Упал на нее проржавевший бак? Руку сломала? Я несся к участку Леонтьева, раскрасневшаяся Капля вылетела мне навстречу, размахивая руками, указывая на что-то, крича:

— Деда, деда! Там... в баньке, у Леонтьева... колдовство! Денис в одном углу великан, в другом карлик!

Тут до меня дошло.

— Ай да Леонтьев, — сказал я, беря Каплю за руку, — вот же умелец народный. Идем, не бойся, я знаю, что это.

На пороге баньки улыбался во весь рот (рот до ушей, хоть завязочки пришей) Денис.

— Я думал, ей интересно будет, а она испугалась.

— Капля, — сказал я, — это комната доктора Эймса, в ней видят люди не то, что на самом деле. Зрительная иллюзия. Так комната специально построена. Сейчас мы с Денисом будем ходить из угла в угол и превращаться из великанов в карликов.

И мы прошлись перед нею, умаляясь в дальнем углу, обольшаясь в ближнем.

Вот теперь она была в восторге.

— А если я так пойду?

— Тогда, о Алиса в стране чудес, мы увидим тебя то карлицей, то великаншей.

Она отправилась, поглядывая на свои руки.

— Какая ты в том углу малютка! А здесь под потолок!

Она была несколько разочарована.

— Я на свои руки смотрела, думала, они уменьшатся или увеличатся, а они такие же, как всегда.

— Ты тоже как всегда. Это мы со стороны видим тебя разной.

Мы сидели на чурбачках неподалеку от баньки.

— Комнату придумал еще до войны доктор Эймс. Сначала придумал, потом построил. Теперь хозяева иллюзионов возводят такие по всей земле. Как Леонтьев.

— Они с дедом Онисифором ее построили, — сообщил Денис, — а художники раскрасили.

Подошла Нина.

— О чем это вы, сидя рядом, говорите ладком?

— Вавилония, в леонтьевской баньке человек в дальнем углу карлик, а в ближнем великан.

— Это комната Эймса.

— Вавилония, откуда ты знаешь? Вот и Домодедов в курсе.

- Мы с дедушкой в молодости одни и те же книжки читали.
- А Леонтьев?
- Он тоже их читал. Книг выходило не так и много, хорошие знали все.
- И у нас дома про такую комнату книга есть?
- Да. Про зрительные иллюзии. Есть еще Эшер, художник, чьи работы — сплошь зрительные иллюзии, и прямо при тебе рыбы превращаются в птиц.
- Я тебе к вечеру одну из иллюзий нарисую — известный старый фокус: то видишь двух людей, то вазу.
- Нарисуй прямо сейчас!
- Сейчас надо крышу сарая чинить.
- Нарисуйте, пожалуйста! — попросил и Денис. — Крышу я вам починить помогу, быстро сделаем.
- Особенная какая комната, — задумчиво произнесла Капля. — Не для жизни, а для взгляда со стороны. И мы, когда захотим, — зрители, а когда захотим — куклы.
- Я почему-то вспомнил виллу Эйлин Грей.

### Книжный шкаф

Сушили леонтьевский дом, в котором никто не жил: распахивали настежь все окна, двери, створки малой веранды, оконце мезонина, мелкие окошечки, то там то сям иллюминаторами освещавшие где лесенку, где каморку, где кладовку, открывали застекленные буфет и книжный шкаф. Дом обретал геометрию стаи больших стрекоз — обострялся стеклянными крылышками и крыльями рам. Дед Онисифор говорил: у жены Леонтьева был некогда свой, особый рецепт мытья окон — они становились пронзительно прозрачны, алмазно сияли, солнечные зайчики летали по дому от открываемых на сквозняках бликах стрекозиных крыл.

Хозяин дома давал соседям читать книги из большого полупрозрачного книжного шкафа своего; шкаф и теперь играл роль деревенской библиотеки, только читателей поубавилось.

— Ведь он писал книги? Папа говорит, что писал. Почему ни одной его книги здесь нет?

— Не знаю, — отвечал Денис, — может, в городе держал.

Леонтьев увлекался философией, ей посвящена была отдельная полка: Платон, Кант, Григорий Сковорода, китайская «Книга перемен», о. Павел Флоренский, Соловьев, Игнатий Брянчанинов, Мераб Мамардашвили. Открыв сборник статей «Античность и современность», прочел я название статьи Ярхо: «Была ли у древних греков совесть?» — и взял книгу почитать. Детективов Леонтьев не читал, но все же три для Нины нашлись: «Имя Розы» Эко и «Фламандская доска» Переса-Реверте; томик Пристли решил я взять для нее в следующий раз, зная, что она с удовольствием перечитает «Затемнение в Грэтли».

— Домодедов! — вскричала Капля. — Что я нашла! Тут есть две главы о магии, в этой толстой книге!

Толстая книга была фрэзеровская «Золотая ветвь».

— Но это не про то, как людей колдовскими куколками изводить, — заметил Денис, — то есть про сам факт сказано, но не в виде инструкции или руководства к действию.

— Ты ее читал?

— Всю не смог. Листал и читал отдельные страницы. Она как сказка про сказку. У нас дома такая есть.



Денис выбрал «Осы» Халифмана и «Не кричи, волки» Фарли Моуэта.

Одна из полок была подобрана самым дурацким образом: в ней соседствовали романы Диккенса, разрозненные томики Чехова и драматурга Островского, малюсенькие брошюры («i» Флоренского, «История парикмахерской куклы, или Последняя любовь московского архитектора М.», «Венецианское зеркало, или Похождения стеклянного человека» и «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» придумавшего термин «моральная экономика» Александра Чаянова), толстенный четырехтомник Даля, десяти томник Достоевского, старинная лоция Маркизовой лужи с нарисованными на картах парусниками, «Остров сокровищ» Стивенсона, «Юнги Северного флота» Пикуля, «Морские рассказы» Житкова и рассказы о кладах неведомого мне автора — солянка сборная. Сперва я решил, что пользующиеся книжным шкафом соседи суют, сдавая, прочитанное куда попало, но потом понял: это полка любимых книг.

Когда доставал я книжку Льюиса, сверху упала горизонтально лежавшая белая папка с завязками, на которой рукой Леонтьева было начертано: «Добро и Зло». Я думал, что найду эссе Леонтьева или список литературы, но там лежали несколько листков: куда девалось остальное? увез в город? сдал в издательство? печь протопил? Он часто жег рукописи в печи, то изданные, то разонравившиеся, и приговаривал, усмехаясь, что на несколько мгновений становится как Гоголь. На первом листке прочел я: «Интересно, откуда Борисов взял слова („Волшебник из Гельгью“): „Непоправимо Добро. Зло таланта не имеет“? Сам придумал? Или нашел где-то?» Дальше был отрывок то ли из статьи, то ли из дневника, но не черновой, без правки, хоть и написанный от руки куриным, с хвостами и завитушками, странным леонтьевским почерком. «И поэтому вы, — писал он, — живете в городах, в отопленных стараниями теплосети комнатах, кипятите кастрюли с чайниками, не растапливая печь и не включая древнюю электроплитку, не ходите за водой со старыми ведрами, разбивая лед в колодце морозной зимою, не таскаетесь в магазин за продуктами за три километра в соседнее село в любую погоду. Вы ставите коньяк редакторам издательств, критикам, вы одна компания, о премиях литературных молчу вообще. При этом таланты и достижения не в счет как таковые. А я сижу в заброшенной деревне, зимой все дороги и тропы заносит снег, браконьерствую противу рыбнадзора и укрупненных, дальних, но грозных лесничеств, чтобы добыть дров и не сдохнуть с холода. Синекуры у меня нет, только куры, отнюдь не синие птицы; пенсия, как положено, грошовая. Но стоят у меня во дворе Эйфелева башня, Пизанская, не существовавшая в натуре Татлинская и собственно моя, мой Париж за сараем, тогда как вы побывали на берегах Сены не единожды, в веночках несуществующих литературных заслуг. И скульптуры мои, малые ли, большие, овеивает ветер, заливают дождь, заметает снег. Вот только женушку мою, мою барочку, съела эта нищая, требующая недюжинной физической силы жизнь. Правда, и над вами, как надо мной, сидят ворюги тысячные, миллионные, миллиардные, но к орде этих акул что и обращаться; я для них ничтожество, но и они ничтожества для меня. Вы-то хоть опусы свои бесталанные пишете грамотно.

Но я, произнеся все вышеозначенное, осознаю, как грешен я в своей гордыне, в тщеславии таланта скромного своего! И гордыню свою бедную ощущаю злом.

Но ведь обращаюсь я к вам на «вы», а Господу говорю: Ты, Господи! И говорю: спасибо Тебе и за то, что святые, наученные Тобой, обладатели дара исцеления и чудотворения, предпочитали погибать, нежели убивать других. А что сказал нам Франк? Ведь это он сказал, философ с корабля дураков, с корабля, на котором отправила в изгнание Советская Россия философов своих (хорошо, что отправила, а не утопила, подобно баржам, полным узников, затопленным в пути куда-то):

«Всякий верующий без богословских трудов знает, что такое добро и зло и что надо делать, чего не надо». «„Дневник писателя“, — писал Леонтьев, — это оксюморон (как „маленькие трагедии“ — „Каменный гость“, „Скупой рыцарь“). „Jour“ по-французски „день“, ежедневник — удел журналиста; писатель тяготеет к Вечности, в крайнем случае обращается к эпохе».

«— Мне эта работа не подходит, — произнес он, скривив губы презрительной гримаской.

— Да вам никакая работа не подходит, — нагло сказал я ему правду в глаза, — а подходит только шампанское пить на крыше „Европейской“ гостиницы. Но на таких прорв всего шампанского мира не хватит».

«Ты говоришь: „Как было хорошо! Тогда, в пятидесятые, шестидесятые, семидесятые!“ Конечно! Были молоды, самоуверенны, самонадеянны, ничего не знали и знать не хотели, не верили ни в Бога, ни в черта, ах, как было хорошо!»

«Сосед мой передал мне слова друга своего, помешавшегося на постчернобыльском времетрясении и смешении времен: „Разве слово «ускоритель» не наводит вас ни на какие мысли? И слышали ли вы о теории, согласно которой жизнь на Земле зародилась в Африке из-за ядерных реакций природного котла месторождений урана?“ Уран; Сатурн; Хронос. Иди скажи часам: шли бы вы подальше».

«Моя барочка любила присловья и поговорки, украшала ими речь свою. Про меня, осердясь, говаривала: „Все люди как люди, а мой как черт на блюде“».

«Преступление и есть наказание. Преступил невидимую черту, очертившую человеческое сообщество. И не может вернуться обратно. Даже если хочет. Чувства другие. Ощущения другие. Вся химия переродилась. Так у Раскольникова».

«Я поднимался по лестнице, меня чуть не сшиб с ног скатывающийся вниз встречно молодой человек. За ним выскочил из двери прозаик Базунов (которого почитали мы за гения) с криком: „Что ты наделал, негодяй?! Ты убил человека!“ Выяснилось, что молодой убегающий автор в своем произведении умертвил главного героя». И то был последний листок полупустой папки.

### «Он пропал!»

— Вот приехал раньше времени, а вывезу вас чуть позже, — сказал друг мой, внезапно возникший под окнами на джипе своем. — Сейчас же и обратно.

— Иди чай пить, отдохнешь и поедешь, — сказал дед Онисифор. — А Дениса сейчас не увози, увезешь всех сразу.

— Дня на три в школу и Денис, и Капля опоздают. Не страшно. Я готов и в Каплину школу идти извиняться.

— Сам извинюсь, — сказал я.

Уходя, услышал я, как за открытым окном избы Онисифоровых дед, брякая чашками, спросил:

— Ну, что нового в мире?

И едва успел я дойти до крыльца, как за мной пулей влетела в калитку Капля, крича:

— Деда! Деда! Он пропал!

— Кто?

— Начальник Всего!

И, захлебываясь, рассказала: Энверова обвинили в некогда совершенном убийстве или даже двух, его должны опять арестовать — он исчез, пропал, объявлен в розыск.

— Кого убил? — спросил я.

— Каких-то своих сообщников по бизнесу. Его ищут, но он бежал.

— Баба с возу — кобыле легче, — сказал я.

Друг уехал, а я взял свой допотопный велосипед, наврал, что еду подыскивать место для этюда, домчался до моста через реку, взобрался на холм и позвонил Филиалову.

— Он пропал! — повторил я возглас Капли, вместо того чтобы поздороваться.

— Да, — отвечал Филиалов. — Федор, вы обещали задержаться до середины сентября, потом позвонить.

Я обещал?

— Детям надо в школу, — сказал я. — Мы приедем числа третьего.

Филиалов молчал.

— Скажите, — спросил я, — а где он теперь?

— В аду, — ответил Филиалов, и связь прервалась.

Особенно тихий был вечер, все налито было тишиной. Дед Онисифор смотрел на небо, качал головой, вздыхал, я ждал, что он что-то мне скажет, но он молчал.

Перед сном мы перешептывались, чтобы не разбудить Каплю.

— Куда он, по-твоему, делся? Где он? — шептала Нина.

«В аду», — звучал у меня в ушах голос Филиалова.

— Мало ли, — отвечал я. — Прикупил остров в океане, выстроил на острове замок, скрывается в личном владении в водах нейтральных. Под чужим именем обитает в Аргентине или Мексике. Лег в потаенную клинику пластических операций, где ему сделают другое лицо.

— Помнишь, ты рассказывал мне, как встретил ночью в Свяжске под кустом сирени любимого писателя? Тогда ты не знал, кто он. Потом мы читали его книгу и смотрели многосерийный телефильм по этой книге, очень хороший. А я выучила фамилию актера, игравшего главную роль: Мегвинетухуцеси. Книга о человеке вне закона, абраге. И ведь автор тоже сидел...

— Абраг — благородный разбойник, он всем делает добро, ему платят злом. Конечно, помню. Что значит «тоже сидел»? Писатель этот сидел по-черному, в самых страшных местах ГУЛАГа, в Норильске например. И он был *политический*, всегда в интервью и статьях подчеркивал: был кружок юных горячих голов, настроенных против советской власти. Его-то отца, тихого семьянина, юриста, схватили ни за что; отец бежал; его поймали, садист-следователь убил его на допросе. Гибель отца он простить не мог. А Энверов сидел как уголовник, за воровство и подтасовки финансовых сумм немереных, да еще в современной тюрьме. Кстати, в тридцатые годы политических заключенных ненавидели — травили, расстреливали, а уголовников, блатных, называли «социально близкие» — их «перевоспитывали», в прессе сие называлось «перековка».

— И политический, выжив и из лагеря выйдя, такую книгу написал... А наш-то уголовник небось сидел и вычислял, как отомстить тем, кто его в тюрьму отправил.

— Само собой, вычислял. Считал великой несправедливостью, что столько денег лежит на заграничных его счетах, а он из-за проклятых тех-то и тех-то не может башли свои прекрасные краденые тратить — шиковать, плести интриги, добиваться власти, путешествовать, строить виллы на всех широтах и долготах. Зато планы мести строил, графом Монте-Кристо себя считал: ты не радуйся, змея, скоро выпустят меня. И будет вам всем от меня полный абзац. Как включу свой башлемет, замочу тебя, урод.

— Помнишь, как назывался доклад про романы Дюма на свияжских семинарах? «Занимательная уголовщина».

Тикал в старых венцах избы древоточец, скреблась под полом мышь.

— Может быть, теперь, — шептала Нина, — когда он исчез, с Каплей все обойдется...

Не договорив слово «обойдется» (я додумал его сам), она уснула молниеносно: то было одно из свойств, приобретенных ею после страшных травм дорожного происшествия, — способность засыпать с места в карьер, как засыпают кошки, сонилемуры, не знаю, кто еще; моментально проваливалась она в Морфеево царство, бросая меня на произвол судьбы.

Ночью задул ветер, превращающий весь мир в хор.

### Смерч

Я проснулся: стучали в дверь. Было рано, и хотя свету пора было и воцариться, темные грозовые тучи мешали ему. На пороге стоял Денис. Когда я распахнул дверь, волна душного теплого воздуха вошла в дом.

— Дядя Федор, смерч идет, будите своих и спускайтесь в подпол, кота в переноску, одеяла и документы с собой, я вам фонарь принес, большой, на батарейках, у нас два.

— Как это — смерч?

— Поднимитесь на чердак.

Мы поднялись. В слуховое окно видна была клочковатая, неземная, огромная туча, из которой, увеличиваясь, извиваясь, спускался к земле огромный хобот смерча.

— Со стороны села идет, в нашу сторону. Все, будите своих, я побежал. Форточки в сторону села закройте, а в противоположную откройте, дверь на ту сторону тоже лучше распахнуть и подпереть, дед говорит.

Мы сидели в подполе на топчане для ящиков с картошкой, накинув на него ворох подушек и одеял. Котовский молча скребся и ворохался в переноске. Участвовавшие было удары грома словно выключились. Там, снаружи, нарастал гул, приближающийся звук громадной колесницы, немереного поезда, — мы чуяли мелкую дрожь земли. Капля сидела между нами, нахохлившись, как воробышек, заткнув уши.

— Смерчем может дом снести, — сказала Нина.

— Мы в подземелье, нас не снесет. Вот сарайчик с туалетом могут и полетать, если им не повезет.

— А если крышу снесет и нас завалит? — спросила Капля.

— Художники на месте, у них гости, Онисифоровы в своем подвале, по соседству — откапают, не бойсь.

Голоса уже увязали в приблизившемся грохоте, мы плохо слышали друг друга. Шум и треск падающих деревьев, глухо ударявшихся оземь. Вдруг на какое-то краткое, неисчислимое время стало тихо, словно мы оглохли, затем гул возобновился, но словно поменял направление.

— Он свернул, — сказала Нина.

— И прыгнул, когда сворачивал.

— Мне кажется, он удаляется.

Звук стихал, удалялся. Тут застучало по крыше, словно камнями осыпало дом.

— Град.

— Стекла не выбьет?

— Выбьет — вставим.

— У нас дверь открыта.

— Подожди, через некоторое время пойду закрою.

Когда пошел я закрывать дверь, увидел белое при пороге, бел был наш сад-огород от крупных градин, свет в доме отключился. Я закрыл дверь, закрыл форточки; хлынул ливень, заливая всклянь оконные стекла; тьма еще стояла над

нами, но то была привычная мгла сильных дождей и гроз, а не черно-лиловая космогоническая мгла древнего ужаса.

Нина с Каплей вылезли из подпола, таща подушки, одеяла, фонарь и переноску с котом. Не сговариваясь, не глядя на часы, мы полегли, расположившись по кроватям, Капля на диванчике; обе они с Ниной уснули мгновенно на незнакомой планете бурь, в аквариуме дома; я провалился в сон через некоторое время, успев увидеть спящую на диванчике Каплю и лежащего на дерюжно-плетеном коврикe кота.

— Хоррор, хоррор! — приговаривал кот, деря когтями дерюжку.

Дождь лил сутки, слегка утихнув к вечеру; вечером заскреблось в дверь — я впустил продрогшего и мокрого как мышь пса Свободного, который долго отряхивался в сенцах, обдавая меня каплями, пахнущими псиной и непогодой.

На следующее утро меня разбудил непривычный звук.

«Да неужели смерч возвращается? Неужели нас перенесло в долину торнадо?»

На лужок за домами садился вертолет. Стало тихо. На башне Татлина, разворотив ее, лежала упавшая сосна, на сарае — полусухое дерево из семьи тополиных, которое я не первое лето собирался спилить.

Я вернулся в дом, укрылся одеялом; стук в дверь — на пороге стоял человек, на чьей одежде красовались три утешительные буквы: МЧС.

— У вас все в порядке? Вы здоровы, целы?

— Да ничего, — отвечал я, — разве что крышу снесло.

— У вас проблемы с кровлей? В каком строении?

— Спасибо, — сказала Нина, — с кровлей все хорошо. Только света нет.

— Свет дадим в течение двух суток, постараемся пораньше, много в районе обрывов проводов, деревья падали. Деревья поваленные мы распилим; если есть тачка, забирайте на дрова, поможем к домам чурбаки подвезти. А вот на вашу эту... вышку... вешку... штуку... около просеки..

— Арт-объект.

— На объект одно дерево упало, малость объект попортило. Так где тачка-то? Говорят, у вас тут зимогор имеется.

— Ну, я зимогор, — сказал дед Онисифор. — Дениска, кати тачку, вторую у художников возьмем.

— А церковь? — спросила Нина. — Церковь цела?

— Целехонька, в лесах строительных стоит, — отвечал эмчээсовец, — хотя рядом две сосны упали. Кто из вас Онисифоров?

— Мы, — сказали дуэтом дед и Денис.

— Ваш отец про вас спрашивал, велел узнать, не надо ли вас днями вывезти, лекарство какое привезти, продукты, тогда он за вами прилетит, мы ему передадим.

— Не надо прилетать, — сказал дед, — скажите: все хорошо.

— И вывозить не надо, — сказал внук, — за нами третьего сентября дядя приедет, всех и вывезет.

— Это вряд ли, — сказал человек из МЧС, — мост снесло, чинить будем. К вам не проехать.

— Когда почините? — осведомился дед Онисифор.

— В лучшем случае числу к пятнадцатому сентября.

— Ничего, мы подождем, — сказал дед, довольный, что Денис с ним до середины сентября побудет. — Привет сыну передавайте, а вам спасибо и за дрова, и за весточку, и вообще за работу.

— Вот как свет дадим, мост починим, будет нам спасибо, — сказал эмчээсовец, улыбаясь, очень довольный, что мы живы, целы, дома наши стоят, никого из-под завалов доставать не надо.

- Смерч шел на нас, — сказал Денис, — но свернул на просеку.
- Мимо проскочил. Ну, сейчас дрова ваши доставим, дальше полетим.

Из дома вышла сонная Капля с Котовским и Свободным, точно с почетным эскортом.

- Вы прилетели? — спросила она. — А ураган кончился?
- Мы улетаем. Стихло ваше торнадо.
- А что это за звук?
- Деревья пилим, барышня. Бывайте здоровы.

### Огненный столп

Первую вешку — поставленную несколько лет назад художниками с Леонтьевым скульптуру из сухих ветвей, самую высокую, попорченную смерчем, — решено было предать огню.

— Не ровен час, — сказал старший художник, дядя Паша, — сама свалится да еще кого из гуляющих либо идущих придавит. Мне лично не жалко. Зачем за собственное искусство цепляться? Время само, что нужно и того стоит, отберет. Сигнал в ноосферу мы уже подали — зачтется.

- А мне жалко, — сказал младший художник, дядя Петя.
- Жалко у пчелки, — сказал дед Онисифор.
- День только надо выбрать, — сказал я.
- Что ж тут выбирать? В годовщину Леонтьева. В память о нем.
- Если ветра не будет.
- Не будет, — сказал дед. — Ветер вышел весь.

В полном безветрии, при абсолютном штиле (ни один стебелек не шелохнется), под светлым, слегка обесцвеченным предосенним небом собрались мы все вокруг высокой серебрястой скульптуры-вешки.

Словно мы ждали чего-то, и она ждала; беззвучен был диалог наш, и между нами и ею стояли зеленые канистры с бензином и алые сурки огнетушителей.

Мы запалили деревянную скульптуру, величавую, даже и с надломленным, порушенным верхом, в конце дня, чтобы к ночи успело истлеть кострище. Когда взметнулся к небу огромный факел, из рощи, левее просеки, выскочила небольшая компания мужиков с ведрами и баграми, видать, команда наезжавшего на свой участок фермера. Они неслись тушить пожар, но, увидев, как мы замерли вокруг огненного столпа, сначала остановились, а потом пошли к нам уже не спеша, улыбаясь, тащили свои ведра с водой.

Фермер купил участок земли за леском, начал строиться; дело было в девяностые — на него стала наезжать какая-то кодла из полуместных (или тоже заезжих?) рэкетиров; не знаю, что требовали, должно быть, чтобы платил ясак в их орду. Фермер был несговорчивый, ему грозили, жгли и разваливали то, что он строил, угрожали семье: да мы вас в асфальт закатаем! какой асфальт? фигура речи — одни проселочные дороги, раз-два и обчелся.

Но пожары повторялись, повторялись и десанты ушкуйников, доходило до драк, до больниц; спасибо, что стреляли в воздух. Наконец, боясь за семью, фермер съехал. Будучи человеком бесконечно упрямым, стал он наезжать время от времени: там подправить, тут достроить, то плотников на три дня привезет, то трактор пригонит. В конечном итоге рэкетирьи рассеялись, развеялись, но окончательно обосноваться хозяин не торопился; только приезды его участились, сроки пребывания за леском удлинились, компания увеличилась, поскольку появились зятья, подросли дети.

Огромный огненный факел снижался, сужался. Завечерело. Предложил дядя Паша: давайте все скажем что-нибудь, кто что хочет. И сам начал:

— Вот не ждал я, когда мы с Леонтьевым задумали и возвели эту первую нашу бандуру, что придется сжечь ее в годовщину его смерти.

— Годовщину? — спросил фермер. — Мы ничего про то не знали, я еще подивился: Леонтьев-то где? Ну, царствие небесное.

— Она была такая высокая, — сказал дядя Петя, — что мы сами не понимали, как нам удалось ее собрать и поставить. А Леонтьев сказал: нет, ребята, маханулись мы, высоковата, масштаб на местности не угадали, да и молнии в грозу будет притягивать, как высокие деревья. Так что все последующие: и раковину, и малую ротонду, и три башенки — сделали мы много ниже этой.

— Вот вышел у нас огненный столп, — сказала Нина. — А ведь это название последней книги стихов Гумилева, которого Леонтьев очень любил: некоторые стихи из этой книги знал наизусть.

— В огненном столпе, — сказал дед Онисифор, — пришла к людям на Афон любимая наша икона, Иверская.

— А церковь-то вы ведь с Леонтьевым восстанавливали, не доделали еще? — спросил фермер. — Мы ее видим — дойти все времени не находится, через два дня на третий собираемся.

— Этот год приостановилось у нас, — сказал дед.

— Теперь будем помогать, — сказал фермер.

— Так я сбегая? — спросил дядя Петя дядю Пашу.

— Иди уже.

Вернулся он тотчас с двумя гитарами. Денис за своей не пошел, а подпели художникам мы все. Пели любимые песни Леонтьева, которые певал он сам или любил слушать: «Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья, о любви спросить у мертвых неужели мне нельзя. И рассказывает череп тайну гроба своего: „Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его“»; «Запрягу я тройку борзых...»; «Когда мы были на войне»; «Хасбулат удалой»; «Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка темная была, одна возлюбленная пара всю ночь гуляла до утра». Тут запела Капля — звонкий серебристый голосок: слух у нее был хороший. Как давно ее пения я не слышал, а старую песню эту пел ей Леонтьев, когда мы только дом купили, она была совсем маленькая: «Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть».

Темнело, вылили ведра на уголья, обвели пепелище кругом водяным, а из огнетушителей кругом пенным, чтобы схоронившееся пламя — бойкая искра не полыхнула по траве, не двинула к лесу.

И разошлись по домам — молча, быстро, в разные стороны.

Ночь уже наполнила небо звездами: августовские болиды чиркали, плавно летели спутники, мигал огонек ночного самолета.

— Деда, — сказала утром Капля, — а я в костре вольта сожгла.

— Что?

— Куклу магическую.

— Я не заметил, когда ты успела?

— А я и не хотела, чтобы кто-то заметил.

Капля убежала к Онисифоровым, из дома вышла Нина.

— Знаешь, — сказала она, — ведь наша внучка своего кукленка гаитянского в огненном столпе спалила. Я видела, но смолчала.

— Знаю, — ответил я. — Она мне только что призналась. Сгорели чучело лета и чучелко колдовства.

### Музей иллюзий

— Ну вот, — сказала Капля, державшая на коленях перевозку с Котовским, — все разъехались, деда Онисифора оставили в деревне одного.

— Художники, — сказал Денис, ехавший с Кузею, которого он все время тормозил, — приедут в конце осени, хотят устроить фестиваль и мастер-класс деревянных скульптур. Мы с отцом приедем на Новый год и на зимние каникулы, может, мать тоже поедет. На весенние я один приезжаю. А там и лето. И с конца осени до начала весны мобильник работает, сигнал ловит, будет другу в село дед звонить.

Мы промчались по новому мосту и через три часа влетели в городское бабье лето.

Уже к вечеру Капля стала просить, чтобы поехал я с ней в музей господина Сяо. Я говорил: сначала выясню, что у меня на работе, потом объяснюсь с твоей учительницей, потом съездим. Она возражала: и на работу, и в школу уже ты звонил, а про наш смерч и про наш мост передавали по телевизору — все в курсе.

Когда прибыли мы в околоток возле проспекта, ждали там нас сюрпризы. Изменился околоток: вместо диабазовых плит и торцов стелился под ноги обычный асфальт, вместо двух деревянных урюпинских домиков шумела огороженная стройка; третий дом, с геранями, был неузнаваем — сайдинг, забетонированный наново высокий цоколь. Кварталы неуловимо потеряли сходство с баганцевскими акварелями; только кое-где воздух стоял прежний, сохранивший память о старинном, тихом житии: послевоенных курятниках, голубятниках, доминошниках и влюбленных.

Флигелек наш перекрасили из небесно-голубого в тусклый зеленый, у двери висела вывеска: «Музей оптических иллюзий».

Встретившего нас толстенького, невысокого смотрителя-кассира Капля в полном недоумении спросила:

— А где господин Сяо?

— Кто?

— А где музей кинематических игрушек? — спросил я.

— Тут был до нас другой музей? — вопросом на вопрос отвечал толстячок. — Я не знал. Мы арендовали пустое помещение. Ищите в Интернете.

Несколько дней Капля искала в Интернете, не обнаружив никаких следов кинематонов и жакемаров.

В музее оптических иллюзий при входе висели картины, многие из которых были мне знакомы по книгам: профили или ваза; расходящиеся и сходящиеся параллельные прямые на фоне других линий; две одинаковых прямых, снабженные разной направленности стрелками, отчего казалась одна прямая длиннее, другая короче, и так далее. Конечно, не обошлось без репродукций Эшера, где виделись вам то белые, то рыжие кони, то белые, то рыжие жуки, то лодки, то рыбы, то птицы. Треугольники превращались в летающую стаю птиц, окуни — в уток, точки — в ящериц, квадраты — в слова; из плоских изображений обшлагов вырастали объемные; рисующие их и себя самих руки; ящер становился колесом; безумные интерьеры с перетекающими пространствами лестниц и башен приглашали вас войти туда, откуда нет выхода, да и был ли вход. Синие, красные и белые гномы напоминали обои, которые могли простираться во все стороны, на все четыре стороны дурной бесконечности. Почему-то бельведер «Водопад» и упражнение по подъему и спуску заставили меня вспомнить тюрьму нашего (будь он не ладен) уголовного жакемара, а «Планетоид», «Иной мир» и «Relativity» — фантазии и тюрьмы Пиранези. Эшер (все ли голландцы безумны, или только Ван Гог да он?) сам был не Макс и Мориц, как в старой русской книжке, но Мауритц и Морис; и не только по фантазии переводчи-



ка. Мне казался он Джекилом и Хайдом в одном лице. В нем было что-то пугающее. Он принуждал мой мозг и зрение играть без передышку в оптические иллюзии, зрительные обманки, гонял их по кругу арены, как несчастных цирковых лошадок. В детстве он болел и провел год в детской больнице (в какой — хотел бы я знать? я одно время очень увлекался Эшером и знал о его жизнь больше, чем положено было в рамках истории искусств); его отчисляли из учебных заведений за неуспеваемость; его еврея-учителя, художника из Харлема, сожгли в Освенциме; он бывал в Италии и Испании и, в отличие от нас с Вавилонией, в Барселоне. Девушку, на которой он женился, звали Джета. На крещении их первенца присутствовали Виктор Эммануил II и Муссолини. Уехав из фашистской Италии, он оказался в оккупированных Нидерландах. Даже ранние картины его называли механическими и сухими, да он и сам чувствовал, что исподволь терял связь с теплотой пейзажного мира. В 1955 году королева Вильгельмина произвела его в рыцари. Оттиски его работ печатали колоссальными тиражами в США.

Его интересовали симметрия и бесконечность, логические, пластические, пространственные парадоксы, оптические иллюзии, сечения плоскостей, превращения неодушевленных предметов в живые существа, искусственные перспективы с птичьего полета (увиденные, может быть, не глазами ласточки, а оптикой шпиона-беспилотника, дрона), невозможные фигуры, точки исчезновения и возникновения.

По логике вещей он должен был заниматься дизайном оберточной бумаги; он и занимался.

Авторы его выставки в Москве назвали экспозицию «От фрактала до рекурсии». Но я не знал, что такое рекурсия, и на выставке не был.

Я шел по коридорным комнаткам новообретенного иллюзиона: движущиеся постеры, утокролик, утокозяц, белколебедь, тюленемедведь, иллюзии «шахматная доска», «кафе», «рельсы», двойные портреты, привидения голограмм (самые противные — розовые и зеленые натуральные кошки, да и фигуры тоже не отставали, нарисованные итээровскими людьми с их тягой к искусству, но безо всякого вкуса и способностей). Меня прямо-таки мутило от этого нападения на глаза, мозги, вестибулярный аппарат, на все мои личные навигационные приборы.

— В конце пути сюрприз! — обрадовал нас толстячок смотритель. — Помещение, где вы становитесь то великаном, то карликом!

— Банька Леонтьева, — воскликнула Капля.

— Комната Эймса, — вскричал я.

— Так вы уже знаете... — разочарованно произнес работник музея иллюзий.

## Сирень

И накануне вечером, и утром я заметил новую волну затишья в склоках, военных конфликтах, политических дебатах последних известий. С момента нашего осеннего приезда я почувствовал: что-то поменялось по сравнению с весной отъезда, с последними двумя годами. Словно зло начало уставать, машина его сбрасывала обороты — это была скорее инерция, чем предыдущий разгон.

Скрыв от своих девочек вытащенное из почтового ящика извещение, получив на почте мелкий пакет от Филиалова, распаковал я его на скамье сквера с фонтанами, где дети собирали неизвестно зачем в траве желуди, как все городские люди в детстве с незапамятных времен.

Открыв присланную сигаретную коробку, увидел я пять других жакемаров, Начальников Всего, — шестого уже успел я отправить на дно реки на даче.

Некоторое время сидел я, глядя на них, как во сне.

Потом набрал номер Филиалова, но он мне не ответил (как никогда потом не отвечал).

Выкинув в урну сигаретную коробку, двинулся я к дому, медленно, очень медленно, лихорадочно вычисляя: куда мне эту великолепную пятерку деть? Урны не годились, не годилась помойка: кто угодно мог их достать, раскидать по округе, — Капля не должна была их увидеть.

Шваркнуть с моста в Неву? Тоже не годилось: поиски коробки из-под леденцов, грузиков в коробку, лик внезапный полицейский: а что это вы шваркнули в воду? уж не устройство ли поганое, дабы взорвать мост? ваши документы; пройдемте.

Почти уже до дома дойдя и не найдя решения, я вдруг увидел на газонах близлежащей улочки выкопанные с трехметровым интервалом ямы для посадки деревьев и порысил в дворовую нашу плотницкую мастерскую, плавно перетекающую в дворницкую, где испросил у жэковских плотников лопату — «земли накопать для пересадки домашних растений».

Вид мой, с лопатой, никаких чувств у прохожих не вызвал: в старой куртке, старомодной кепке, выдавших виды кроссовках, я вполне сошел за совершенствующего посадочные места работника садово-паркового хозяйства. На дне одной из ям выкопал я ямку поменьше, куда и ссыпал жакемаров, которым предстояло стать подколодными и однокоренными. Я с радостью увидел, что они не пластмассовые, не оловянные — деревянные! Стало быть, сгниют.

Домой пришел я в великолепном расположении духа.

И ждал меня тихий вечер.

Нина лежала на диване, листала «Domus», номер посвящен был лучшим садам мира. Капля в своем закутке-кабинете делала уроки в молчаливом обществе аквариумных рыбок.

— Что-то Котовского не вижу.

— Можешь себе представить: он опять с улицы Клеопатру привел. Дрыхнул на кухне за газовой плитой. Найди, пожалуйста, Капле книгу Эшера, она просила.

Нам еще предстояло убедиться, что на сей раз Клеопатра останется у нас жить.

Я нашел Эшера, а потом достал и Митрохина, открыл последний раздел, где были не изощренного мастерства черно-белые графические заставки журнала «Мир искусства», не великолепные офорты двадцатых и тридцатых годов, но карандашные рисунки последних лет жизни: свинцовый карандаш, несколько цветных карандашей, бедность, старость, одиночество, четыре стены полунищей комнаты, граненые рюмки, пир из двух гранатов и нескольких грецких орехов, вечное яблоко, редкий цветок. Ничего лучше этих рисунков я не видел: в них не было ни лихости, ни изощренности, ни великолепия, ни красоты — они были просты и прекрасны.

Я открыл книгу Эшера, положил ее рядом с митрохинской открытой книгой с любимым рисунком карандашным, позвал Каплю.

— Скажи, какая работа тебе больше нравится?

Я изготовился прочитать ей краткую лекцию, но она не дала мне осуществить задуманное: не размышляя ни минуты, ткнула пальцем в стену: «Вот эта!» — после чего ускакала к своим рыбкам.

На стене висел мой царскосельский этюд.

Когда Капля была маленькая и приезжали ее родители, наши дети, мы с Ниной убывали в Царское Село, в город Пушкин, как оно тогда (да и теперь) называлось. Я оставлял Нину в гостях у нашего друга, художника, где его красивая жена пила с Ниной чай, а сам отправлялся на пленэр.

Не было на работах моих ни дворцов, ни парковых павильонов, беседок, фонтанов, статуй, — простые житейские, почти житийные места деревянных домов,

изб, ветел, дальних перелесков, скамей на бульварах, железнодорожных насыпей за лугом или полем.

Да, я влюблен был в свой драгоценный дизайн с юности: в остроносый чертежный карандаш, передающий четкие контуры технократических объемов и объектов; в царствие пропорций; в черниковские конструктивистские фантазии; в никель и сталь; в творения и изречения основоположников; в ожерелье из шарикоподшипников Шарлотты Перриан и в косы Манон Гропиус; в лаконичную серийную керамическую посуду финна Сарпаневы; в нависающий клюв автомобиля «Десото».

Но живопись была даже не тайная любовь с детства, не плохая привычка пальцев, складывающихся в щепоть на кисточке с краской, не плазма, лава, пятно начала мира всякого изливающегося цвета, — она была жизнь как таковая.

На моем царскосельском этюде возвышалось деревянное вертикальное неказистое строение (низ служил сараем, верх, должно быть, в незапамятные времена — голубятню); неровные рейки низкого забора маячили за высокими золотистыми травами осени; вдали голубели в охристом ореоле деревья; за забором стояли купы еще не облетевших кустов.

— Дорогая, — сказал я, — мне наш плотник сообщил: на соседних улицах завтра будут сажать сирень. Я сам-то решил, что деревья, но он уверяет: именно сирень, ему садово-парковый человек поведал; и у нас, и во всем городе.

— Да, — отвечала она с улыбкою, — мне Женя с четвертого этажа сегодня рассказала. Как хорошо. Как я обрадовалась.

— И теперь я надеюсь, что мы доживем до весны, которая окрасит белую ночь во все колера исполненного счастья цветения; весна включит ацетиленовые горелки сияющих кустов: белый, фиолетовый, голубоватый, сиреневый, лиловый, розоватый, мажентовый, пурпурный; сложных и переходных оттенков; названный в честь нимфы Сиринги (в стране русского языка дремлют древние, тайные области греческого и латыни...), некогда бывший «синелью» и «кустами сирен» — персидской, венгерской, гималайской, японской, амурской — любимой нашей сирени. И снова превратится Санкт-Петербург в филиал сиреневой коллекции ботанического сада, в белонощный северный *сирингарий*... Проступит сквозь петербургские ведуты лиловый лес загадываемых желаний. Никто и не вспомнит, что некогда ее, иностранки, странницы, тут не было вовсе: в шестнадцатом веке английский посол при турецком султানে привез в Вену первый куст сирени из Константинополя, а в Россию позже, в восемнадцатом столетии, из Франции завезли. Какие-то, согласись, есть в ней чары, в ее цветах и букетах дворянских гнезд. «И в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханьем сирени», — снова нам скажет К. Р., а вслед старинным, вырубленным двадцать лет назад Обломов вздохнет: пропали, погибли. Я, когда маленький был, читал волшебные сказки, как девчонка. «Спящую красавицу» Перро с иллюстрациями Доре, гравюрами девятнадцатого века, лилово-сиреневым подкрашивали, бутылочно-зеленым, старо-розовым (как пена от варенья). Еще читал сказки графини де Сегюр, выданной замуж во Францию Софьи Ростопчиной; там была история про заколдованный Сиреневый лес: в него вошла девочка-принцесса Блондина, замороженная, начала собирать букеты разных оттенков, тяжелые охапки, а сиреневые кусты сомкнулись, сплелись за ее спиной, не было ей дороги назад в отцовский дом, вышла она к находящемуся в центре Сиреневого леса замку, где встретили ее Белая Лань и Кот Мурлыка. Или Матушка Коза и Кот Мурр? В конце концов все расколдовались — и Лань-королева, и Мурр-принц; все закончилось свадьбой и встречей с постаревшим отцом-королем. Но тот Сиреневый лес был заколдован злым волшебником (вроде Каплинова Злодяка), то было место роковое, недоброе. И я потом, в юности, все понять не мог: где графиня де Сегюр, Ростоп-

чина София Федоровна, этот свой лес взяла? «Спящую красавицу» она, конечно, читала, но иллюстраций Доре, с купами сирени, еще не было, не было балета Чайковского с Феей Сирени. Я тогда увлекался архетипами Юнга, даже сдуру подумал: может, сирень тоже архетип? Может, такие растения архетипические есть, и раньше об этом ведали друиды, например?

— Да откуда тебе про сорта и оттенки известно? — спросила Нина. — И про кусты из Турции и Франции?

Я чувствовал, что за стенкой, наострив уши, слушает меня укладывающаяся спать Капля — собирается завтра с утра пораньше в ботанический сад проситься.

— Я в девяностые, да и в конце восьмидесятых каких только халтур не делал. Благоустройством территории старинного санатория вместе с дизайнером ландшафтным, в частности, занимался. Тогда и почерпнул.

Нина улыбалась своей нежной неровной улыбкой.

Я сказал:

— Бабилония, давай поедем в Царское Село.

И она отвечала:

— Давай поедем.

---

---

## Валерий СКОБЛО

\* \* \*

Богу сломить атеиста  
    не стоит совсем ничего:  
Глазом моргнет Всевышний  
    и вовсе не станет его.  
Или не так радикально —  
    зренье отнимет и слух.  
Во прах безбожник повергнут,  
    и пыл его мерзкий потух.  
Вот он на пороге храма  
    смирненно твердит: «Пощади!...»  
Жизнь его — ветка сухая...  
    Что еще ждет впереди?  
В диспуте этом, конечно,  
    у спорящих разный вес,  
Но атеист добровольно  
    зачем в этот диспут полез?  
Порой как бы Бог ошибается  
    и наносит урон  
Верующему, но навряд ли  
    веру утратит он.  
Пусть мясо его проказа  
    выест до самых костей —  
И в лепрозории бедный  
    ждет самых хороших вестей.  
Трактат сей о теодицее  
    наглядный являет прок...  
...И это для атеиста  
    тоже хороший урок.

---

Валерий Самуилович Скобло — поэт, прозаик, публицист. Родился в Ленинграде в 1947 году. Окончил матмех ЛГУ. Работал научным сотрудником в ЦНИИ «Электроприбор». Научные труды в области прикладной математики, радиофизики, оптики. Сборники стихов «Взгляд в темноту», «Записки вашего современника», «О воде и воле». Член Союза писателей Санкт-Петербурга. Стихи, проза, публицистика публиковались в российской и зарубежной литературной периодике (Англия, Беларусь, Болгария, Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Канада, Казахстан, США, Финляндия, Эстония и др.). Основные публикации последних лет в журналах: «Арион», «День и ночь», «Звезда», «Зеркало», «Зинзивер», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Иные берега», «Крещатик», «Литературная газета», «Нева», «Новая Юность», «Новый берег», «Сибирские огни», «Слово\Word», «Урал», «Юность» и многих других. Стихи для детей — в журналах «Костер», «Чиж и Еж». Лауреат премии им. Анны Ахматовой (2012), шорт-лист международного конкурса стихотворного перевода «С севера на восток» (2013), дипломант литературной премии им. А. А. Ахматовой (2015). Живет в Санкт-Петербурге.

\* \* \*

Среди знакомых столько ненормальных  
(Я их и в мыслях даже не сужу) —  
Коллег по службе, родственников разных,  
Соседей по восьмому этажу.

С тоской внимаю их речам опасным  
(Могущим и меня свести с ума) —  
По космосу, политике, финансам,  
По теме: в Петербург грядет чума

Киргизская... По мне — хоть из Китая.  
Что мне чума, когда я сам чумной?  
Я с ужасом гляжу на них, не зная,  
Что с ними?.. с вами?.. да и что со мной?

\* \* \*

Утром бужу по мобильнику внука,  
Это нехитрая, право, наука,  
И не к такому привык.  
Мне, чтобы выспаться, много не надо,  
Встать в семь часов — для меня не преграда,  
В общем и целом — старик.

Так-то из дома, сейчас из палаты  
(Это — больница: уколы, халаты...),  
Мало веселья окрест.  
Осень, и явственна ночи прибавка.  
Стоны во сне... Я и Данте, и Кафка  
Этих нерадостных мест.

Сколько надежд, разговоров пустяшных,  
Сколько иллюзий красивых и страшных  
Осень легонько смела.  
Сколько больных и увечных в России...  
Жду результатов своей биопсии —  
Вот ведь какие дела.

Впрочем, мне кажется, даже «оттуда»  
Я позвоню ему — это не чудо...  
— Дед, я прошу: не звони!..  
— Сколько твердил — ведь какая порода,  
Что существуют лишь смерть и свобода...  
Ну и любовь, извини...

\* \* \*

Иногда я думаю: с кем я веду беседу?  
Мысли свои не доверю супруге или соседу,  
Даже и лучший друг — не лучший мой собеседник...  
Вот я и думаю, кто же он — мой исповедник?  
Нет, не торгует он опиумом народа —  
Нет для меня исповедников из моего прихода.  
Все, что они говорят, сомнительно или ложно.  
Нет такого прихода на свете вообще, возможно.  
Но в точности утверждать такое я, нет, не стану:  
Со всеми не говорил... не все же поют осанну,  
Некоторые пытаются спасать руками своими.  
Так что пока промолчу, не называя имя.

\* \* \*

Что стоишь, качаясь...

*Песня*

Расставаться с жизнью?.. — совсем ништяк:  
Так навязла в зубах она, надоела...  
Распрощаться с нею — такой пустяк...  
Но, конечно, пока не дойдет до дела.

Ты посмотришь в зеркало — что за дрянь!  
За окном — дома в отсыревшем тумане...  
Ну, зачем подниматься в такую рань?  
По утрянке особенно сдохнуть манит.

Не глядели б глаза на рожу свою,  
И у прочих примерно такое ж лихо.  
Я спасаюсь тем, что порой пою,  
Но когда один... незаметно... тихо.

Про рябину тонкую и про дуб,  
До которого вовсе дороги нету...  
Я, наверное, сердцем стал очень груб,  
Но мне жалко себя, а не пару эту.

Как измучился я, как замерз, продрог,  
Вот взяла бы и песенку эту спела  
Та, что манит меня шагнуть за порог...  
Но, конечно, пока не дойдет до дела.

\* \* \*

Мысль постричься наголо возникла  
Как-то чисто так... сама собой...  
Это, разумеется, из цикла:  
К старости бывает... с головой.

Парикмахерша, поняв меня буквально,  
(Вроде бы не вовсе инвалид),  
Молвила: «Зачем так радикально?»  
Каторжный какой-то будет вид».

Пусть стрижет, как хочет... Вот дуреха.  
Мне продать пыталась чудо-крем.  
Плохо мне... ну, в общем, очень плохо...  
Так что жить не хочется совсем.

В этой ситуации — чем хуже...  
Типа: да одним огнем гори!..  
Пусть же соответствует снаружи  
Облик состоянию внутри.

...Что-то щебетала про шампуни,  
Вот она — святая простота!  
Вышел я, пострижен, как Джордж Клуни.  
...Так и не исполнилась мечта.



## ФИРС

### Рассказ

Супружеская пара сидела за угловым столиком в ресторане гостиницы. Мужчина был моложав и все-таки явно старше спутницы. Полумрак скрадывал их лица, но скрыть волнения не мог. Женщина молчала, мужчина что-то коротко говорил ей по-немецки. За ними безмолвно наблюдал посторонний, но не случайный персонаж Григорий. В зале висело напряжение, и все ощущали его.

«Бог с ним, с этим волнением, меня это не особо касается. Я всего лишь зритель, даже не свидетель разговора», — рассудил Григорий, подошел к столику и перекинулся с немцами парой слов.

Отвечал мужчина. Скорее угадав, чем разобрав из немецких фраз, что сегодня у них случилось нечто необыкновенное, Григорий сходил за бутылкой коньяка, взял в баре три рюмки, плеснул в них солнечного света. Выпили залпом, без закуски. Немец заговорил быстрее, сыпал словами. Удавалось выхватывать из рассказа только отдельные слова, чаще всего: голод и смерть, смерть и голод, голод, голод, голод.

Десяти-одиннадцатилетние мальчишки с матерью в конце войны не успели эвакуироваться в глубь Германии и два года выживали в маленьком домике за городком Лабиау — нынешним Полесском. Голод, голод, голод. Жизнь — поиск еды, любой еды. Иногда воровство, редко неожиданная помощь случайно встреченных русских. Зимой голод становился непереносимым, весна и лето приносили временное облегчение.

Мать отдавала еду детям, пытаясь их спасти, и умерла от голода в начале лета 1947 года, не дожив двух месяцев до отправки в Германию. Сын тайно похоронил ее во дворе дома, под приметным деревом. Сегодня они с женой целый день безуспешно искали дом на окраине поселка и только к вечеру все-таки опознали то место. Старого приметного дерева уже не было, и они, попросив разрешения у нынешних хозяев, посадили над могилой матери вечнозеленый куст. Опасались раскрыть тайну места и не сказали, что здесь похоронена его мать. В безыскусном рассказе немца история предстала в своей трагической обыденности, спутница за все время разговора не произнесла ни слова.

Мать умерла, а он, совсем мальчишка, выжил, вернулся в Германию, стал известным актером и режиссером. И сейчас, состарившись, в мюнхенском театре играл всего одну роль — старика в знаменитой русской пьесе. Совершенно седой и прозрачный от худобы, он выглядел так, словно навсегда остался в голоде детства.

Обычная житейская история, а житейские истории потому и житейские, что происходят сами по себе. Происходят без автора и режиссуры, если таковыми не

---

Борис Нухимович Бартфельд родился в 1956 году в пос. Новостроево Калининградской области. Окончил университет по специальности «Теоретическая физика». Член Союза российских писателей. Председатель Калининградской областной писательской организации. Автор шести книг, стихи переведены на литовский, польский, немецкий и латышский языки. В 2013 году за просветительскую деятельность стал лауреатом премии Калининградской области «Сопричастность». Лауреат премии Калининграда «Вдохновение» за лучшую художественную книгу 2012 года — сборник стихов «Пределы». Живет в Калининграде.

считать провидение. Такая история могла случиться через пятьдесят лет после войны в любой день, но случилась в июле 2012 года.

Через два года пара вновь приехала в Калининград. Они представили книгу о судьбе того мальчишки. Вечно молчаливая спутница оказалась писательницей. Она всегда молчала, только глаза, не поглощающие, а излучающие свет, выдавали ее необычную открытость миру. Может, писатель и должен молчать, чтобы не растратить мысли и чувства, так и не успев донести их до бумаги. Через год книгу перевели на русский язык, и Григорий прочел ее. В книге снова — голод, голод, благодарность матери и неизбывная вина перед ней, поиск следов отца, тайна его гибели, сомнения в его принадлежности к национал-социалистической партии, и снова сомнения, и снова голод, голод без конца. Григорий размышлял о том, что заставило молчаливую фрау потратить два года на описание частного случая, который в книге приобрел общечеловеческое звучание. Ни на деньги, ни на славу она рассчитывать не могла. Что двигало ею, какая воля или долг заставили ее проделать большую работу? Она шагнула из своей молчаливой тени немного свидетеля на звучащую, освещенную сцену, выносив в себе книгу о двух первых послевоенных голодных годах в Восточной Пруссии.

Русские виноваты в том голоде? Прямо не сказано. Но это вытекало из текста, точнее, было подтекстом. Мог ли немецкий мальчишка, оказавшийся в трагической ситуации, не ожесточиться? Русские виноваты! Но они и сами голодали, и их жизнь отличалась от жизни немцев только тем, что русские могли уехать из этого голодного места в другое, такое же голодное. Когда люди страдают, всегда кто-то виноват, боль и обида сами находят виновных. Какое впечатление производили страдания немцев на русских? Не самое сильное, ведь все зависит от того, с чем сравнивать. А русским, белорусам, евреям и украинцам, жившим тогда рядом с немцами, было с чем сравнить. И на первом месте в личном опыте немецкой оккупации у них были смерть и истязания, а голод маячил где-то далеко — до него еще надо было дожить. Так было везде, за исключением Ленинграда и лагерей. Но в послевоенной Восточной Пруссии подавляющее большинство немцев выжили, легче было тем, кто жил ближе к заливу, рекам, озерам. Рыбу, в отличие от зверей, можно было ловить и этим спастись. Сушеный снеток — валюта, а хлеб еще дороже. Но этот старый немец, в юности претерпевший и потерявший все, дружелюбен к русским, он как-то сумел изжить ожесточение войны, голода и изгнания.

Вскоре Григория по делам занесло за Полесск и дальше, за Дейму, в старую немецкую школу-музей Вальдвинкель, где уже явственно ощутимо дыхание Куршского залива. Там, в маленьком частном музее, собраны рассказы стариков из окрестных поселков о жизни переселенцев в самые первые годы после приезда. И в них главное место занимал тот же голод, голод и русских, и немцев. В одном из рассказов, больше похожем на исповедь, теперь уже пожилая женщина вспоминала о своем ровеснике, тринадцатилетнем Матвее из Разино<sup>1</sup> — лесной деревушки, стоящей на канале неподалеку от залива. Матвей наловчился не только искусно ловить рыбу (это умели многие), но и каким-то тайным, хитрым способом быстро сушить ее для длительного хранения. И всю зиму и даже весну он раздавал маленькими порциями драгоценную еду окрестной малышне без разбора: и русским, и немцам.

Григорий надумал доехать до канала и осмотреть деревушку. Дорога к ней шла на север, сначала асфальтовая, затем грунтовая и, наконец, когда деревья обступили машину со всех сторон и хлестали ветками по кузову, лесная. Несколько раз каза-

<sup>1</sup> Поселки Полесского района (Лабиау): Келладен — пос. Ильичево; Ювендт (Мевенорт) — пос. Разино.

лось, что надо поворачивать назад, дальше проехать невозможно, но деревья раступались, и вновь открывалась дорога. Вскоре впереди показались дома. Часть из них была полуразрушена и уже оккупирована буйной природой, ее передовые части: кустарники, осины и березы — заволокли дворы, взобрались на стены и остатки крыш. Метров через двести машина застряла в глубокой колее, разбитой тракторными колесами. Попытки вырваться из колеи на обочину не удались, надо было подложить под колеса доски или какой-нибудь другой подручный материал. Пришлось пойти к ближайшему дому за инструментами.

Живой забор вокруг участка превратился в высокий лес, но дом стоял крепко, и на двухскатной острроверхой крыше его лежала родная красная черепица, да и деревянные окна были еще немецкими. Сад у дома постарел, немецкие яблони доживали последние годы, только стайка молодых вишен-костянок весело перешептывалась мелкими листьями. Во дворе никого не было, оставалось открыть дверь самому и зайти в дом. Из маленькой прихожей коридор вел к кухне, где на табуретке сидел старик в фуфайке, на его ногах, обернутых фланелевыми портянками, чернели резиновые калоши.

— Отец, машина моя застряла неподалеку, дай топор кустов нарубить, — старик, казалось, не слышал. Григорий подошел ближе, тронул его за плечо, старик рассмеялся.

— Я все слышу, не беспокойся. Иди в сарай, топор у стены лежит. Нарубишь кустов, возвращайся, только елочки и березы не руби, там полно сорной поросли.

— Спасибо, отец. Я недолго.

Топор, воткнутый в край аккуратного чурбачка, нашелся сразу. Все в сарае было обычным для села, но под самой крышей были натянуты десятки лесок, на которых рядами, как ноты на нотном стане, висели сотни рыбин, будто специально отобранных, одна к одной, все весом грамм по триста. Мало ли кто из местных вялит рыбу, но запах этой рыбы да и цвет были необычными, будто кто-то смазал ее особым маслом. Да еще на веревках под потолком висели холщовые мешки, заполненные высушенной рыбой.

Поблизости от дороги в изобилии росли самосеянные клены, осинки. Они и пошли под колеса. Дернувшись несколько раз вперед-назад, машина с трудом выбралась из глубокой колеи на твердую дорогу. Когда Григорий вернулся с топором к сараю, старик стоял на чурбачке у стены, кряхтя, снимал рыбу с лесок и складывал ее в мешок.

— Ну что, вылез из ямы? Куда нелегкая тебя несет, вроде ты не из наших, да и не рыбак?

— Просто путешествую, вот хочу до канала доехать, на залив посмотреть.

— Каналов здесь полно, со всей округи воду собирают, а то затопило бы давно поля и лес. Я тут каждую тропинку, каждую канавку знаю, где какую траву собирать: вот валерьяну — ближе к поселку Красное, а тмин — тот у дамбы растет. Помню времена, когда все здесь работало, и симменсовские насосы еще пятьдесят лет после войны перекачивали воду из канальчиков в каналы и в конце концов в Куршский залив.

— А когда вы сюда приехали?

— Мальцом приехал из Мордовии. В последний день лета на следующий год, как война с германцем кончилась, наш эшелон пришел на станцию Тапиау, Гвардейск нынешний. Здесь всю жизнь и прожил, а что мне еще нужно. Люблю я воду. Родился на речке Мокше, с ранних лет рыбалил и здесь к месту пришелся.

— Отец, а что, в первые годы с вами тут и немцы жили, небось и не помните уже?

— Чего ж не помнить. Все помню: и русских, и немцев, как играли вместе и дрались.

И как увозили их на грузовиках, помню. После возле калитки в лопухах нашел два тюка с посудой, кто из них мне оставил, не знаю. Так всю жизнь с этой немецкой посуды и ели, ни разу не покупали.

— Правда, так голодали, что всех крыс поели?

— Голодно было, но крысами не спасешься. Хитрые они, бестии, чувствуют свою погибель и уходят подальше от крысоловов. Вот рыба, та другое дело, она здесь беззаботна и всегда под рукой. Она спасительница. Держи мешок, повесишь дома на крюк под потолок и ешь по рыбине хоть целый год, она только вкусней будет.

— Так кухня вся провоняет рыбой.

— Не бойсь, не провоняет кухня твоя. Рыбка-то моя высушена особым образом. И сохнет быстро, и хранится долго, и не пахнет почти. Секрет был у старых мокшан, дед мне еще в мальчишестве рассказывал о богине-матери Анге-патяй, да секрет тот и раскрыл. Дом ее небесный, скрытый за тучами, всегда полон семян растений, зародышей животных, душ неродившихся младенцев. Из своего дома богиня наша на Землю посылает Эряф-Жизнь, вместе с росой, дождем, молоком, снегом. Потому мордва и выжить может там, где другим не прожить. Из-за рыбы я в этом поселке и оказался. Сперва нас в другом месте поселили, в местечке Келладен. Немцы и русские жили здесь тогда по разным поселкам. В первый год немцев было раза в два больше. Мы приехали в осень, а ни огородов своих, ни животины на забой нет. Немецкие запасы по подвалам да полевым буртам подъели быстро. Осень кончалась, а голод только начинался. Лошадей стали есть, паслись здесь без присмотра по лугам табуны. Но за это сажали. А я лошадей и без того есть не мог, для меня это что друга схарчить. За рыбой я стал ходить на канал, но идти надо было далеко. Так я и перебрался сюда, поближе к рыбе. Здесь жили сплошь немцы. Но ничего, сначала грызлись, а потом сжились друг с другом. Подкармливал я их, да и научил кое-чему. Два года с залива и канала не вылезал.

— Зачем же, отец, ты взвалил на себя эти заботы? Любви-то между вами и немцами особой не водилось.

— Не знаю, как тебе и объяснить. Просто не могу, а мудрено не умею. Разные люди здесь спасались. Кто имел неукротимую волю к жизни, те и сами выживали, а вот кто терял ее — тем беда. Ведь голодала здесь еще и малышня. Воля к жизни у детей природная, а умения прокормиться нет. Им-то я и помогал. Голод и холод подавляют волю к жизни. А зачем мне это нужно было, я ни тогда не знал, ни сейчас не знаю. Тоже, видать, воля какая-то мною двигала. Не мог я смотреть, как они тощат с каждым днем, а потом угасают, как лучина.

— Как случилось, что ты остался здесь один?

— Так уехали все. И сыновья, и дочери, и невестки, и внуки — все разъехались, кто в соседний поселок Саранское, кто в городе живет. А меня забыли, никто не позвал с собой, вот так. Да я бы и не поехал. Ничего, я здесь посижу. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Но это ладно, вот старуха моя и соседи все перемерли, так это жаль.

— А мешки с рыбой зачем на подвесе под потолком держишь?

— Известное дело, те же крысы и мыши за месяц сгрызут всю рыбу. А ее сохранить надо для людей до самой весны. Почти семьдесят лет прошло, а я все еще продолжаю свое дело — заготавливаю рыбу впрок. Главным это стало для меня, а в чем смысл? Голода-то нынче нет. Но все равно ловлю рыбу, а потом раздаю, только теперь старикам, брошенные, они нынче беспомощней детей.

Он распрощался и направился в дом.

— Как звать-то тебя, отец? Может, через месяц заеду к тебе еще.

— Дедом Матвеем кличут, знаешь, что значит мое имя? Вижу, что не знаешь, «дар Божий» означает. А в чем дар тот — так и не знаю, не открыл в себе. Ну заез-

жай, встречу, коли жив буду. До заморозков ноябрьских собираюсь дожить. А там и помру, засну на морозе. Тихая смерть.

— Ты тут один, помрешь, тебя и похоронить некому, будешь вонять.

— Нет, паря, не буду. И здесь мне мой секрет поможет, высохну, как мумия. Жизнь моя здесь закончится так, как и начиналась. В холоде и голоде. Круг должен замкнуться. Вот никому не говорил, а тебе, незнакомцу, скажу: мне иногда кажется, что те, самые первые два голодных года на этой земле и есть самые главные в моей жизни.

Григорий достал прихваченную из машины поллитровку и с благодарностью отдал деду. Тот явно обрадовался:

— Придут морозы, буду ей согреваться, по семьдесят грамм утром и вечером, глядишь, недельку на ней протяну. Топить-то печку сил уже не будет. Вот через недельку вишни поспеют, радость у меня будет, три года как посадил их. Может, последняя радость. Варенье бы из вишни наварить в зиму с косточками, да уж не смогу.

Он повернулся, медленно зашел в дом, дверь закрывалась за ним сама, долго, с пронзительным скрипом, будто лесная птица кричала во весь голос свою прощальную песню. Григорий завел машину, дальше дорога была твердой, через несколько минут открылся вид на канал.

Про деда вспомнил Григорий только в следующем году, на майские праздники. После обеда отправился к нему в поселок. По знакомой дороге ехалось легко, и яму перед поселком объехать не забыл. На участке перед домом никого не было. Незапертая дверь болталась под напором ветра; на кухне, опершись спиной о стену, сидел дед. Одет он был так же, как в прошлую встречу, только на голову была глубоко, по самые брови, надвинута шапка. Лицо было спокойным, только цвет кожи коричневый, как у дехканина. Казалось, он спал. На столе стояла ребристая немецкая рюмка толстого синего стекла и та самая, дареная бутылка водки, пустая. Делать Григорий ничего не стал, в конце концов, он даже не Свидетель, только Зритель. И в полицию не сообщил, ничего не тронул, лишь слегка поправил шапку, пусть дед сидит в своем доме и встречает редких гостей. Прикрыл дверь, которая свою печальную песню на этот раз пропела коротко. В сарае все было по-прежнему, только с лесок сняли всю рыбу. На полу валялся тетрадный листок, сброшенный сквозняком с подоконника. На нем корявым почерком кто-то написал: «Дед Матвей, спасибо тебе за рыбу», — затем слово «рыбу» было зачеркнуто и выше размашисто написано «ЖИЗНЬ».

Григорий поднял листок, разглядел его, аккуратно насадил на гвоздь, торчащий из стены, так, чтобы каждому входящему слово «ЖИЗНЬ» бросалось в глаза.

В задумчивости вышел из сарая, плотно прикрыв за собою дверь.

Старый сад медлил с цветением. Немецкие яблони, не выходя из зимнего сна, засыхали. Но в углу сада, охваченные белым пламенем, трепетали молодые вишенки. Те самые костянки, которые так хотел попробовать дед прошлым летом. Случилось ли ему их поесть, или неугомонные скворцы раньше склевали первый урожай?

В тот же вечер в мюнхенском театре ровесник деда Матвея играл свою единственную роль. В конце пьесы, оставшись на сцене в одиночестве и пытаясь понять, отчего его герой, старик, брошенный всеми в притихшем доме посреди гибнущего вишневого сада, все еще жив, он лег на лавку и повторил в мертвой тишине зала слова деда Матвея:

— Mich haben sie vergessen. Tut nichts, ich bleib' hier sitzen<sup>2</sup>. Жизнь-то прошла, словно и не жил.

<sup>2</sup> Про меня забыли. Ничего, я тут посижу (нем.).

---

---

Юлия ПИКАЛОВА

### **ТРИДЦАТЬ ТРИ**

Тридцать дней без сна и еще три дня –  
Прежде, чем узнать, кто ты для меня.

Ты и цель, и путь,  
И воздух, и грудь,  
Ты и сон, и явь:  
Что любо – представь!

Времечко, успеи расстелить траву:  
Три да тридцать дней – как переживу?

Ты и перст, и крест,  
Колокол окрест,  
Капля и купель,  
Ласковое «Л»...

Тридцать дней и три – бдеть мне до зари:  
Взрыв! – мечтать навзрыд – и ответный взрыв!  
Вихрь – упругий, рви! – и ответный вихрь!  
И озноб во мне,  
И огонь во мне.

Ты  
Тропа и след,  
Тот, кого здесь нет,  
Русло и река,  
Музыка – и рука...

### **ПРОБУЖДЕНИЕ**

Лежу, не открывая глаз,  
И луч теплом ласкает веки.  
Я будто вижу сон о вас,  
О драгоценном человеке.

---

Юлия Геннадьевна Пикалова окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и программу «Мастер делового администрирования» Государственного университета Калифорнии. Живет в Москве.

О, этот любопытный луч!  
Он видел вас. Ему поручен  
Рассказ от ваших глаз — и ключ  
От ваших кромок и излучин.

Он видел вас. Его рассказ  
Был нежен. Нежен, но настойчив.  
Он говорил: иди сейчас,  
Уже довольно многоточий!

Он говорил: иди к нему,  
Уже довольно недомолвок! —  
И рассыпал в моем дому  
Блистанье крупного помола.

Он мне заглядывал в глаза,  
Он золотил мои ресницы  
И убеждал, что ждать — нельзя,  
Что дальше мне — воспламениться!

О, что за лучник в сердце мне  
Попал, все прежнее свергая?  
Я будто вижу сон во сне,  
И явь — во сне, и я — другая!

Всхожу по тонкому лучу,  
И повторяю ваше имя,  
И больше истины хочу  
Коснуться ваших губ своими...

### **ВОЗГОНКА**

Крученье (сердца извлечение),  
Крученье (жилы, кости — в жгут!),  
Крученье: пряное перченье,  
И под котлом поленья жгут.

Начнут крутое кипяченье  
(Мельканье пальцев — плеч — ключиц),  
И будет — чувств разоблаченье,  
И с пышным паром — излученье,  
И облученье, обреченье:  
О страх сердечный — отключись!

А пар пусть совлечется в тучи  
И мир напоит допьяна.  
Кручина, горной кручи круче,  
Ты *будешь* преодолена!

Кручина, что крушины горше,  
Тебя возгонят на верхи:  
Из соли слез, из жил и кожи  
Выходят лучшие стихи!

## У ЧЕРТЫ

...Но мы с ним такое заслужим,  
Что смутится Двадцатый Век.  
*А. Ахматова*

На краю. На грани. На кромке.  
(Бьется голос в гортани ломкий.)  
Руки вытянув в темноте,  
двое — мы — чем только влекомы? —  
безошибочно незнакомы,  
с двух сторон подошли к черте.

Так бывало в мире и прежде.  
Век Двадцатый, сто лет надежды  
и крушений надежд в пыли  
лишь утроили жизни жажду:  
недошедшие, видно, страдают,  
чтоб потомки за них дошли.

Будет каждому да по вере.  
Не доехали двое в Веймар:  
не хватило веры — кому?  
Нам — достанет веры и нерва.  
Так давай смутим Двадцать первый,  
чтобы жарко стало ему!

## ТВОРЦАМ-ПЕРВОПРОХОДЦАМ

Заметались метафоры, взгромоздились гиперболы.  
Никому не потрафили начинавшие первыми.  
Как гранатами —  
перлами забросали империю:  
Всеми горлами —  
жерлами —  
заостренными перьями —  
Прямо в лица степенные!  
Прокричав эпитафию,  
Только тонкое вспенили.  
Строй разбит.  
Не потрафили.



Строй – разбит?  
Строки стройные – и неважно, что рваные –  
Ворвались, бесконвойные, в поколенья диванные,  
И на выход – за шиворот!  
И – на воздух искрящийся!  
Хватит неудержимую жизнь засовывать в ящики!  
Тихо время скользило бы... объяснялось бы знаками...  
Хватит душ прорезиненных!  
Хватит лиц одинаковых!  
Чтобы зори свирелями переполнить успели мы,  
Все горе- и горели вы, начинавшие первыми.

### ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ЖАНР

П о л о н и й. Что вы читаете, мой принц?  
Г а м л е т. Слова, слова, слова.

Письма в письмах, роман в романе, утка в зайце, игла в яйце.  
Кончик жизни чужой поманит, чертовщинкой мелькнуч в лице.  
(Маска в маске – какие лица? Имя в имени, кот в мешке...)  
Быль сливается с небылицей,  
и дрожит в небесах синица,  
и доверчив журавль в руке.

Расслоение ли сетчатки или мира слои, слои?  
Где же львы (орлы, куропатки)? Где же вы (чужие, свои)?  
Различая, разоблачая, не лишиться бы волшебства!

Совпадения все случайны. Не случайны слова, слова.

---

---

Сергей КИРИЛЛОВ

## РАССКАЗЫ

В северной деревне моего детства охотнику, бросившему подранка на произвол судьбы, мужики не подали бы руки!..

*Автор*

### **ПОГОНЯ. Из сборника рассказов «Бимка»**

Короток декабрьский день. Не успеет зябкое солнце подняться над макушками деревьев, а тетерева взлететь на березы, чтобы подкрепиться мерзлыми почками, как вновь норовит оно зацепиться за еловые верхушки, а пальники камушками нырнуть в спасительную снежную перину. Всё в спячке, все в ожидании тепла, и только человеческие дела никто не отменяет.

В такой вот куцый морозный денек срядился лесник Никиша в обход своих обширных владений. Делянки проверить — как там заготовка идет — капканы посмотреть на куничку — а вдруг... да и зайчишка какой, может, где попался в ловушку. Ружье за плечами, краюха хлеба за пазухой, чтоб не замерзла, топор за поясом, на лыжи — и вперед.

Снежно в тот год было; зима еще только началась, а в лесу уж по колено. Без лыж и вовсе не пройдешь. Выбрался не рано — хозяйство задержало — и для скорости решил по торной дороге крюка дать. Пусть подальше, зато полегче. Километра три только и прошел, как вдруг прямо посреди дороги, в ложбинке — лось. Выкатился Никиша из-за поворота, а он там и стоит. Да не лось, а лосище! Ноги будто ходули — длиннющие, а голова как у слона! Да и мяса видно, что поднаел — будь здоров! Стоит и от неожиданности словно окаменел. И Никиша окаменел. Лыжи остановились, до сохатого метров сорок, а не знает — что делать. Зверь стоит, и человек стоит. А за плечами ружье... а дома, в коробочке с документами, лицензия на двух лосей... Опомнился человек, опередил лося — выпалил. Да впопыхах — боялся, что тот уйдет, — неудачно. Сохатый вздыбился во весь свой многоаршинный рост и огромным прыжком в чашу. Отлегло у Никиши: думал — смерть свою увидел. Этакому великану ничего не стоило человека копытами забить. Одного удара хватило бы!

«Неужели не попал?» — мелькнуло в голове.

Подкатился к тому месту, где лось стоял: крови нет. Только лунки от «ходуль» в накатанном снегу.

«Не мог я промахнуться, — подумал Никиша. — Слишком близко. Надо идти».

И — по лосиным следам... Только через час преследования заметил капельки крови.

«Ранен, — снова мелькнуло в голове. — В мякоть, видать, попало».

---

Сергей Яковлевич Кириллов родился в 1949 году в деревне Филипповская Архангельской области. Публиковался в региональной периодике, в журнале «Двина», в многочисленных сборниках. Дипломант фестивалей «За далью даль», «Славянская лира», «Русский Гофман». Живет в городе Советске Калининградской области.

И дальше — опять по следам.

Остаток дня так и прошел: зверя не видать, но крови все больше и больше.

«Пропадет, бедняга, — решил охотник. — Нельзя бросать».

И опять вперед. По следу. Сколько мог — шел, а лося так и не увидел.

Совсем стемнело в лесу, мороз закрепчал.

«Заляжет, — понял Никиша, заметив, что следы повернули в ельник. — Да и выбора у него нет, если ранен. Надо ночевать».

Выбрал елку поразлапистой, нарубил смолья для костра, лапника, чтобы укрыться, краюху пожевал — и уснул.

Наутро, с рассветом, сразу по следу. Лежку обнаружил скоро, но зверя там уже не было. Видать, зачуял человека и ушел.

И снова весь день в погоне. Раза два замечал сохатого впереди, но далеко, да и за деревьями, — какая тут стрельба.

«Идти надо, — решил окончательно. — Слабеет, бедолага, уж не то, что вчера».

Только на сутемёнках увидел Никиша лося в третий раз. Крался, как мог, но ближе же семидесяти метров подойти не рискнул — почует. И снова выпалил — и снова неудачно. Зверь опять прыжка дал и опять в чашу.

Вторую ночь провел Никиша под елкой, краюху доел.

«Надо добывать провиант, — решил. — Иначе можно и ноги протянуть, как тот лось».

Наутро сбил полусонного тетерева, зажарил на костре, наелся, зато лося ни разу не видел. Только следы, хоть и частые. Понял, видать, зверь, что не отступится человек от него, и не подпускал к себе.

И на следующий день Никиша свою добычу не догнал, и на пятый день тоже. Только следы и местами кровь на снегу. Задела, видать, одна из пуль не только мякоть, и при движении рана (или раны) кровоточила. Так — в погоне — прошла неделя.

...А дома в это время воем выла жена. Бывало, что мужик в лесу ночевал — лесник все же — но чтобы зимой? Чтобы целую неделю?.. Ясное дело, что беда какая-то приключилась. А куда бежать? Где искать? Хоть и видно в лесу зимой на снегу все, да кабы знать, какой дорогой пошел.

Но мужики по делянкам пошли к лесорубам с расспросами, и пацанва по заячьим тропам, какие знала, — все без толку. А уж как неделя-то минула, все поняли: нет Никиши. И не будет никогда больше. Зверь ли какой загубил, сам ли обшастился где неаккуратно — на дворе-то декабрь. И хоть морозы за двадцать градусов еще не переваливали, однако все равно не жарко. Успокаивали вдову, как могли, ребятишек по головкам гладили, чтоб те ревели меньше, а много ли в том проку? Едоков в доме пятеро, да и хозяйство опять же. А что за дом без хозяина?

Совсем опухла от слез Лидия. Уж и голосу не стало — одни хрипы, а жить-то надо. Кто корову подоит? Кто ребятишек накормит да успокоит? А печь топить? А сено? Кабы не заботы повседневные, рехнулась бы баба, того и гляди. Заботами-то и держалась.

...На девятый день, с самого утра, зачистили в дом соседи. Вроде как невзначай приходили, вроде как утешить да разговорить, а в голове-то каждый думку держал. Девятый день ведь... И хоть не было похорон и покойника никто не видел, а все одно: все понимали, ЧТО случилось. А Лидия уж и не плакала. Головой только послушно кивала вслед утешениям да за поддержку благодарила. А как совсем стемнелось, выбежала за околицу, поворотилась к лесу лицом да во всю голову и заголосила:

«Господи ты Боже мой, Никишенька ты мой горемычный! Где ж ты головушку-то свою сложил? Где мне могилку твою искать, чтоб помянуть хоть можно было? Растащат ведь по лесу твои косточки звери лютые, и поклониться будет нечему».

Но молчал лес — бескрайняя могила мужняя, никакого звука из него не доносилось. Подол только кто-то потянул. Глянула — сынишка. Маленький еще — во второй только пошел — но остальные-то девки. Кто младше, кто старше, а мужичок-то теперь в доме — он один.

«Пойдем, мамка, домой, — по-взрослому попросил мальчик. — Там корова шибко рычит, да и Лизка разбудилась».

А Лизке — сестричке — всего-то три неполных. Опомнилась Лидия, мальчишку на руки подхватила да так с ношей драгоценной и пошла назад.

А дома опять те же заботы. Туда-сюда, туда-сюда — забылась баба в суете-то. Вдруг схлопало что-то в саднике. Прислушалась — вроде как идет кто-то. Подумать еще успела: «Кто бы это? Ведь все уж за день побывали...» — а дверь и открывается.

Без стука!!!

Глянула — господи Боже: ободранный кто-то, обросший, как леший, и в куржаке весь.

«Кто ты? — крикнуть хотелось. — Человек или нечистая сила какая?» — а вошедший уж на середь избы выходит. Да на свет... Глянула получше-то — и на пол в ноги:

«Никишенька!!!»

Да, как припадочная-то, в рыданиях затряслась! Аж головой об пол! А Никиша наклонился к ней, за плечи поднял да к фуфайке своей разодранной и прижал:

«Живой я... не реви! Все хорошо, ись только шибко хочу!»

Охнула Лидия и кошкой радостной к шестку метнулась. Плача и причитая, выхватила чугунок из печи и трясушимися руками весь целиком и опрокинула в большое блюдо. К суднице прижалась, — наглядеться не может, как мужик щи захлеб уплетает. Куксится, всхлипывает, поверить боится, что это ее мужик, родной. И живой!..

«К Чепцу сходи, — заканчивая еду, проговорил Никиша. — Пусть на послезавтрие двух лошадей часам к семи утра приготовит».

«Сейчас, Никишенька, сейчас, — опять встрепенулась Лидия. — Обряжусь только маленько и сбегая. Тебе-то чего еще?»

«Спать хочу!» — только и проговорил муж, залезая на полати.

...Через день, рано утром, возле дома Никиши пофыркивали двое лошадей, запряженных в сани, а лесник Чепцов, по прозвищу Чепец, нетерпеливо ерзал на лавке в доме Никиши, ожидая, когда хозяин будет готов к разговору. Еще в тот вечер, когда взволнованная Лидия прибежала к нему с необычной просьбой, он сначала обрадовался вместе с ней счастливому возвращению Никиши, а потом озадаченно наморщил лоб.

«На послезавтрие, говоришь? — переспросил он Лидию. — А ты ничего не перепутала? Может, на завтрие?»

«Ой, да ничего я не знаю, Миколушка! — сокрушенно ответила Лидия. — Вся-то я растерялась, как его увидела. С того света ведь, посчитай, вернулся! Но только вроде как не на завтрие просил лошадей-то...»

Никто из них и не предполагал в тот момент, что Никиша проспит не только всю ночь, но и весь следующий день, почти не поднимаясь! И еще одну ночь!.. И вот теперь Чепец от нетерпения даже раньше срока лошадей подогнал.

«Что случилось-то, Платоныч?» — наконец задал он вертевший на языке вопрос, видя, что хозяин почти готов к выезду.

Никиша был в годах, и напарник по возрасту годился ему в сыновья. Вдобавок положение необычное, так что обращение по отчеству, редко практикуемое среди них в обиходе, прозвучало вполне уместно.

«Лося я завалил, — ответил Никиша, — километров двадцать отсюда будет».

«Дак а две-то лошади зачем? — поинтересовался Чепец. — И на одной бы вывезли».

«Далёко! — возразил хозяин. — Дороги туда нету, да и бродно в лесу. Уходим лошадь, если на одной, да и сами уходимся. Хоть бы на двоих-то выехать засветло».

Он помолчал немного, застегивая ремень на штанах, и продолжил:

«Сохач, Микола, попался — я эких ишо не бивал за всю свою жизнь! Доберемся — дак сам увидишь».

Дорогу пробивали медленно; где по мелколесью с топором, где по просекам попутным. Только к полудню добрались до места. Освежеванная туша зверя была надежно укрыта от непрошенных гостей, и потребовалось немало усилий, чтобы добыть ее из-под завала.

Обратный путь одолели быстрее, но хватило работы и лошадям, и людям. Вернулись уставшие, намерзшие — и сразу в баню. И вот там-то, после первого полка, когда распаренные тела блаженно расслабились в предбаннике, поведал Никиша молодому напарнику конец своей многодневной погони.

...После недельной гонки за зверем по зимнему лесу мысли охотника съежились до предела. Собственно, и мыслей-то уже никаких не было; их просто выдавила из сознания с каждым днем накапливающаяся усталость. В голове оставалось только одно: лося надо догнать. Он ранен, он мучается еще сильнее — и от голода, и от холода, и от страха. Нельзя его такого бросать, не по-человечески это. И Никиша упорно шел по следу. День за днем, день за днем... Иногда он видел впереди себя зверя, но так далеко, что о выстреле не могло быть и речи.

И вот настал девятый день погони. Подкрепившись кое-как вчерашним пальником, Никиша, уже скорее по инерции, чем с какой-то целью, брел по лесу. Морочило. Все в природе говорило о приближении снегопада, а это отнимало последнюю надежду.

«Повалит ночью снег, заметет следы — вся погоня впустую, — невесело размышлял охотник. — Да и патроны на исходе. А без них провианту не добудешь».

Ельник постепенно светлел, несмотря на серое утро, — впереди явно намечалась вырубка. Охотник низко нагнулся, подлезая под последнюю перед делянкой елку, выпрямился — и остолбенел. Прямо перед ним, не далее чем в тридцати шагах, замер лось. Он стоял на вырубке, повернувшись к человеку низко опущенной головой, и не делал никаких попыток убежать. Широко расставленные передние ноги его мелко-мелко дрожали, и весь вид выражал полное безразличие к происходящему.

«И вот ты представляешь, Микола, — тяжело перебирая слова, рассказывал Никиша, — глянул я на него и вдруг глаза его увидел. Вот как твои сейчас. И такая в них тоска смертная застыла, что лучше всяких слов он глазами этими мне свои думки рассказал!»

«Как это?» - перебил Чепец.

«Да вот так! — горестно выдохнул рассказчик. — Прочитал я в них, Микола, как будто в книге, одну-единственную просьбу. И не просьбу даже, а пожалуй, мольбу: убей ты меня, человек! Убей, Христа ради, поскорей и не мучай больше, да и сам не мучайся. Нету больше мочи моей боль эту терпеть, пришел, видать, мой час!»

Утих Никиша при этих словах, и Микола замер, боясь пошевелиться. Распаренные тела дымились на холоде, становилось зябко.

«И что дальше?» — не выдержал молчания Чепец.

«А что дальше, — эхом отозвался Никиша, — убил я его. Руки задрожали, как за ружье взялся, а он — ни с места! Только голову ниже опустил. Ноги у меня, не знаю отчего, подкосились, оторопь взяла — не дай Бог, думаю, опять промахнусь! Гляжу — березка впереди меня маленькая, росошкой. Шагов десять до нее всего-то, дак, веришь-нет, я к березке этой пошел, чтобы ружье в росошку положить для упора! И покуда я до нее, Микола, шел, он все так и стоял, не шевелясь. Только глаза еще

тоскливее сделались... Уж и не помню, как я до той березки дошел, как ружье в ро-сошку приладил, помню только, что прицел взял точно в грудь».

Никиша снова замолчал и низко наклонил голову к коленям. Совсем заглодало в предбаннике, конец рассказа был близок, и Чепец опять подтолкнул:

«Дальше-то что, Платоныч?»

«А дальше я попал, Микола... — медленной расстановкой проговорил Никиша. — Вот куда задумал — туда и попал последней пулей. Сохач даже не трепыхнулся. Только ноги у него разъехались передние, и он упал. Прямо в сердце пуля прошла...»

Гнетущая зябкая тишина загустела в предбаннике. Слов не было у рассказчика, вопросов у слушателя. История невероятной погони пересекла последнюю черту. Оставалось только осмыслить и осознать услышанное.

Напарники залезли на жаркий полоч и с удовольствием доверили свои тела расслабляющему пару каменки. Домывались недолго — усталость давала о себе знать. Одевались молча — каждый думал о своем. И уж за столом, после выпитой стопочки, Никиша, будто и не прерывая свой рассказ, закончил:

«Я потом еще с полчаса возле него сидел. Опомниться никак не мог — так мне его взгляд в душу запал».

Он наколол на вилку маленький белый кругляшок груздя и медленно, словно нехотя, зажевал.

«После уж спохватился — свежевать же надо. Да и идти далёко, — продолжил, помедлив. — Пока со всем обрядился да дошел — вот и отёмнал. А дальше уж ты знаешь».

Никиша потянулся за бутылкой, пододвинул стаканчики:

«Ну, давай еще по одной да спать».

Он медленно наполнил стопочки, тяжело, будто каменную плиту, поднял свою и, протяжно вздохнув, добавил:

«Устал я смертно, Микола!.. Вот как за целую жизнь, устал от этой погони. И состарился, как за всю жизнь...»

...Через три дня, закончив все дела с оформлением добытого лося, в районное общество охотников пришел лесник Никиша и положил на стол председателя нереализованную лицензию:

«Больше я в своей жизни не стреляю!»

## ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

Женщину, о которой речь ниже, я знаю давно. Еще с начала шестидесятых, когда впервые познакомился с ее сыном Вовкой. Был он младше меня года на три, не в меру заносчив и задирист, несмотря на свои неполные десять лет, но как партнер для мальчишеских игр все же годился. И я стал бывать у него дома, благо дома наши разделял всего километр.

Мать его, бойкая, голосистая, невысокая бабенка, казалось, никогда не закрывала рот и не сидела на месте. (Не подумайте только, что слово «бабенка» несет негативный смысл. Наоборот, оно служило уважительным и ласкательным в той среде, где прошло мое детство и где слово «женщина» в обиходе не употреблялось вообще.) Было у нее в то время трое детей: две старших дочери и младший, Вовка. Был, как у всех, свой дом, а в доме муж, что было далеко не у всех: война мужиков выкосила. Но этой женщине повезло: мало того, что мужик в доме, так еще какой мужик! Пусть не богатырь, не здоровяк, зато улыбчивый и, как у нас говорили, башковитый. Ничего из его рук не валилось, со всем умел управляться и всякой вещи, даже

отслужившей, находил применение в хозяйстве. Даже из старой мыльницы однажды фонарик сделал! Да какой! С угора на угор брал, как прожектором! А это добрые двести пятьдесят метров по прямой. Все дивились такому чуду.

Жена его звезд, как говорится, с неба не хватала, но и из общей обоймы не выпадала. Что дома по хозяйству, что на колхозной работе последней никогда не была. Хоть и маленькая, но зато бойкая, шустрая, и все в ее руках кипело. Будь то грабли на сенокосе, серп в поле или сковорода у печи. И никому никогда в голову не приходило ее как-то выделять-величать. Она была одна из многих — такими были в нашей деревне все. Все всё делали дружно и споро. Никогда не приходило мне в голову, что у каждой из тех женщин, что с песнями ехали на колхозной машине на сенокос или плясали в обед под гармонь прямо на покосе, есть какая-то своя судьба, своя, особая доля, — настолько все они в общем деле казались одинаковыми. Видно, запирали от чужого глаза сокровенное, выстраданное и пережитое, о котором знали, может, и не только они, да только никому никогда не выказывали на людях.

Не унижай себя. Стыдися торговать  
И гневом, и тоской послушной.  
И гной своих душевных ран  
надменно выставлять  
На диво черни простодушной!

Уверен: никогда ни одна из них не читала этих лермонтовских строк, но неписанный моральный закон, столь ясно выраженный поэтом, соблюдали они неукоснительно. Потому чужаку, попавшему в нашу деревню на покос или на «общину» (так называлась уха из выловленной сообща в лесной речке рыбы), могло показаться: вот она — цветущая советская деревня, где решены все проблемы, где все счастливы и сыты, веселы и довольны жизнью. И невдомек ему, чужаку, было, что эти неунывающие русские бабы получают порой зарплату меньше рубля в день. Что шифоньер их фанерный — если он вообще есть — хранит одно, в лучшем случае два платья «на выход», а остальное — помазейные (повседневные) латаные-перелатаные рубахи. Что от темна до темна — а зимой и затемно — правят они ежедневно крестьянские заботы круглый год, без выходных и отпусков (какие отпуска от земли?!) и лишь в редкие церковные праздники, да еще на выбора (так и говорили — выборá, а не выборы) или чьи-то именины позволяют себе разрядку. А уж когда вовсе душа не терпит, когда обеденный перерыв собирает вместе у общего очага, то прямо на покосе могут лихо отплясывать под незатейливые трели гармониста.

Так было. Все было именно так в моей большой северной деревне, и так было прожито очень много лет.

А потом деревня умерла... Мучительной и долгой смертью, первые признаки которой — все увеличивающийся отъезд молодежи — проявились в году этак в 63—64-м, потом усилились к концу шестидесятых, а когда в 70-м поголовно запила вся молодежь, до шестнадцати лет и старше, деревни просто не стало. Старики ушли на вечный покой, а молодых стала интересоваться только водка. Рухнули все моральные законы и правила, которые стояли на пути к заветной бутылке. И все...

Очень скоро от деревни остались только пустые избы. Многие уехали, и я в их числе, и уже более тридцати лет лишь навещаю в родные места, всякий раз испытывая щемящую боль от гнетущей тишины, запустения, безлюдья и уныния, которые навечно, кажется, поселились там, где когда-то кипела жизнь, было шесть (!) колхозов, свой маслозавод и почти две тысячи колхозников! Теперь нет даже ворон... А о колхозниках — тех самых боевых деревенских бабах — вспоминаешь, лишь посещая деревенское кладбище.

В очередной приезд я снова встретил эту женщину. Она сильно изменилась: заметно постарела, стала совсем маленькой, и я чуть было не прошел мимо, не узнав ее. Но что-то знакомое мелькнуло то ли в походке, то ли в движениях рук, и я остановился — она тоже; мы взгляделись друг в друга, разговорились — и я услышал удивительный и неожиданный рассказ.

Начала она его не сразу; разговор касался сначала других тем, но как-то нечаянно налетел вдруг, как на подводный камень, на эту, всегда запретную, тему — и пожилая женщина не выдержала. Видимо, силы на исходе восьмого десятка были уже не те, чтоб все в себе прятать.

...Это было осенью 1941 года. Седьмого ноября, день в день, их — молодых, семнадцати-восемнадцатилетних девушек — собрали у сельсовета и погнали (она так и сказала — «погнали!») на ближайшую железнодорожную станцию Котлас, за сто километров. Было холодно, но об этом никто не спрашивал, и никто ничего не говорил. В Котласе всех посадили в товарные вагоны и повезли до Вологды. А оттуда в Грязовец. Там, в девяти километрах от Вологодского райцентра, они приступили к оборонным работам. Двадцать четыре тысячи неокрепших девчонок согнали туда, некоторым и семнадцати не исполнилось. А отрыть им предстояло линию обороны по всем инженерным правилам.

Стужа стояла лютая — всем известно, сколь сурова была зима 41—42-го — морозы доходили до пятидесяти градусов, и лом не брал мерзлую землю. Приходилось по крошке, чуть не голыми руками отковыривать окаменевший грунт, чтобы потом взять его лопатой. А надо было и траншеи, и окопы, и ходы сообщения, и блиндажи, и все-все остальное отрыть, без всяких скидок. До жилья далеко; бывало, сил не оставалось, чтоб добраться, — так в окопах и ночевали. Триста граммов хлеба в день — вот и вся еда за всю зиму, вплоть до весны. Только один раз где-то пала лошадь, и давали конину, но досталось не всем, и женщине, о которой речь, не досталось тоже. В тот же день ее подруга, которая безуспешно отстояла в очереди за кониной, услышала от каких-то чужих разъяренных мужиков, что те хотят совершить нападение на дом хозяйки, где подруги ночевали, и украсть у нее овечку. А у хозяйки самой двое детей, с третьим на сносях, муж, конечно, на фронте... Так и не спали всю ночь женщины. Впрочем, какие женщины, в семнадцать-то лет? Девчушки, хоть и много лиха хватившие.

Так всю зиму — с ломом и лопатой, в окопах.

«Мне и сейчас не надо объяснять, что такое „полный профиль“, или „тройной накат“. Все это я сама кому хочешь растолкую и сделаю даже теперь без всяких чертежей!» — продолжала рассказчица.

Такое вот инженерное военное образование жизнь дала за четыре военных месяца.

«А с мужиками теми мы потом даже сдружились. Они такие же несчастные, как и мы, оказались. Сами потом сожалели, что такое пакостное дело замыслили. Нам после помогали, чем могли, ну и мы тоже старались на добро добром. Но чтобы до каких-то шашней, — нет; до этого ни дело, ни разговоры не доходили. Так, по-человечески, от чистой души помогали».

Работу закончили только в марте, когда стало ясно, что она никому не нужна: немцев-то от Москвы отогнали.

«И тогда нас опять в Котлас повезли. И опять в товарных вагонах. А мороз-то!!! А вагоны не обогревались... Сколько нас погинуло по дороге от мороза — не сосчитать! Да и не считал никто: вывалят на остановках тех, которые мерзлы, будто чурки какие али бревна, — да и дальше. Довезли до Котласа, кто остался, выпихнули, муки дали ишо сколько-то на дорогу — и иди куда хочешь! И опять сто километров до дому. И мороз опять, а ночевать не пускают. Боятся; у всех дети малые



в избах, а мы грязные да завшивели! Ведь за все время ни разу в бане не мылись! Думали — уж и дома не бывать, да вот с Кланей (подругой) как-то дошли. И теперь я еще живу; восьмой десяток уж, а все живу. И все помню...» — завершила она свой каменно-тяжелый рассказ, во время которого по щекам ее непрерывно катились беззвучные слезы.

И чуть ли не более самого рассказа потрясли меня именно эти слезы, которые струились и струились из ее печальных глаз и которые она, видимо, от усталости за пережитое почти не вытирала. Столько лет копились в душе, как подземное озеро, и вот...

«Живы-то остались, — добавила она, помедлив, — да месяцы-то те потом все равно сказались. Кланя к сорока годам совсем без зубов осталась. И теперь все скывается... Мама моя умерла сразу, как мы вернулись, отец на фронте погиб, а нас пятеро осталось. Младший братик с сорокового года, старшая — я. Так вот и прожили свою жизнь».

И все. Никаких расшифровок. Словно и без того понятно — КАК именно прожили. Смекай, дескать, коли голову на плечах носишь.

И подумалось мне, потрясенному рассказом этой очень много пережившей женщины: да как же мы, нынешние, о таких, как она, ничего не говорим?! Более того — не знаем!!! Ведь и я бы не знал, не случись эта неожиданная встреча и этот разговор. И десятки, сотни других, таких же, как я, не знают. Живут рядом — и не знают! Всё герои да герои на слуху. Те, которые были на фронте. На передовой. Потому что там стреляли, там убивали, там люди тяжело терпели и мучились. А вдали от фронта как будто ели досыта (триста-то граммов хлеба в день!), как будто не мучились от лютой стужи, не умирали, наконец! Какая все-таки несправедливость — об одних все, а о других ничего! Одним льготы и пенсии, а другим болезни, преждевременная старость и смерть. И хоть одна русская баба принародно заявила об этом?! Нет!!! Ни одна! Несла молча свой тяжкий крест и стыдилась о своей горькой доле скулить. Все несли — и все стыдились. Может, оттого и вынесли, что стыдились? Может, в том и была их невидимая сила? Конечно, Победу ковали те, кто держал в руках оружие, и об этом надо помнить всегда. Но нельзя забывать и о тех, кто победу приближал. Кто своим тяжким трудом в тылу обеспечивал и поддерживал фронт. Это как две стороны одной медали — одна без другой не существует. А мы как-то всё об одной да об одной... Как будто другой и нет.

А теперь я хочу, чтоб хоть одно имя прозвучало. Рассказчицей была простая деревенская женщина — Валентина Ташлыкова из деревни Едома (официальное название Фомино) Черевковского (до 1959 года, позднее Красноборского) района Архангельской области, которую уже в наши дни горькая судьба вынудила оставить семейное гнездовище в умершей деревне и перебраться доживать свой век в Черевково. Я даже отчества ее точно назвать не могу — не принято было в деревне величать. А ее подруга Кланя, Кириллова Клавдия Васильевна, ушедшая из жизни еще в 1970 году, когда ей было только сорок пять лет, — это... моя родная мать! И за всю свою сознательную жизнь, сколько себя помню, я никогда не слышал от нее рассказа о страшных месяцах зимы 1941—1942 годов. Только раз или два на моей памяти с губ мамы срывалось тяжело-горькое восклицание: «Ох, а на оборонных-то...» И она замолкала, не продолжая, словно устыдившись своей слабости. Да только никто не обращал внимания на невзначай оброненное восклицание, и никто ни о чем не спрашивал. И я в том числе. Лишь теперь, прожив больше, чем прожила моя мать, я совершенно случайно узнал, как была написана одна из самых тяжелых ее жизненных страниц. И что скрывается за горьким вздохом «А на оборонных-то...».

Карен СТЕПАНЯН

## ФРАГМЕНТЫ ИЗ ДНЕВНИКА (2016)

**От автора.** Публикация фрагментов моего «Дневника» в майском номере «Невы» вызвала заинтересованные отклики читателей, и редакция любезно предоставила мне возможность опубликовать еще некоторую часть. Все, что необходимо было пояснить по поводу этого «Дневника», сказано в преамбуле к майской публикации. Здесь повторю только, что записываю не события личной жизни, а отклики на происходящее в стране и в мире (порой напрямую с происходящим и не связанные). Ну и, конечно, Достоевский не может не напоминать о себе, к какой бы сфере нашей сегодняшней жизни ни обратиться.

Провалы спецслужб в работе по предотвращению терактов на Западе: этого взяли было, но потом отпустили, за тем слежку вели, но прекратили, не провели тотальную проверку всех эмигрантских кварталов. Показать расистами им страшнее (конец индивидуальной карьеры), чем обречь на гибель и увечья сотни людей.

Хорошая фраза из рекламы даже «M&M's», Желтый говорит Красному: «Смотри, мы в списке гостей!» А тот отвечает: «Желтый, это меню». Относится ко многим политическим событиям в наше время. Особенно к нашим бывшим друзьям и союзникам, перешедшим в другой лагерь.

Дагестанскому спортсмену, ударившему ногой статую Будды в храме в Элисте, грозит три года тюрьмы. Если бы сделал то же в православном храме (ударил икону, например), сочли бы как протест против «официальной Церкви» и организовали бы в Интернете голосование в защиту.

Отзывы либеральной критики того времени на «Братьев Карамазовых» (его учение «несовместимо с умственными привычками интеллектуального меньшинства» и т. п.). Страшно подумать, что сделали бы с Достоевским эти критики в наше время.

---

Карен Ашотович Степанян родился в 1952 году. Доктор филологических наук, вице-президент Российского общества Достоевского, главный редактор альманаха «Достоевский и мировая культура», заведомо критики журнала «Знамя», старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, член Союза писателей Москвы. Автор монографий «Достоевский и язычество (какие пророчества Достоевского мы не услышали и почему?)» (1992), «„Узнать и сказать“: „реализм в высшем смысле“ как творческий метод Ф. М. Достоевского» (2005), «Явление и диалог в романах Ф. М. Достоевского» (2009), «Достоевский и Сервантес: диалог в большом времени» (2013), «Путеводитель по роману Ф. М. Достоевского „Преступление и наказание“» (2014), а также более 150 статей по проблемам русской классики, отечественной и зарубежной литературы. Живет в Москве.

В канонических Евангелиях почти ничего нет о детстве и молодости Христа. Почему? Богородица и братья Его не сочли необходимым рассказывать (ср. многочисленные рассказы Франциска Ассизского и его учеников об откровениях и беседах с Богом).

Иногда вдруг наткнешься у наших авторов XIX века на написанное как будто сегодня: «Может быть, сама Европа перерабатается, встанет, возьмет одр свой и пойдет по своей святой земле, под которой лежат столько мучеников и на которую пало столько поту и столько крови» (Герцен, «Полярная звезда» на 1857 г., с. 302; цит. по ПСС Достоевского в 30 т., т. 15, с. 550).

«Наука должна быть выше политики» (из выступления на научной конференции). Да как же сейчас что-то может быть выше политики? Когда политика определяет личную судьбу каждого? Скажите что-то про «выше политики» родным тех, кого сжигали в Одессе, искалеченным людям в Донбассе, жителям Арцаха, сербам, потерявшим свою страну и свои дома сирийцам. Попробуйте убедить их своими речами. Да и сами скоро убедитесь, может ли сегодня что-то быть выше политики.

Из диалога: — Европейцы более веселые, чем мы. — Да, они менее драматичны. Они были драматичны, когда верили в Бога. Тогда и трагедии, и драмы писали. А теперь они не верят в Бога (им разрешили? великий инквизитор? — К. С.), они и перестали быть драматичны.

Страшно, когда Бог смотрит мимо тебя (когда тебе так кажется).

Если нынешняя «антидопинговая» история не закончится, соревнования спортсменов заменятся соревнованиями пробирок с мочой.

Обвинения России в варварстве. Обвинять Россию в варварстве может только тот, кто сам находится на такой степени одичания, что даже не понимает, о чем идет речь.

Рамбла в Гранаде. На этой площади проводились аутодафе. А теперь здесь рестораны.

«Аврора» возвращается в Неву на свое место. Через год исполнится 100 лет. Возможно ли повторение? Теоретически можно было бы себе представить такое, если бы иррациональная, порой просто животная ненависть Запада, выразившаяся в нынешней травле нас (не у всех, конечно, эта ненависть, не у всех, но те, кто относится к России по-другому, боятся заявить свою позицию — из боязни потерять работу, оказаться объектом тотального осуждения, оттого в нашу поддержку высказываются там в основном пенсионеры и изредка радиослушатели, называющие себя лишь по имени), — так вот, если бы эта ненависть не канализировала, не уводила бы здесь неизбежно накапливающиеся в людях злость и раздражение от экономических проблем в патриотическое, а не социально-протестное русло (у большинства; есть, конечно, здесь и те, кто с удовольствием откликается на настойчивые призывы Запада демонизировать Россию и Путина).

Многочисленные нынешние статьи о наших потерях в Великой Отечественной войне. Война — это прежде всего кровь, убийство, «огромные людские жертвоприношения», утверждают их авторы. Так мог бы сказать инопланетянин, буде оказался он здесь в годы Второй мировой, или антрополог, наблюдающий за враждой двух обезьяньих стад. Разве убийство было главным для защитников Брестской крепости, Дома Павлова, да всех? «Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец...» — вот что было главным. Это была борьба Добра и Зла, и ее выиграло Добро благодаря главным образом силе духа русских людей. Страшно подумать, что было бы, победи Германия. Полмира было бы Германией, остальное — концлагерем. Уж немцы ниоткуда бы не ушли и завоевания не отдали, как мы в 1991 году. Больше половины нынешних ненавистников России просто никогда не родились бы на свет. «Немцы тоже не хотели воевать». Если не хотели, что же сжигали в сараях стариков, женщин, детей? Санитарные поезда расстреливали? Сжигали в газовых печах миллионы людей? «Это делали эсэсовцы, фашисты, а простые немцы были вынуждены, плюс националистический дурман» и т. д. Нам так нужно было рассуждать, когда немецкие колонны с песнями маршировали по нашей земле? «Мы не должны праздновать День Победы, мы должны только плакать и скорбеть: жертв было слишком много». Да, жертв было много, но можно ли было меньшим числом жертв победить такого монстра? Докажите. И еще: мы будем плакать и скорбеть, а всему миру будут внушать, что Гитлера победили американцы и англичане, а атомные бомбы сбросил на Японию СССР; что если Россия, «империя зла», кого-то и победила, то от этого всем стало только хуже.

Когда читают все это молодые люди нынешние, что они должны подумать? Что тогда была не Победа, а поражение? Может быть, многие подобные авторы этого и хотят.

Некоторые живущие в монастырях иноки и инокини и даже трудящиеся там мужчины и женщины считают, что миряне уже изначально в чем-то виноваты перед ними. Это неправильно, по-моему.

Какой-то гражданин Германии подал в суд на президента МОК Томаса Баха — за то, что позволил-таки российским спортсменам, пусть и в урезанном почти наполовину составе, выступить на Олимпиаде, несмотря на доклад Макларена. Да читал ли гражданин этот доклад? Даже не все спортивные функционеры читали, да и не был он до конца опубликован. Поверил своим СМИ. Еще 150 лет назад Достоевский удивлялся: «Отчего он (западноевропейский буржуа. — К. С.) довольствуется казенной литературой? Отчего ему ужасно хочется уверить себя, что его журналы неподкупны?» («Зимние заметки о летних впечатлениях», ПСС, т. 5. с. 75). Если бы в Советском Союзе так верили своим СМИ, как на Западе верят своим, СССР простоял бы еще лет двести.

Немецкая газета «Бильд», возмущенная тем, что наших спортсменов все же допустили на Олимпиаду, публиковала таблицу неофициального командного зачета без учета медалей и места России. Забавно, конечно, что в действительной таблице Россия опередила как раз Германию, мы заняли четвертое место, они — пятое, так что можно сказать, бильдовцы нашли остроумный способ утешить своих болельщиков. Но не только это забавно. Вспоминается что-то очень знакомое. В 1973 году наши футбольные и нефутбольные руководители отказались послать сборную СССР играть отборочный матч чемпионата мира на стадионе «Насьо-

наль» в Сантьяго, превращенном Пиночетом (он тогда только что захватил власть в Чили) в концлагерь. Перенести встречу в другое место человеколюбивые чиновники из ФИФА не позволили. Чилийские футболисты вышли на поле, забили гол в пустые ворота и таким образом прошли в финальную стадию (первая встреча в Москве закончилась со счетом 0:0). Когда начался чемпионат мира, советские СМИ передавали результаты всех встреч, кроме тех, где участвовала сборная Чили. Так что приходилось лишь из зарубежных «голосов» узнавать эти результаты. К счастью для немецких болельщиков-читателей «Бильд», сейчас есть Интернет, и за результатами Олимпийских игр не надо бегать за газетами в соседнюю Швейцарию или слушать «Russia today».

Рассказ крымского таксиста, бывшего военного моряка украинских ВМС, об инструкции НАТО, доведенной до них в ходе совместных военных учений (еще когда Крым был в Украине), о том, кого в первую очередь надо спасать в случае ЧП на море: «В первую очередь мы должны были оказать помощь тонущим офицерам НАТО, потом военнотружущим альянса нижнего звена, а уже потом — всем остальным. То есть тем, кто числится в ВМСУ, моим сослуживцам» («Независимая газета» от 31 августа 2016 г., с. 8). Если это правда (а выдумать такое сложно), то — так долго ждали независимости, и вот она, пришла наконец!

Когда говоришь о вольнской резне, о непримиримых, имеющих глубокие корни противоречиях и вражде между немцами и французами, греками и турками и т. п., отвечают: ну, это было раньше, а теперь будем строить объединенную Европу, где все будут жить в мире, дружбе и согласии. Хорошо бы, конечно, но когда призывают забыть о реальности и верить в идеал, всегда возникают сомнения.

Демонстрации солидарности после терактов. Организаторы терактов небось сидят у телевизоров, смотрят и посмеиваются.

Странно, что власти наши как будто не понимают, что вся главная сила России — в духовной культуре, в образовании, в силе и величии духа и только потом в оружии (где мы всегда будем только догонять Запад). Да, суперсовременное оружие необходимо. Да, для Церкви многое делается, но ведь человек духовно не образованный, не понимающий, в какой стране он живет, в чем величие и основа существования России, в храм не пойдет, неготовый к самопожертвованию (и не знающий, зачем оно надо) на защиту Родины не встанет. А детям внушают западные ценности: личное благосостояние превыше всего, а об общественном благе, о защите страны требуют заботиться «совки» и коммунисты-тоталитаристы. Так учат и в семье, и в школе, и в вузе «прогрессивные» преподаватели. И жизнь вокруг учит: самое лучшее — стать чиновником или «менеджером» и воровать сколько можно. А весь мир твердит россиянам: «Воруйте, воруйте у своего государства, мы наворованное спрячем». Надеяться на чудо.

Самокаты, селфи, соцсети. Как внушаемы и управляемы стали люди! Или всегда были? Но раньше центров, из которых исходили внушения, было много, а теперь количество их стремится к единице. Человек становится приставкой к своему гаджету.

Порой говорят: как это Христос, восприняв все человеческое, кроме греха, не воспринял радостей супружества? Начинают придумывать какие-то невероятные

«дополнения» к Евангелию. Но не говоря уже о том, что нынешнее супружество возникло только после грехопадения, на самом деле все просто: «Вот Я и дети, которых дал Мне Бог» (Евр. 2:13). Все человечество — мои братья. Все женщины — мои сестры, а не объект вожделения. Это трудно понять и осуществить, но можно: монашество. А если в миру, то все равно в постоянной борьбе со своими грехами (и, прежде всего, в ясном видении их). Именно таков путь человека после грехопадения. Потом наступит другое состояние, неведомое. А пока — история.

Россия должна переболеть капитализмом. Это как человеку верующему вдруг объявить авторитетно для него, что Бога нет и все позволено. Многие поначалу пустятся во всевозможные грехи. Но потом образ Божий, в основе нашей природы лежащий, взбунтуется, и человек увидит: это смертельно. Тогда на новых основаниях вернется к Богу. Так и здесь: когда подойдет к краю, идеалы, на которых всегда стояла Россия, вернутся в сознание людей. Иллюзия?

После революции 1917 года сколько людей, причем из умнейших, потешались над словами Достоевского (устаами старца Зосимы): «сей народ — богоносец». Но грянула Великая Отечественная, и все убедились: сей народ — богоносец. Ибо только народ-богоносец способен был одолеть величайшую реинкарнацию зла в мире — Гитлера и всех, кто был с ним.

Еще один положительный результата бытования капитализма в России: мысль многих обратилась к метафизическим проблемам, к пониманию природы человека, отбросив наконец все упования на то, что какой-либо социальный строй способен принести счастье людям (лет 30—40 назад как надеялись: вот будет у нас капитализм, и заживем припеваючи!).

Возлюбить ближнего, как самого себя — один из смыслов этой заповеди, мноими не понимаемой (Бахтин: ну как же можно любить самого себя?), по-моему, вот в чем: прощай ближнему все то, что прощаешь себе (это очень нелегко).

Достоевский почти всю жизнь писал под опасением (если так можно выразиться) скорой смерти: что вот-вот все может кончиться, а успеть сказать нужно еще так много. Квинтэссенция этого — последние минуты перед расстрелом на Семеновском плацу в 1849 году; а потом — четыре года каторги, ссылка, эпилептические припадки, каждый раз с неизвестным исходом, эмфизема легких. Ощущение смерти, стоящей на пороге. Отсюда все происходящее в его произведениях как бы подсвечено неким светом из другого мира. В этом тоже его специфическое отличие от других писателей.

Замечательная фраза Стефании Елфутинной, нашей бронзовой олимпийской призерки в парусном спорте: «Каждый сам выбирает свою реальность».

*Каждая истина и каждое слово в Евангелии существуют не для «предъявления» их другому, а исключительно как руководство к действию для меня самого. Условно говоря, нельзя ударить кого-то по щеке и потом требовать от него: «А теперь подставь другую щеку». Достоевский писал об этом же так: «...христианин, то есть полный, высший, идеальный, говорит: „Я должен разделить с меньшим братом мое имущество и служить им всем“. А коммунар говорит: „Да, ты должен разделить*

со мною, меньшим и нищим, твое имущество и должен мне служить“. Христианин будет прав, а коммунар будет не прав» (ПСС, т. 29, II, с. 140).

На Страшном суде не ты будешь спрашивать Бога: почему в мире столько зла, а тебя спросят: а ты лично что сделал, чтобы хоть ненамного уменьшить количество этого зла? Тот, кто ничего не сделал или сделал мало, со стыдом отойдет, а кто сделал много — понимал уже в этой жизни, что все зло на земле создается человеком и искоренение зла *помимо человека* невозможно.

Каждый раз, когда многие русские начинали вести себя как нерусские (XI—XIII века и конец XIX—начало XX века) — то есть каждый ради личных интересов, — оканчивалась Божьей карой: татарами и революционерами-космополитами.

Фома Опискин — подпольный человек — князь Мышкин. Что между ними общего? Все они претендуют на то, чтобы быть нравственным центром окружающего мира. Всем им недостает святости — то есть видения непосредственного участия Бога в наших земных делах.

Почему так много врагов России — сторонников Запада — было и есть в самой России? Во-первых, умные люди на Западе понимали (особенно четко после Наполеона и Гитлера), что силой Россию не уничтожить (а уничтожить нужно было всем желающим мировой гегемонии), а можно справиться только подорвав духовные основы, на которых все держится, так что работа в этом направлении, все более совершенствуясь, постоянно идет и, конечно, приносит плоды. Во-вторых, быть врагом России — сторонником Запада (не «сторонником» великой западной культуры, уточню, а служителем проводимой властями Запада политики) означает предпочитать личное благо общественному, а таких людей, к сожалению, всегда немало.

Деточкин — гамлетовская, донкихотская фигура. Пытается утвердить, установить в мире справедливость, *как он ее понимает*, заменяя собой Бога. Приносит в процессе этого страдания ближним, любимой женщине, врет окружающим. Наказывает ли он при этом жуликов? Гораздо меньше, ибо жулик всегда найдет возможность купить себе еще машину. Равно как и директор того детского дома, куда он посылал деньги, вырученные от продажи автомобиля (кстати, процесс продажи не показан, это поменяло бы искусственно идеализированную стилистику фильма), вполне может их присвоить и на них купить и себе машину. Неудивительно, что Деточкин стал кумиром нашей интеллигенции, которая и всегда хотела подменить собой Бога, выглядеть бескорыстными борцами за справедливость и при этом не думать о последствиях.

«Иронизирующему в диалоге и не требуется собеседник, он — *монополист*. Ирония здесь как форма защиты до нападения, как способ бесконтактного существования, как безнадежная утрата подлинной связи одного человека с другим.

Священное не терпит юмора еще и потому, что смех, „изгоняющий дьявола“, изгоняет и ее, святыню. <...>. На освободившееся от святыни место немедленно возвращается тот, для изгнания которого и предпринимались юмористические усилия, и тогда второе становится горше первого. <...>

Смех, направленный на человека (хотя бы и грешного), ставит под сомнение его достоинство, отказывает ему в Богоподобии, он есть самопревозношение над ближ-

ним. Он вырос на предназначенном для радости, но ныне опустевшем месте» (Владимир Глянц. Гоголь и Апокалипсис. М.: Элекс-КМ, 2004. С. 264–265).

Как много это объясняет в современной жизни, начиная от «Шарли Эбдо» и до современных отечественных «креативных» постановок классики!

Как сегодня может появиться новый Айтматов? На каком языке он должен писать, чтобы прочли в мире? На английском? Или должен быть адекватный перевод (то есть одновременно два больших таланта должны родиться; но и тогда без десятилетия традиций и школы перевода с киргизского на английский адекватный перевод практически невозможен).

«Нам надо всегда знать, и помнить, и быть убежденным, что в решительных общемировых вопросах Россия, если пожелает сказать свое слово или провести свое мировоззрение самостоятельно, — всегда встретит против себя *всю* Европу без исключений. И что, *в строгом смысле слова*, — у нас в Европе нет и никогда не будет союзников» (Достоевский. ПСС, т. 24, с. 270).

XX век дал в огромном, массовом числе примеры невероятной бескорыстности, мужества, самопожертвования — и, с другой стороны, мучительства, садизма, предательства, страшной жестокости. Человеческая природа приближается к своим пределам?

«Искусство не изображает видимое, оно делает его видимым» (П. Клее).

За более чем полвека Достоевский предугадал и появление романа «Мастер и Маргарита». Помните финал романа? А вот что у Достоевского в подготовительных материалах к «Братьям Карамазовым»: Христос при Своем Втором Пришествии «простит и Пилата высокоумного, не ведавшего, что творил» (ПСС, т. 15, с. 249). Правда, у Достоевского прощает Пилата все-таки Христос, а не Мастер...



# МЕЛАНХОЛИЯ, МУЗЫКА И МАТЕМАТИКА

Гравюра Дюрера «Меланхолия»  
и ее отражения в романе Томаса Манна  
«Доктор Фаустус»

## «Магический квадрат»

Магический квадрат появляется в XII главе романа «Доктор Фаустус» при описании студенческой комнаты Адриана Леверкюна в городе Галле:

«Над пианино кнопками была прикреплена арифметическая гравюра, купленная им в лавке какого-то старьевщика: так называемый магический квадрат, вроде того, что наряду с песочными часами, циркулем, весами, многогранником и другими символами изображен на дюреровской „Меланхолии“. Как и там, он был поделен на шестнадцать полей, пронумерованных арабскими цифрами, так что „1“ приходилось на правое нижнее поле, а „16“ — на левое верхнее; волшебство — или курьез — состояло здесь в том, что эти цифры, как бы их ни складывали, сверху вниз, поперек или по диагонали, в сумме неизменно давали тридцать четыре» (V, 122)<sup>1</sup>.

И переехав в другой город, Адриан не расставался с этой картинкой:

«Все четыре с половиной года, проведенных им в Лейпциге, Адриан прожил в одной и той же двухкомнатной квартире на Петерсштрассе, неподалеку от Collegium Beatae Virginis, где снова повесил над пианино магический квадрат» (V, 235).

Связь магического квадрата с двенадцатитоновой системой композиции явно обозначена в XXII главе романа, в которой Леверкюн объясняет другу Серенусу

---

Евгений Михайлович Беркович — математик, публицист, историк, издатель и редактор. Окончил физический факультет МГУ им. Ломоносова, кандидат физико-математических наук, доктор естественных наук. Создатель и главный редактор журналов «Семь искусств» и «Заметки по еврейской истории», издатель альманаха «Еврейская старина» и журнал-газеты «Мастерская». Автор книг «Заметки по еврейской истории» (2000), «Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории холокоста» (2003), «Одиссея Петера Прингсхайма» (2013), «Антиподы. Альберт Эйнштейн и другие люди в контексте физики и истории» (2014). Публиковался в журналах «Нева», «Иностранная литература», «Вопросы литературы», «Зарубежные записки», «Человек» и многих других изданиях. Живет и работает в Германии (Ганновер).

<sup>1</sup> В круглых скобках через запятую здесь и далее обозначаются номер тома и страницы следующего собрания сочинений: Манн Томас. Собрание сочинений в десяти томах. Государственное издательство художественной литературы, М. 1959—1961.

основы додекафонии. Сразу понявший суть Цейтблом нашел короткую формулу для услышанного:

«— Магический квадрат, — сказал я.— И ты надеешься, что всё это услышат?» (V, 251).

Знарок творчества Томаса Манна и один из лучших его переводчиков — Соломон Апт — так раскрывает роль магического квадрата в структуре романа:

«Все линии романа связаны воедино по принципу контрапункта. То есть роман о композиторе построен как музыкальная композиция. Роман комментирует сам себя. Самым существенным его автокомментарием представляется нам упоминание „магического квадрата“ — и как детали гравюры Дюрера „Меланхолия“ (1514), и как такового. <...> Эта математическая закономерность теоретически пока не объяснена. Так вот, развязка у всех тематических линий романа одна и та же, как сумма цифр по вертикалям, горизонталям и диагоналям магического квадрата»<sup>2</sup>.

Великий немецкий художник Альбрехт Дюрер изобразил магический квадрат на гравюре «Меланхолия», созданной в 1514 году. Этот год можно прочесть в нижнем ряду квадрата: два средних поля содержат как раз числа 15 и 14, вместе образующие нужный год. Но это еще не все! Гравюра создавалась в дни траура по скончавшейся недавно любимой матери художника. Правда, исследователи называют две различные даты смерти: одни говорят о 16 мая, другие называют 17-е. Но в любом случае эта траурная дата запечатлена на магическом квадрате. Дату 16 мая можно прочесть в первых двух числах левого столбца: 16 и 5 как раз и определяют число и месяц. Более замысловато находится дата 17 мая. Она представлена в двух средних столбцах квадрата. Числа верхней строки 3 и 2 в сумме дают номер месяца. А число 17 есть сумма по диагоналям расположенного в центре квадрата  $2 \times 2$ :  $10+7=6+11$ .

Числа 4 и 1 в углах нижнего ряда представляют собой зашифрованные инициалы художника: четвертая буква алфавита есть «Д», первая буква — «А».

Подчеркнем еще раз, что «волшебная сумма» строк, столбцов и диагоналей квадрата есть знакомое нам число 34, несколько раз «всплывавшее» не только в «Докторе Фаустусе» (единственная глава, разделенная на три части, имеет этот номер), но и в «Волшебной горе»: вспомним хотя бы номер комнаты Ганса Касторпа и пророчество во время спиритического сеанса. Об этом пророчестве стоит сказать пару слов, так как, на мой взгляд, эта сцена осталась непонятой очень многим читателями русского перевода романа «Волшебная гора». Напомню, что после вызова духа поэта Холберга «Ганс Касторп, касаясь пальцем правой руки бокала и подперев щеку кулаком левой, сказал, что хотел бы узнать, сколько же времени он в целом пробудет здесь, вместо трех недель, намеченных вначале». На этот вопрос дух «ответил что-то странное, как будто не имевшее к вопросу никакого отношения, и даже невразумительное. Он набрал сначала слово „иди“, потом „поперек“ — что уж было ни с чем не сообразно, и еще что-то относительно комнаты Ганса Касторпа, так что весь этот лаконичный ответ сводился к тому, чтобы вопрошающий прошел свою комнату поперек. Поперек? Поперек номера 34? Что это значит?» (IV, 457).

Настойчивый вопрос «Что это значит?» так и остался в русском переводе без ответа и без комментария. А он здесь, на мой взгляд, необходим. Дело в том, что

<sup>2</sup> Апт Соломон. Достоинство духа. В книге Манн Томас. Путь на Волшебную гору. Вагриус, М. 2008.

Томас Манн использовал каламбур, работающий только в немецком языке и начисто пропавший в русском. Наречие «quer» по-немецки означает «поперек», а существительное «Quersumme» переводится как «сумма цифр некоторого числа». Поэтому догадливый немецкий читатель без труда узнает в выражении «поперек номера 34» не что иное, как «сумму цифр числа 34», то есть все то же число семь. Дух Холберга оказался прав, в последнем подразделе седьмой главы Томас Манн прямо указывает срок пребывания Ганса в «Берггофе»:

«Семь лет провел Ганс Касторп у живших здесь наверху... За всеми семью столами посидел он в столовой, за каждым около года» (IV, 515).

Перечислив несколько способов сложения чисел в магическом квадрате — «сверху вниз, поперек или по диагонали», — Томас Манн далеко не исчерпал все возможности этой забавной математической игрушки. Может быть, он не все эти возможности и знал. Отметим несколько других способов, как получить число 34, складывая числа из магического квадрата.

Во-первых, четыре числа в углах квадрата в сумме дают 34. Во-вторых, сумма чисел каждого из четырех квадратов  $2 \times 2$ , прижатых к углам магического квадрата, равна все тому же числу 34. В-третьих, каждый из четырех квадратов  $3 \times 3$ , вписанных в исходный магический квадрат, обладает таким свойством: если из такого квадрата вырезать средний ряд и средний столбец, то оставшиеся четыре числа в сумме дают точно 34. В-четвертых, четыре числа, стоящие в центре магического квадрата, тоже в сумме дают 34.

Вообще, этот маленький математический объект из шестнадцати первых натуральных чисел содержит в себе множество удивительных свойств. Даже нацисты, рассматривая магический квадрат Дюрера, увидели в нем отблески своей идеологии: если вписать в квадрат свастику, то четыре числа у ее концов тоже дают в сумме 34. И этим далеко не исчерпываются возможные комбинации чисел, дающих в сумме 34.

### Меланхолия в древности и в новые времена

Дюреровская гравюра на меди «Меланхолия I», из которой Томас Манн взял в роман «Доктор Фаустус» магический квадрат, имеет к математике непосредственное отношение. Чтобы разобраться в этом, начнем издалека.

Что мы видим на этой небольшой гравюре размером 23,9 на 16,8 сантиметров?

На низкой каменной ступеньке возле недостроенного дома сидит, глубоко задумавшись, крылатая женщина с темным лицом, на котором контрастно выделяются белки глаз. Одной рукой, сжатой в кулак, она подпирает голову, в другой руке, опирающейся на книгу, держит циркуль. И книга, и циркуль сейчас не при деле. На голове у женщины венок из каких-то растений, в которых знатоки-ботаники узнают цветы, живущие в воде, типа водяного лютика. Неподалеку расположено большое озеро или море, зловеще мерцающее в свете яркой кометы под радугой. В воздухе над водой летает существо, напоминающее летучую мышь, и держит транспарант с надписью по-латыни «Меланхолия I». Недалеко от женщины на огромном точильном камне или мельничном жернове сидит печальный амурчик, усердно корябающий какие-то каракули на грифельной доске. На земле у ног женщины улеглась худая, дрожащая от холода собака. Крылатая женщина сосредоточенно и печально думает о чем-то своем, взгляд ее обращен в пустоту. К ее поясу

прикреплены ключи и кошелек. На стене недостроенного строения висят рычажные весы, солнечные и песочные часы, колокол, под которым и располагается знаменитый магический квадрат. Незаконченность строения подчеркивает деревянная лестница, прислоненная к задней стене дома. На земле в беспорядке разбросаны разнообразные столярные инструменты и измерительные приборы: рубанок, пила, клещи, молоток, гвозди, небольшой тигель для плавки свинца, линейка, угольник, чернильница с пеналом... Под складками юбки прячутся на полу кузнечные меха, от которых виден только мундштук. Два предмета не являются инструментами в точном смысле слова, а представляют собой скорее символы прикладной математики, используемой в строительстве и столярном деле. Это точеный деревянный шар и вытесанный из камня полиэдр, многогранник. Они вместе с весами, песочными часами, магическим квадратом и циркулем символизируют роль математики, которую в своей работе используют и ремесленник на земле, и архитектор Вселенной. Эти символы заставляют вспомнить «равенство меры, веса и числа», о котором говорит Платон в своих «Диалогах»<sup>3</sup>.

Что же означает название гравюры Дюрера? Меланхолия — это один из четырех типов темперамента человека по градации Гиппократа и Аристотеля. Согласно господствовавшим в античные и средневековые времена представлениям, за темперамент отвечали четыре главных «сока» человеческого тела: кровь, флегма, желтая желчь и черная желчь. Они согласуются с четырьмя основными элементами (воздух, вода, огонь и земля), с четырьмя временами года, с четырьмя периодами человеческой жизни, с четырьмя ветрами (направлениями в пространстве), с четырьмя временами суток.

Самым здоровым и счастливым считался сангвиник, от лат. *sanguis* — кровь. Тогда полагали, что Господь создал человека именно сангвиником, а остальные виды темпераментов появились уже после грехопадения Адама и Евы. Кровь, влажная и теплая, уподоблялась элементу «воздух» и сравнивалась с весной, с юностью, легким западным ветром зефиром и с утром.

Холерик (от греч. *chole* — желчь) связан элементом «огонь» и обладал его качествами — жаром и сухостью. Поэтому его сравнивали с летом, зрелостью человека, с горячим и сухим восточным ветром эфиром, с полднем.

Флегматик назван от греческого слова *phlegma* — флегма, которая представлялась влажной и холодной, как элемент «вода», и связывалась с зимой, старостью, вредным для здоровья южным ветром австером и ночью.

Наконец, самым печальным и опасным темпераментом считался меланхолик — от греч. *melas chole* — черная желчь, которой соответствовал холодный и сухой элемент «земля», осень, пожилой возраст человека, суровый северный ветер борей и вечер.

Сочетание соков в организме человека определяют его комплекцию (телосложение) и особенности характера. Само слово «комплексия» происходит от латинского «*complexio*», которое означало смешение соков. Темперамент в понимании Гиппократа и Аристотеля влияет и на подверженность тем или иным болезням, и на способности к тем или иным занятиям. У флегматика другие недостатки, чем у холерика, но и добродетели у них разные. Им подходят разные профессии, у них разная манера общения с близкими, их жизненные установки сильно отличаются.

Обладание тем или иным темпераментом еще ничего не говорит о душевном и физическом здоровье человека. Можно быть вполне здоровым флегматиком или ме-

<sup>3</sup> Подробнее см. в книге Panofsky Erwin. *Das Leben und die Kunst Albrecht Dürers*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977, S. 209. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Panofsky и номера страницы или номера иллюстрации.

ланхоликом, если количество преобладающего «сока» организма не переходит определенную границу. Но если динамическое равновесие соков по той или иной причине нарушается, человек заболевает, причем меланхолику грозят самые страшные болезни — душевные. Конечно, от помешательства, депрессии, шизофрении и эпилепсии страдают люди разных темпераментов, но у меланхоликов эти болезни случаются чаще.

И в ученых кругах античных и средневековых медиков, и в народном фольклоре сложилось устойчивое представление, что даже здоровый меланхолик обладает весьма неприятными чертами характера. Сухощавый, с темным цветом лица, он, как правило, жадный, неловкий, злой, трусливый, ненадежный, ленивый. К тому же он занудлив, забывчив, уныл, вял, неуклюж, избегает общества своих близких и презирает противоположный пол. Единственная достойная черта меланхолика, по представлениям древних, это его склонность к научным занятиям, которые он любит проводить в одиночестве. Недаром его часто изображали с книгой.

До Дюрера существовало множество изображений меланхоликов. По назначению их можно разделить на две большие группы. Во-первых, рисунки в медицинских трактатах и пособиях, во-вторых, карикатуры и шаржи в популярных календарях, лубках, книжках-картинках для простого народа, который, как правило, не сильно владел грамотой. В медицинских изданиях меланхолия рассматривалась как болезнь, и рисунки показывали, как ее лечить. Способы лечения были разнообразны — от слушания музыки до битья кнутом. Напротив, в популярных книжках и народных календарях меланхолики изображались как обычные люди с типичными для этого темперамента недостатками. Чаще всего изображались скряги с туго набитыми кошельками и лентяи, которые спят, вместо того чтобы работать. Распространенные сюжеты картин про меланхоликов: пахарь, спящий рядом с пашней, пряха, заснувшая с веретеном в руке, молившийся человек, который положил голову на молитвенник и тоже забылся сном. Общим для всех этих изображений было представление о меланхолии как унылом бездействии.

Меланхолия на гравюре Дюрера изображена совершенно иначе. Да, она тоже бездействует, но в отличие от пряхи или пахаря, которые от лени впадают в сон, крылатая женщина напряженно размышляет, за ее оцепенением видится интенсивное, хотя и безрезультатное пока исследование какой-то проблемы. Она застыла не потому, что ленится работать, нет, работа стала для нее в данный момент бессмысленной. Ее энергия парализована не сном, а мыслью.

Дюрер предложил абсолютно новый тип меланхолии, непохожий на привычные для того времени образы ленивой растяпы-домохозяйки или сонливой пряхи. Перед нами творческая личность, наделенная сильным духом и мощным воображением. Она окружена инструментами для созидательной работы и научных исследований. И это позволяет нам отметить еще одну новую черту дюреровской гравюры, тесно связанную с темой настоящих заметок.

### **Семь свободных искусств**

Здесь нужно сказать несколько слов о науках, которые в античности и средневековье часто называли «искусствами». У Аристотеля в «Политике» говорится: *«Семь свободных искусств — основа воспитания, которое надлежит давать не для практической пользы, но потому, что оно достойно свободнорожденного человека и само по себе прекрасно».*

В европейских университетах учебные предметы, образующие «семь свободных искусств», изучались на подготовительных факультетах, которые сначала на-

зывались «артистическими» (от латинского *ars* — искусство), а потом стали именоваться философскими. Основными же факультетами, выпускавшими специалистов, считались богословский, медицинский и юридический. Только в Новое время философский факультет стал равноправным с другими университетскими факультетами.

Изучение «семи свободных наук» проводилось в два цикла, которые назывались тривиум и квадривиум. Нетрудно догадаться, что тривиум состоял из трех предметов, а квадривиум — из четырех. Для тривиума (по-латыни *trivium* — три дороги) это грамматика, риторика и диалектика. Математику начинали изучать во втором цикле, квадривиуме (*quadrivium* — четыре дороги). Он состоял из арифметики, геометрии, астрономии и музыки.

Это, кстати, объясняет происхождение слова «тривиальный», которое большинством этимологических словарей и словарей иностранных слов трактуется немного загадочно и... неверно. Например, в уважаемом «*Этимологическом словаре русского языка*» Макса Фасмера можно прочесть: «*тривиальный*. Через нем. *trivial* или франц. *trivial* — то же из лат. *trivialis* „то, что валяется на большой дороге“: *trivium* „перекресток трех дорог“»<sup>4</sup>. Остается непонятным, почему «тривиальная вещь» должна валяться именно на перекрестке трех дорог? А то, что лежит на перекрестке двух — уже нетривиально?

На самом деле происхождение слова «тривиальный» следует искать в кругу «семи свободных искусств». Тривиальной называли вещь, которую поймет человек, прошедший первый цикл начального обучения, то есть освоивший тривиум. Другими словами, вещь несложную, для понимания требующую минимального образования. При таком объяснении проблема «двух дорог» не встает. Дорога здесь вообще имеет иной смысл — не пыльный тракт, не базарная площадь, а путь к свету, к знаниям<sup>5</sup>.

Символика «семи свободных искусств» явственно просматривается на гравюре Дюрера «Меланхолия». Амурчик, сидящий на мельничном жернове и корябающий что-то на грифельной доске, символизирует грамматику, простейшую из семи наук. Весы с чашами — атрибут риторики, стоящей на службе правоведения, а весы — известный символ юстиции. Магический квадрат, очевидно, представляет арифметику, циркуль — геометрию, шар — астрономию и т. д.<sup>6</sup>

К семи аристократическим свободным искусствам, предназначенным для свободных людей, Дюрер добавляет семь «механических, или технических, искусств», требующих применения физической силы. Именно они используются ремесленниками, строителями, землемерами... Соответствующие атрибуты тоже разбросаны на полу перед сидящей крылатой Меланхолией. Это измерительные и строительные инструменты: рубанок, молоток, тигель и пр.

Как чистые, «свободные» искусства, так и технические, прикладные виды деятельности к началу XVI века были широко представлены на гравюрах, рисунках, картинах европейских художников. В частности, популярный в то время энциклопедический трактат Грегора Райша (*Gregor Reisch*, 1467(?)—1525) «Маргарита философия» (*Margarita Philosophica*) включал в себя двенадцать глав, из которых семь были посвящены «свободным искусствам». Каждая глава иллюстрировалась соответствующей гравюрой по дереву.

<sup>4</sup> Фасмер Макс. *Этимологический словарь русского языка*. В четырех томах. Изд-во «Прогресс», М. 1987.

<sup>5</sup> Подробнее об этом см. в моей статье: Беркович Евгений. Похвала точности, или О нетривиальности тривиального. «Заметки по еврейской истории», № 7 (110) 2009.

<sup>6</sup> См., например, *Waetzoldt Wilhelm. Dürer und seine Zeit. Büchergilde Gutenberg, Frankfurt a. M. Новое издание Phaidon Verlag, Zürich 1953, S. 104*. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова *Waetzoldt* и номера страницы.

В одной из центральных глав книги приведен «Образ Геометрии» («*Typus Geometriae*»), созданный лет за 6—10 до дюреровской «Меланхолии». На гравюре изображена богато одетая женщина с циркулем в руке, что-то измеряющая на шаре<sup>7</sup>. Циркуль, как мы помним, это основной атрибут геометрии. Женщина сидит за столом, на котором разложены чертежные принадлежности, стоят чернильница, многогранник, другие модели объемных тел. Рядом с недостроенным зданием высится кран, поднявший огромный тесаный камень для стены. Один строитель проверяет щипцами качество кладки, двое других работают над составлением топографического плана местности. На полу, как и на гравюре Дюрера, в беспорядке разбросаны столярные инструменты, молоток, линейка, угольники... Облака, луну и звезды изучают с помощью квадранта и астролябии двое ученых, то ли астрономов, то ли метеорологов. То, что геометрия имеет прямое отношение к астрономии, говорит павлинье перо, прикрепленное к шляпе женщины: оно в средние века было символом звездного небосвода (Panofsky, 216).

На гравюре «*Образ Геометрии*» представлен синтез «чистой» и прикладной науки, показана центральная роль геометрии в технике и естествознании. При этом женщина, символизирующая одно из «свободных искусств» — геометрию, лишена эмоций, это некий абстрактный образ, скорее ангельский, чем человеческий.

Взгляд на математику как важнейшую из наук разделял и Дюрер. Он и сам слыл лучшим математиком среди художников своего времени. Его перу принадлежат несколько математических трактатов, получивших признание профессионалов-математиков. Наиболее известно, пожалуй, «*Руководство по измерениям циркулем и линейкой*»<sup>8</sup>, ставшее первым учебником геометрии на немецком языке. Слово «измерение» в заглавии книги использовалось в то время в словосочетании «искусство измерений» как перевод греческого слова «геометрия». В современном понимании это слово «измерение» ближе к понятию «конструкция», «построение». Дюрер по праву считается одним из основоположников начертательной геометрии.

Многие предметы, характерные для «*Образа Геометрии*», можно найти на его гравюре «*Меланхолия*». Книга, чернильница и циркуль — атрибуты «чистой» геометрии, песочные часы с колоколом, рычажные весы — инструменты для измерений пространства и времени, столярные и строительные инструменты — продукты прикладной геометрии, наконец, вытесанный из камня полиэдр — символ описательной геометрии и учения о перспективе.

Отчего же геометрия, или «искусство измерений», играет такую важную роль в гравюре «*Меланхолия*»? Исследователь творчества Дюрера Вильгельм Ветцольдт задает этот вопрос и сам на него отвечает: «*Почему однако Дюрер выхватил из множества различных сатурнианских профессий и видов деятельности именно искусство измерений? Потому что мера, число и вес<sup>9</sup> образовывали для него самого краеугольный камень собственной научной работы, потому что математика представлялась ему (и не только ему одному) центральной наукой*» (Waetzoldt, 106).

<sup>7</sup> Гравюра воспроизведена, например, в книгах (Panofsky, илл. 229) и Klibansky Raymond, Panofsky Erwin, Saxl Fritz. *Saturn und Melancholie*. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1990, илл. 110. В дальнейшем ссылки на эту книгу будут даваться в круглых скобках с указанием слова Klibansky и номера страницы.

<sup>8</sup> Dürer Albrecht. *Underweysung der messung mit dem zirckel und richtscheyt in Linien ebenen unnd gantzen corporen*. Hieronymus Andreae, Nürnberg 1525.

<sup>9</sup> Выражение «мера, число и вес» встречается в самых разнообразных источниках. Например, у Платона в «Диалогах», у Еврипида в «Финикиянках», у Августина в «Творениях», в «Книге премудростей Соломона» и др. По-видимому, это выражение восходит к толкованию пророком Даниилом знаменитой надписи на стене «мене, текел, упарсин» на пиру у Вальтасара (Дан. 5:26—28).

Заметим попутно, что в процессе работы над «Доктором Фаустусом» Томас Манн изучал солидную монографию Вильгельма Ветцольдта о Дюрере. В конце дневниковой записи от 19 апреля 1943 года отмечено: «В Дюрере Ветцольдта»<sup>10</sup>.

Обсуждаемая нами гравюра Дюрера демонстрирует слияние двух классических тем — Меланхолии из народных календарей и медицинских трактатов и Геометрии из философских трудов и энциклопедий. При этом художнику удалось оба образа представить в новом свете. Унылая тоска меланхолии приобрела у Дюрера энергию поиска истины, а к абстрактной чистоте и возвышенности геометрии художник добавил человеческие страсти и эмоции. Можно сказать, что на гравюре изображены «творческая меланхолия» и «очеловеченная геометрия».

Новый взгляд на меланхолию, который продемонстрировал Дюрер, как часто бывает, оказался хорошо забытым старым. Ибо еще Аристотель в главе XXX «Проблем» отмечал взаимозависимость меланхолии и таланта:

«Почему все выдающиеся мужи, будь они философами, государственными деятелями, поэтами или художниками, явно были меланхоликами? И некоторые из них в такой степени, что страдали от болезненных приступов, вызванных черной желчью, о чем говорится в героической саге о Геракле» (Klibansky, 59).

Эта надолго забытая работа Аристотеля после гравюры Дюрера снова стала популярной. Со временем смысл высказывания великого философа перевернулся, и вместо «все гении — меланхолики» стали считать, что «все меланхолики — гении». Быть меланхоликом стало модно, те, кто хотел произвести впечатление в высшем свете, учились меланхолическим манерам и специально принимали меланхолический вид.

### **Сатурн — покровитель меланхоликов**

Возвышение меланхолии в общественном сознании имело еще одно следствие: оказалось, что планета Сатурн, имевшая ранее весьма дурную репутацию, обладает рядом несомненных достоинств. Этот феномен тоже связан с темой настоящих заметок.

Планетами в древности называли небесные тела, которые, в отличие от неподвижных звезд, перемещались по небосклону. Таких объектов было семь: Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн. Их наделяли качествами, присущими богам, чьи имена они носили. Планеты покровительствовали и различным типам темпераментов.

Сангвиникам помогал теплый и влажный, как воздух, Юпитер (другим покровителем сангвиников считалась Венера). Холерикам сопутствовал, конечно, горячий и сухой Марс, флегматикам — холодная и влажная Луна. На стороне меланхоликов был холодный и сухой Сатурн — старейший бог Земли, некогда управлявший всем миром, но свергнутый сыном Юпитером. Греки называли этих богов Кронос и Зевс, соответственно. Время правления Сатурна считалось на Земле «золотым веком».

Английский язык сохранил эту связь настроения и планеты, в нем слово *saturnine* означает печальный, а *joyial* (от *Jove* — Юпитер) — веселый. То же значение и у русского слова жовиальный.

Как черная желчь считалась худшим соком человеческого организма, так и Сатурн имел славу самой несчастливой планеты. Ведь бог Сатурн, оскопленный и свергнутый в мрачный Тартар сыном Юпитером, пожирал своих детей! Рожден-

<sup>10</sup> Mann Thomas. Tagebücher 1940-1943, herausgegeben von Peter de Mendelssohn. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 1982, S. 565. Фамилия автора монографии о Дюрере в публикации дневника Томаса Манна приведена с ошибкой: Waetzoldt вместо Waetzoldt.



ные под знаком Сатурна были обречены на печальную, тоскливую жизнь, и даже богатство и власть, которыми могущественный когда-то бог самой высокой планеты наделял своих подопечных, не делали этих людей счастливыми. Обычно под знаком бога Земли рождались крестьяне и рабочие самых непрестижных профессий: чистильщики выгребных ям, камнетесы, могильщики, а также калеки, нищие и преступники.

Меланхолия представлялась неразрывно связанной с Сатурном, у них были многие общие черты и символы. Ряд их изображен на дюреровской гравюре «Меланхолия». Тонко чувствующая собака с печальными глазами, часто болеющая бешенством, и летучая мышь, живущая в мрачных, укромных местах, — типичные атрибуты как меланхолии, так и Сатурна. То же относится и к ключам, символу власти, и к кошельку, символу богатства, и к водной глади.

С изменением отношения к меланхолии было пересмотрено и отношение к Сатурну. Этому способствовала позиция флорентийской школы неоплатоников, прежде всего Марсилио Фичино (1433—1499) и Пико делла Мирандола (1463—1494), которые обнаружили, что основатель неоплатонизма античный философ Плотин и его последователи так же высоко оценивали Сатурн, как Аристотель — меланхолию. Сатурн, по представлениям неоплатоников, олицетворял дух вселенной, тогда как Юпитер — ее душу. Юпитер управляет практической деятельностью на Земле, в то время как Сатурн покровительствует исследованиям высших и тайных вещей, философскому осмыслению и раскрытию непознанного. Философам, современникам Дюрера, грел душу тот факт, что сам Платон родился под знаком Сатурна (Panofsky, 223).

Признание за Сатурном покровительства ученым не могло пересилить народной веры в опасность, которую несет эта несчастливая планета. Поэтому, к примеру, Марсилио Фичино, рожденный под этим знаком, всю жизнь пользовался сам и советовал другим использовать астрологические амулеты, которые с помощью силы Юпитера ослабляли бы воздействие Сатурна. По словам Фичино, такие амулеты «превращают зло в добро, изгоняют смятение и страх» (Panofsky, 223). Одним из таких амулетов являлся магический квадрат, подчиненный, как и вся арифметика, власти Юпитера. Именно как средство против меланхолии, как противоядие от Сатурна и появился магический квадрат на гравюре Дюрера. Этот атрибут светлого и спокойного Юпитера явственно отличается от многочисленных предметов на гравюре, символизирующих мрачный Сатурн.

После этих астрологических мер предосторожности, по мнению Фичино, «для ученых, которые живут в сфере благородного Сатурна, он сам становится благодетельным отцом (Юпитером)» (Panofsky, 223).

Каким же видам деятельности благоволит Сатурн, каким наукам покровительствует этот противоречивый бог Земли? Прежде всего работам с деревом и камнем, строительству, столярному делу и прочему ремеслу. Но как бог земледелия Сатурн отвечает еще и за раздел земельных участков и связанные с этим процессы их обмена. Но это и есть буквальный перевод греческого слова «геометрия» — измерение земли. В средние века была такая молитва: «Сатурн, планета, пошли нам мудрецов, которые бы нас геометрии обучили» (Panofsky, 224).

Меланхолики, которых часто называли «детьми Сатурна», как правило, показывают способности к геометрии или, более общо, к математике. Но верно и обратное: тот, кто математически одарен, не может не быть меланхоликом, ибо он должен страдать от сознания ограниченности своих интеллектуальных возможностей. Тот, кто «знает, что он ничего не знает», не может быть веселым и беззаботным оптимистом.

После того как мы в деталях рассмотрели гравюру Дюрера и обсудили ее связь с Сатурном и математикой, вернемся к «Доктору Фаустусу».

### Меланхолический музыкант

Герой романа Томаса Манна — не математик, а музыкант. На первый взгляд Адриан Леверкюн вовсе не меланхолик, он много и результативно трудится, пустым созерцателем его не назовешь. И все же в разных частях романа можно заметить у него типичные меланхолические черты. Судя по всему, это качество у него наследственное.

Явным меланхоликом представлен отец Адриана — страдающий от периодической мигрени Ионатан Леверкюн. Его любимое занятие — изучение красивых узоров на белом фоне новокаледонской раковины, — как и следовало ожидать, не дает никаких практических результатов. Рассказчик так характеризует потомка «искусных ремесленников и зажиточных земледельцев» (профессии под знаком Сатурна):

«Да, папаша Леверкюн был, как сказано, любознательным и созерцателем, и его исследования, если можно говорить об исследовании там, где все сводилось к мечтательному умствованиям, всегда принимали определенное, а именно — мистическое или смутно-полумистическое направление, в котором, думаю, почти неизбежно движется человеческая мысль, стремящаяся постичь природу» (V, 27).

Сын «любознательного и созерцателя» тоже временами был готов, подобно крылатой женщине на гравюре Дюрера, бесцельно уставиться в пустоту. Вот что случилось с ним «на концерте или в театре, когда его поражаешь какой-нибудь незаметный для массы слушателей искусный трюк или остроумный ход внутри музыкальной структуры, какой-нибудь тонкий психологический намек в диалоге драмы... Он запрокидывал голову, делал легкий, короткий выдох ртом и носом... Но глаза его при этом настораживались, искали чего-то в пустоте, и еще темнее становился их крапленный металлом сумрак» (V, 43).

В заключительной сцене последней главы «он сидел, скрестив руки, слегка склонив голову набок, глядя прямо перед собой, только чуть-чуть вверх» (V, 639). Сходство с дюреровской Меланхолией усиливается, если обратить внимание на его позу: «он подпер щеку рукой и помолчал, словно в раздумье» (V, 640).

Одна из характернейших черт меланхолии — одиночество. Меланхолик стремится быть один, но страдает от отсутствия близких людей. Это в полной мере относится к Адриану Леверкюну. Томас Манн неоднократно отмечает эту черту композитора. В первой же главе романа рассказчик сообщает:

«Одиночество Адриана я бы сравнил с пропастью, в которой беззвучно и бесследно гибли чувства, пробужденные им в людских сердцах. Вокруг него царил стужа» (V, 13).

И в счастливые времена студенчества Адриан страдает без друзей:

«Водворившись в Галле, он даже просил меня к нему приехать — просьба, видимо, продиктованная чувством сиротливого одиночества» (V, 114).

В другом месте Серенус Цейтблом замечает:

«Кое-кого, наверно, поражали его робость, его одиночество, вся гордая трудность его бытия» (V, 234).

В письме другу Леверкюн признается:

«Я ищу <...> я мысленно спрашиваю и прислушиваюсь к ответу извне, где находится место, в котором можно было бы, укрывшись от мира и без помех, поговорить один на один со своею жизнью, своей судьбой...» (V, 274).

Даже близкие люди не понимали «*Адрианово одиночество, горестность, тревожность такого уединения*» (V, 338). И несколькими строками ниже Серенус прямо говорит о «*холоде меланхолии*» (V, 339).

Местечко Пфейферинг, в Верхней Баварии, которое выбрал для проживания уже повзрослевший Леверкюн, оказалось удивительно похожим на городок Кайзерсасерн на Заале, в котором прошли его школьные годы. Цейтблом оценивает это как симптом той же болезни:

«Выбор места, словно воскрешающего обстановку раннего детства, прибежища в давно минувшем или хотя бы во внешнем антураже минувшего, мог, конечно, свидетельствовать о глубине привязанностей, но в большей мере свидетельствовал о тяжелом, очень тяжелом душевном состоянии» (V, 39).

Все симптомы меланхолии, грозящей обернуться страшной душевной болезнью, здесь налицо. Но мы помним, что этот темперамент имеет и положительные качества. Это, среди прочего, математические способности, любовь к математике. И они у Леверкюна явно заметны.

Пожалуй, лучше всего о роли математики сказано в романе словами профессора Нонненмахера, университетского светила, увлекательно и вдохновенно читавшего лекцию о великом Пифагоре, который «*математику, абстрактную пропорцию, число возвел в принцип становления и бытия мира*» (V, 123).

Леверкюн тоже возвел числовые ряды в принцип становления музыки. Эту идею пересказывает его верный друг Серенус Цейтблом:

«Он указал мне тогда на магический квадрат музыкального стиля или техники, создающей предельное разнообразие звуковых комбинаций из одного и того же неизменного материала, так что не остается ничего нетематического, ничего, что не было бы вариацией все того же самого. Этот стиль, эта техника, утверждал он, не допускает ни единого звука, который не выполнял бы функции мотива в конструктивном целом, — так что ни одной свободной ноты более не существует» (V, 628).

Такую роль магического квадрата мы уже обсуждали. По меткому выражению Соломона Апта, этот квадрат является «автокомментарием романа», моделью главного изобретения Леверкюна — додекафонии. Но как мы видели при обсуждении гравюры Дюрера, магический квадрат — это еще и противоядие от меланхолии. Это объясняет тот факт, что Леверкюн не расстается с ним ни на день. Переезжая из города в город, он берет изображение квадрата с собой и вешает его на стену рядом со своим инструментом, то есть в том месте, в котором он проводит самые важные часы жизни.

Как мы помним, магический квадрат появляется первый раз в романе при описании студенческой комнаты Адриана в Галле. В XII главе автор сообщает, что он «*наряду с песочными часами, циркулем, весами, многогранником и другими символами изображен на дюреровской „Меланхолии“*» (V, 122).

Обратим внимание, какие детали гравюры Дюрера выбрал Томас Манн для ее характеристики: песочные часы, циркуль, весы, многогранник... Мы видели, что Дюрер изобразил множество разных предметов, имеющих отношение к Сатурну и меланхолии, среди них и столярные инструменты, и животные, ангелочек, лестница, гвозди, солнечные часы, кузнечные меха, показаны и природные катаклизмы... Но автор «Доктора Фаустуса» отметил только то, что относится к «творческой меланхолии», является атрибутом науки, прежде всего «искусства измерения», то есть геометрии. Этим он показывает близость позиций Леверкюна и Дюрера в отношении математики. Для Дюрера *«мера, число и вес образывали... краеугольный камень собственной научной работы»*. Чем была математика для Дюрера-живописца, тем стала она и для Леверкюна-композитора. Для художника-математика — *«центральная из наук»*, для музыканта — *«интереснейшая из наук»*, ибо сама музыка, по его мнению, является *«магическим слиянием богословия и математики»*.

На этой торжественной ноте можно было бы закончить размышления математика над текстами Томаса Манна. Но затронув тему «математика под знаком Сатурна», нельзя обойти молчанием и другую сторону медали, а именно — «музыку под знаком Сатурна». Такой поворот темы сулит множество интересных вопросов и неожиданных выводов. Ведь два понятия — музыка и Сатурн — до Томаса Манна считались несовместимыми.

Обратимся еще раз к гравюре Дюрера «Меланхолия». Среди множества предметов-символов, изображенных на ней, нет ни одного, который бы напоминал о музыке. Там есть приборы для измерений, для научных изысканий, есть инструменты строителя и столяра, типичных профессий, находящихся под покровительством Сатурна, но нет и намека на какой-нибудь музыкальный инструмент. И это не удивительно. С античных времен меланхолия, как и ее покровитель Сатурн, были далеки от музыки. На старинных гравюрах меланхолики никогда не изображались поющими или играющими на каких-то музыкальных инструментах.

Напротив, сангвиники, находившиеся под покровительством Юпитера, часто изображаются с арфой или лютней. Музыка была одним из лечебных средств, к которым прибегали врачи, чтобы помочь страдающим от тяжелых депрессий. Широко известно описанное в Библии излечение царя Саула. Его будущий преемник на царстве Давид игрой на арфе изгнал злой дух, под власть которого попал Саул. В результате Саул был излечен от черной меланхолии.

Со времен Саула и Давида струнные музыкальные инструменты считались наиболее эффективным средством борьбы с тоской и депрессией. Музыка, типично сангвинистическое искусство, разгоняла тоску и грусть, служила противоядием от опасного меланхолического темперамента, считавшимся немзыкальным.

В романе «Доктор Фаустус» Томас Манн радикально перевернул представление о взаимоотношениях музыки и меланхолии: главный герой его романа сочетает в себе, казалось бы, несовместимое: он и меланхолик, и музыкант. В большом письме своему ментору Кречмару Леверкюн сравнивает музыку с алхимией и черной магией, а композитора — с исследователем, ведущим алхимические поиски в *«герметически закупоренной лаборатории»* (V, 173).

Какую же музыку мог создать такой композитор, если он погружен в состояние меланхолии? Современник и духовный наставник Дюрера, реформатор церкви Мартин Лютер проповедовал, что *«печаль, эпидемия и хандра приходят от сатаны, так как сатана есть дух печали»* (Klibansky, 563). Меланхолик, по Лютеру, уже находится в лапах сатаны. Союз с чертом, который погубил Леверкюна, был изначально предрешен.

Мне представляется, что сама мысль о возможности «сатанинской музыки» пришла в голову Томасу Манну в результате трагического знакомства с порядками нацистской Германии. В «Истории „Доктора Фаустуса“» автор романа вспоминает о «всегдашней, а в молодости благодаря колдовской критике Ницше особенно горячей и глубокой приверженности к миру Вагнера, об огромном и, пожалуй, даже определяющем влиянии двусмысленного волшебства этого искусства на мою юность». И тут же с горечью констатирует, что это искусство оказалось «чудовищно посрамленным ролью, выпавшей на его долю в национал-социалистском государстве» (IX, 360). В том, что музыке Вагнера пришлось сыграть эту роль в Третьем рейхе, есть доля вины и самого композитора, что с болью должен был признать и Томас Манн.

Еще одно сильное музыкальное разочарование связано с композитором Гансом Пфицнером, автором знаменитой оперы «Палестрина», которой Томас Манн восхищался в годы Первой мировой войны. В письме от 6 ноября 1917 года шурина Петеру Прингсхайму, который в те годы томился в Австралии в концлагере для военнопленных и интернированных лиц, Томас писал, что опера Пфицнера «в духовном и культурном смысле представляет собой исключительную высокую работу, причем в высшей степени немецкую, нечто из области Фауста-Дюрера, и своей исполняемостью очень точно мне подходит»<sup>11</sup>.

В этом же письме писатель признается, что в тот сезон слушал оперу пять раз и написал о ней большую, в двадцать две журнальных страницы, рецензию в «*Нойе рундшау*». Кроме того, очерк о «Палестрине» вошел в книгу Манна «*Размышления аполитичного*», увидевшую свет в 1918 году.

Пфицнер всю жизнь придерживался мнения, что великая музыка создается по вдохновению, ниспосланному свыше. В опере «Палестрина», либретто которой написал сам Пфицнер, главному герою, тоже композитору Палестрине, потерявшему на время способность творить, спустившийся с небес ангел спел новую мессу, и вновь обретший творческие силы Палестрина записал ее за одну ночь. Похожая сцена воспроизводится и в «*Докторе Фаустусе*» во время знаменитого разговора Леверкюна с чертом:

«Действительно счастливое, неистовое, несомненное вдохновение, вдохновение, не задумывающееся о выборе, не знающее поправок и уловок, такое вдохновение, когда все воспринимается как благословенный диктат, когда спирает дух, когда всего тебя пронизывает священный трепет, а из глаз катятся слезы блаженства, — оно не от бога, слишком уж много оперирующего разумом, оно от черта, истинного владыки энтузиазма» (V, 310).

Показательно, что сцена с чертом происходит в том самом итальянском городке Палестрина, откуда родом герой оперы Пфицнера, композитор, носивший то же имя.

В заключительной главе «*Доктора Фаустуса*» Леверкюн признается, что и его музыка писалась не без сатанинских «вливаний»:

«И во мне часто начинали звучать то орган, то арфа, лютни, скрипки, трубы, свирели, кривые рога и малые дудочки, каждая о четырех голосах; мог бы подумать, что я на небе, если бы не знал о другом. Много из этого я записал. Часто приходили ко мне в комнату и некие дети, мальчики и девочки, которые пели мне с листа хоралы, при этом хитро улыбались и переглядывались между собой. Красивенькие дети! Иногда волосы у них поднимались словно от горячего воздуха, и они приглаживали их пухлыми ручками, а на ручках были

<sup>11</sup> Mann Thomas. Briefe 1889-1936. Hrsg. von Erika Mann. S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M. 1962, S. 141–142.

ямочки и в каждой по маленькому рубину. Из их ноздрей иной раз, извиваясь, выползали желтые червяки, сбегали к ним на грудь и исчезали...» (V, 647).

Другими словами, ангельская музыка в представлении Леверкюна становилась дьявольской.

С момента крушения кайзеровской Германии пути Томаса Манна и Ганса Пфицнера разошлись. Манн отказался от многих своих националистических убеждений, выбросил из *«Размышлений аполитичного»* наиболее одиозные места. В 1922 году писатель открыто провозгласил себя демократом и республиканцем, призвал молодых немцев поддержать недавно рожденную Веймарскую республику.

Эволюция убеждений Пфицнера происходила в противоположном направлении. После Первой мировой войны его взгляды сильно политизировались, из аполитичного романтического художника он превратился, по словам Манна, в *«анти-демократического националиста»*. Веймарскую республику композитор, в отличие от Томаса, не признал, в своих взглядах отошел еще дальше вправо, примкнув к национал-социалистам, и стал убежденным последователем Гитлера. Друга-покровителя Пфицнер нашел в лице Ганса Франка, генерал-губернатора Польши, под чьим началом строились и функционировали крупнейшие фабрики смерти — концлагеря уничтожения. В 1944 году Пфицнер привез в подарок Франку увертюру *«Краковская встреча»* (*«Krakauer Begrüßung»*), впервые исполненную в тридцати километрах от Освенцима.

Когда Нюрнбергский трибунал в 1946 году приговорил Франка к повешению, Пфицнер послал ему в камеру телеграмму со словами поддержки. Позже об этой телеграмме узнал и Томас Манн: о ней писатель говорит в письме Бруно Вальтеру от 26 марта 1948 года: *«Телеграмма Пфицнера Франку тоже недурна. И чудной же вы, музыканты, народ!»*<sup>12</sup> Ганса Франка повесили 16 октября 1946 года.

В 1933 году Пфицнер открыто выступил против Томаса Манна, подписав знаменитый *«Протест вагнеровского города Мюнхена»* против доклада писателя *«Страдания и величие Рихарда Вагнера»*, сделанного зимой того же года в Мюнхенском университете по случаю пятидесятилетия со дня смерти Вагнера. Доклад этот через пару дней был повторен в Амстердаме, куда Томас и Катя выехали 11 февраля, собираясь после выступлений в трех европейских столицах (кроме Амстердама, планировались еще Париж и Брюссель) и небольшого отдыха вернуться домой. Но в Германию они больше не вернулись, оказавшись до конца жизни в изгнании.

Так Томас Манн на себе почувствовал, как музыка может служить злу, а музыканты — преступникам. Эта история заслуживает отдельного разговора, который, надеюсь, мы еще проведем. Закончить же тему «музыка под знаком Сатурна» мне хотелось таким эпизодом. В заключительной главе своего *«Романа одного романа»* Томас Манн, покаявшись в своей *«глубокой приверженности к миру Вагнера»*, искусство которого оказалось *«чудовищно посрамленным ролью, выпавшей на его долю в национал-социалистском государстве»*, пишет о работе над последней главой *«Доктора Фаустуса»*:

«XLVII глава, глава собрания и исповеди, была начата на авось во второй день нового года, и, помнится, в тот же вечер я слушал чудесное си-мажорное трио Шуберта, предаваясь мыслям о счастливом состоянии музыки, сказавшемся в этом произведении, о позднейшей судьбе искусства, о потерянном рае» (IX, 361).

<sup>12</sup> Mann Thomas. Briefe 1848-1955 und Nachlese. Hrsg. von Erika Mann. S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 1965, S. 29.

В дневниковой записи за тот же день — четверг 2 января 1947 года — мы читаем: «...по вечерам знакомое трио Шуберта. Счастливое состояние музыки. Хорошо бы, чтобы она оставалась на этом уровне» (Tagebücher 1946—1948, 83).

Писатель признается, что есть и другие уровни, далекие от счастья. Музыка, созданная под влиянием меланхолии, под знаком Сатурна, неминуемо ведет к союзу с чертом. Этому научил Томаса Манна горький опыт национал-социалистической Германии.

Конфликт живой, теплой неупорядоченности и застывшего, холодного порядка — сквозная тема творчества писателя. Казалось бы, математика, вносящая в мир систему, олицетворяющая «меру, число, вес», тоже противостоит жизни, ее непознанной магии и тайне. Но введенный с картины Дюрера в роман «Доктор Фаустус» магический квадрат ломает эту простую схему. Этот математический объект символизирует тайну создания музыкального произведения, одновременно являясь противоядием от страшной меланхолии и тоски, убивающих все живое и толкающих человека к союзу с дьяволом. «Слияние разума с магией» — вот чем оказывается математика у Томаса Манна. Думаю, что многие математики с ним согласятся.

---

---

Николай НАБОКОВ

# МУЗЫКА ПОД НАДЗОРОМ ГЕНЕРАЛОВ

## Глава из книги<sup>1</sup>

### ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. НЕБЫВАЛЬЩИНА

Неуемная страсть писателя Владимира Набокова к каламбурам, литературным мистификациям и тому подобным изобретениям общеизвестна. Говорят, что собран целый словарь словесных придумок Набокова. И что он постоянно пополняется. Лукавое разнообразие, многоцветье и манящая загадочность, которыми пестрят романы, повести, рассказы и эссе Набокова, сравнимы разве что с невестами гоголевского Ивана Федоровича Шпоньки, которые, призывно подмигивая, выглядывали из его карманов или висели на ветках яблонь в саду его тетушки. Смех смехом, но вряд ли найдется читатель или критик, который бы не поддался на этот вызов Набокова и, едва закрыв книгу, не попытался бы угадать, не таится ли что-то за той или иной тронувшей его воображение проделкой Набокова. И — не бросался бы к словарям, умным книгам и трактатам. Я знаю от многих историков литературы, текстологов, библиографов, какие открытия им удалось совершить в эпоху триумфального «возвращения» Набокова на родину, когда возникла целая наука — набоковедение...

В одном из летних номеров «Нового журнала» за 1947 год Набоков опубликовал стихотворение под названием «К кн. С. М. Качурину («Качурин, твой совет я принял...»)). В нем автор рассказывает о своей поездке в большевистскую Россию, в Ленинград: якобы шатается там в толпе советских людей на берегах Невы, у Ростральных колонн, Медного всадника. Подано все красочно, реально и зримо: как не поверить. И народ «клюнул». Слух пошел! И был услышан: некоторые приняли эту шутку за чистую монету. Другие недоумевали, но — верили на слово...

И все-таки это было так не похоже на Набокова: все знали его отношение к навсегда покинутой и поруганной России. И слушок быстро заглох... Я даже боюсь вообразить, какой шедевр мог бы выйти из-под пера зоркого, ироничного Набокова, случись его тайный визит на Большую Морскую и в Рождествено в реальности...

1993 год, многоэтажная, разноликая, разноцветная Америка накануне Рождества, Нью-Йорк. Самый что ни на есть холодный, метельный, пепельный конец декабря. Я в гостях у профессора русской литературы Марины Викторовны Летковской, кухни В. В., в ее маленькой квартире на девятнадцатом этаже на самом отшибе Манхэттена. Долгая беседа, скромная гостиная, икона в красном углу, скатерка с русской вышивкой, коричневый абажур, чуть ли не из ДЛТ, с вытертой бахромой, скромный чай с петушком, печенье «Мария»... И мои вопросы, вопросы, вопросы: о Набокове, его матери, отце, бабушке, о Вере Евсеевне, Дмитриии, о внуках — обо всем! Мы оба немного устали. И Марина Викторовна решила поменять тему

---

<sup>1</sup> Старые друзья и новая музыка». Перевод с английского и примечания М. А. Ямщикова.



и принялась подробно, живо рассказывать о своей последней поездке в Ленинград, на конференцию в Пушкинский Дом: тут и Исаакий, и Медный всадник, и Нева, и Зимняя канавка — все те места, где жили, гуляли, встречали гостей и откуда уехали навсегда ее дедушка и красавица бабушка, Елена Ивановна; потом достала из шкафчика под столом альбом фотографий той своей поездки...

Я, осмелев, перебил Марину Викторовну и спросил: правда ли, что ее дядя, Владимир Владимирович, посетил инкогнито Ленинград сразу после войны и видел те же места, что и она, и даже ездил в Рождествено... Она оживилась (крепкая, стройная, красивая немолодая женщина), сверкнула глазами и, волнуясь, сказала, что это все из-за того стихотворения дяди Володи к какому-то русскому князю... А вообще, продолжала она, та история не стоит ломаного гроша от начала до конца, и прямо беда, что многие люди поверили в чушь, что, мол, «дядя Володя» был переодет не священником, как в стихотворении, а американским полковником, почти не говорившим по-русски, и что однажды он чуть себя не выдал чекистам, пытаясь купить билет на поезд в Сиверскую за доллары... И вдруг добавила (от чего я чуть не подпрыгнул), что все в том стихотворении взято умышленно дядей Володей из рассказов ее любимого дяди Коли, кузена Николааса Набокова. И что дядя Коля, композитор, и впрямь был с русскими гражданскими и генералами в 1945 году в Берлине на самой короткой ноге. И что это он был в чине американского полковника и по долгу службы постоянно, чуть ли не целых полтора года (с мая 1945-го), жил при русской военной резиденции в Берлине. Более того, свой военный френч и награды он хранил и иногда красовался в нем перед семьей, и, конечно, дядя Володя все это видел и знал. Да и жили они неподалеку... Дядя Коля и после войны сохранил дружбу со многими генералами и полковниками, с которыми тянул ляжку по разделению Германии на зоны... И они даже потом частенько приглашали его в Москву и в Ленинград — уже просто как друга и музыканта, родившегося в России. «Я ему дважды отсоветовала сама, — продолжала она, — теперь жалею, но, кажется, он все же ездил в свою Ловчу... Может, то стихотворение было написано дядей Володей от зависти?» И тут же рукой, жестом отмела предположение. «А вообще-то, — вновь заговорила Марина Викторовна, — про работу дяди Коли в американской военной миссии есть целая глава в его книге о музыке и музыкантах, которую у вас почему-то не знают и не переводят, наверное, потому, что в ней почти не упоминается писатель Владимир Набоков». Через минуту я уже держал в руках книгу Николая Набокова «Старые друзья и новая музыка».

Готовя для публикации очередную главу из нее, ту самую — про генералов и 1945 год, что теперь перед вами, я среди массы имен американских и русских вояк наткнулся на фамилию советского полковника Сергея Ивановича Тюльпанова, из Ленинграда. Ба! да я же знал его, в гостях бывал — чай гонял... Быстро лезу в нижний ящик стола и в старой записной книжке нахожу: Тюльпанов С. И, генерал в отставке, университет, кафедра политэкономии; Лесное, Институтский переулок, д. 18, кв. 1, первый этаж... И телефон.

И тут из памяти всплыла застрявшая в ней давняя картина: голый шаровидный череп, склоненный под постоянно горевшей (днем и вечером) настольной лампой с абажуром, в окне первого этажа старинного особняка в Лесном. Он торчал у меня перед глазами всякий раз, когда я приходил в квартиру к своими старшим друзьям — профессору Лесотехнической академии, писателю-охотоведу А. А. Ливеровскому и его жене Елене Витальевне (мы дружили семьями более 20 лет).

Я даже взял за привычку, проходя мимо, мысленно, для порядка здороваться с этой головой. И вот однажды, когда любопытство достигло предела, я решил спросить у друзей, что это за чудак торчит у окна целыми днями.

Оказалось, что лысая голова принадлежит генералу в отставке, профессору, заведующему кафедрой политэкономии университета Сергею Ивановичу Тюльпанову, поселившемуся в их доме еще до войны, в пору работы преподавателем химии в Лесотехнической академии. Он меломан, знаток европейской живописи, переводчик Гёте и Шиллера. Крестьянский сын, из раскулаченных, рабфаковец, по матери латыш, беспризорник, красноармеец в Гражданскую, в наше время дошел до генерала. Но генерал не боевой, а контрразведчик. Сейчас пишет мемуары, принимает аспирантов, составляет программы для студентов; труженик; не затворник, создал «школу» политэкономии. Во время моих трех интереснейших встреч с Сергеем Ивановичем у него дома упоминалось великое множество имен политиков и военных самого разного калибра и званий. Как немецких: В. Пик, В. Ульбрихт (соседи рассказали, что Вальтер Ульбрихт был его самым близким другом, встречались «по-домашнему», приезжал к нему в переулок во время своих официальных визитов в СССР). Так и наших: Жуков, Чуйков, Жданов, Суслов, Берия. И естественно, много ученых, музыкантов, художников, поэтов...

**Евгений БЕЛОДУБРОВСКИЙ**

## **ГЛАВА 12. МУЗЫКА ПОД НАДЗОРОМ ГЕНЕРАЛОВ**

«Мистер Набикалф, мистер Набикалф, торопитесь, мы опаздываем, — раздался снизу голос Блинтца. — Уже половина пятого». («*Es ist schon nach halb vier*», нем.). «Черт бы побрал этого немца и его скрипучий голос», — проворчал я, протирая мои «pinks» бензином из зажигалки, пытаюсь удалить большое пятно и вместо этого образовав еще больший круг вокруг него. Я бросил «пинки» обратно в стенной шкаф, подхватил «olives»<sup>2</sup>, слегка почистил и, застегивая мундир, устремился вниз по лестнице. Блинтц, спокойный солдат (GI — джи-ай, американский военнотруженик) родом из Гамбурга, стоял внизу лестницы и покачивал головой.

«Всегда опаздываем, всегда опаздываем», — бормотал он, когда мы шли к садовым воротам. «Если бы *Koernel* (полковник, нем.) Никольсон был там» («*Wenn der Koernel Nicholson da waere...*») — он перешел на немецкий.

«О, перестаньте ворчать, Блинтц, — перебил я его, — и, ради бога, почему вы не говорите по-английски?»

С надутым видом он уселся на место водителя изношенного «форда-седана», нашей так называемой «штабной машины». «Это не я собираюсь в оперу, — начал он ворчать снова, когда мы поехали по направлению к улице Королевы Луизы (Koenigen Luise Strasse), — вы сами знаете, как долго добираться до русского сектора; *кроме того (ausserdem, нем.)*, мы должны подхватить двоих *Koernels* (полковников, нем.) и господина майора Боровского». Блинтц был надутым с тех пор, как мой друг «*Koernel*» Никольсон и я получили его в наследство от генерала. Он искорежил генеральский «суперлюкс, с левым рулем, модернизированный O. W. I. P. W.» бьюик и теперь, пониженный в статусе, возил какого-то «*Koernel*» и какого-то «штатского»<sup>3</sup>, то есть меня. «И что такое (*Und was ist*) штатский в армии? — бывало, спрашивал он риторически. — *Дрянь! (Dreck — грязь, сор, дрянь, нем.)* Хуже, чем Т/4!»

Мы остановились, чтобы подхватить «*Koernels*», но они уже уехали с генералом, а у «герра» майора Боровского болела голова после выпитого. «Кроме того, — сказал он, — какого дьявола мне нужно ехать и высидывать какую-то оперу!» Мы

<sup>2</sup> Olives — форма цвета хаки.

<sup>3</sup> В тексте *cifilian*, правильно *civilian* — штатский (англ.).

поехали в сторону серых сводчатых галерей разрушенной центральной радиостанции и повернули на главную магистраль, ведущую с запада прямо в русское сердце Берлина. Я посмотрел на часы. Было 4:05. Опера начиналась в 4:30. Времени достаточно, подумал я, но Блинтц продолжал ворчать. «Вы знаете, как это бывает с русскими (*mit die Russen*, нем.), — сказал он, — они не умеют управлять уличным движением»<sup>4</sup>. А сегодня там будут все генералы: наши, английские, французские. Мы наверняка опоздаем. Мы въехали в пустую аллею Бисмарка мимо недавно расчищенных куч щебня и добрались до Тиргартена<sup>5</sup>, берлинского парка, когда-то пышного и тенистого, а теперь превращенного в голый пустырь.

«Как быстро они справились с этим», — подумал я, глядя на мокрый ствол дерева, который волокли две растрепанные женщины. Только два месяца назад союзники милостиво согласились на просьбу бургомистра и разрешили берлинцам спиливать то, что осталось от их большого парка. Теперь он был весь очищен, деревья вывезены, парк пожрали маленькие железные печки в замызганных прихожих и сырых кухнях. Тиргартен стал похож на пустой морг под низкими зимними облаками.

Мы миновали колонну Победы<sup>6</sup> с французским флагом, бешено хлопаящим на ветру, проехали Бранденбургские ворота и вступили в русский сектор. Здесь портрет генералиссимуса, обрамленный покрытыми мхом гирляндами и мокрыми красными флагами, стоял на страже у входа в руины Унтер-ден-Линден<sup>7</sup> — обсаженного липами проспекта. Направо высилась чудовищная пустота отеля *Адлон*<sup>8</sup>, налево простиралось сплошное море руин и щебня. Перед моим мысленным взором промелькнул вид этого места шесть месяцев назад.

...Весь проспект забит строительным мусором. Перед *Адлоном* стоят два грузовика. В кузове первого — гора меди: тубы, трубы и тромбоны, покрытые тяжелыми бухарскими коврами. На вершине ковров сидят три угрюмо глядящие солдата с монголоидными чертами лица. Их форма изорвана в клочья. Они едят хлеб. Второй грузовик — в нерабочем состоянии, на трех колесах, блокирует движение. В его кузове — тысячи непокрытых пишущих машинок, среди которых стоит мычащая корова. Два молодых русских офицера сняли четвертое колесо и под взглядами молчаливой толпы оборванных детей проверяют внутреннюю камеру шины в тазу с грязной водой...

Как только мы повернули налево на Фридрихштрассе<sup>9</sup>, то попали в ужасную дорожную пробку. Блинтц был прав. Узкий проезд в центре улицы, напоминавший извивающееся русло реки между высокими берегами из щебня, был заполнен машинами всех мастей: американские и английские штабные со звездами сзади; огромные черные лимузины «хорьх», заполненные офицерами в русской форме; джипы, военные американские автобусы, неписуемые немецкие автомобили с кузовами «седан», крохотные «опели» и спортивные БМВ с французскими триколорами. Все они в бесконечной колонне буксовали, гудели, водители ругались на четырех различных языках. Когда мы в конце концов добрались до Винтергартена<sup>10</sup>, двор

<sup>4</sup> Блинтц неоднократно вместо *th* употребляет *d*, например, *deu*, *dere* вместо *they*, *there* и т. д.

<sup>5</sup> Улица Королевы Луизы — улица в центре Берлина, названная в честь Луизы, принцессы прусской (1800—1870). Аллея Бисмарка — улица 17 Июня с памятником первому рейхсканцлеру Отто фон Бисмарку. Тиргартен — парк в центре Берлина.

<sup>6</sup> Колонна Победы — памятник истории Германии, расположена в центре Тиргартена, на площади Звезды, открыта 2 сентября 1873 года.

<sup>7</sup> Унтер-ден-Линден («Под липами») — один из главных и наиболее известных бульваров Берлина, получил название из-за украшающих его деревьев.

<sup>8</sup> Отель «Адлон» — фешенебельный отель в центре Берлина, открыт в 1907 году, выгорел в 1945 году. Современное здание принято в эксплуатацию в 1997 году.

<sup>9</sup> Фридрихштрассе — знаменитая магистраль в центре Берлина, проходит с севера на юг.

<sup>10</sup> Винтергартен — берлинский музыкальный зал, который помещался в Прусской государственной оперной компании.

был почти пуст. Только немногие опоздавшие выпрыгивали из автомобилей и торопились ко входу. У двери два офицера в длинных серых шинелях и фуражках с синими околышами (цвета войск безопасности МВД) потребовали приглашение: «Пожалуйста... *пригласительный билет?*» (*Bitte sehr... Einladung?*) Я протянул большой штампованный билет с нанесенными на него золотыми серпом и молотом и корявым текстом: «*Главнокомандующий* [С. I. С] Военных сил СССР и *Главноначальствующий* [Governor — комендант] Советского военного правительства для Германии имеет честь пригласить *господина (gospodin)* Н. Набоков ...» Я пересек пустой вестибюль, и когда поднялся по плюшевой, великолепной лестнице, два молодых солдата в темно-зеленой парадной форме отдали мне честь. Зал был темным. Занавес поднят. Музыка заиграла. «Боже, — сказал я себе, узнавая вкрадчивые звуки *Мадам Баттерфляй* и вспоминая программу спектакля, — никак старая знакомая!» (not that old thing!).

Сцена, представлявшая из себя лабиринт экранов, украшенных драконами (be-dragoned screens), и бамбуковых абажуров, была сзади залита индиговым светом — от неба гавани Нагасаки. Слева на сцене, в креслах-качалках, сидели лейтенант Пинкертон (U. S. N.)<sup>11</sup> (тенор) и американский консул, м-р Шарплесс (Sharpless) (баритон). Между ними на небольшом плетеном столе стояли два стакана, графин для воды и бутылка шотландского виски Vat 69<sup>12</sup> в ведре со льдом. Высоким голосом, по-немецки (лингва-франка, язык общения, принятый в это время в Берлине) лейтенант Пинкертон пригласил м-ра Шарплесса выпить «молока (Milch, нем.), пунша или (*oder*, нем.) виски» и затем продолжил свою громкую удалую арию об «Американских удовольствиях (*Freuden*, нем., pleasures)» и «Американских путешествиях (*Reisen*, нем., travels)»<sup>13</sup>.

Ступая по сапогам и ботинкам, я прошел к своему месту в середине восьмого ряда. Странно освещенный светом от интерьера жилища лейтенанта Пинкертона в Нагасаки, зал представлял собой причудливое и необычное зрелище. Сотни рядов громадных яиц с нарисованными на них носами, ртами и бровями располагались поверх мерцающих погонов, цветных лацканов, грудей, украшенных лентами и медалями, в добавление к вертикальным рядам золотых пуговиц. Все застыло без движения. Со всех направлений, с каждого уровня огромного темного зала «яйца» смотрели на сцену. Это напоминало внутренность гигантского инкубатора, чудовищный питомник некоего военного властелина, при этом каждое из фантастических яиц держал в руках расфранченный манекен.

«А, вот и вы, Ник. Я чертовски рад, что вы здесь», — раздался слева от меня громкий шепот с заметным южным акцентом. Я повернулся и увидел лысый профиль генерала Х, так похожего на ехидну. «Вы знакомы с полковником W, не так ли? — и он представил меня своему соседу. — Ник работает здесь для Боба Макклупра (Bob McClure) в Информационном контроле, — прошептал генерал полковнику. — Он разбирается в музыке и говорит этим фрицам (the Krauts), как с ней поступать». Он хохотнул так, что все его тело дрогнуло, и добавил: «Он сможет рассказать нам, о чем вся эта чертова чепуха (this G. D. thing, god-damn?)».

Пытаясь говорить предельно тихо, чтобы не мешать лейтенанту Пинкертому перечислять преимущества японской женитьбы<sup>14</sup>, я начал объяснять, что дают *Ma-*

<sup>11</sup> Военно-морские силы США.

<sup>12</sup> Vat 69 — марка известного шотландского виски. Бренд основан в 1882 году шотландцем Сандерсоном.

<sup>13</sup> В тексте: «Yankee Freuden» (pleasures) and «Yankee Reisen» (travels).

<sup>14</sup> В тексте приведена фраза на немецком языке, после которой дан английский перевод: «Es kann monatlich anulie-jert werden» («Она может быть отменена в следующем месяце»).

дам *Баттерфляй*, итальянскую оперу Пуччини, сюжет которой имеет в своей основе историю, рассказанную двумя итальянцами — Лонгом и Бе...<sup>15</sup>

«Мне наплевать, кто написал эту чертову историю, — перебил генерал, — я хочу знать, кто эти два пугала и что делает этот немец, — он указал на лейтенанта Пинкертона, — в американской форме».

«Они пьют виски», — заметил сухо полковник W.

«Виски, подумать только! — сказал генерал. — Лошадиная моча. Ясное дело, немецкая лошадиная моча»<sup>16</sup>.

«Тише, хватит вам», — прошептал сердито человек в форме впереди нас. «А, это американцы!» (*Silence, s'il vous plait. Ah, ces Américains!* фр.).

«Продолжайте, плевать на французов», — сказал генерал и приблизил ухо к моим губам.

Я начал пересказывать сюжет *Мадам Баттерфляй*, и по мере того, как я продолжал, его лицо начало меняться. Из приветливого оно стало серьезным, из серьезного мрачным, из мрачного сердитым, из сердитого гневным. «Послушайте. ведь это же оскорбление! — он взорвался громким шепотом. — Вы хотите сказать, что американский офицер сделал беременной эту японскую девушку, — он указал на Чо-Чо-Сан (Cho-Cho-San), — а затем вернулся домой и женился на другой? Это возмутительно!» Его лицо стало багровым от бешенства. «Как ты считаешь, Билл?» — он повернулся к полковнику. Тот кивнул, выражение его лица стало таким же мрачным, как у генерала. «Неужели они не знают, что американский офицер, если бы сделал это, был бы отдан под военный трибунал?»

«Замолчите, пожалуйста», — сказал другой офицер хриплым шепотом с грубым русским акцентом (*Wollen Sie bitte schweigen*). Большое яйцо повернулось вокруг своей короткой коренастой талии и заметило с чувством: «Мы хотим слушать музыку», после чего повернулось обратно, что сопровождалось звоном медалей («*Wir wollen Musik horen*», нем.).

«О, черт возьми», — пробормотал генерал. Он отвернулся от сцены и перестал смотреть на нее. Мы сидели остаток акта в неловком, застывшем молчании. Только к концу, когда после обильного слезливого пения и небрежных поцелуев и объятий Пинкертона и Чо-Чо-Сан собрались удалиться в так называемую «свадебную комнату», генерал снова взглянул на сцену. «Почему эти чертовы с... сыны... (G. D. S. O. B. 's)»<sup>17</sup> — пробурчал он, в то время как занавес стал опускаться и несколько тысяч армейских ладоней начали хлопать, производя шквал аплодисментов.

Я незаметно быстро улизнул, прежде чем загорелся свет, но мой сосед успел заметить мое исчезновение. Я поспешил наверх, к ломам, пытаясь найти кого-нибудь, кто мог бы спрятать меня в своей ложе. Но ни одного знакомого не нашел. Густая толпа медленно двигалась вниз по лестнице по направлению к фойе. Я последовал за ней. Спускаясь по лестнице, я обнаружил небольшую боковую дверь и выскользнул наружу.

Большие снежные хлопья медленно мелькали в свете кривого фонарного столба. Группы союзных военных стояли вокруг него, курия и разговаривая приглушенными голосами. За фонарным столбом было темно и тихо. Я пошел в темноту по направлению к улице. Повернул направо и двинулся через жидкую грязь к Шпрее<sup>18</sup>. Там, около отсутствующего моста, при тусклом свете фонаря попытался закурить. Увидел

<sup>15</sup> Опера Джакомо Пуччини, либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы, по мотивам драмы Давида Беласко, которая является обработкой новеллы Джона Лютера Лонга.

<sup>16</sup> Приведенное в тексте *orse-piss* — сокращение от *horse-piss*, что переводится как *слабое вино*, точнее — *бурда*.

<sup>17</sup> G. D. S. O. B. — *god damn son of a bitch*.

<sup>18</sup> Шпрее — судоходная река, часть водного пути Эльба—Одер.

надпись на четырех языках: ОБЪЕЗД, МОСТ ВЗОРВАН; VORSICHT, BRUCKE GESPENGT; ATTENTION, PONT SAUTE; STOP, BRIDGE OUT. Спички отсырели и не зажигались. Я просто постоял некоторое время в тишине вечера, дыша холодным, промозглым воздухом, отравленным отвратительным запахом распада. Когда я повернул обратно, какая-то фигура вынырнула из темноты и подобрала сигарету, которую я бросил.

Я выругался, вернувшись к театру и обнаружив, что антракт все еще продолжается. «Теперь он увидит меня, и я не смогу отвязаться от него». Я стоял снаружи и ждал, но звонок прозвенел, и последние курильщики поспешили в фойе. Я последовал за ними и, подталкиваемый идущими, направился к входу в оркестровые места. Я почти проскользнул внутрь театра, когда знакомый голос закричал: «Он здесь», — и генерал потащил меня за рукав в коридор. «Где вы были? — спросил раздраженно генерал Х. — Мы с Биллом нигде не могли вас найти! Вы исчезли среди этих русских. Пошли, мне нужно поговорить с вами». Он отвел меня в пустой угол коридора. «Скажите, Ник, — начал он, — вы знали об этой чертовщине, — и он указал в направлении театра, — прежде, чем пришли сюда сегодня вечером?» Я ответил, что знал; это было напечатано на приглашении. «Вы хотите сказать, что *знали* об этом! — воскликнул он. — Вы знали, что *они* собираются разрешить этим фрицам (the Krauts) надеть американскую форму и проделать весь этот... оскорбительный... клеветнический вздор! И вы ничего *не сделали!* Вы не протестовали?»

Я объяснил, что полагал, что не было ничего, против чего нужно было протестовать. «Кроме всего прочего, генерал, — сказал я самым успокаивающим тоном, каким только мог, — *Мадам Баттерфляй* поставлена в Нью-Йорке, в Мет<sup>19</sup>, и повсеместно в Соединенных Штатах. Это известная опера... это классика... эта музыка известна...»

«Я знаю, я знаю, — прервал он, — я слышал, что наш оркестр играл эту чертову музыку в Форт-Уэрт<sup>20</sup>, и при этом лучше, чем эти немцы. Я говорю не об этой музыке. Я говорю об *этой пьесе*. Я хочу сказать, что эти омерзительные ублюдки поставили ее специально. Это рассчитанное оскорбление Америке и ее вооруженным силам. Мы *должны* протестовать. Ты так не думаешь, Билл?» — он повернулся к полковнику. Тренированные жевательной резинкой «Ригли»<sup>21</sup> челюсти полковника двигались в молчаливом согласии. «Если вы позволите этим русским оставаться безнаказанными, — продолжал генерал, — вы скоро будете иметь их... они скоро будут... они скоро будут иметь нас... » И, не найдя подходящих слов, он в гневе повернулся ко мне и стал потрясать пальцем: «Я собираюсь звонить Бобу Макклору (Bob McClure) и предложить ему завтра же подать протест и требовать извинений». Он надел фуражку, застегнул на все пуговицы мундир и двинулся к лестнице. «И если Боб Макклур ничего не сделает с этим, — рявкнул он, — я обращусь к Люсиусу Клею (Lucius Clay)».<sup>22</sup>

## ПРОБЕЛ В ТЕКСТЕ

Да, зимой 1945–1946 годов музыкальная жизнь в Берлине была действительно сложной. Но она была едва ли лучше, чем где-нибудь в Германии в первые

<sup>19</sup> Метрополитен-опера.

<sup>20</sup> Fort Worth — город в США, часть мегаполиса Даллас-Форт-Уэст.

<sup>21</sup> Wrigley — американская компания, известный производитель жевательной резинки и кондитерских изделий. Основана в 1891 году.

<sup>22</sup> Клей, Люсиус (Lucius Clay) — (1897–1978) — американский генерал, глава администрации американской зоны оккупации послевоенной Германии.

месяцы оккупации. Берлин был только центром катастрофы, которую генералы унаследовали от *гауляйтеров*<sup>23</sup> (*Gauleiters*, нем) после разрушительной работы Военно-воздушных сил Соединенных Штатов и Англии и после Ялтинских соглашений. Берлин был только *более* коррумпированным, *более* нездоровым, *более* испорченным местом, чем остальная Германия, и его очевидная болезненность была более очевидной, потому что он стал местом нахождения самого бессильного правительства в мире, неэффективного, неуклюжего и абсурдного.

Когда я прибыл в Берлин в августе 1945 года, союзники разделили музыкальных немцев между собой и контролировали их активность с различной степенью строгости и поддержки. Три больших организации, в которых звучала музыка — Государственная опера, Берлинская муниципальная опера и Филармонический оркестр, — отошли, соответственно, к русским, англичанам и американцам (появились *их* немцы, *ваши* немцы и *наши* немцы). Французы, опоздавшие на церемонию раздачи призов, не получили ничего. Им пришлось соглашаться на случайные подарки других союзников, в виде или концертов Филармонического оркестра в их части пространных берлинский руин, или в виде временного использования дома Муниципальной или Государственной оперы для представлений «Комеди Франсэз»<sup>24</sup> (*Comedie Francaise*, фр.) или оркестра консерватории.

Контроль за немецкой музыкой со стороны американских генералов был на первый взгляд достаточно разумным. Он был основан на принципе, хорошо выраженном покойным королем Саксонии<sup>25</sup>, который, отрекаясь от престола, обратился к делегатам Конституциональной ассамблеи со словами: «Теперь вы можете сами делать все свои гадости».

Официально предполагалось, что мы имели дело только со следующим:

Изгонять из немецкой музыкальной жизни нацистов и давать разрешение заниматься музыкой только тем немецким музыкантам (давая им право заниматься своей профессиональной деятельностью), кого мы считали «чистыми» немцами.

Контролировать программы немецких концертов и проверять, чтобы они не превращались в националистические манифестации.

Охранять и защищать те «памятники» и «сокровища» германской культуры, которые вследствие победы попали в наши руки.

Предполагалось, что все остальное оставлено на усмотрение самих немцев и не является делом офицеров Музыкального контрольного отдела Информационного контрольного отделения Военного правительства Соединенных Штатов для Германии. Считалось, что функции этого отдела исполнял я, как один из советников генерала Макклера на «четырёхстороннем уровне», если использовать берлинский жаргон того времени. Конечно, подобно большинству политик, наша была далека от реальности. Хотя мы успешно поохотились за нацистами и запретили деятельность нескольких известных композиторов, пианистов, певцов и оркестровых музыкантов (большинство из которых вполне заслужили это, а некоторым и сегодня<sup>26</sup> следовало бы оставаться под запретом), эта охота, как она замышлялась нашей политикой, заполнила бы только малую часть времени усердных, полных энтузиазма молодых американцев в униформе — офицеров музыкального контроля по всей нашей зоне Германии (большинство из них были в граждан-

<sup>23</sup> Гауляйтер — высшая партийная должность национал-социалистической немецкой рабочей партии областного уровня.

<sup>24</sup> «Комеди Франсэз» — единственный во Франции репертуарный театр, финансируемый правительством. Основан в 1680 году.

<sup>25</sup> Король Саксонии отрекся от престола в 1918 году.

<sup>26</sup> То есть в 1947 году, когда была написана книга.

ской жизни профессиональными музыкантами или серьезными любителями музыки), которые пытались помочь немцам восстановить подобие, крохотную часть культуры на руинах двенадцатилетнего нацистского *рейха* (Nazi Reich, нем.).

Неофициально же нам приходилось подыскивать залы и дома для работы оркестров и консерваторий, для исполнения опер, находить уголь, чтобы обогреть эти дома, лампочки, чтобы освещать их, инструменты для оркестров, еду для музыкантов. При этом вопросы, возникавшие на штабных совещаниях, включали такие деликатные проблемы, как, например, заслуживает ли тромбонист паек с большим количеством калорий, чем музыкант-струнный, то есть необходимо ли больше калорий, чтобы дуть в тромбон, чем водить смычком по контрабасу. Разбомбленные оркестровые библиотеки нуждались в партиях (инструментов) и партитурах; композиторы — в нотной бумаге и чернилах; оперные театры — в актерах и костюмах; и каждый нуждался в жилище, еде и топливе. К счастью, «наш» генерал был одним из очень хороших генералов: он поддерживал работу своих офицеров и позволял им делать тысячу и одну тяжелых текущих работ, необходимых для того, чтобы все шло как надо. Он боролся со своими начальниками против узости и близорукости нашей политики, ему досталось забот в том прибежище отчаяния, каким был Берлин в 1945–1946 годах.

Советский курс отличался от нашего. Проблема «чистых рук» по отношению к нацистам и коллаборационистам не волновала русских. В самом начале они поместили тысячи нацистов в лагеря МВД, похитили и убили других, в то же время подвергнув Берлин и другие немецкие города чудовищному средневековому разграблению, но когда все было кончено, начали использовать нацистов (нацистских дирижеров, артистов и певцов), когда бы и где бы ни находили это полезным. Поверхностно они соглашались с нами в необходимости денацификации, но, как и в большинстве других случаев «четырёхсторонних соглашений», не принимали во внимание их полностью всегда, когда считали, что соглашения препятствуют их независимой политике по отношению к Германии.

Публично по отношению к немцам они начали с самого начала играть роль покровителей немецкого искусства, немецкой музыки и немецкой культуры, и, как следствие этой пропагандистской *Kulturtraegertum* (несения знамени культуры, распространения культуры, нем.), начали сначала тайно, а затем открыто сурово осуждать американцев и англичан за подавление немецкой культуры, тыча указующим перстом в нашу «политику предоставления свободы действий». В то время как мы стояли в стороне, русские грубо запугивали немцев, говорили им, что надо делать и как делать, приказывали им возобновлять оперные и балетные постановки в невероятно короткие сроки, говорили им, что играть и что не играть, заставляли присоединиться к Социалистическому Союзу или Коммунистической партии под угрозой потерять работу или соблазняя получением лучшего нормированного продовольствия. Русские власти представляли немцам в качестве высочайших примеров великой советской культуры русские хоры, ансамбли танцоров, певцов и виртуозов-исполнителей, привлекаемых для развлечения советских оккупационных войск и чиновников их военного правительства.

Эти «закрытые» концерты для советских военных, проводимые привозными русскими артистами, были любопытными мероприятиями, отражающими средние русские вкусы, и поэтому посещение их представляло несомненный интерес. Я не раз бывал на них, когда меня приглашали мои «коллеги» из советского военного правительства (в их числе майор Дымшиц, м-р Фартучный и генерал Попов). Однажды, после одного из концертов, эти джентльмены взяли меня в своего рода клуб молодых офицеров в Карлсруэ, в северной части Берлина. Там располагалась



штаб-квартира Советской военной администрации. Кроме моих советских «коллег» (opposite numbers, O. N.), на этой встрече были и другие советские граждане — русские артисты и актеры, как мужчины, так и женщины, военные и гражданские.

Концерт был длинным и скучным. Он начался выступлением известного русского тенора Козловского<sup>27</sup>, который спел две популярные арии из *Евгения Онегина*, *Песню Индийского гостя* из *Садко* и несколько романсов Чайковского, Глинки, Аренского и Рахманинова. Голос был несильный, но приятный. Подобно голосам многих русских теноров, он отличался сердечным лиризмом. Певец переключался с глубокого тона на мягкий фальцет с легкостью и изяществом. Он контролировал дыхание, которое было совершенно неслышно. Динамика была плавной, и интонация превосходна; но... интерпретация! Ужасный провинциальный вкус в манере исполнения, слащавая старомодная сентиментальность, напоминавшая худшие манеры американского эстрадного певца на радио. После каждого из номеров публика аплодировала и громко его приветствовала. Лица людей покраснели, глаза увлажнились. Коренастые, напомаженные, невысокие полковники и их упитанные, имеющие вполне буржуазный вид жены, в довоенных вечерних платьях, массивные броши которых удерживали V-образные декольте от выпадения наружу пышных бюстов (from bursting out under the heavy milk-farm equipment), вскочили на ноги, выкрикивали названия известных русских песен, которые они хотели услышать, и скандировали: «Би-ис... Би-ис... Би-ис». Козловский многократно пел на бис, что каждый раз сопровождалось теми же криками восторга и аплодисментами, пока наконец после того, как он показал жестом невозможность продолжения, публика не отпустила его.

Во время следующих двух номеров программы, *Второго струнного квартета* Бородина и скучноватого (oozy) *Анданте кантабиле* Чайковского, исполненных известным Московским бетховенским струнным квартетом, публика сидела в уважительном, хотя и невнимательном молчании. Люди выглядели слегка скучающими и нетерпеливыми; и когда я смотрел на мясистые лица мужчин и присыпанные тальком лица женщин, они казались мне такими скучными, такими пресными, такими провинциальными и такими ужасно мещанскими. Следующим номером было выступление некой женщины-пианистки внушительных размеров (cubical). (Я забыл ее имя, но, должно быть, она была хорошо известна; ее приветствовали шумными аплодисментами.) Она сыграла *Двенадцатую венгерскую рапсодию* Листа, два часто исполняемых ноктюрна Шопена и болезненно скучную *Полишинель*<sup>28</sup> Рахманинова.

После долгого-долгого перерыва вновь появился Козловский и исполнил для нас еще некоторое количество всего того же (stuff), что он спел прежде. Он завершил свое выступление несколькими веселыми и лихими псевдорусскими псевдонародными песнями. Затем появилась группа украинских певцов и танцоров в национальных костюмах и головных уборах; они проделали все то, что, как предполагается, украинские певцы и танцоры проделывают на сцене любого театра, концертного зала или кабаре. Танцоры-мужчины перемещались в беспорядке (kicked about) по полу, сидя на корточках, окруженные стайкой подпрыгивающих девушек, которые двигались зигзагами между ними, размахивая цветными платками. Хор, стоявший полукругом за ними, громко пел и хлопал в ладоши под бречание трех бандуристов. Последним и самым длительным номером программы было выступление известного и превосходного хора Красной армии. Армейские певцы начали с русских сентиментальных песен (Russian sentimentalism) (стиль исполнения

<sup>27</sup> Козловский И. С. (1900—1993) — советский оперный и камерный певец, режиссер, лирический тенор.

<sup>28</sup> «Полишинель» — одна из пьес-фантазий для фортепиано, сочиненных С. В. Рахманиновым в 1892 году.

которых по духу, риторике (period) и характерным чертам (quality) был сродни стилю американской барбершопианы)<sup>29</sup>, затем переключились на три-четыре старые патриотические песни времен покойных императоров Александра III и Николая II. И завершили выступление «блестящим истолкованием (исполнением)», как сказала бы *Нью-Йорк таймс*, трех прославленных патриотических советских песен последней войны: *Широка страна моя родная*, *Песня красных пионеров* и неизбежной *Песней красной кавалерии* с глухим цокотом лошадиных копыт в качестве фона<sup>30</sup>.

В течение всего этого вечера я вспоминал программу и атмосферу «патриотических» благотворительных концертов, которые проходили в начале Первой мировой войны в большом Санкт-Петербургском цирке Чинизелли<sup>31</sup>. Звучала музыка того же типа, представление носило тот же характер, реакция публики была столь же восторженной. Действительно, параллель была так велика, что временами мне казалось, что со сцены до меня доносилось дуновение старого ностальгического циркового запаха. Казалось особенно важным (и я заметил это не в первый раз), что во время всего этого вечернего представления не было никакой новой музыки. За исключением банальных песен Красной армии, в программе не было ни одного музыкального произведения, которое не было бы написано задолго до революции 1917 года, ни одного нового имени известного советского композитора.

Мои русские коллеги (O. N.'s), в частности *культурный* майор Дымщиц (Kultur Major, нем., англ.), как немцы называли его, и некоторые другие *культурные* полковники, майоры и капитаны всегда заявляли о новых «великих мастерах» советской музыки, их «выдающихся достижениях» и их «непревзойденном гении». В комитете, в межсоюзнических собраниях и в частных разговорах они ссылались на такие работы, как *Пятая* и *Седьмая симфонии* Шостаковича, как на примеры небывало высоких стандартов советской музыки. Но все эти пылкие декларации выглядели вынужденными, высокопарными и напоминающими стиль писем к «великому Сталину», печатавшихся ежедневно на первой странице *Правды*. Только однажды я действительно видел одного из таких *культурных* молодых людей, который, казалось, был искренне тронут произведением новой советской музыки. Это случилось после первого исполнения *Пятой симфонии* Шостаковича Берлинским филармоническим оркестром (или это была *Седьмая*? Кажется, я не могу по памяти различать симфонии Шостаковича). У капитана Барского, советского офицера, стояли слезы в глазах, и в течение некоторого времени он не мог говорить. Но вскоре он снова стал излагать свое «мнение» (lesson) в наилучшем прописанном (epistolary) стиле односторонней корреспонденции *Правды*.

Когда я попал в офицерский клуб после этого концерта, то подумал, что у меня будет возможность задать несколько вопросов моим русским хозяевам и на этот раз получить откровенные ответы. Я сел за продолговатый, покрытый изношенной белой материей стол, стоявший в большом, заполненном народом дымном зале. Моими соседями за этим столом были приятно выглядевший русский капитан (я никогда не видел его раньше) и девушка в лейтенантской форме с бледным, печальным лицом и черными растрепанными волосами. С нами сидели полная пианистка и несколько других артистов вечернего представления. Мои русские коллеги с бдительными ушами и глазами сидели за другим столом, в дру-

<sup>29</sup> «Barbershop» — стиль исполнения сентиментальных баллад без аккомпанемента, возродившийся в США в XX веке.

<sup>30</sup> *Песня красных пионеров* — «Взвейтесь кострами», 1922; «Мы — красная кавалерия» (Марш Буденного) — муз. бр. Покрасс, сл. А. Д'Актиль, 1920.

<sup>31</sup> Чинизелли, Гаэтано (1815–1881) — основатель первого каменного стационарного цирка в России, открыт в Петербурге в 1877 году.

гом углу комнаты. После небольшого разговора я повернулся к приятно выглядевшему капитану и спросил его, почему вечерняя программа не содержала ни одной работы современного советского композитора. Понимая, что я был одним из тех русскоговорящих иностранцев (а в то время не всех таких иностранцев называли «мерзкими тварями» и «лакеями Уолл-стрита»), который хотел бы получить искреннее объяснение, он, вместо повторения официальной пропаганды, сказал совершенно откровенно: «Видите ли, нам действительно *не нравится* музыка Шостаковича и Прокофьева... Она для нас непонятна... ее язык для нас непривычен... она слишком усложненная, слишком диссонансная... и недостаточно *мелодичная*». В то время как он говорил, пианистка и некоторые другие артисты одобрительно кивали.

«Но может быть, это только ваше личное мнение? — настаивал я. — Не восхищаются ли большинство русских людей музыкой Прокофьева и Шостаковича?»

«Да, мы в самом деле... *восхищаемся* их музыкой, — ответил он, делая ударение на слове „восхищаемся“, — но ведь восхищаться и нравиться — это не одно и то же, не так ли?» — и он улыбнулся в оправдание.

«Большинство у нас, в России, — вмешалась девушка-лейтенант справа от меня, сказав *Россия* вместо обычного *Союз* (Union), — не любят слушать эту новую музыку. Когда я иду в концерт, я хочу слышать программу точно такого же типа, что мы слышали сегодня. Вы не думаете, что это был прекрасный концерт?»

Я часто слышал эти мнения, особенно в тех случаях, когда после выпивки и закуски советские люди, бывало, отбрасывали чопорность и забывали о присутствии иностранца или бдительных ушей моих «советских коллег» (O. N. 's). Позже, когда произошла музыкальная чистка и лучшие советские композиторы были публично выпороты мистером Ждановым, я вспомнил мнения средних, полуобразованных русских, которые я слышал в Берлине, Лейпциге, Дрездене. Мне пришло на ум, как сильно их точка зрения соответствовала таковой Политбюро и Сталина или, скорее, как близко их вкусы и мнения в отношении музыки (представленные в постановлении Центрального Комитета Коммунистической партии) отражали невероятно устарелые провинциальные и ограниченные вкусы нового необразованного среднего слоя советского общества.

## ПРОБЕЛ В ТЕКСТЕ

Но главная цель моего приезда в Берлин и работы в штабе генерала Макклурра имела мало общего с пересчетом калорий немецких тромбонистов или с наблюдением за русскими вкусами в музыке. Моя задача была другой и на первый взгляд казалась простой и неотложной. Ожидалось, что я найду (или, скорее, выслежу) тех русских в советской администрации, чья задача была такой же, как у генерала Макклурра, то есть контроль немецкой прессы, публикаций, радио, фильмов, театра и музыки. После нахождения неуступчивых субъектов я был обязан убеждать их в неотложной необходимости и всеобщей полезности учреждения Четырехстороннего управления информационного контроля, совместно с англичанами, французами и американцами. Такое управление затем было бы принято как тринадцатое или четырнадцатое дитя счастливой военной семьи, названной Союзной контрольной комиссией.

Эта задача, которая казалась такой простой и определенной, оказалась запутанной, сложной и бесконечно трудной. Если бы это не представляло интереса для меня самого, я бы отделался от нее, я бы сдался через две недели после прибытия в Берлин. Поначалу мои трудности при разбирательстве в структуре советской во-

енной бюрократии в Берлине казались обычными. Она представлялась просто другой формой пентагональной тайны (pentagonal mystery), с которой я сталкивался в нашей собственной бюрократии<sup>32</sup>. Из опыта я знал, что в тайны бюрократии следует проникать постепенно и что техника проникновения должна быть основана на (а) упорстве, (б) постоянном давлении на источники информации и (в) везении.

Первым делом я повидел человека по фамилии Беспалов, который предположительно контролировал немецкую прессу и который, я надеялся, просветил бы меня и обсудил бы это дело со мной. Он был холоден, вежлив и необщителен. Он много улыбался стальными зубами и пригласил меня выпить водки и закусить красной икрой. Затем я отправился на встречу с человеком по фамилии Филиппов, который оказался невысоким, незаметным, незначительным созданием в голубом шерстяном кителе МВД, типичным советским чиновником (рус.) (рутинным бюрократом) любезного типа. Он был несколько более разговорчивым и, хотя у него не было икры для угощения, набросал мне план Советской военной администрации и таким образом дал мне первый ключ для решения моей задачи. Он оказался цензором немецких газет, и когда я покинул его, то увидел несколько седых напыщенных немцев в его комнате для ожидания, на их лицах читалось выражение ушной боли или желудочных спазмов. Следующим в этой цепочке был редактор официальной советской ежедневной газеты на немецком языке *Тэглихе рундшвай (Tagliche Rundschau)* (*Ежедневное обозрение*, нем.), полковник Кирсанов. Он был обходительным, холодным и вежливым. Он пригласил меня на ленч с паюсной икрой и пытался разубедить меня продолжать мои поиски. Я покинул его, не убежденный его аргументами, добрался в автомобиле до самой дальней окраины Карлсхорста и там, на обшарпанной вилле, около картофельного поля, встретил профессора Игнатъева. Это был старый, робкий и поджарый человек, который выглядел ужасно напуганным моим визитом. Он не знал ничего. Он объяснил, что имеет дело только с контролем музыки и что теперь собирается уехать в отпуск в Москву. Пока он говорил, он заворачивал круто сваренные яйца в газету. «Понимаете, я собираюсь в Москву поездом, — сказал он, — а это занимает пять долгих дней».

И так, от Беспалова к Филиппову, от Кирсанова к Игнатъеву и от—окева к—енко, от—енко к—адкину, от—адкина к—ому, я ходил вновь и вновь в течение двух недель. В итоге я узнал очень мало. Я узнал, что у русских нет организации, подобной нашим организациям, и что они не хотят сотрудничать с нами ни в какой форме и ни в каком деле. Я также узнал, что всех русских бюрократов можно разделить по икорной иерархии: на самом верху располагаются русские со свежей икрой, ниже них русские с паюсной икрой, далее русские с красной икрой и, наконец, обширное количество русских без икры.

Однажды, после почти двух месяцев бесплодных усилий, неразговорчивый полковник Кирсанов дал мне намек. Он сообщил, что из Москвы прибыли две важные персоны и что они должны были реорганизовать информационную контрольную бюрократию Советской военной администрации. Он обещал представить меня прибывшим в августе людям на приеме, который давал маршал Жуков и на который были приглашены все наши генералы и полковники.

7 ноября нашего генерала не было в городе, поэтому один из его друзей, американский полковник, и я взяли его приглашение и поехали на прием. Хотя это был мой первый визит на официальное советское собрание уровня наисвежайшей икры и хотя на этом приеме было полным-полно маршалов, генералов, бригадных генералов, полковников, поросенков, индеек, гусей, оленины, уток, осетрины, семги

<sup>32</sup> Можно предположить, что pentagonal mystery относится к некоей «тайне» Пентагона, пятиугольного здания, где расположено Министерство обороны США.

и паштетов из гусиной печени, на меня все это не произвело подавляющего впечатления, поскольку я уже слышал слишком много подробных описаний таких приемов и потому что я разыскивал полковника Кирсанова и людей, прибывших из Москвы. Через час после нашего прибытия как хозяева, так и гости опьянели и расшумелись. Единственными, кто оставался трезвым, были угрюмые охранники МВД, стоявшие у дверей и смотревшие вниз, на толпу, с балкона, расположенного под верхним рядом окон. Я нигде не мог найти Кирсанова и начал думать, что его намек был одним из тех хитростей и отговорок, к которым я привык в Берлине. Отчаявшись, я прошел сквозь все залы дворца Короны принца (Crown Prince's Palace), где проходил прием. Я обследовал каждый угол, осмотрел каждую группу багровых, возбужденных лиц. Его нигде не было. Мой полковник-компаньон (из числа непьющих) предложил мне уйти.

«Бесполезно, — сказал он. — Ваш полковник применил один из своих обычных фокусов». Мы направились к выходу. Перед дворцом, повернувшись спиной к его входу, три русских генерала молча приходили в себя. Я забыл свое пальто и пошел назад, в гардероб. Там, помогая кому-то снять меховое пальто, я узнал полковника Кирсанова. Он повернулся и сказал: «А, Николай Дмитриевич, он здесь! Это полковник Тюльпанов, а это, — он указал на другую фигуру, стоявшую позади, — это генерал Боков». Генерал показался мне типичным, словно с витрины, русским генералом: коренастым, невысоким, круглолицым. Полковник был другим. Его лицо, манеры, весь внешний вид сразу же привлекли мое внимание. Он был лысым, или, точнее, его голова была чисто выбрита, бросались в глаза большие выдающиеся уши. Голова, похожая на огромный бильярдный шар, почти без шеи, располагалась на небольшом, крепко сбитом теле. У него были монголоидные черты лица, но не более ярко выраженные, чем черты большинства крестьян Центральной России. Глаза напоминали узкие щелки, у него были выступающие скулы, плоский, слегка вздернутый нос. Когда он улыбался, как он это сделал, приветствуя меня, его глаза приобрели осторожное и отчасти хитрое выражение. Он приветствовал меня одновременно вежливо и сдержанно, натянуто и дружелюбно. Меня удивило отсутствие рядов медалей на его выглядевшем поношенным мундире цвета хаки — только одна или две наградных планки (*little patches of ribbon*), рядом с которыми свободно свисала красная звездочка<sup>33</sup>.

Я не знал, что сказать и как начать разговор, но он помог мне: «Вы же не собираетесь покинуть так рано, — сказал он, — такую... веселую вечеринку?» — и его глаза прищурились. Я ответил, что мне приходится, но я очень сожалею, потому что я так сильно и так долго надеялся увидеть его.

«Но может быть, я мог бы позвонить вам... завтра, — сказала я, — и заодно передать вам приглашение от моего начальника, генерала Макклера?»<sup>34</sup>

«Ну... ну, — начал он, — не завтра. Завтра мы будем отдыхать и приходиться в себя, — и он взглянул на Кирсанова и засмеялся. — Кроме того, генерал Боков и я только что прибыли и... — продолжил он, предупреждая любые дальнейшие вопросы. — Я не знаю *ничего* относительно тех дел, о которых вы хотите говорить со мной. Лучше позвоните мне через несколько дней. Полковник Кирсанов знает мой номер. Он даст его вам».

<sup>33</sup> Судя по биографии С. И. Тюльпанова, кроме орденов Отечественной войны, он был награжден орденом Красной Звезды, который, видимо, и заметил автор, и орденом Красного Знамени, а также медалями.

<sup>34</sup> Роберт Макклур (1897–1957) — после окончания войны в Европе был ответственным за Информационное контрольное управление, которое контролировало радиопередачи и газеты в Германии на ранней стадии оккупации.

«Позвоните мне завтра», — сказал полковник Кирсанов, когда вся группа двинулась в сторону вечеринки.

Я почувствовал ликование, как если бы после долгих дней бесплодной рыбалки вытаскивал из темного, покрытого слизью пруда жирного, золотого карпа. «Теперь, — думал я, — дела прояснятся, и мы сможем, пожалуй, найти путь к...» — я не знал, как закончить свою мысль.

Он, несомненно, был одним из карпов, и притом жирным, как мы вскоре постепенно выяснили. В самом деле, можно сказать, что он был призовым карпом Советской военной администрации (Германии — СВАГ), но он не был на моей леске... и до того пруда, в котором он плавал, мне было не так легко добраться. Тюльпан (*Tulip*, англ.), как мои английские коллеги окрестили его, когда выяснили происхождение его фамилии, был выдающимся координатором и принадлежал к той прослойке советской иерархии, которая характеризовалась наисвежайшей икрой.

По образованию и официальной профессии полковник Сергей Иванович Тюльпанов (теперь — генерал-майор) был инженером. Он происходил из семьи великорусских крестьян, из деревни где-то в окрестностях города Калинина. Один из его референтов говорил мне, что он присоединился к революционному движению в очень молодом возрасте. В любом случае, когда революция 1917 года сбросила царский режим, он вскоре стал членом ленинского крыла социал-демократической партии. Будучи студентом Санкт-Петербургского университета (или Технического института Санкт-Петербурга), он установил тесные и дружеские отношения с покойным Александром Ждановым (которому в дальнейшем предстояло стать партийным вождем и создателем Коминформа)<sup>35</sup>. Он тяжело и успешно воевал в Гражданскую войну в 1919—1921 годах и, по всей видимости, в те годы установил постоянную связь с ЧК, предшественницей МВД. Пережив все разбирательства и чистки, он медленно поднимался по властной лестнице, приобретая все большее значение, в основном благодаря своей дружбе со Ждановым. Официально он занимал безобидные посты, сначала как инструктор, позже как профессор машиностроения в Технологическом институте Ленинграда. Согласно немецким источникам, Тюльпанов посетил Германию в середине или в конце двадцатых годов, изучил немецкий язык и много путешествовал по всей Германии. Предположительно, в те годы он установил тесный контакт между советским ОГПУ и организацией безопасности Германской коммунистической партии. Во время войны он принимал участие в обороне Ленинграда и, как говорят, участвовал в организации ледовой дороги через Ладожское озеро, которая спасла город от полной гибели от голода. Тюльпанов был логичным выбором Жданова для работы в качестве шефа Агитпропа (Администрации агитации и пропаганды) для Германии. Он и другой друг Жданова, генерал Боков<sup>36</sup>, прибыли в Берлин, чтобы стать пропагандистскими партийными организаторами Германии и в то же время глазами и ушами Политбюро в СВАГ<sup>37</sup>.

Но в то время все эти детали были нам неизвестны. Только постепенно мы действительно пришли к пониманию важности Тюльпана. Для нас в ноябре 1945 года он был просто очередным советским полковником, который был послан в Бер-

<sup>35</sup> Ошибка автора. Правильно: Андрей Александрович Жданов (1896—1948). Агентство Коминформ создано в 1947 году под руководством Андрея Александровича Жданова.

<sup>36</sup> Боков Федор Ефимович (1903—1984), в 1945—1946 — член Военного совета Группы советских войск в Германии по делам Советской Военной администрации.

<sup>37</sup> Доступные сведения о С. И. Тюльпанове деталями отличаются от приведенных автором. Сергей Иванович Тюльпанов (1901—1984) — советский генерал и ученый-экономист. Начальник управления пропаганды Советской военной администрации в Германии (1945—1949), генерал-майор (1949), доктор экономических наук.

лин для наведения некоторого порядка в дезорганизованном советском контроле информационной среды и, как мы надеялись, для того, чтобы прийти к соглашению с нами и начать сотрудничество в нашей предполагаемой организации — Четырехстороннем управлении информационного контроля.

Хотя я получил номер телефона Тюльпана, я не мог застать его. На другом конце провода или не реагировали вообще, или после бесконечных звонков вежливый голос обычно отвечал: «Я слушаю вас...»

«Можно полковника Тюльпанова?»

«Нет... он вышел», — и трубку обычно бросали.

Наконец я решил пойти в советскую штаб-квартиру и лично найти Тюльпанова. После огромного количества хождений по разного рода лабиринтам, настойчивых требований, упорства, терпения и пренебрежения насмешками я наконец-то выследил его и договорился с ним о встрече. Он приветствовал меня как старого друга, извинился за «ужасную занятость» и обещал позвонить «на следующей неделе» генералу Макклору. Он также объяснил, что отныне в обязанности его новой службы, Службы пропаганды СВАГ, будет входить контроль, с советской стороны, всех средств массовой информации, которые перешли под контроль генерала Макклора. «Следующая неделя», что достаточно удивительно, наступила через десять дней. Он позвонил генералу Макклору и его двум помощникам и согласился встретиться с ним и английским и французским руководителями Информационного контроля на «неформальной» основе, чтобы обсудить «точки общего интереса».

В течение следующих трех или четырех месяцев наше разочарование, вопреки ожиданиям, только усиливалось. Мы регулярно встречались на так называемых «неформальных» заседаниях «неформального» комитета, чтобы «неформально» обсуждать наше «неформальное» дело. Решения такой незначительной организации не могли ни обладать юридической силой, ни иметь вообще какой-либо ценности. Тюльпан приходил на большинство этих встреч и даже провел одну из них как «хозяин» (никакой икры!); но когда его английский или американский коллега спрашивал, когда мы были бы готовы отбросить этот балласт «неформальности», его ответ обычно гласил: «Я ожидаю новых директив от моего правительства».

В продолжение этого времени я узнал его достаточно хорошо, мне казалось, что он начал проявлять интерес ко мне, а может быть, даже и симпатию. Он, бывало, приглашал меня навестить его в штаб-квартире или в своем доме в окрестностях Вайсензее<sup>38</sup>, где были расположены виллы крупных начальников СВАГ. При каждой возможности для частного разговора он, как правило, расспрашивал меня. Где я жил до революции? Кем были мои родители? Был ли я родственником Владимиру Набокову<sup>39</sup>, русскому либеральному лидеру? Знал ли я советских музыкантов? Знал ли я Прокофьева? Когда я был последний раз в России?

Он всегда тщательно следил за тем, чтобы его вопросы не казались слишком откровенными и не противоречили бы характеру всего разговора. Я знал, что мое «положение» в Военном правительстве Соединенных Штатов было не совсем ясным для советских начальников. Благодаря слухам нашей разведки я был информирован о том, что у иерархически мыслящей СВАГ было преувеличенное мнение о моей важности. Поэтому я понимал, что «вопросы» Тюльпана и его интерес ко мне озна-

<sup>38</sup> Вайсензее — округ в северо-восточном районе Берлина.

<sup>39</sup> Владимир Дмитриевич Набоков (1876—1922) — юрист, один из лидеров партии кадетов, отец писателя В. В. Набокова.

чали, что он хотел выяснить, кем я был, чем я занимался и каковы были мои реальные обязанности.

Генерал Макклур давил на меня с тем, чтобы заставить Тюльпана прийти и провести с ним «спокойный» обед на его вилле в Ванзее<sup>40</sup> (американская версия русского Вайсензее: Wannsee, Weissensee). Исходя из старой доброй американской манеры, он думал, что для того, чтобы добиться успеха в деле с непокладистым человеком, нужно пригласить его на вечеринку, перед обедом выпить парочку martinis (водка тоже подошла бы), затем плотно поесть, затем еще раз выпить и в процессе всего этого решить некоторые «взаимно выгодные» дела. Тюльпан в конце концов, после многочисленных наших обращений, принял приглашение генерала. Но будучи занятым (он организовывал восточногерманские профсоюзы и содействовал образованию Единой социалистической партии Германии) и к тому же «забывчивым» человеком из другого мира, где неучитивость является законом, он или очень удачно, или преднамеренно «забыл» об обеде у нашего генерала и в назначенный час не явился.

Я сидел в своем офисе, ожидая его прибытия. Было условлено, что я провожу его от нашей штаб-квартиры к дому генерала. Прошел назначенный час — шесть тридцать. Мой телефон звонил каждые пять минут. Генерал был у телефона, становясь злее с каждой минутой. Я и мой коллега работали с двумя телефонами, набирая по очереди советский номер, который мы знали. Отовсюду приходил один и тот же угрюмый ответ: «Я слушаю вас ...»

«Здесь полковник Тюльпанов?»

«Нет, он вышел».

Пока продолжался этот разочаровывающий и абсурдный поиск, перед моими глазами маячила картина: генеральское martini разжижается во льду, жаркое пересыхает в печи, суп становится непрозрачным и салат вянет. Наконец в восемь часов вечера мы отыскали майора Дымшица и, перебивая друг друга, дали ему понять, что мы ставим ему своего рода ультиматум: «Если полковник Тюльпанов не собирается прийти, то ...» и т. д. и т. д. Достаточно удивительно (и я до сих пор не могу понять почему) это сработало. Десять минут спустя полковник позвонил мне. «Но я думал, что эта встреча будет восемнадцатого, а сегодня шестнадцатое», — сказал он невозмутимым тоном. Я сухо ответил, что у него на столе должно быть «напоминание», которое было послано ему два дня назад. «Ну (рус.)... хорошо, — сказал он, — если не слишком поздно и я не потревожу *господина* (рус.) Макклур, я приду». Спустя полчаса он прибыл в мой офис в длинной шинели и в *papahe* (рус.) — высокой серой астраханской меховой шапке кавалеристов-казаков. Он улыбнулся с хитрецей и сказал: «Ну, Николай Димитриевич, *пойдем* (рус.). Я ужасно извиняюсь, но, уверяю вас, думал, что было назначено на восемнадцатое. Надеюсь, ваш генерал простит меня».

Первая часть обеда прошла очень натянуто, и все мои предвидения относительно martinis, супа, жаркого и салата оправдались. Генералу Макклору потребовалось некоторое время для того, чтобы справиться с раздражением и обрести хорошее настроение. Тюльпан со своей стороны был само очарование. Он рассказывал о войне, о своих ранениях во время обороны Ленинграда и о том, как немцы были разбиты в сражении на Дону. Он спросил генерала о высадке в Нормандии (тема, которая ни одного американского генерала не могла оставить равнодушным) и об освобождении Парижа, и... когда обед был закончен, генеральское раздражение растаяло. Однако никакое дело не обсуждалось, и не оставалось даже проблеска надежды, что это обсуждение состоится.

<sup>40</sup> Ванзее — юго-западная часть Берлина.



Когда мы встали из-за стола и пошли в гостиную, Тюльпанов, указывая на пианино в углу комнаты, повернулся ко мне и сказал: «А теперь вы попались! Садитесь и начинайте играть». И он повернулся к генералу: «*Господин* (рус.) генерал, пожалуйста, прикажите ему играть». У меня было чувство, что генерал понял, что игра проиграна. Поэтому я сыграл любимые цыганские песни генерала, а затем Тюльпан начал петь новые советские песни, и генерал велел мне записывать слова; но Тюльпан хотел, чтобы я аккомпанировал его пению, и поэтому каждый раз, когда я начинал записывать слова, он запевал другую песню, и мне приходилось снова бить по клавишам, а затем я выпил виски с содой и повторил. Песни становились громче и громче, я ударял сильнее и сильнее по клавишам ... аккомпанируя Тюльпану... и затем...

Было темно, когда мы устроились в большом черном «хорьхе» Тюльпана. «Где вы живете? Я доведу вас», — сказал он. Я назвал шоферу мой адрес, и машина поехала, подпрыгивая по разъезженной узкой дороге. Тюльпан некоторое время продолжал напевать последнюю песню. Затем он остановился, и мне показалось, что в темноте машины его глаза наблюдали за мной, смотрели на меня, осматривая меня всего. «Ну, вот мы здесь, — начал он низким, медленным голосом. — Вы русский, и я русский. Только вы... — и он остановился на мгновение, словно подыскивая слова. Вы... в этой странной форме, а я... я ношу нашу старую русскую казачью *панакху* (рус.) и погоны великой русской армии». Он замолчал, как бы ожидая, что я скажу что-нибудь, но я ничего не говорил. «Ни-ко-лай Ди-ми-три-е-вич На-бо-ков, — продолжал он, произнося тщательно каждый слог моего имени. — На-бо-ков — какое хорошо звучащее старое русское имя. И вы здесь ... в *такой* форме».

Я внезапно почувствовал, что мне придется что-то сказать, но у меня не было каких-то простых, определенных и верных слов. «В этой форме, — сказал я, — вы не можете ничего со мной сделать. Если бы на мне не было сейчас этой формы... если бы я оставался *там*, мне бы не нужна была никакая форма. Я был бы мертв. Я бы...»

Он засмеялся тихо, с хитрецей. «У всех у вас, *emigres* (эмигрантов, фр.), — он заметил поучительным, покровительственным тоном с едва заметным оттенком презрения, — у всех у вас засело обманчивое, искаженное представление о нашей Родине. Вы думаете в терминах 1918—1919 годов, но мы ушли вперед, в России родился новый мир. Революция диалектически стала ушедшим процессом истории. Двери опять открыты для *всех русских везде*. И снова я почувствовал, как его глаза осмотрели меня с ног до головы, как бы искушая меня: «Человек с именем, подобным Набокову, нашел бы себя в России, работая, усиленно трудясь для новой жизни, для будущего. Вы ведь музыкант, не так ли? Композитор?» И он остановился, ожидая моего ответа. Но я не мог говорить, мне было нечего сказать.

«Нам нужны в России композиторы, — продолжал он, — а вы знаете, что произошло по всей России? Во многих местах возникли новые города, в каждом из них — новый университет, и *техникум* (рус.), и консерватория. Я видел несколько таких удивительных городов в Сибири. Они были построены красными пионерами, во время летних каникул. — Тон его голоса начал смягчаться. Он стал эмоциональным и лирическим. — В середине такого города расположен завод, скажем, тракторный завод, а вокруг него чистые, опрятные жилые помещения для рабочих. Весь город живет для завода. Весь город гордится этим заводом и ревностно следит за статистикой роста его производства. Когда усталый отец приходит домой с дневной работы на заводе, его дети прыгают вокруг него и кричат: „Скажи нам, скажи, папа, как высока сегодняшняя выработка?“»

Автомобиль остановился, шофер опустил стекло и спросил, что делать. Я сказал ему, где повернуть, и предложил сесть рядом с ним и указать, как проехать к моей

квартире. Нет, сказал Тюльпан, он сам найдет дорогу, и я снова плюхнулся на свое сиденье. «Да, Николай Дмитриевич Набоков, — начал Тюльпан, подхватывая нить своего разговора с того места, где он оставил ее, — человеку с вашим именем и с вашим умом следует носить *нашу* форму или преподавать в *наших* школах или в *наших* консерваториях. Нам нужны люди, подобные вам. Конечно, — продолжал он, и опять я почувствовал презрение, так хорошо скрытое спокойным, отеческим тоном, — конечно, вы не могли бы надеяться найти сразу место преподавателя в Москве или Ленинграде, или даже в Харькове или в Киеве, но... но в одном из новых сибирских городов... там... вы бы нашли хорошее место для жизни, для преподавания и для работы».

Я подождал, пока автомобиль остановился перед моим домом и шофер вышел и открыл дверцу. При бледном свете фары я взглянул на Тюльпана. Я увидел его голый, бритый лоб, выступающие уши и хитрые, лисьи глаза. Он смотрел на меня, улыбаясь, смеясь, полный наглой насмешки и презрения. «Благодарю вас, Сергей Иванович, — сказал я спокойно и медленно, — но я предпочитаю климат Нью-Йорка», — и закрыл дверцу автомобиля.

Когда я на цыпочках поднялся в свою комнату, то услышал спокойное храпение полковника Никольсона. «Слава богу», — сказал я и немедленно лег в постель.

Предисловие, подготовка текста и публикация  
**Е. Б. БЕЛОДУБРОВСКОГО**

Перевод с английского и примечания **М. А. ЯМЩИКОВА**



Владислав БАЧИНИН

## НИЦШЕ-ДИНАМИТ И ПРЕДСМЕРТНЫЙ ТАНЕЦ БЕЛОЙ МЕДВЕДИЦЫ

Я не человек, я динамит.  
*Фридрих Ницше*

Время идет, но не могу забыть те два сюрприза, которые преподнесла наша нескучная жизнь в канун нового 2016 года. Один был сугубо философским, академическим, связанным с Фридрихом Ницше, а другой, как бы это помягче выразиться... Даже слова трудно подобрать... Одним словом, мир увидел под аспидным небом острова Врангеля поразительное, умопомрачительное, сотрясающее душу зрелище — предсмертный танец белой медведицы.

И вот каким-то странным образом оба эти феномена связались у меня в голове в одну цепочку. Откуда она взялась и почему возникла? Вот на эти вопросы я и хочу ответить прежде всего самому себе.

### **Ницше — в подарок!**

Перед самым новым годом на парадной витрине сайта московского Института философии РАН засияло итоговое собрание из десяти публичных видеолекций

---

Владислав Аркадьевич Бачинин — доктор социологических наук, профессор, автор более 700 опубликованных работ по теологии, философии и социологии культуры, в том числе более 50 книг, среди которых: «Достоевский: метафизика преступления» (2001), «Энциклопедия философии и социологии права» (2006), «Девиантология и теология: от Библии к Достоевскому» (Saarbrücken, Deutschland, 2012), «Теология, социология, антропология литературы (Вокруг Достоевского)» (2012), «Мистерия гуманитарной аномии. Духовная война интеллектуалов» (2014), «Протестантская этика и дух остмодернизма» (2015), «500 лет спустя. 95 тезисов о Реформации, модерности и великой христианской депрессии» (2016). Живет в Санкт-Петербурге.

о философии Фридриха Ницше<sup>1</sup>. Эдакая предпраздничная, почти подарочная интеллектуальная констелляция. Пир ума, праздник знаний и фейерверк красноречия! Беспрецедентное и впечатляющее зрелище, наводящее на некоторые размышления. Но прежде одно воспоминание.

Когда-то на заре туманной юности я, поступив на философский факультет ЛГУ, благополучно сдал свою первую зимнюю сессию. Предстояли каникулы. С чьей-то подсказки взял в студенческом профкоме льготную путевку в студенческий дом отдыха и отправился на 12 дней на Карельский перешеек.

Много там было всякого разного, веселого и забубенного, вплоть до драки с местными во время танцевального вечера, когда мне досталось на орехи. Но спокойные часы отдыха я проводил как истинный студент философского факультета — с привезенным с собой, позаимствованным у друзей, ветхим дореволюционным изданием «Антихристианина» Ф. Ницше. Я, как средневековый монах, трепетно переписывал этот ценнейший в тогдашних моих глазах раритет в толстую тетрадь. И нимало не подозревал, кого впускаю в свою душу вместе с «сумрачным германским гением».

А потом было долгое выздоравливание — изживание последствий нищевского соблазна. Высвобождению помогли Достоевский и «Доктор Фаустус» Томаса Манна (его нередко называют романом о Ницше), а впоследствии Библия, ставшая настольной книгой в самом буквальном смысле.

Вспомнил я об этом, размышляя над причинами мощной демонстрации нашими академическими мэтрами своих нищевских симпатий, от которых они, похоже, никогда не лечились и не собираются лечиться.

Мне понятны наивные увлечения желторотых студентов-гуманитариев красочными философами Ницше. Эта возрастная умственная хворь указывает на ориентационные сбои, возможные и даже неизбежные в пору духовного взросления и молодых духовных исканий. Будучи возрастными, эти увлечения чаще всего преходящи.

Мне понятно существование узких специалистов-профессионалов, углубленно исследующих нищевский феномен. Они необходимы обществу почти в такой же степени, как, скажем, врачи-сифилитологи.

Но вот выбор именно Ницше для популяризации деятельности Института философии, целенаправленная раскрутка в публичном пространстве его наследия как масштабного *просветительского* проекта вызывает вопросы.

Когда-то наших профессиональных философов одолевала повальная любовь (правда, стимулируемая властными бичами) к наследию известных европейских интеллектуалов по имени Карл и Фридрих. Теперь остался только один Фридрих, без Карла, да и его как-то незаметно подменили на другого, к тому же очень больного и не слишком вменяемого. Но как от Фридриха Энгельса не получилось особого просветления в головах наших философских мэтров, так и от идей Фридриха Ницше просветления тоже не наблюдается.

### **Философский динамит**

Френсис Бэкон в свое время мудро заметил: «Немного философии отвращает от религии. Более глубокая философия возвращает к религии». В сочинениях современных философов, превозносящих Ницше и дичащихся Бога, очень немно-

<sup>1</sup> См.: [http://iph.ras.ru/anat\\_nietzsche.htm](http://iph.ras.ru/anat_nietzsche.htm)

го любви к мудрости и к свету, зато предостаточно тяготения к откровенным глупостям и настоящей тьме. Религиозность, которую Ницше гнал из своей философии в двери, проникла к нему через окно, явившись в темном обличье демоноидеи. И следует отдать ему должное: он с его склонностью к вызову, скандальности, эпатажу, готовностью к бесцеремонным, как у разъяренного лавочника, грубостям, умел плести тонкие интеллектуальные сети, помогающие ему улавливать и оболщать излишне доверчивых читателей.

Кто-то может возразить: «Позвольте, но чем же все-таки опасен Ницше?» Полагаю, что опасен он ровно тем же самым, чем когда-то Мефистофель оказался опасен для Фауста, то есть тем, что умеет мастерски проделывать с умами и душами людей. Этот гуманитарий-билингва, говорящий одновременно на языках философии и поэзии, опасен тем сладким ядом, что разлит в его элоквенциях. Он опасен своими текстами, идеями, афоризмами, этим ароматным чайным сбором, приправленным демоническим полонием, утоляющим умственную жажду и одновременно выжигающим в человеке его живую душу.

Философия Ницше разрушительна по своей сути. Она лишена созидательного потенциала, как лишена его взрывчатка. Природу философского таланта Ницше лучше всего передает его собственная афористичная автохарактеристика: «Я не человек, я динамит».

Могучий метафизический бретёр мечтал сокрушить Бога и учение Христа шквальным огнем своего зубодробительного богоборческого сарказма. Заодно он пытался взорвать и индивидуальный дух, служащий антропологическим мостиком к Богу. И действительно: если Бог уже «мертв», то зачем нужен мост, протянутый в пустоту?

Ницше — мастер-деструктор, чьи идеи оттачивают человеческий ум, как бритву, и одновременно рассверливают, разламывают на куски душу, принадлежащую тому же самому человеку. Философ аннигилировал весь ансамбль классических моделей человека и выставил на общее обозрение собственную, авторскую версию — человекообразную бестию, умное, сильное и злое животное, на лохматом загривке которого привязан декоративный бантик — высокий эстетический вкус.

В чем секрет привлекательности этой бестию с ее Пигмалоном и их мрачной и жестокой картиной мира? Почему вокруг них вьются, как замороженные мотыльки, наши высоколобые академические симпатии, готовые днями напролет вещать о скромном и неотразимом обаянии своего кумира? Отчего их способность к духовному сопротивлению столь явно парализована его интеллектуальным высокомерием, надменными бравадами, приступами явно нездоровых и почти комических самовосхвалений? Отчего они не обладают духовным иммунитетом против смертоносных инфекций философского демонизма?

Может быть, оттого, что понимают, как тяжело тягаться с Ницше? Ведь с ним действительно почти невозможно спорить. Под его полемическими ударами трудно устоять, если не иметь под собой прочного основания. Нет, не философского и не научного основания, не тех хрупких конструкций, которые меняются во времени, являются относительными и потому ненадежными опорами. Основание должно быть сложено из гранита абсолютных критериев и смыслов, безусловных ценностей и норм. Таковыми в нашем мире, в нашей символической вселенной и культурной галактике располагает только библейско-христианская картина сущего и должного, только евангельская интеллектуальная традиция. Но секулярный философский разум ими пренебрегает. В результате его редкие и робкие попытки критиковать Ницше сметаются, подобно пушинкам, залпами ницшевских сокрушительных афоризмов, смываются потоками его буйного философского красноречия.

Лаконичное и вместе с тем точное пояснение этих сложностей с антинищенским сопротивлением дал Поль Рикёр, сказавший, что «только христианин может активно противостоять Ницше»<sup>2</sup>. И нет причин не доверять этому тезису. Он все ставит на свои места и прямо указывает на источники сил и бессилия участников духовной войны с Ницше.

Тот, кто духовно разоружен и обессилен соблазнительными текстами злого гения, вероятно, каким-то шестым чувством ощущает свою слабость и несостоятельность и потому предпочитает не связываться с опасным противником, а добровольно пойти к нему в услужение. Те, кого чтение «Антихристианина» («Антихриста») и прочих богоборческих «шедевров» успело превратить в антихристиан, те, для кого Бог «мертв», Иисус не воскресал, а дух — фикция, с готовностью становятся его последователями и союзниками, явными или тайными нищенцами.

### **Умопомрачительный дискурс в роли медного быка**

Ницше — это человек не только с гордым, надменным умом, но и с гигантским, глубочайшим и мрачнейшим подпольем внутри себя. Абсолютное большинство его текстов, мыслей, образов почерпнуты им из этой тьмы, кишашей демонами гордыни, высокомерия, мизантропии, агрессивности, злословия, тщеславия, resentimenta. О таких, как он, ветхозаветный пророк Аввакум сказал: «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою как ад, и как смерть он ненасытен» (Авв. 2, 5).

Чемпион философских боев без правил, Ницше — это вооруженный до зубов гуманитарный Голиаф духовной войны. Секулярным интеллектуалам не под силу сражаться с ним. Чувствуя мощь его тяжелого полемического вооружения, они, как правило, предпочитают поскорее оказаться в рядах его поклонников. Им проще и безопаснее расписывать достоинства его мышления, языка, стиля, аргументации, чем сражаться с легионами демонов, стерегущих смыслы умопомрачительных ницшевских текстов.

Слово «умопомрачительный» обладает в данном случае буквальным значением. Это показал и доказал сам автор собственной жизнью и судьбой. Дьявол сыграл с ним злую и устрашающую шутку. В сущности, повторилась давняя история из жизни одного древнегреческого изобретателя. Тот создал для своего правителя изощренное орудие казни — огромного медного быка. Казнь заключалась в том, чтобы поместить осужденного вовнутрь, а затем развести под медным брюхом быка большой костер. Весь фокус состоял в том, что пока несчастный заживо жарился, его крики, доносившиеся через открытую пасть монстра, должны были преобразовываться в громкое мычание и тем развлекать зрителей казни.

Заканчивается эта история довольно неожиданно. Очень неглупый правитель решил испытать новинку особым образом: по его приказу внутрь быка в качестве подопытной жертвы был помещен сам изобретатель.

Умопомрачительный, мизантропический и богоненавистнический дискурс Ницше стал для его создателя почти таким же медным быком. Философ, выстроивший богоборческую конструкцию, оказался внутри нее, стал первой жертвой собственного творения, пережил драму буквального умственного помрачения. Проповедник антропологического катастрофизма, пророк общей аномии сам стал их олицетворением и персональным воплощением. Темная сила, которую он взял

<sup>2</sup> П. Рикёр. История и истина. СПб.: Алетейя, 2002. С.172.

себе в поводьри, предъявила ему счет, потребовала расплаты и довела дело до логического конца. Инфернальный демон выгрыз у Ницше вначале его дух и душу, а напоследок и рассудок, оставив ему одну лишь убогую антропологическую оболочку бормочущего вздор безумца.

### Философское фэнтези

Ницше, раскассировавший и лишивший творческих полномочий дух, изгнавший его за пределы собственного «я», сделал ставку на интеллект и воображение. Он сумел объединить их в единый инструмент — *интеллектуальное воображение*. С его помощью был создан мир философских фэнтези, живописующих нескончаемые подвездные войны всех против всех — *bellum omnium contra omnes*.

На первый взгляд может показаться, что философские, интеллектуальные и эстетические фантазии Ницше не имеют границ. Но это не так: границы существуют, хотя больше напоминают потолок. Богатая фантазия, беспрепятственно разливающаяся по горизонтали и то и дело устремляющаяся в темные подполья, в инфернальные провалы демонического мира, совершенно бессильна там, где требуется движение ввысь. Она слишком тяжела, мрачна, мизантропична, и потому для нее недостижимы духовные выси запредельности Божьего мира. Она, будучи импульсивной, дерзкой, трансгрессивной, время от времени взмывает ввысь, но неизменно ударяется о невидимый предел, чтобы рухнуть вниз, в привычную профанную среду маленьких людей, пугливо мигающих своими маленькими глазками и жалобно повизгивающих под бичами самозванных сверхчеловеков.

### «Веселая наука» и предновогодний танец белой медведицы

Однако вернусь к тому, с чего начал, — к экстраординарному событию конца 2015 года, когда наша веселая жизнь подбросила нашей не менее веселой философской науке до ужаса веселую, натуральную метафору игры со смертью. Весельчак-повар с острова Врангеля, эдакий ма-а-а-хонький сверхчеловечек, прикормил белую медведицу, а затем, шутки ради, подложил ей в еду дополнительное угощение в виде взрывчатки. Медведица, не подозревавшая ничего дурного, проглотила эту веселую начинку, а наблюдатели-весельчаки засняли все это на видео. А потом сотни тысяч людей по всему миру рыдали, видя предновогоднюю кадрили несчастной медведицы.

А теперь давайте представим: этот махонький сверхчеловечек получил большую, очень большую власть, а с нею и возможность засунуть очень много взрывчатки внутрь нашей планеты. И еще представим, что этот «джентльмен с неблагородной физиономией» обрел возможность понаблюдать откуда-нибудь с безопасного для него расстояния, допустим с Луны, за смертельным танцем Земли. И вот предположив это, зададимся вопросом: решился бы он реализовать эту возможность и осуществить свою сатанинскую галактическую авантюру? Лично я ох как боюсь, что он, предвкушая занятное зрелище, способен пойти на все это не моргнув глазом. Ведь не зря же легионы пишущих бесов, исповедующих заветы Заратустры, трудятся вот уже более сотни лет над своим мегапроектом под названием «Антропологическая катастрофа». Обильные продукты их трудов успешно обретают разнообразные антропологические формы — от моральных идиотов до моральных вурдалаков.

### **«Злое сокровище» ницшевской педагогики**

Приведу высокоумный пассаж одной столично-академической философской дамы, большой поклонницы Ницше. В нем она вначале говорит о том, какими недалекими и консервативными были русские СМИ конца XIX столетия, негативно отнесшиеся к Ницше и называвшие его нигилистом, имморалистом и атеистом. Далее у нее идет речь о том, как правильно поступают все те, кто ценят германского витию. Ведь в основе его мирозозерцания лежит «вера в абсолютные ценности духа... Ницше стал своеобразной «духовной скрепой»... Ницше будет работать изнутри. Недаром ведь сам Ницше называл себя динамитом». Тексты Ницше, продолжает она, высвобождают нас «из-под гнета авторитетов, задают смысловой вектор самозозидания, помогают найти опору в самих себе»<sup>3</sup>.

М-да, когда читаешь про Ницше как «духовную скрепу», про его веру в «абсолютные ценности духа», то возникает впечатление, будто эти и им подобные дифирамбы несутся из некоего перевернутого, оруэлловского мира, где мизантропов именуют гуманистами, негодяев — героями, гробокопателей славят как жизнетворцев, упадок объявляют прогрессом, зло — благом, смерть — жизнью, растление — воспитанием, войну — миром, рабство — свободой, ну, и т. д.

Не демонстрируют ли при этом наши философские учителя нации крайне плачевное состояние своего интеллектуального инструментария и морального вооружения, в котором сбита вся оптика, расстроены все навигаторы, а все надежные оценочные критерии смыслов, ценностей и норм завалились за плинтус так, что их не достать.

Но позвольте, а что если «консерваторы» из русского Серебряного века были правы? Что если они не захотели принять извращенных критериев Ницше и называть больное здоровым, горькое сладким только потому, что имели здоровый философский вкус, еще не успевший испортиться под натиском лавины «развратительных идей» XX века?

А что если и Поль Рикёр прав? Может быть, фанаты Ницше потому и не могут достойно противостоять оболъщениям философствующего люциферианца и судят о нем с такой самоуверенной и размахистой превратностью, что не являются христианами?

Когда они предлагают лечить современный кризис ценностей с помощью текстов Ницше, которые сами являются одиозными плодами глубочайшего кризиса ценностей, то подобный ход мысли напоминает совет из эпиграммы Томаса Мора, в которой дана рекомендация избавляться от запаха лука, пожевав зубчик чеснока.

Когда они, не скрывающие благодарных чувств к Ницше, ратующие за *ницшефикацию* если не всей страны, то всей культуры, утверждают, будто автор «Заратустры» помог русским интеллектуалам обрести свободу духа, то всех их хочется пригласить на выставку достижений и плодов этой свободы, ввести их в зал, над входом в который надпись «Антропологическая катастрофа». А там показать необозримое море экспонатов — жертв этой катастрофы, в том числе и шедевр поварского искусства, изготовленный врангелевской бестией, — живую медведицу, нафаршированную взрывчаткой. И если они не увидят цепочки причинно-следственной связи, ведущей от ницшевской модели имморальной свободы к современной антропологической катастрофе, то предложить им загрузиться на какой-нибудь «философский пароход» и уплыть куда-нибудь подальше, к чертовой бабушке, чтобы наши глаза их больше не видели, а уши не слышали.

<sup>3</sup> См.: <http://theoryandpractice.ru/posts/9905-nietzsche-interview>



Если кто-то полагает, что подсюсюкивающая философская возня с наследием Ницше — это безобидная академическая игра в бисер, тот глубоко заблуждается. Это все равно, как если бы думать, что когда «злой человек из злого сокровища выносит злое» (Мф. 12, 36–37), то при этом вокруг него должны множиться высоко-нравственные плоды его инициатив в виде благоуханных цветов добра.

Да, Ницше — это неустрашимый факт мировой, европейской и российской интеллектуальной, культурной истории. Да, его идеи — это концентрированный, сильнодействующий, а для кого-то необоримый соблазн. Да, мы живем в условиях, когда «невозможно не прийти соблазнам» (Лк. 17, 1). Современная культура, мысль, философия переполнены ими. И проблема не только в этих философских соблазнах. Она еще и в людях, которым нравится быть их передатчиками, трансляторами, распространителями. Разумеется, они имеют право на свои особые философские вкусы, на свободу своих интеллектуальных предпочтений. Разумеется, им ничего не стоит отмахнуться от назойливых моралистов и увещевателей, попрекающих их за ницшевские симпатии. Но есть слова, от которых так просто не отмахнешься. А если отмахнешься, то когда-нибудь об этом горько пожалеешь. Это слова Господа, всерьез предупреждающего тех, кто проталкивает темные соблазны в жизнь и искушает «малых сих»: «Но горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17, 1).

На философствующих тьюторах, занимающихся распылением ницшевского соблазна в российской духовной атмосфере, лежит немалая доля ответственности за пролонгацию русской антропологической катастрофы из XX века в век XXI. Из этой бестиарной пыли продолжают образовываться целые полчища врагов Божьих, для которых Бог мертв окончательно и бесповоротно, а дьявол жив, здравствует и принят в учителя и наставники.

Из этой пыли образовался и врангелевский повар, одна из жертв все той же антропологической катастрофы. Жертва, способная и желающая играть роль палача. И хотим мы того или нет, но между философскими тьюторами и убийцей белой медведицы протягивается связь, сплетенная из тысячекратно опосредованных отношений безответственного подстрекательства.

Когда-то всем нам открыл глаза на природу таких связей автор «Братьев Карамазовых». Поэтому те, кому разговоры об этих связях покажутся голословными, пусть вспомнят слова, сказанные отцеубийцей Смердяковым своему духовному наставнику Ивану Карамазову: «Вы и убили-с!» И попробуйте возразить Достоевскому или отмахнуться от него.

Или вот еще одно красноречивое свидетельство из тех же «Братьев Карамазовых». Все тот же лакей Смердяков подучил мальчика Илюшу одной зверской штуке: скатать из хлебного мякиша плотный комок, запрятать внутри него иголку и бросить какой-нибудь голодной дворняге, из тех, что хватают куски на лету и проглатывают, не жуя. Илюша все так и сделал. А что из этого вышло, каждый, кто хотя бы раз прочел эту историю, уже никогда не сможет ее забыть.

Врангелевский повар оказался в данном случае только исполнителем. А его вдохновителями и наставниками были те, кто внушили ему идею того, что нравственные нормы — это «гнилые веревки», что раз Бога нет, то он сам — бог, или полубог, или четвертьбог, или на худой конец сверхчеловек, который «право имеет». При реализации ницшеанско-смердяковского сценария вместо стальной иголки использовалась взрывчатка, а роль дворняжки исполнила голодная медведица.

Конечно, этот сценарий не закачивался в голову врангелевского «бульонщика» напрямую по умственному трубопроводу, проложенному из Института философии РАН до острова Врангеля. В жизни все намного сложнее и опосредованнее. Но

если на будущем реальном или гипотетическом суде этот вурдалак скажет в адрес господ интеллектуалов, исповедующих и проповедующих идеи Ницше, что это они убийцы, поскольку научили его, а он лишь исполнил, то будет совершенно прав.

Философским мэтрам, кажется, совершенно невдомек, что упорно предлагать идеи Ницше в качестве «духовных скреп» народу, полностью растерявшему все ориентиры, заблудившемуся на исторических перепутьях, означает уподобить этот народ героям картины Брейгеля «Слепые». «Они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15, 14).

Что к этому добавить? А уже почти нечего, ибо поздно. Поздно, поскольку уже звонит колокол. И не надо спрашивать, по ком он звонит. Не стоит спрашивать, как выгладит антропологическая катастрофа. В интеллектуальном поднебесье наши философские учителя вывели своими стараниями одну из современных формул условий и предпосылок этой катастрофы: «Ницше — в подарок!», умолчав, однако, о возможных последствиях динамитной силы ницшевских идей, о их способности взрывать не только людей, но и зверей.

Эти идеи, предназначенные разрушать, не выглядят монстрами только потому, что облачены во вполне приличные интеллектуальные упаковки. Деструктивная, смертоносная начинка запрятана глубоко вовнутрь. Если вам приходилось, скажем, держать в руках ручную гранату, то она вряд ли вызывала у вас своим видом отвращение и ужас. Внешне она выглядит вполне приемлемо — эдакий металлический, аккуратненький, зелененький, гладенький лимончик, который при желании можно погладить или даже лизнуть языком. Но под этим покровом затаились смерть, кровь, оторванные конечности, развороченные человеческие внутренности и прочие ужасы.

Кто хотел бы, чтоб такие опасные для жизни предметы продавались в магазинах, лежали на полках, имелись у людей дома? Ах, вы не хотите! Но извините, уже поздно! Они уже с нами, вокруг нас, в наших домах и в нас самих. Если ружье, которое у Чехова висит на сцене в первом акте, обязательно выстрелит в третьем, то Ницше-динамит, которым кто-то старательно напичкивает нашу жизненную среду, тоже обладает аналогичными свойствами. Предназначение динамита — убивать. Цель динамита — смерть.

...И вспоминается реплика Пушкина: «Боже мой, как грустна наша Россия!» Получается, что чем веселее в ней жить, тем грустнее...

---

## РЕЦЕНЗИИ

---

### «ТО, ЧТО МЫ ЗОВЕМ ДУШОЙ...»

**Александр Кушнер. Избранные стихи. СПб., 2016.**

В этой книге собрано лучшее из того, что поэт написал за всю свою предыдущую жизнь — лет этак за 70 с лишним, потому что начал писать стихи в восемь и продолжает до сих пор. Из книги восстает его поэтический путь. Можно сказать, что и мы проходили этот путь вместе с ним, во всяком случае рядом с ним. Это наш поэт, поэт нашего поколения, поэт петербургской школы. Хрущевская «оттепель», новое сгущение сумрачных туч, двигавшихся назад — в сторону тюрем и пси-

хушек и очередного признания «заслуг» Сталина; затем взрыв и эйфория освобождения от всепроникающей власти КПСС, упоение свободой, превратившейся опять, как всегда, в некую фикцию; хотя и загнать все назад уже невозможно... Все это пережито нашим поколением вместе с Кушнером. Но его поэзия находилась не на поверхности, а в глубинном слое жизни, как обычно бывает с настоящей поэзией.

Проходя через эти годы, Александр Кушнер никогда не изменял себе. Он оставался самим собой во все времена, начиная со сборника «Первое впечатление». Первое его стихотворение, которое мне довелось прочитать среди других стихов молодых поэтов, присланных для передачи на телевидение, было: «К двери приклонюсь одним плечом, / В комнату войду, гремя ключом. / Я и через сотни тысяч лет / В темноте найду рукою свет...» И оно сразу обращало на себя внимание непохожестью на других, своей, особой интонацией.

Это небольшое стихотворение и весь сборник вызвали разгромную рецензию почему-то в «Крокодиле» под ядовитым названием «Четырехугольная тоска». Появилась вскоре и не менее обличительная рецензия в ленинградской молодежной газете «Смена». Нельзя сказать, что Кушнер отнесся совсем безразлично к официальным нападкам. Это было тяжело, было тогда почти равносильно запрету печататься, что нынешним молодым людям даже трудно понять. Но Кушнер все равно просто не умел писать иначе. Путь его проходил где-то в стороне от великих строек коммунизма и прочих «великих свершений». Проходил там, где существует личная, частная жизнь, где признают настоящие ценности, а не пустозвонные лозунги, где существует понятие «душа», находившееся в советской стране чуть ли не под запретом, как нечто сомнительное. Ничего антисоветского, но именно этот путь «в стороне», которым шел, кстати, и Бродский, вызывал постоянные подозрения и нарекания, был назван всякими глупцами, но глупцами, власть имущими, «безыдейностью» и даже, что совсем уж смешно, иногда и «формализмом».

То, что мы зовем душой,  
Что, как облако, воздушно  
И блестит во тьме ночной  
Своенравно, непослушно  
Или вдруг, как самолет,  
Тоньше колющей булавки,  
Корректирует с высот  
Нашу жизнь, внося поправки;

То, что с птицей наравне  
В синем воздухе мелькает,  
Не сгорает на огне,  
Под дождем не размокает,  
Без чего нельзя вздохнуть,  
Ни глупца простить в обиде;  
То, что мы должны вернуть,  
Умирая, в лучшем виде...

Это писалось в те годы, когда душа считалась действительно вредным религиозным вымыслом...

И тогда же, еще в шестидесятые, то есть в свои 30 лет, Кушнер уже часто писал о смерти (не рано ли? — нет, не рано!):

Но и в самом легком дне,  
Самом тихом, незаметном,  
Смерть, как зернышко на дне,  
Светит блеском разноцветным.  
В рошу, в поле, в свежий сад,  
Злей хвоща и молочая,  
Проникает острый яд,  
Сердце тайно обжигая...

Как отличались эти стихи от многого, что писалось тогда по фальшивым запросам советской идеологии, как они радовали, и волновали, и заставляли думать!

Одно из моих любимых стихотворений («Я шел вдоль припухлой тяжелой реки...») — размышление о том, как логично было бы окончательно разлюбить жизнь; и все-таки она все равно дорога. И место для этого размышления выбрано подходящее — набережная Малой Невы возле Тучкова моста: «Я шел вдоль припухлой тяжелой реки...» Вот последняя строфа:

Я жизнь разлюбил бы, я с вами вполне  
Согласен, но, едкая, вот она рядом,  
Свернулась, и сохнет, и снова в цене.  
Не вырваться мне,  
Как будто прикручен к ней этим канатом.

Интонация была доверительной, разговорной, будто только вчера расстался автор с читателем и продолжает начатый разговор, как и в этом стихотворении о Гофмане:

Одну минуточку, я что хотел спросить:  
Легко ли Гофману три имени носить?  
О, горевать и уставать за трех людей,  
Тому, кто Эрнст, и Теодор, и Амадей...

Или же поэт зовет читателя к прогулке по городу в стихах, полных воспоминаний с трагическим подтекстом:

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки,  
У стриженных лип на виду...

Интересно, что при этом не всегда замечаешь, как «сделаны» стихи, не обращаешь внимания на «тиранию рифмы» (которую Кушнер обожает) — ну, есть она, держит строфу, и хорошо, а выделиться, показать себя особо она вовсе не хочет; не обращаешь внимания на пунктуацию, на тонкости мастерства, так они органичны, так слиты со смыслом стиха, а стремишься больше всего постигнуть именно этот смысл.

С самого начала это был целый мир, подаренный нам, мир, не уничтожаемый никакими ругательными статьями, нетленный.

С годами поэт, конечно, менялся, уходила некоторая импульсивность, внезапность поворотов мысли и настроения, стихи были подчас суше, но и глубже. Все раз-

нообразнее становились размеры и темы, появлялось все больше раздумий и трагических нот, а вера в драгоценность и силу жизни — она никуда не девалась, выраженная с такой же душевной тонкостью и чистотой.

Душевная тонкость всегда была сильной стороной поэзии Кушнера. Он видел и умел выразить то, чего не видели другие. И трагическую подкладку жизни ощущал во сто крат сильнее. В таком очень петербургском стихотворении вдруг открывается она, даже пугая своей неожиданностью:

Вижу серого оттенка  
Мойку, женщину и зонт,  
Крюков, лезущий на стенку,  
Пряжку, Карповку, Смоленку,  
Стикс, Коцит и Ахеронт.

Кто еще увидел в ряду многочисленных петербургских рек и каналов, реки, ведущие прямо в ад?

«Поэт умеет извлекать глубочайший смысл из простых понятий. / Тончайший аромат — из самых ординарных трав, растущих во дворе. / Но как же до сих пор слепы мы были...» — написала еще в начале XIX века американская поэтесса Эмили Дикинсон, а Анна Ахматова подхватила на свой лад, более обнаженно: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут стихи, не ведая стыда...»

Недаром и в стихах Кушнера так часто попадают сорные травы: лопухи, кипрей, борщевик... И кусты. Кусты особенно любимы поэтом. Маленький сын лепечет, разговаривая с кустом, как с равным собеседником. И много лет спустя:

Так ветер куст приподымал,  
Такой клубился белый цвет,  
Плеча касаясь моего,  
Как если б Тютчев мне сказал:  
Зайдите, будет только Фет  
И вы, а больше никого.

Но травы и кусты — это так, к слову. На самом деле все заключается в тончайшем умении увидеть неожиданное и глубокое в самых простых, казалось бы, вещах, пойти дальше и глубже поверхностного смысла, превратить сиюминутное впечатление в нечто серьезное и остающееся в душе надолго. И кажется вот-вот, еще немного — и будет постигнута глубочайшая суть происходящего. Ответ уже почти дан. Почти...

«На все отзывался он в сердце своем, / Что просит у сердца ответа», — написал когда-то Баратынский о Гёте.

Нужен лишь повод... Простое событие — залетевший в комнату шмель, которого пришлось подталкивать к форточке листом бумаги, — вызывает целую картину перенесенных шмелем страшных испытаний и рассказ его «дома» «о чудесном своем сверхъестественном избавленьи»; мы попадаем в микромир шмелиной жизни и сразу сознаем, как огромен и множественен большой мир. Кушнера вообще волнуют миры насекомых, их микромиры, нам недоступные и непонятные. («А бабочка стихи Державина читает / И радуется им: „Я червь, — твердит, — Я Бог!“» / Убогий червячок вдруг крылья распускает: / Узорная канва и радужный глазок»). Бездна между червяком-куколкой и нарядной бабочкой — и в то же время их близость, которая

томит, заставляет страдать, но и вознаграждается... И неожиданная связь между большим и малым миром — бабочка и Державин.

Или такой, тоже простой, казалось бы, повод: утром надо тихо выйти из комнаты, чтобы не разбудить поздно заснувшую жену. Это удастся, «все движенья отработаны». А кончается стихотворение грустными, заставляющими задуматься словами: «Спи. К любви печаль подмешена, / Страх, а думают, что страсть».

А вот яркий закат на даче. Он преображает все вокруг: «Живущий в доме том не знает, как горит / Его окно в лучах багряного заката...» И бревенчатый дом превращен закатом в сверкающий дворец, а хозяин его так и не узнает, «как чудно он живет, / Всей бедности своей наперекор и мраку». Не знает хозяин, не замечают и окружающие...

В другом стихотворении поэт стоит вечером у окна. Осень на дворе, «предсмертный шорох гибнущей листвы». И вдруг вопрос, обращенный к Кюхельбекеру, переключка с пушкинским «19 октября 1825 года»:

Скажи, Вильгельм, в другой, нездешней жизни  
Бывает так же грустно или нет?

И вопрос к Кюхельбекеру словно облегчает тяжелую вечернюю грусть, знакомую всем, выводит из нее.

Ощущение себя «современником всех», особенно поэтов былых времен, все чаще возникает в стихах Кушнера. Он обращается к Лермонтову («Поговорить бы тихо сквозь века / С поручиком Тенгинского полка...»), чтобы сказать ему, как мы любим его стихотворение «Сон», и вступает с ним в разговор о «другой жизни».

В стихотворении «Мне приснилось, что все мы сидим за столом...» стол этот накрыт в саду, среди цветов, «и читает стихи Пастернак». И Лермонтов рядом. «А туда, где сидит Председатель, взглянуть...» Мы знаем, кто этот Председатель, но нам вместе с поэтом так и не удастся его увидеть, кто-то его все время заслоняет; или мы не смеем взглянуть туда. И нездешним очарованием веет от этой сцены в саду.

Часто говорит Кушнер с умершими друзьями. Какой нежностью звучат его строки, явно обращенные к Иосифу Бродскому:

Поскольку я завел мобильный телефон —  
Не надо кабеля и проводов не надо, —  
Ты позвонить бы мог, прервав загробный сон,  
Мне из Венеции, пусть тихо, глуховато, —  
Ни с чьим не спутаю твой голос: тот же он,  
Что был, не правда ли, горячий голос брата!

Все больше привлекает поэта и античность, хотя она с самого начала, со сборника «Первое впечатление», ему сопутствовала. А сейчас из его «античных» стихов удалось составить целый сборник. Античные герои оказываются неожиданно близки. Стихи о забывчивости Тесея, не сменившего черный парус на белый, забывчивости трагической, сближают его с собственной забывчивостью автора в мелочах: «Все куплю, а спички позабуду, / Иль таблетку третью не приму...» И Кушнер признается, что «оплошность роковая» Тесея как-то утешает его в его будничных делах (хоть это, пожалуй, и эгоистично, добавлю я: Тесея-то жалко). А вот поэт сфотографировался рядом с бюстом Нерона, но косится на него со смешной опасливостью:

На этом снимке я с Нероном,  
Как будто он мой лучший друг.  
Он смотрит взглядом полусонным,  
Но может рассердиться вдруг.

Возвращение Одиссея в родную Итаку: «Первым узнал Одиссея охотничий пес, / А не жена и не сын. Приласкайте собаку...» — приводит к размышлениям о жизни и смерти вообще. И очень хороша фраза, обращенная напрямую к читателю: «Приласкайте собаку...»

«Кушнер — поэт жизни во всех ее проявлениях. И в этом одно из самых притягательных свойств его поэзии», — написал когда-то Д. С. Лихачев, который любил и хорошо знал его стихи. «Стихи Кушнера о счастье жизни и неутраченной за него тревоге», — отмечала Л. Я. Гинзбург в статье о нем. Действительно, поэт ценит и принимает жизнь с неослабевающей верой в нее:

Придешь домой, шурша плащом,  
Стирая дождь со щек:  
Таинственна ли жизнь еще?  
Таинственна еще. <...>

Мне дорог жизни крупный план,  
Неровности, озноб  
И в ней увиденный изъян,  
Как в сильный микроскоп.

Верить в таинственность жизни — свойство детей и поэтов. Но так принимать жизнь с ее изъянами и болью могут далеко не все: «Быть нелюбимым! Боже мой! / Какое счастье быть несчастным! / Идти под дождиком домой / С лицом потерян-ным и красным».

А вот стихи о минутах полного ощущения счастья: «Вот счастье — с тобой гово-рять, говорить, говорить! / Вот радость — и вкрадчивой ночью, и ночью...»

Но Л. Я. Гинзбург сказала и точные слова о «взаимосвязанности жизнеутвер-ждающего и трагического в его стихах». Трагическое, как изнанка скатерти, под-кладка плаща (об этом в других стихах), всегда рядом и дает еще острее почувст-вовать ценность и быстротечность жизни.

Неразрешимых, именно неразрешимых, раздумий о смерти в стихах последних лет много, они постоянны и изменчивы. Смерть то выглядит «привилегией», а бессмертие вовсе не нужно, то все-таки пугает своей непостижимостью. Но совсем иначе в стихотворении «Стрекоза»: умирающий обещал своей жене (или любимой) прислать в окно стрекозу, если что-то существует по ту сторону жизни; но стрекозы все нет, дни идут, и вдруг слово «стрекоза» произнесено кем-то в «мо-бильную легкую трубку», словно действительно знак с того света. Но поэт тут же и разрушает это предположение:

Я-то думаю: он попросил  
Перед смертью надежного друга,  
Тот набрался отваги и сил:  
Не такая большая услуга.

Размышления о смерти неотступны. И все больше в стихах последних десятилетий боли по поводу окружающего — это, по-видимому, неизбежно. Но больше в них и юмора, который был присущ Кушнеру всегда, но сейчас стал блистать все чаще и чаще. Например, подслушанный разговор ангелов о людях, об их житье-бытье, стихи, посвященные умершему год назад Самуилу Лурье:

Представляешь, там пишут стихи и прозу.  
Представляешь, там дарят весной мимозу...

Или блестящий и добрый юмор стихотворения «С парохода сойти современности...», юмор и по отношению к «вспыльчивым мальчикам», готовым всех подряд сбрасывать «с парохода современности», и по отношению к самому себе, решившему сойти с этого парохода раньше, еще до выходки «мальчиков», но вдруг оглянувшись с прощальной щемящей жалостью:

Пароход-то огромный, трехпалубный,  
Есть на нем и бильярд, и буфет,  
А гудок его смутный и жалобный:  
Ни Толстого, ни Пушкина нет.

В стихотворении «Прощание с веком» на редкость удачно использована в обращении к ушедшему веку, превращенному в почти живое существо, переосмысленная хрестоматийная строка Ходасевича; утратив трагический оттенок, она вдруг становится комичной:

Посмотри на себя, на плохого,  
Коммуниста, фашиста сплошного,  
В лучшем случае — авангардист.  
Разве мама любила такого?  
Прошлогонный коричневый лист.

И становится действительно немного жалко этого «злодея», который «потоптался чуть-чуть — и ушел». Мы жили в нем вместе «с Шостаковичем и Пастернаком» и сроднились даже с его бедами...

Прелестен юмор этого стихотворения об Англии:

Англии жаль! Половина ее насельня  
Истреблена в детективах. Приятное чтение!  
Что ни роман, то убийство, одно или два...  
В Лондоне страшно. В провинции тоже спасенья  
Нет: перепачканы кровью цветы и трава.

Непредсказуемы и поэтому особенно смешны последние его строки:

Может быть, все это связано как-то с Шекспиром:  
В «Гамлете» все перебиты, отравлены все.

Обращается поэт порой и к политическим темам, что обычно ему не свойственно. Но кто сейчас не пишет и не говорит о политике? Тут можно было бы и поспо-



речь с ним все на ту же, например, тему: «Конечно, русский Крым». Конечно, русский, только можно было бы вернуть его в Россию как-то иначе, иным способом, более цивилизованным... Но не будем спорить, тем более что гораздо раньше, еще в прошлом веке, написано Кушнером прекрасное стихотворение «Нет дороги иной для уставшей от бедствий страны...», кончающееся словами:

Каждый раз выбирает Россия такие пути,  
Что пугается Запад, лицо закрывает Восток.

Поэтический мир Александра Кушнера зовет нас в иное измерение. И задумываешься о другом, о том, над чем вечно размышляет настоящая поэзия: о величии, и трагизме, и ничтожестве, хрупкости жизни, о ее красоте и о смерти, ждущей на пороге.

И все чаще вспоминаешь строчки Кушнера, написанные давно, тоже в прошлом еще веке, по поводу искусственных руин в парке:

Друзья мои, держитесь за перила,  
За этот куст, за живопись, за строчку,  
За лучшее, что с нами в жизни было,  
За сбивчивость беды и проволочку,  
А этот храм не молния разбила,  
Он так задуман был. Поставим точку.

Будем же держаться за эти, и не только эти, но и многие другие, любимые нами кушнеровские строчки. И следить за тем, как из простых, «домашних» сюжетов рождаются глубокие и значительные поэтические мысли, как вдруг открываются глаза на что-то до сих пор неведомое.

**Ирина МУРАВЬЕВА**

### **НАША «ЗОНА ОТВЕТА»**

**Николай Боков. Зона ответа. Charleston, SC, USA, 2016.**

Писатель Николай Боков родился 31 декабря, в тот самый пограничный день, когда Новый год приходит на смену Старому. Не это ли определило его дальнейшую судьбу? тягу к пограничью, балансирование на краю, постоянное заглядывание за пределы, в бездну?

В последнее время я прочитала несколько книг этого ни на кого не похожего автора, человека с редкой, прямо-таки удивительной биографией. Книга, о которой пишу, называется «Зона ответа». И вот я задумываюсь над этим — согласитесь, весьма требовательным, императивным названием. Ведь если понимать это заглавие как обращение к личности, то «зоной ответа» можно считать нашу жизнь — как мы ее провели и проводим. Ну да, живем мы часто кое-как, словно пишем черновик, со-

вершаем необдуманное, погрязаем в обыденщине. Так нельзя ли в этом случае предположить, что книга Бокова, посвященная его духовным исканиям, поискам Бога, которые проходили в условиях весьма тяжелых, в добровольном нищенстве, в скитаниях по лицу земли, писалась как некий универсальный Ответ, как духовный образец, эдакое житие спасающего свою душу человека... Но нет, толкование явно кривое, всем прочитавшим книгу ясно, как далека она от прописей, святцев и житий, хотя и пронизана духом поиска божественного. Не то. Тогда, возможно, учитывая постоянную неудовлетворенность автора, его бесконечные скитания, ищет ответа он сам? Ответа от кого? От людей, от мест, от ситуаций, от самого Творца? Вопрос повисает в воздухе, ибо, чтобы согласиться с этим предположением или его отвергнуть, нужно хорошенько осмыслить содержание книги. Чем мы и попробуем заняться.

Итак, героем «Зоны ответа» выступает сам автор, его внутренний душевный и даже духовный мир. При этом путь автора-героя прочерчивается в книге не линейно, а причудливо, зигзагами.

В первом тексте он бродяга на улицах Парижа, ночующий на улице в ведро и ненастье («На улице Парижа»), во втором описаны мистические «озарения», случившиеся с ним в разное время во Франции, под Загорском, на границе Франции и Германии («Совпадения»), в следующем затем тексте — «Амур и Психея» — действие происходит во время военной службы героя в Дальневосточном округе, где его помещают в психушку...

Но не стоит продолжать, принцип построения книги, как мы видим, весьма произволен и не укладывается в определенную схему. Эти кусочки мозаики, отражающие разновременные периоды, в каждый из которых происходит накопление духовных сил и интенций, в конце концов складываются в мозаичное полотно, завершающееся Тетрадью отшельника, куда включены обрывочные, порой экзотические записи. Перед нами некий путь, на этом отрезке закончившийся полным удалением от мира...

Но пора сказать несколько слов о биографии автора. Николай Константинович Боков родился в Москве в 1945 году. Про дату его рождения — 31 декабря — я уже говорила, скажу и про имя. Его небесный заступник, Николай-угодник, святитель Николай, всегда считался покровителем моряков и путешественников, патрон бесспорно соответствует личности опекаемого. В писаниях Николая Бокова не раз встречается коллизия встречи с «чудесными помощниками», носящими не только такое же имя, как он, но и имя его отца, Константина, тоже, по-видимому, имеющее для писателя символическое значение (Константин Великий, как мы помним, сделал христианство государственной религией в своей империи).

Молодой москвич после окончания школы поступил на философский факультет МГУ. Подозреваю, что не было это «идеологическое место» в 1960-е годы рассадником свободомыслия, но сама послесталинская эпоха предполагала пробуждение в людях тяги к раскрепощению, к свободе личности и слова.

В эти годы Боков сделался диссидентом, сблизился с подпольным кружком, печатавшим и распространявшим «запрещенную литературу». Напомню, что запрещенными в те годы были «Доктор Живаго» Пастернака, «Мы» Замятина, почти все произведения Солженицына, все написанное на «лагерную тему» и опубликованное только в перестройку, а также статьи Андрея Сахарова и других диссидентов, публиковавшиеся в тамиздате...

Чуть отвлекусь. В «Зоне ответа» есть любопытный кусочек. Автор говорит, что распространение им в 1960-х годах копий нелегального «Доктора Живаго» способствовало тому, что позднее, когда в 1975 году он выехал в эмиграцию, сын Пастернака, Евгений, помог ему материально. Евгений Пастернак предупредил отъез-

жающего, что по роману его отца за границей снят очень плохой фильм. И вот в Вене Боков с женой этот фильм увидели — и по лицу их текли слезы, и картина их захватила...

Вспоминаю свои впечатления — и все совпадает. В ранней юности читала тайком переданный нам с сестрой экземпляр «Доктора Живаго», книжечку в обложке из папиросной бумаги раскрыла прямо в метро, так сильно было нетерпение и такова была политическая неискренность. В те годы за хранение подобной литературы арестовывали и сажали — кстати, визит милиции в квартиру, где лежала книга Пастернака, описан в «Зоне ответа». По счастью, милиционеры только проверили документы, не обратив внимания на «запрещенку».

Так же, как Боков, оказавшись за границей, в Италии, я увидела фильм «Доктор Живаго» и, как и он, расчувствовалась. Показалось, что и характеры точно угаданы, и тема «дороги» решена превосходно, и не раздражал Омар Шариф, великолепно вписавшийся в пространство роли. Прошу прощения за отступление.

Продолжу о Бокове. Ему пришлось уехать — после угроз и прямых посягательств на жизнь со стороны КГБ. В книге «Дни памяти и ночи сновидений» (2015) есть страшноватое описание «отлета» из СССР, когда самолет вернули со взлетной полосы для дополнительного досмотра пассажиров (это были евреи, летевшие в Вену, и диссидент Боков), а потом не давали взлететь в течение нескольких часов, после чего к авиалайнеру подъехал автомобиль, и гэбист «со значением» вернул Бокову его прощальный рисунок: волк, глядящий сквозь решетку тюрьмы на дальний лес. Последний, и опять же символический, дар покидаемой родины. В Париже, куда молодого писателя привела эмигрантская стезя и где за несколько лет до этого печатались его антисоветские памфлеты, места ему, однако, не находилось. Эмигрантские круги встречали «чужаков» из новой генерации недружелюбно. Родилась дочка Маша — инвалид, не могущая ни нормально говорить, ни самостоятельно передвигаться. Испортились отношения с женой...

Это я пытаюсь нащупать то звено, на котором прорвалась цепь привычной жизни Николая Константиновича, выявить тот, по Шекспиру, «вывихнутый сустав», который не дал писателю идти обычной колеей, повернул к религии, к поиску Бога. Как я понимаю, именно книга «Зона ответа», где автор рассказывает о себе, может навести нас *на причину* этой на первый взгляд внезапной метаморфозы.

Бесспорно, вначале было некое озарение, событие, о котором автор рассказывает в одном из своих текстов (сознательно не называю эти писания «рассказами», больше всего они напоминают отрывки из дневника, но дневника многослойного, к которому возвращаются на протяжении жизни, добавляя тот или иной кусочек). Об озарении чуть дальше. Но ведь было и еще что-то, дополнительное. Вот например, К., очаровательная юная французская женщина, любовь к которой автор-герой, кажется, так и не сумел изжить. Удивительный феномен: началом конца их романа стала совместная четырехдневная голодовка, которую оба мужественно выдержали. Выдержать-то выдержали, но что-то от них отлетело.

«Четвертый день: тишина. Спокойные воды Рейна, прибрежные заросли, серый песок. Мы начинаем плакать одновременно. Все-таки мы сделали этот трудный шаг еще вместе. Шагнули вместе в стороны друг от друга. Я плачу из-за унижения, небывалого, никогда такого не испытанного: великая любовь оказалась чуть выше желания поест. Чуть больше сэндвича».

Вечером, когда голодовка закончена, они пьют чай с бутербродами — и снова плачут, и договариваются, что не оставят друг друга. А затем прощаются на вокзале, он уезжает в Париж: «Дверь захлопнулась, и поезд пошел, быстро набирая скорость. Больше мы не виделись никогда».

Образ К. не раз возникнет перед мысленным взором автора и в этой книге, и в других. Вместе с ней ушло из его жизни что-то очень важное — чувственное, женское, вечное начало любви. В предыдущей книге Боков показал свое мастерство в создании любовной новеллы, в поразительном умении запечатлеть эротические моменты, без пошлости и без котурнов, очень по-человечески. Но в «Зоне ответа» таких мест почти нет, и К. появилась тут как воспоминание и как одна из причин того, что последовало дальше.

На героя наплывало что-то Большое, он вставал и ложился с сознанием, что Бог существует. Может быть, он повредился в уме? Эта мысль погнала его к врачу-психиатру. Женщина-врач посоветовала меньше волноваться и обновила рецепт на успокоительные таблетки, которые он уже принимал после приезда во Францию. О Боге он сказать ей не успел.

А между тем ему было видение. «Открылось — у меня обнаружилось — новое, особенное, никогда прежде не испытанное зрение. Я смотрел внутрь себя — так, как смотрят на окружающие предметы... В мгlistом пространстве с висящим сердцем (сердцем самого рассказчика. — И. Ч.) прозвучал голос. *А ты никому не сделал зла?*..

Я стал говорить, скорее всего, вслух:

— И в самом деле! Непостижимо. Сколько я наделал злого! И тому — вижу теперь! и этой! и К.! и всем, всем, кто только встречался в жизни!»

Привожу этот кусок без комментариев, ибо не будучи сама мистиком или визионером, признаю существование таковых, а в случае Николая Бокова я долго не могла понять истоков его многолетнего «духовного подвига» — как иначе можно назвать добровольно избранный им — на целое десятилетие — образ жизни? В «Зоне ответа» странички дневника приоткрывают первоначальный толчок для перерождения писателя-философа, писателя-сатирика в бездомного бродягу, живущего случайным подаянием и спящего под открытым небом.

В 1982-м последовало его крещение в православие, а с 1985-го начались скитания по монастырям Афона, Иерусалима, церквям Франции и Германии, когда в вещевом мешке странника были только священные тексты, свитер, чтобы спастись от холода, и пленка, защищающая от дождя.

Позволю себе предположить, что инвалидность дочери Марии, невозможность, несмотря на все попытки (поездки во французский Лурд и Фатиму в Португалии) поставить ее на ноги, сыграли свою роль в духовном перерождении отца. В одном месте книги автор говорит, что считал, что девочка перестала расти и развиваться после того, как в раннем возрасте услышала громкую ссору отца с матерью. Кажется, что это — настоящее или мнимое зло, нанесенное дочери, а точнее, желание его искупить — во многом и подвигло героя-автора на те страдания плоти, на которые вряд ли согласится обычный современный человек.

Однако наткнулась в книге на эпитет «благословенные» по отношению к проведенным в скитаниях годам. Годы физических лишений — отказа от комфорта, даруемого цивилизацией, даже в его самом примитивном выражении в виде сытного куска и теплой постели, сопровождалась постоянной духовной работой, а временами *озарениями*, когда нашему герою казалось, что за ним следит и его спасает высшая сила.

Незабываемо описание болезни — с лихорадкой, ознобом, обильным потом, — подхваченной странником после ночевки на бетонном полу заброшенного строения. Пешка в Божьем мире — кому он был нужен в своей немощи и болезни? И он уже полагал, как уже бывало с ним, что приходит последний час. Кстати говоря, именно в эти минуты ожидания конца и возникает у писателя словосочетание «зона ответа»: «Может быть, дело не в словесном ответе, не в ученом объяснении, а в обнаруже-

нии „полосы понимания“, „зоны ответа“, куда можно „войти“ и воспринять всем существом — временно-вечным нашим существом — невыразимое». Здесь говорится об «ответе» некой Высшей силы, о заботе Бога.

В тот раз болезнь ушла как не бывало, он выздоровел. Явление, когда визионер ощущает присутствие Бога и слышит его голос, оказывается, имеет название *Бат кол* — что в переводе с еврейского означает «Голос Бога». Так назван один из текстов этой книги. Он рассказывает о посещении Арля, города Ван Гога, — и вот его конец: «Быть в Арле и не вспомнить об ухе Ван Гога? Нет, невозможно. Просто невежливо. Вы помните, конечно, что однажды художник отрезал себе кусочек мочки и послал приятелю Гогену. Как говорится, в припадке безумия. И, однако, заметим, что именно ухо, а не что-нибудь другое... Если присмотреться, ухо отдаленно похоже на младенца в утробе матери. Как зреющий плод. Созревший. И перерезают, собственно, пуповину. Ухо, словно некий младенец. Словно ребенок Ван Гога, погибающего художника. Ребенка нужно спасти. Послать его другу перед своим исчезновением. Любопытно, что и спальный мешок напоминает о материнстве, и спящий в нем — младенец, которому предстоит родиться наутро».

Если потянуть за эту ниточку — младенец, ребенок, которого нужно спасти, — выйдешь на одну из центральных тем книги — тему Марии, дочери художника, живущей в инвалидном доме. Странник говорит о себе, что, если его не станет, никто о нем не вспомнит, никому он не нужен, кроме дочери. Эта привязанность взаимна, и Мария, Маша, при всей своей беспомощности, а возможно, именно из-за нее, нужна отцу.

И в этой книге, где так много встреч и пересечений человеческих судеб, где люди проходят истинную проверку — по тому, как они встречают бездомного нищего, — одна из главных историй — о двадцати детишках, живущих рядом с Мари, каждый из которых со своим недугом и страданием: «Мария уже заметила меня и довольно улыбается, однако своей радости до времени не обнаруживает. Потому что по дороге к ней мне еще нужно поздороваться с Бернаром, едущим в кресле, и с блаженной Надеждой (она родилась без кистей рук), и с Рашидом: он передвигается на снабженной колесами койке, лежа на животе...».

Мне довелось читать повесть Николая Бокова, посвященную дочери<sup>1</sup>. В ней писатель подробно рассказывает о жизни Маши и других подопечных дома для инвалидов во Франции. Повесть можно назвать отчасти публицистической, ибо даже в благословенной Франции далеко не все хорошо в работе с детьми-инвалидами.

В «Зоне ответа», хотя Маша встречается тут и там на страницах книги, непосредственно с ней связан только один текст, текст грустный и счастливый, носящий то же название «Зона ответа», что и вся книга. Отец и дочь заняты друг другом, они упоены встречей. «— Ты завтра придешь? — уже беспокоится Маша. Ее соседки Зульфия и Элен внимательно слушают наш разговор. — Приду! Пойдем гулять далеко, пойдем в Парк цветов. И бабочек: там устроен вольер для бабочек-капустниц. И есть игрушечный поезд для детей».

Трудно представить, что эту связь может что-то нарушить. Но вот Боков пишет, что Машу увезли, скрыв от него ее новый адрес. Он не видел дочь три года... По мистическому совпадению, 9 сентября, в день убийства отца Александра Меня, почта принесла ему конверт с адресом Маши. И адрес дочки, написанный на конверте рукой ее матери, для автора-героя написан рукой самого Господа.

Есть в книге еще одна Мария. Благодаря ей герою-автору удалось уехать в Святую землю. Однажды он уже побывал там — и возможность переехать на корабле

<sup>1</sup> Николай Боков. Повесть о Маше. <https://www.chayka.org/node/65605>, 15 июня 2015, а также альманах «Чайка», 2015, № 2.

из Греции осуществилась чудесным образом. В последнюю минуту к билетной кассе подбежал юноша, купивший билет для себя и для незнакомого бродяги, безмолвно стоящего возле кассы. Таким образом этот бродяга — Боков — благополучно добрался до места назначения.

Второй раз свершилось нечто похожее, большое участие в этом «чуде» приняла греческая юродивая, по имени Мария. Она подвела безденежного странника к компании и, указав на какого-то человека, сказала: «Этот». В итоге человек, на которого она указала, поселил бродягу у себя, а потом снабдил деньгами (десять тысяч драхм!) для морского путешествия. Впоследствии герой выяснил, что его «благодетель» никогда до того Марию не видел. Конец этого текста («Билет в Святую землю») замечателен. Осчастливленный паломник с бьющимся сердцем поднимается на палубу, «еще опасаясь немного, что передумают, схватят, вышлют». С палубы он замечает маленькую знакомую фигурку, идущую по берегу, и машет ей рукой, и кричит прощальные слова, но ветер относит их в сторону. Дальше — слово автору: «И вдруг вижу, как женщина поднимает руку в благословляющем жесте. Она даже снимает косынку. Она машет черной косынкой. Таинственная Мария, завершающая ей одной известную миссию. Прекрасная Мария. И глаза мне щиплет и жжет. Прощай, Эллада. Афины, прощайте. Иерусалим, спасибо за это стремление к тебе».

Ни в одном из этих восклицаний нет восклицательного знака. Автор умеряет интонацию, утишает звук, чтобы не сфальшивить, не впасть в декламацию. Высокие чувства боятся профанации. Ясно, что гречанка Мария какой-то частицей связана в сознании странника с Марией-дочерью, оставленной во Франции, а от них обеих тянется ниточка к их небесной покровительнице, Деве Марии.

Книга прочитана, и мы снова возвращаемся к ее названию. Что же, собственно, такое эта «Зона ответа»? Трудно ответить за автора, но мне кажется, что Николай Боков имеет здесь в виду свою *ответственность* за происходящее с ним и с его близкими. Мы все находимся в этой зоне, и однажды нам всем придется держать — каждому свой — ответ. Спасибо автору, напомнившему нам об этом!

**Ирина ЧАЙКОВСКАЯ**

## **НЕ МУДРСТВУЯ ЛУКАВО**

**Борис Брохович. Серпантин событий. Озерск, 2016; подготовили к изданию Б. Н. Ентяков, Н. Б. Брохович, А. В. Попова.**

В моем романе «И нет им воздаяния» есть такая сцена: главный герой находит на крыльце магазина подержанной книги выброшенную книжку «Они ковали щит Родины» с мучительно знакомой бородой на истрепанной бумажной обложке. Это был Курчатov, издание третье, переработанное и дополненное. Герой раскрыл книжку на случайной странице и прочел: «Требовательный к себе и другим, крупный государственный деятель, борец за мир, верный сын Коммунистической партии». Преодолев отвращение, он стал читать дальше, но не нашел ни признака жизни, один упорный труд, ответственность перед партией и народом... И хоть бы слово, что это была за ответственность — на правительственной машине ехать в Кремль и не знать, получишь там золотую звезду на грудь или свинцовую пулю в затылок. И ни одной

аварии, ни одного облучения — партия приказала, ученые, инженеры и рабочие исполнили. Так в чем же был их подвиг, если все было так гладко?

Для того же романа я прочел не менее полуметра «жэзээловских» биографий видных создателей советского оружия, благодаря которому мы выиграли войну, и едва наскреб на пару абзацев живых и драматических деталей, а сами герои были словно отштампованы одним станком: все ответственные, дисциплинированные и верные сыны партии. Если бы какой-то злодей пожелал забыть об этих героях, то и он не придумал бы более изощренной казни — превратить живых людей в болванки и утопить в сиропе. Поэтому я был счастлив, когда в музее легендарного комбината города Озерска (Челябинск-65), где в середине сороковых начали вырабатывать первый оружейный плутоний, мне подарили книгу не менее легендарного директора Бориса Броховича «Серпантин событий» (Озерск, 2016; подготовили к изданию Б. Н. Ентяков, Н. Б. Брохович, А. В. Попова), выпущенную к столетию со дня его рождения.

Биография Бориса Васильевича самая что ни на есть образцово советская: родился на Псковщине в семье военного фельдшера и медсестры, в ФЗУ получил специальность слесаря и помощника машиниста, успел поработать, в 1941-м окончил энергетический факультет Томского индустриального, до 1946-го проработал на Челябинском ферросплавном («Все для фронта, все для победы!») как инженер-электрик, выросши с помощника мастера до начальника электроцеха, а в октябре 1946-го был направлен на строящийся завод 817, где начал с отдела оборудования, а закончил директором производственного объединения «Маяк», лауреатом Ленинской и Государственной премий, Героем Социалистического Труда, а орденов и медалей и не перечислить. При этом он ухитрился не набраться важности и казенных представлений, что героическая эпопея должна быть отлакирована до полной неразличимости того, что там было на самом деле. Поэтому прошу не упрекать меня, но, напротив, благодарить за избыточное цитирование: я не уверен, что эта замечательная книга доберется из Озерска до сколько-нибудь значительного числа читателей.

Итак, явление героя.

В 1947 году на площадку Базы-10 — Челябинск-40 — для выбора места будущего завода «В» Игорь Васильевич Курчатov прибыл в составе комиссии, возглавляемой генералом Кругловым, «доросшим» до министра МВД через личную охрану Сталина. На станции Татыш их встретил идеально одетый и подтянутый командир базы, который на грубые требования Круглова все ему рассказать и показать четко и вежливо отвечал, что для этого он должен получить указания «военно-морского министра», а таковых не имеется.

«Обстановка накалялась. Вдруг я почувствовал, что меня кто-то подтолкнул в бок. Я посмотрел и увидел напряженное лицо Игоря Васильевича. Мне показалось, что Игорь Васильевич переживает за подполковника, сочувствует ему, что он поведением Круглова, бывшего служащего охраны Сталина, поставлен в неравноправное положение». А когда начальство отбыло, «Игорь Васильевич, улучив минутку, сказал мне: „Каков офицер! Как умеет себя с достоинством держать! Учись!“ — такая вот была у нас «страна рабов».

«Игорь Васильевич был в темном костюме, в шляпе, на ногах — кирзовые сапоги с заправленными в них брюками и на плечах ватная тужурка» — такие вот у нас были «ватники».

«Мне он показался по-мужски очень красивым, с чуть седеющей бородой, а его легкий толчок в бок и фраза о достоинстве офицера и умении себя держать являлось сутью самого Игоря Васильевича, его глубочайшей порядочностью.

Приехали обратно в город, на вокзал, вышли из мотовоза и попрощались. Я в эту первую встречу, пробыв с Игорем Васильевичем несколько часов, почувствовал к нему величайшее уважение и симпатию, смог его внимательно рассмотреть и составить о нем хорошее мнение на всю последующую жизнь. С этого момента я считал себя знакомым с Курчатовым и стал здороваться с ним. И в ответ на приветствие: «Здравствуйте, Игорь Васильевич» всегда чувствовал со стороны Игоря Васильевича доброжелательное, уважительное отношение к себе, его улыбку на лице и ответ: „Здравствуйте, Борис Васильевич“, которых так не хватало нам. Да, наверно, и мало исходило от нас самих».

Через полвека вспоминать улыбку начальства — для этого требуется не только начальство особенное, но и фон особенный.

Начальство — «могучая кучка»: Ванников, Курчатов, Славский, Александров (будущий президент Академии наук) — размещались в охраняемом коттедже, носившем нежное имя «Березки».

«Питалось приезжее руководство в столовой ИТР, где была отдельная небольшая комната. В домике сложилась непринужденная обстановка и удивительно мягкий микроклимат, чувствовалась теплота отношений и большая забота друг о друге. Обстановка оживлялась дружескими розыгрышами и хохмами, остроумием Игоря Васильевича и Ванникова. Обстановка была суровой и напряженной, если не сказать больше.

Верховное руководство в лице Берия, его методы управления и контроля не помогли. Продолжалось отставание строительства, несмотря на снятие с работы начальника строительства генерал-майора А. Д. Рапопорта и директора завода 817 Е. П. Славского. Усложняли обстановку и работу „могучей кучки“ во главе с Б. Л. Ванниковым и И. В. Курчатовым неувязки в проектах. Каждое техническое решение вырастало в проблему, потому что все делалось впервые».

Авариям в «Серпантине событий» посвящены десятки колоритнейших страниц, для профана, казалось бы, повторяющих друг друга, но накрепко вбивающих в память, что смертельный риск был будничным хлебом создателей ядерного оружия. А разнообразие опаснейших сюрпризов было таково, что решения по их преодолению никак не могли быть «выкрадены», — иначе все эти проблемы просто не возникли бы.

«Основываясь на рассмотрении конструкций реакторов, качестве урановой продукции, знании ядерных процессов, поведении используемых материалов, обеспечении техники безопасности, дефектов проектов, личном общении с учеными, я должен выразить не только очень большое сомнение в том, что нам все выкрали, и даже полную уверенность, что так не было и не могло быть.

Объем необходимой для решения проблемы информации, разносторонность и количество ее таковы, что это не под силу добыть десятку самых выдающихся ученых, фанатиков и бессребреников, считавших своим долгом помочь СССР в ликвидации монополии США в атомном оружии».

К слову сказать, сразу же после успеха Манхэттенского проекта великий Нильс Бор принялся убеждать сначала Рузвельта, а потом Черчилля немедленно поделиться атомными секретами со Сталиным для поддержания силового равновесия и дальнейшего взаимного контроля. Однако Рузвельт вскорости отправился на тот свет, а Черчилль потребовал пригрозить Бору арестом или, по крайней мере, открыть ему глаза на то, что он «находится на грани государственного преступления». Ведь большие политики — большие прагматики, и результат этой государственной мудрости показал себя уже в ближайшие годы: Советский Союз предельным напряжением сил создал свою атомную бомбу, но вышел из этой гонки обоз-



ленным, проникнутым уверенностью, что спасти себя от новой сверх-Хиросимы он может лишь при помощи равновесия страха. Товарищу Сталину неизменно ставят в заслугу создание атомной бомбы, но никому не приходит в голову сказать спасибо и товарищу Черчиллю.

Далее к техническим проблемам, как это ни соблазнительно, я возвращаться не буду, но в человеческих отношениях жаль упустить любую мелочь, тем более что именно житейских мелочей нашей истории более всего и не хватает.

«Реактор „А“ еще не запущен, положение архисложное, но микроклимат в до- мике и среди „могучей кучки“ поддерживался нормальным. Борис Львович (Ванни- ков. — А. М.) — очень умный и хитрый политик и человек, видевший и перенесший многое при работе со Сталиным в качестве министра вооружения, репрессирован- ный, сидевший в тюрьме и вновь возвращенный в министры боеприпасов и прора- ботавший им всю войну до назначения начальником ПГУ-1 при СМ СССР. Но Борис Львович был очень едкий, слегка каверзный человек, физически больной, особенно по сравнению с Е. П. Славским. Душой же и здесь оставался Игорь Васильевич.

...В присутствии Курчатова, как правило, не ругались матом, даже такой вирту- оз, как Славский, сдерживался и не кричал, не разносил подчиненных. Крикливые споры стихали. И все приходило в более мирное русло. Он был человеком, присут- ствие которого облагораживало окружающих. Я был свидетелем, когда Игорю Ва- сильевичу приходилось давать поручения или требовать выполнения работ и от ма- ститых академиков, имевших свои школы и большой круг учеников, и от докторов наук, имевших большой «вес», но по тем или другим причинам не выполнявших или своевременно не выполнявших поручение, которое действительно нужно бы- ло сделать. Это были А. И. Алиханов, А. П. Виноградов.

Как мне запомнилось, у Игоря Васильевича не сходила с лица улыбка, но лицо слегка вытягивалось. Становилось напряженным. Оппонент, как правило, горячил- ся, оправдывался, в этом состоянии говорил много лишнего, но Игорь Васильевич внимательно слушал. Не перебивал. А затем опять возвращался к нему: „Но как же быть, скажите?“ И, в конце концов, тот соглашался, называл сроки и, главное, де- лал. Но это дорого стоило Игорю Васильевичу».

Может быть, именно перенапряжением объяснялся совершенно подростковый характер взаимных розыгрышей этих титанов. То Ванникову на рыбалке попада- ется большой окунь, и генерал-министр составляет об этом акт приемки с подписа- ми, чтобы в его удачу поверил «Борода». То Курчатова в гардеробе прибывает к по- лу галоши Ванникова. То Славский в банный день приказывает дежурной отпра- виться в ванную проследить за Курчатовым, чтобы его не убило током от электри- ческой плитки...

Но вот каким увидел его инженер Л. Алехин после очередного срыва: «Послед- ний раз я видел его в приезд Берии. Он очень волновался. Берия ему делал замеча- ния: „Вот вы не хотели ехать со мной, а видите, какие тут беспорядки“. Дело в том, что к этому времени неустойчиво работала панель температуры. Берия ругался. Ру- ки у Игоря Васильевича дрожали».

Это Берия еще сдерживал себя. Однажды он начал разносить начальника снаб- жения за то, что тот не мог выбить какие-то лампочки, — и вдруг возмутился: «Что вы на меня смотрите сверху вниз?» — тот был ростом за метр девяносто. И несчаст- ный великан полуприсел, чтобы оказаться с начальством на одном уровне.

Низы ругаться не могли, позволяли себе только подтрунивать. Когда обслу- живающему персоналу реактора не понравились маленькие лебедки, установлен- ные по распоряжению Курчатова, их стали называть хивами — хреновинами Иго- ря Васильевича.

«Парикмахер Люба Журавлева вспоминала: ее пригласили на дачу „КС“ в коттедж подстричь Игоря Васильевича и Ефима Павловича. Дача на берегу Иртыша. Она пришла, стала подстригать Игоря Васильевича, а Ефим Павлович стал хулиганить. Облил его водой. Игорь Васильевич рассмеялся, а когда Люба стала брить Ефима Павловича, вылил на него воду из графина. Я спросил у Любы: „Правда, что у Игоря Васильевича была большая, густая борода?“. Люба ответила: „Да не, реденькая, мы ее пушили!“»

Розыгрыши случались и более забавные. Спрятанные брюки академика Александрова, из-за которых тот был вынужден ходить по отдельному вагону в кальсонах, завернувшись в одеяло, — это, конечно, не самый высший сорт. Но когда к великому металлуведу академику Бочвару отправили в номер пожилую коридорную, уверив ее, что это его горячая просьба, — это уже гораздо забавнее. Но когда вдумываешься, что эти люди могли шутить с петлей на шее, — уважение к ним возрастает десятикратно.

Этот образ — петля на шее — принадлежит самому Броховичу, отнюдь не склонному к пафосу. Но когда в уже принятом реакторе возник непредвиденный «козел» (так в доменном деле называют застывший в печи металл), с которым было непонятно, что делать, Брохович совершенно правильно читает мысли Берии и еще более высокой власти, выделяя их даже жирным шрифтом: **«Не пора ли Курчатова и К призвать к ответу! А может, пустить в расход? Если бы это только было выходом из положения, то это было бы сделано без промедления».**

**«Курчатов работает с петлей на шее».**

И мимоходом рассказанная история любви с петлей на шее: Курчатов даже в эти дни любил посидеть за спиной очень интересной девушки Л. — инженера управления. Разумеется, при его внешних данных, обаянии и заоблачном авторитете он не был обойден вниманием женского пола, и Л. ему тоже поддалась. Один из охранников, «духов», даже устроил для них встречу с шампанским в присутствии ее подруги, но — «ни она, ни Игорь Васильевич не могли пойти на какие-то грязные, бесчестные поступки». А потом он по делам уехал в Москву, а она вышла замуж за своего сверстника. Но через год-полтора Курчатов снова приехал на площадку и, не удержавшись, зашел к ней домой. На звонок она вышла сама с младенцем на руках. Он спросил, не нужно ли чего. Она ответила: не нужно, а из квартиры слышались голоса подвыпивших мужчин.

Эту грустную историю Брохович заканчивает так.

«Игорь Васильевич вздохнул, загрустил, поняв, что исчезла навсегда и последняя надежда обзавестись в семье детьми, а поступи он иначе, малыш мог бы быть и его сыном, и жизнь могла быть совершенно другой.

Постоянное наличие влаги в кладке реактора „А“ из-за неудачной конструкции вентиляции и попадания воды из „козловых“ ячеек привело к электрохимической коррозии авиалевых труб, течи их и наличию в кладке такого количества воды, что реактор заглох, но уже из-за недостатка реактивности».

Б. Брохович не ограничился звездами первой величины, он написал и о десятках специалистов, к каждому рассказу приложив фотографию. Его добросовестностью можно только восхищаться, но это уже пантеон отраслевого значения. И это замечательно, что у атомной эпопеи нашелся столь искренний и преданный летописец.

**Александр МЕЛИХОВ**

## СУЩЕСТВЕННЫЙ ЭТАП

**Олег Юрков. Избранное. Т. 1. Ростральные колонны; Т. 2. Море вернется...;  
Т. 3. Берега мои. СПб.: Реноме, 2014–2016.**

Прежде чем приступить к обсуждению трехтомника стихов Олега Юркова, хочется сказать два слова о стихах как жанре современной русской художественной литературы.

Вспомним, что недавно миновали такие знаковые мероприятия, как год литературы, год славянской письменности, многочисленные книжные салоны и т. п. Все это должно было активизировать интерес, в том числе и к стихам. Однако бурного роста внимания к этому жанру мы не заметили. Это объясняется в значительной мере тем, что уже примерно 50 лет стихи негласно считаются художественной литературой второго сорта, за исключением нескольких давно и широко известных имен, которые большей частью используются в качестве подарков к праздникам, а не для внимательного слушания и чтения. Это происходит, среди прочих причин, и оттого, что явно падает содержательность современных стихов, и отсюда — их смысловое воздействие на души читателей. Всё меньший круг стихов охватывает явления современной жизни, жизни страны, личных и общественных отношений, не говоря уже о социальных и политических моментах. Армия, авиация и флот — эти вечные источники внимания и вдохновения для наших поэтов — превратились в замкнутые, секретные системы, которые потеряли непосредственный контакт с массами людей. Где сегодняшние Чкаловы, Байдуковы, Папанины и пр.? Нет полновесных стихотворных сочинений о несчастной русской деревне, поскольку писатели-деревенщики вымерли, и о не менее несчастном рабочем классе, которого, по сути, давно нет. Вот и приходится молодежи устремлять свое внимание на Евровидение, в котором, увы, мы тоже не блещем.

Однако перейдем к предмету нашего рассмотрения. Особенностью всех трех томов — «Ростральные колонны», «Море вернется...» и «Берега мои» — является их преемственность, перетекание одного тома в стихи другого, причем резкой границы между томами не ощущается. Вероятно, такова была воля автора. И там и тут Петербург, и там и там экскурсии в историю и в глубины души человеческой, если такая существует. Во всех трех томах присутствуют друзья и любимые, широкий спектр взаимоотношений. И там и там присутствуют юмор и печаль. И все же в первом томе больше о войне, а в третьем — маленькие поэмы и больше о музыке и театре.

Можно догадаться все же, что в первый том автор постарался вложить наиболее существенные, весомые, с его точки зрения, и северные, и южные впечатления. Впечатление, что автор беспокоится, что не успеет издать все, что хочется. В действительности это не так. Все три тома, конечно, единое целое, возвращающее автора в юность и молодость. Тут самый раз вспомнить о содержательности так называемых шестидесятников, которых можно жестко ругать за нравственную подготовку известных печальных политических событий, но чувствовать их правоту и учиться у них не зазорно:

С полатай головы склоня  
из невозможно дальней дали,  
четыре маленьких меня  
за мною взрослым наблюдали.

(Евг. Евтушенко)

Конечно, правильнее сказать «четыре маленьких я», но разваливается и стихотворение, и всё очарование этих строк. Это и есть апофеоз содержательности, позволяющий перевести просто стихи в поэзию, а стихотворение в литературу первого сорта.

Отвлекаясь от нашего автора, позволю себе сделать еще существенное отступление — это способ подачи стихов читателю. До тех пор, пока стихи будут печататься курсивом, а рядом проза будет печататься нормальным шрифтом (см. «Литературную газету»), до тех пор стихи (любые!) будут в общественном мнении считаться литературой второго сорта! Будем надеяться, что литературные власти примут во внимание наш совет, тем более что, как мне кажется, весь словарный запас, строй нашего языка, его синтаксис гораздо более приспособлен для стихов, чем для прозы. Именно размер и ритм характеризуют язык как живой организм, и эта особенность русского языка восходит к колебательным реакциям мирового бульона, который окружал нашу планету 3–4 миллиарда лет тому назад. Однако перейдем к делу.

Характерным признаком стихов О. Юркова является их антипафосность и многозначность. В большинстве случаев эти качества превалируют над восторгом и гневом — этими необходимыми признаками высокой поэзии. Поэтому речь автора так легко укладывается в привычные стихотворные размеры, создает атмосферу доверительного разговора с читателем или слушателем. Однако попадают и стихи с признаками упомянутых выше качеств, например: «Что происходит?», «Отставной демократ», «27 января 1937 г.», «Победный день», «Сел самолет...» и некоторые другие. Можно подробно разбирать то или иное стихотворение, может быть, находить неточности. Но цель автора — создать у читателя хорошее настроение, вселить в него веру в необходимость жить при любых обстоятельствах и быть оптимистом.

Обратимся к первому тому. Он открывается циклом «У белой воды» и сразу погружает читателя в атмосферу военного детства, которое, как ни странно, смыкается с более близким по времени конфликтом одной из современных кавказских войн, не менее жестокой, чем Великая Отечественная. Тут и картины взорванных мостов, покинутого разрушенного города, сцены эвакуации и оккупации:

Толкая в спину автоматом,  
стреляя вверх над правым ухом,  
меня вели морским фасадом  
к обрыву, на съедение мухам.

В этот раз всё обошлось, но могло быть иначе, ибо

...играет лимонкой голодный солдат,  
по гулкой бетонке идут бэтээры... — и т. п.

И как-то органично смотрятся в этой панораме картины прошлых войн и пожаров и возврат к каким-то светлым впечатлениям, связанным с Петербургом, Крымом, морем и мостами, уже не недостроенными, а полновесными, судьба которых — нависать над широкой водой. Жизнь берет свое, ей предназначенное. Мирные впечатления особенно притягательны после бесчеловечности войны.

Характерной чертой первого тома, как, пожалуй, и остальных, является рассыпанность отдельных стихотворений. Цельное по сути произведение, никак не может нанизаться на общее вертелo, с помощью которого готовится духовная пища. Это, вероятно, и есть своеобразная манера автора, жадного до внешних впечатлений и не утруждающего себя тщательным склеиванием и сведением к общему знаменателю

цельных, законченных произведений. Конечно, и в отдельных стихотворениях можно отыскать менее удачные строки:

Современность — часто сказка сазанья,  
из бульжника душистый навар...

или

Не зная, что, воссев среди коллег,  
мне Сам Христос подписывает чек.

Ряд удачных стихотворений связан с Северным Уралом. Особенно хорошо смотрится «Добрянка», а также «Далеко мне до Березников», «Сосна и Ель», «Стеклянные цветы».

Эти стихи как-то выбиваются из цикла «На переломе», который, безусловно, заинтересует читателя своей политической актуальностью. Здесь в центре — фигура недавнего крупного политика, человека неоднозначного, ставшего символом перемен и надорвавшегося в своей пылкой ораторской деятельности. Сегодня, по прошествии ряда лет видны промахи во многих его решениях. И как антитеза этому деятелю звучит стихотворение «В душу каждому не влезть». И все же не коллизии социальной жизни, а именно душа (какое затертое слово!) находится в центре внимания автора, и всё, что происходит так или иначе, связано именно с духовным началом жизни. Это же относится и к историческим экскурсам лирического героя, когда он размышляет о судьбе «случайного» русского царя Василия Шуйского — освободителя Кремля от поляков.

Второй том «Избранного» оказался более «мягким», чем первый. Тут и танцы, и смех за стеной, и упомянутый царь — герой Смутного времени, поведший народ на штурм Кремля, хотя и не добившийся окончательного освобождения, пока не явились из-за горизонта фигуры Минина и Пожарского. Эти страницы весьма интересны, и забываешь, стихи это или проза, где документ, а где домысливание автора. Но вот новый зигзаг мысли — и мы переносимся в современность, в Сибиронóвск, гипотетическая будущая столица Руси. И тут же во втором томе «Пейзаж с дорогой» — вариация известного стихотворения В. Соколова, с художницей, которой всё нет, а весна наступает, и ее не ухватить за рукав.

Впечатляет стихотворение «Лозунг Дня» с явной политической закваской, но воспринимается как нечто ушедшее, вчерашний день перестройки на дороге, которой нет. Так и хочется сказать читателю:

В этом доме ничего не происходит...

Вот только почему-то прекрасный город Одесса оказался не в России.

Останавливают внимание читателя и чисто личные стихотворения, вроде «Ну уходи, мне грустно без тебя...», «Гордость женщины», «Ты въехала в отдельную квартиру» и т. п. В этих стихотворениях альбомность борется с обобщением, и кто кого победит — остается за кадром... В итоге среди незначительных стихотворений пробивается к читателю главная тема — тема искусства, справедливости, жизнеутверждения. Так появляются «Военным поэтам», «Чилийская баллада», «Абхазская элегия» и др.

Тут и известные скульпторы, артисты, все добрые силы работают на автора. Упомянуть их всех — значит подвергать забвению. А это невозможно.

Наконец, третий том — по закону трех чисел должен быть завершающим. Это — густо замешанный раствор чувств, мыслей, призванный скреплять в нечто единое удачу и недостатки двух предыдущих. Действительно, в третьем томе больше реалий сегодняшней жизни, больше света и огня («Маяк», «Огонь», «Дай огня!»). Что касается содержательности, то, по-моему, он не уступает первым двум.

Много стихов, которые без опасения можно отнести к удачам автора: «Разговор поэтов», маленькие поэмки, а именно «Швея Анюта», «Черноморское предание», а также, я бы сказала, полупоэмы: «Взятие Выборга», «Музыка спасет мир», «Обелиск».

Заметны и стихи, выделяющиеся из общего гармоничного строя благодаря заложенным в них протестным ноткам, типа: «Россия — это не Москва», «Отца забрали ночью», «Портрет», «Опять потеря — не людей, так вещи...». Особенно отметить хочется поэму о скрипачке «Музыка спасет мир» — парафраз Достоевского, несущий в себе элемент музыкальной фантазии...

Оценивая в целом трехтомник стихов, хочется сказать, что это, безусловно, новая грань питерской литературы, которая, однако, не отражает каких-то особых, отличных от русского языка, петербургских текстов, а является лишь каплей в великой общерусской литературе. Это попытка поставить стихи вровень с прозой, причем прозой хорошей, в то же время оставаясь поэзией. И пусть по-прежнему существуют сонеты, рондо, мадригалы, баллады, эпиграммы и прочие элементы поэтической патоки.

В заключение не могу не привести три строфы из стихотворения «Цыгане в метро»:

Здесь мимо лиц грохочут поезда,  
но празднеству не нанесут урона.  
Легка судьба цыганского барона.  
Он дома здесь, сума его пуста.

Он вечно к путешествию готов.  
Ему не привыкать в штанах смолёных  
волчком вертеться между двух зеленых,  
бегущих друг от друга поездов.

Пируй, барон, не покидай метро!  
Здесь с циферблатом ты играешь в прятки.  
Ты вечно едешь, значит — всё в порядке.  
И чей-то скарб впивается в бедро.

**Ольга БОГДАНОВА**

---

ДОМ ЗИНГЕРА

---

**Духовник президента: рассказы о священниках, повлиявших на умы и души правителей России. Авт.-сост. Владимир Зоберн. М.: Эксмо, 2016. — 448 с. — (Религия. Рассказы о духовной жизни).**

Краткий курс русской истории в непривычном аспекте: влияние духовников на умы и души правителей православной страны. В этой книге — биография духовников, рассказ об их деяниях и трудах, о вкладе в развитие культуры и образования, об их заслугах и, конечно, об отношениях с их подопечными. Духовни-

ки были наставниками будущих правителей, приучая детей и подростков руководствоваться впоследствии в своих действиях не только законами гражданскими, но и Законом Божиим. Духовники участвовали во всех главных событиях жизни государя и его семьи: венчании на царство, крещении, погребении. И они же, будучи поверенными мыслей и чувств своих подопечных, помогали искать выход из трудных ситуаций, разрешали сомнения, давали благословение на дела государственные. Не раз их веское слово звучало в ключевые моменты нашей истории. В самом центре драматических событий 40-х годов XIV века оказался духовник Симеона Гордого, преподобный Стефан Московский: в борьбе Тверского и Московского княжеств за роль единого неделимого центра он поддержал Москву. Позже такую же поддержку Московскому княжеству оказал святитель Алексей, опекун и наставник рано осиротевшего Димитрия Донского. Самое известное событие правления Ивана III — стояние на Угре (1480 год), положившее конец власти монголо-татар над Русью, — также отмечено решимостью и властным словом духовника Ивана Васильевича, архиепископа Вассиана Рыло. Митрополит Афанасий, духовник Ивана Грозного, в 1552 году благословил царя на поход к Казани и сам участвовал в этом походе. Трудно переоценить роль духовных отцов в строении Московского государства. Духовники великих князей, русских царей, российских императоров... Вереница замечательных людей, многие из которых канонизированы Русской православной церковью в лике святителей. Большинство из них люди разносторонне образованные и одаренные: живописцы, писатели, ораторы, просветители... «Демосфеном» своего времени считался архиепископ Вассиан, его «Послание на Угру» к своему духовному сыну, Ивану III, ныне памятник древнерусской литературы, где впервые были сформулированы важнейшие для Руси государственно-политические цели и идеалы. И дальнейшее развитие русской духовно-политической мысли в XVI—XVII веков шло в направлении осмысления и углубления задач, им сформулированных. О ком-то сведений почти не сохранилось, как, например, о Стефане Московском, не существует даже жития этого святого, хотя инок Стефан вместе с младшим братом, Сергием Радонежским, стоял у истоков Троицкой обители. Кто-то незаслуженно забыт, как, например, протопресвитер Василий Бажанов, духовник трех русских императоров: Николая I, Александра II и Александра III. После 1917 года его имени нет ни в советских, ни в постсоветских изданиях. Его нет даже в самом полном академическом библиографическом указателе «Христианство и новая русская литература». А к началу XX века его книги выдержали шесть изданий, был опубликован и поэтический сборник его духовных стихотворений. Судьба некоторых духовников завершилась трагично: 5 сентября 1918 года в Петрограде был расстрелян тяжело больной протоиерей Александр, последний духовник последнего русского императора; чуть позже замучен в застенках ЧК сподвижник Колчака владыка Сильвестр, епископ Омский и Павлодарский, не пожелавший покинуть свою паству и уйти из Омска с белыми. На движущейся ленте истории параллельно с чередой духовников представлены и портреты их подопечных, — емкие очерки, включающие в себя широкий спектр мнений, противоположные суждения о былых «властителях мира сего». Спорили и спорят об Иване Грозном, Петре I, Павле I, Александре I... Представлены разные точки зрения, поставлены вопросы. Иван Грозный — тиран и мракобес, символ всего самого темного, что переняла у монголо-татар Московская Русь? Или государь, которому довелось уже не соединять, но расширять и преобразовать полученные в наследство земли, заслуживает церковной канонизации? Был ли Федор Иванович беспомощным идиотом? Но когда он лично отправился в поход и участвовал в боевых действиях, то в глазах десятков тысяч военных он не выглядел ни «юродивым», ни «помешан-

ным». В результате ожесточенной борьбы Россия отбила тогда у шведов Ям, Копорье, Ивангород и Корелу. Какой была истинная вера Петра I? Кем был император Александр I: действительно ли православным государем, либо религиозным модернистом, воспитанным честным, человеколюбивым якобинцем Лагарпом в ориентации на «общечеловеческие ценности»? Николай I — жандарм или христианин? Быть может, причина споров и в том, что современному сознанию, в большей степени рационалистическому и даже атеистическому, совсем не просто проникнуть во внутренний мир человека, живущего совершенно по другим законам, когда православный взгляд на мир определял многие поступки людей. Временной диапазон — от века XIV, от времен Симеона Гордого до наших дней. Глава «Духовники и правители после 17 года» посвящена адмиралу Колчаку и святителю Сильвестру, генералу Деникину и протопресвитеру Георгию Шавельскому, генералу Врангелю и епископу Вениамину, который не раз выезжал на фронт, бывал под обстрелом противника. В заключение главы — очерк о последнем паломничестве Бориса Ельцина на реку Иордан; интервью отца Тихона (Шевкунова), духовника президента Путина, данные в разное время журналу «Профиль» и афинской газете «Страна». Завершают книгу высказывания священнослужителей о роли духовника в наши дни. В своей работе составитель сборника Владимир Зоберн использовал летописные источники, жития, мемуары, труды историков всех времен.

**Евгений Каргаполов. «Душа — как будто поле битвы», или Записки о творчестве поэта Дмитрия Мизгулина. Курган: Зауралье, 2016. — 272 с.**

Дмитрий Мизгулин, чья первая книга («Петербургская вьюга») вышла в 1992 году, ныне автор более двадцати сборников стихов и прозы. Отдельными изданиями его книги выходили на французском, английском, сербском, чешском языках, его творчество отмечено многочисленными премиями. Поэт следует традициям русской классики, сознательно продолжая классическую линию русской поэзии Золотого и Серебряного веков, а также «железного» советского времени. Его лирика лишена формотворчества, избыточных изысков и внешних эффектов. Своими учителями поэт считает классиков русской литературы и философии: Ф. Тютчева и А. Хомякова. Как и у Тютчева, лирика Мизгулина исполнена размышлений о высших вопросах бытия, о нераздельности человека и природы. Как и у Тютчева, у Мизгулина нежные чувства к своей земле, к каждой росинке на траве неразрывно связаны с любовью к Родине, и к Родине именно православной. Объединяет их и предчувствие катастрофы, в основе которой лежит разлад внутреннего и внешнего мира человека — противоборство двух начал: тьмы, хаоса и света, гармонии. Евгений Каргаполов в своих записках сосредотачивается прежде всего на религиозно-философских, историко-философских и этических взглядах поэта. Он прослеживает, какое значение в лирике поэта и его мировосприятии и религиозном мироощущении имеют такие понятия, как Душа, которую мы «грузим чем попало», молитва, храм, воцерковление, покаяние, Страшный суд Божий. Феномен души — одна из доминирующих тем в творчестве поэта: душа вмещает надежду, тревогу, боль, страдания, она бессмертна. Поэт стремится осмыслить, что значит «русская душа», вбирающая в себя огромные пространства и бесконечность времени. Е. Каргаполов исследует роль религиозных символов и смыслов в творчестве поэта и делает обобщающие выводы о его религиозных исканиях. Еще одной важной темой в творчестве Д. Мизгулина является тема памяти и беспамятства в русской культуре, забвения (утраты) и воспоминания (обретение памяти), призванная показать



остроту раскола, драматизм и символизм отдельных фактов и событий русской истории. Трагедия русского сознания, выпавшего из исторического потока времени, считает Е. Каргаполов, «состоит в том, что нарушалась преемственность в истории и культуре. Советская культура не стала опираться на русскую культуру исторической России, а культура новой России не стала опираться на советскую культуру. Русское сознание стало развиваться через отрицание всего старого: советское отрицало царское, российское стало отрицать советское». Рассыпающаяся культура, потерявшая свое основание, полагает автор, это культура человека, потерявшего ориентации и цели, не знающего, на что опереться в жизни и творчестве. Такой разрыв — путь к гибели, и именно преодолеть разрыв прошлого, настоящего, будущего русской культуры, соединить в едином потоке историческое пространство, чтобы восстановить в своем уме, душе и сердце гармонию и стремится Д. Мизгулин, реконструируя события как тысячелетней данности, так и недавнего советского прошлого. Концепции прошлого, настоящего и будущего в творчестве Мизгулина посвящена отдельная глава. Емкое и точное отражение в его стихах нашли и времена распада, болезни нашей Родины, приходящиеся на бурные и печальные 90-е годы прошлого столетия. Главный конфликт современности, приводящий к апокалипсичности мироощущения, ярко выражен в поэзии Мизгулина — это борьба духовного, нравственного с вещественным, плотским, природным и страстным в человеке, в культуре, в России. Поэт резко оценивает современную действительность: бездуховность, меркантильность, потребительское отношение к жизни, засилье СМИ. Действительность, в которой «душа закрыта перед словом Божиим». «Была когда-то Родина. А ныне // В своей стране живу, как на чужбине, // Где дикторы с акцентом говорят...»; «Эпоха грядущего хама // Стучится настойчиво в дверь...»; «Не ощущаем, как когда-то, // Во всем — присутствие Творца. // В эпоху хамства и разврата // Живем в преддверии конца»; «Компьютеры, ксероксы, факсы. // И биржи. И курсы валют. // Меняем на марки и баксы // Души первозданный уют...// Мерцает во мраке планета.// И звезды, как свечи, горят.// И в цепких сетях Интернета // Блуждает душа наугад...». Поэт уверен, что в ситуации надвигающихся катастроф выжить русскому человеку поможет только возвращение веры в Бога, Творца и Спасителя, что именно православие тот источник, из которого русский дух будет черпать силы для созидания и творчества. Он предлагает современному человеку задуматься о душе, о вечном, о смыслах и целях своего бытия во Вселенной. «Не включай телевизор, не надо, // Хоть мгновенье побудь в тишине. // Меж ветвей опустевшего сада // Тихо звезды плывут в вышине.// ...Не включай телевизор, послушай // Шум листвы и шептанье воды, // Воздух майский немного получше // Испарений партийной среды. // Не включай телевизор, не трогай, // Молча пусть этот ящик стоит, // И дыханье свободы и Бога // На мгновенье тебя посетит». Исследуя многоплановый, богатый поэтический мир Д. Мизгулина, Е. Каргаполов обращается к Священному Писанию, к трудам отцов Церкви, отечественных философов, писателей, историков, психологов, совершает экскурсии в историю, воспроизводит политические, социальные, культурные реалии дня сегодняшнего и создает многомерный портрет поэта.

**Альберт Измайлов. Слово о Михаиле Дудине: литературный портрет.**

**СПб.: Северная звезда, 2016. — 194 с.**

Чтобы создать литературный портрет поэта, переводчика, общественного деятеля и просто замечательного человека, Михаила Александровича Дудина (1916—

1993), Альберт Измайлов проработал архивные, научные, литературные источники. В своей работе он использует воспоминания Дудина и его современников, публикации в журналах и газетах и, конечно, стихи самого поэта и его собратьев по поэтическому цеху. А. Измайлов повествует о жизни и творчестве поэта, о его литературно-эстетических взглядах, его просветительском труде. Михаил Дудин — один из плеяды поэтов-фронтовиков, чье мировоззрение формировала война. Он был призван в армию в 1939 году, служил во взводе разведки полковой батареи полуострова Ханко. Первый бой военно-морская база Ханко приняла 22 июня 1941 года, и длительное время героический гарнизон сковывал крупные силы врага. За участие в советско-финской войне М. Дудин был награжден медалью «За отвагу». «С первых до последних дней войны, — вспоминал Михаил Дудин, — я был в Ленинграде. На полуострове Ханко, где около 30 тысяч солдат держали оборону, защищая Финский залив от вторжения немцев, я был солдат, артиллерист-наводчик, затем стал корреспондентом газет „Красный Гангут“, „Огневой щит“, „Знамя победы“, „На страже Родины“, в которой проработал до конца войны». Позднее Дудин скажет: «Пожалуй, ощущения войны остались самыми цепкими в моей памяти». Он писал для газет рассказы, стихи, сообщения, сатиру, юморески, участвовал в подготовке текста ответного письма гарнизона острова Ханко барону Маннергейму на его предложение сдать 10 октября 1941 года. В годы войны складывалось фронтовое братство поэтов. Наряду с портретом М. Дудина в книге присутствует и портрет другого поэта-фронтовика, воина-танкиста — Сергея Орлова, с которым Дудина сплавивала не только дружба, но и совместная творческая работа над поэмой «Песня Ленинграду», стихами и переводами, над сценарием к кинофильму «Жаворонок», посвященному подвигу танкистов. Военная тема никогда не отпускала поэтов поколения фронтовиков. Для Дудина она была связана и с образом блокадного Ленинграда и его защитников: город как осажденная, борющаяся с врагом крепость, ленинградцы как стойки. «Все с этим городом навек — // И песня, и душа, // И черствый хлеб, // И черный снег, // Любовь, тоска, // Печаль и смех, // Обида, горечь, и успех...» Он любил этот город особой любовью, потому что, как говорил он, «в двух войнах оставлена моя молодость, потому что здесь я был солдатом и один раз на всю жизнь принимал присягу». И здесь встретил победу. В его строках остались Гангут, Воронья гора, ладожская Дорога жизни. Невская Дубровка и образы боевых товарищей, оборонявших Ленинград. Литературный портрет — это и переводы с армянского, грузинского, азербайджанского, башкирского языков. В каждой из республик у Дудина были друзья, оттого он особенно болезненно переживал распад Советского Союза: «Весь Божий мир я растерял по свету. // Меня уже наполовину нету. // Расторглась жизнь. Распались времена. // Предатели сменили имена». Переводил он и с английского, с болгарского, с испанского, со словацкого, со шведского языков. И всегда только то, что было «созвучно его душе, его раздумьям». Переводческой работе поэта посвящена отдельная глава. Отдельная глава посвящена и критике, как работам самого поэта о классиках русской и советской литературы, так и ему адресованным. Тексты критических статей, в том числе так называемые «внутренние», предваряющие публикации сборников, включены в книгу. Творческий портрет поэта — это и песни Д. Тухманова, А. Петрова и Ю. Антонова на слова М. Дудина, и песни на стихи поэта к кинофильмам «Максим Перепелица» и «Укротительница тигров». «Некоторые современные литературоведы и культурологи, подверженные так называемым новым литературным течениям, пытаются представить деятельность советских писателей и поэтов в 1940—1970 годах в одностороннем негативном виде», — пишет А. Измайлов. И расценивает это как одну из форм информацион-

ной войны. И напоминает: «История ленинградской литературы писалась в 1940—1970 годах прежде всего книгами о жизни и делах поколения победителей, послевоенного поколения строителей тракторов, турбин космических аппаратов, атомных ледоколов, животноводов и полеводов», созидателей. Таким созидателем был и сам М. Дудин. Почти четверть века он возглавлял Ленинградский Комитет защиты мира; именно он — инициатор создания Зеленого пояса Славы; это он предложил восстановить надпись на здании школы в начале Невского проспекта «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»; благодаря его усилиям установлена мемориальная доска на улице Пестеля в честь героических защитников Ханко. Это его слова: «Вам, беззаветным защитникам нашим. // Память о вас навсегда // сохранит // Ленинград благодарный. // Вечен ваш подвиг в сердцах // Поколений грядущих» на пропилеях у входа на Пискаревское мемориальное кладбище. Вместе с С. Гейченко Дудин был и инициатором проведения на Псковщине в Михайловском Всесоюзных пушкинских праздников поэзии. И это далеко не полный перечень воплотившихся в жизнь деяний поэта, о которых повествуется в книге. В приложении помещены архивные материалы: рассказы Дудина, его стихи, письма его и к нему.

**Иван Беляев. Где вера и любовь не продаются. Мемуары генерала Беляева. С предисловием Николая Старикова и Дмитрия Беляева. СПб.: Питер, 2015. — 448 с. — (Серия «Николай Стариков рекомендует прочитать»).**

Иван Тимофеевич Беляев (1875—1957), русский генерал, участник Первой мировой, Гражданской и Чакской (боливийско-парагвайской) войн. Георгиевский кавалер и национальный герой Республики Парагвай. Человек с судьбой яркой и замечательной. Он родился в Санкт-Петербурге, в семье потомственного военного, а умер в далеком Асунсьоне. Его отпевали в Колонном зале Генерального штаба, где у гроба несли дежурство первые лица государства. Во время похоронной процессии за катафалком следовали толпы индейцев. В знак уважения к религиозным воззрениям своего верховного вождя они осеняли себя крестным знаменем и распевали «Отче наш» в переводе покойного. И. Беляев окончил 2-й Санкт-Петербургский кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище (1893). Служил в Санкт-Петербурге и на Кавказе. В годы Первой мировой войны (для него — Великой войны) сражался в Польше и в Карпатах, участвовал в знаменитом «Брусиловском прорыве». В 1915 году «за спасение батареи и личное руководство атакой» был представлен к Георгию. В начале 1916 года тяжело ранен. Весть об отречении Николая II от престола застала его перед лицом противника, когда он находился в окопах. Приказ № 1 Петросовета (1917 год): отмена прав начальника, избирательный порядок в армии, отмена отдания чести, контроль солдатских масс над офицерами — рассматривал как гибельный для армии и России. И. Беляев остро переживал моральное разложение армии, вчера еще стоявшей, по его мнению, на пороге победы. В 1918 году генерал Беляев вступил в Добровольческую армию. А потом была эмиграция: Константинополь, Париж, а с 1924 года и далекий Парагвай, куда вместе с ним по его призыву выехало множество русских людей, разочаровавшихся в Европе. В южноамериканской республике бывшие царские офицеры поступали на службу в армию с сохранением воинского звания. Именно благодаря русским офицерам в ходе кровавой боливийско-парагвайской войны (причина ее ординарна — нефть) удалось разгромить 160-тысячную боливийскую армию, вооруженную на американские деньги и в несколько раз превосходившую силы парагвайцев. Беляев не только был начальником Генерального штаба вооруженных сил

Парагвая, но и лично участвовал во многих сражениях. В Парагвае он реализовался и как исследователь области расселения, языка и культуры индейцев чачо. Мемуары генерала Беляева посвящены не далекой экзотической стране, а русскому периоду его жизни. «Но моя жизнь уже подходит к концу, и пора подвести ей итоги. И на склоне дней, лишь только случится отвлечься от настоящего и отдаться воспоминаниям, картины прошлого выходят вновь из тумана десятилетий во всей свежести и яркости красок сегодняшнего утра. Как живые поднимаются давно забытые образы и события, оставившие неизгладимый след в душе, и прошлое становится настоящим. Картины далекого детства в патриархальном укладе сельской жизни среди ласкающей природы и не затронутых еще мировой свистопляской людей; старый Петербург с его радостями и тревожностями, кажущимися теперь бурей в стакане воды в сравнении с суровыми условиями беспощадного века; незабываемые годы Первой мировой войны, внесенные ею грозные картины гибели и разрушения — и, наряду с ними, яркие примеры доблести, красоты и совершенства духа и плоти; катастрофа, приведшая к революции, и светлые образы, захваченные в ее водоворот...» Идиллические картинки детства: поездки в деревню Гдовского уезда, в имение деда, приобретенное еще прадедом Л. Трефуртом, адъютантом великого Суворова, с которым Трефурт участвовал в его последнем легендарном походе. В семье из поколения в поколение, образуя родовое древо, передавались идеалы и ценности, вера и традиции русского народа. Быт традиционной русской семьи, процесс воспитания русского офицера, отношения в военной среде, известные исторические события (Русско-японская война, три революции, Первая мировая и Гражданская войны)... «Я не считаю себя вправе касаться разбора исторических событий, так как пишу только личные воспоминания и притом описываю все лишь с субъективной точки зрения». А личные воспоминания — это прежде всего люди, их отношения, дружеские и родственные связи. И любовь. В жизни И. Беляева было два брака, и каждый раз по любви с первого взгляда, и этот взгляд не подвел его ни разу. Отсутствуют пространные рассуждения, много выразительных сценок и диалогов. Мирное «золотое время» сменяется хаосом революций и Первой мировой и Гражданской войн. Субъективный взгляд расцветивает историю значимыми подробностями: Кронштадт в 1905—1907 годах, где комендантом в то время был отец И. Беляева, и сын помогал подавлять мятежи; дочери Николая II в лазарете Ее Величества в Царском Селе и их отношения с ранеными. Личные воспоминания — это и устройство Александра Блока вольноопределяющимся (Беляевы были породнены с А. Л. Блоком, отец великого поэта был женат вторым браком на сестре И. Беляева). Воспоминания Ивана Беляева выходят впервые. Знаменательно, что предисловие и послесловие к книге написано Дмитрием Беляевым, чей прапрадед был старшим братом И. Беляева. В предисловии подробно рассказывается и о многочисленном роде Беляевых, служивших России верой и правдой на протяжении веков, и о жизни далекого предка в Парагвае, где тот взялся за создание «Русского очага», чтобы сохранить в людях, живущих вдали от Родины, русский дух.

**Архимандрит Августин (Никитин). Ислам в Германии. СПб.: Восточный институт, 2015. — 480 с.**

Книгу архимандрита Августина можно назвать своеобразной энциклопедией, посвященной исламу в Германии, — по широте исторического охвата, по огромному количеству фактов, явлений, статистических данных. Историю связей мусульманского Востока с немецкими землями автор отслеживает с эпохи Карла Великого

(IX век) до наших дней. Среди малоизвестных, а порой скрытых и малоизученных глав этой истории и воззрения Мартина Лютера на ислам как на одну из угроз полного завоевания христианской Европы мусульманами; и интерес Гитлера к Ближнему Востоку, вызванный тем, что лидеры и организации стран Ближнего Востока призывали к борьбе с англичанами, коммунистами и евреями. Значительное внимание отводится взаимоотношениям Германии с другими странами в канун и во время Первой и Второй мировых войн: сложные клубки противоречий, союзы, конфликты, использование противоборствующими странами мусульманского фактора. Подробно излагается, как и почему сложилась столь значительная мусульманская община в Германии. Решающими стали 1950–1970 годы, когда в ФРГ начали приглашать рабочих из средиземноморских стран для выполнения работ, которые европейцы более не хотели выполнять. Определенную роль, по мнению автора, сыграла и Берлинская стена: восточноевропейские рабочие потеряли возможность ездить в Западный Берлин, и их стали замещать турецкими гастарбайтерами. На копейном труде гастарбайтеров и возникло «экономическое чудо». Впрочем, только ли стена виновата в притоке гастарбайтеров в ФРГ? Архимандрит Августин пишет, что после падения стены приток мусульман увеличился, а объединенная Германия стала принимать беженцев из бывшей Югославии, среди которых было немало мусульман, а также из Ливана, Палестины и стран Африки. Архимандрит Августин, священник, богослов и путешественник, компетентно разбирает вопросы трудного сосуществования двух религиозных общин — христианской и мусульманской: попытки христианско-мусульманского диалога; проблемы интеграции; несостоявшаяся политика мультикультурализма; взаимоотношения немцев и мусульман; межнациональные схватки, в том числе и между мусульманами, выходцами из разных стран; причины роста исламского фундаментализма и его влияние на молодежь. Мусульманская молодежь, растущая среди двух разных культур, не чувствует себя уверенно ни в одной из них. Радикальные исламистские организации предлагают им силу и самоопределение, которые они ищут, а заодно и убеждают, что каждый истинный мусульманин обязан защищать ислам с оружием в руках. Последовательно излагаются доктрины многоликого ислама, приводятся данные об исламистских течениях в современном политическом исламе, о действующих в ФРГ мусульманских организациях, партиях, группах, духовных центрах и правозэкстремистских группировках. В сфере интересов автора проблемы религиозного образования и распространения Корана; мотивы принятия христианства мусульманами и — что более распространено — мусульманства христианами; темы исламского антисемитизма и исламского этикета (как, не навредив себе, правильно бить женщин разной комплекции). Автор останавливается и на проблеме опустевших церквей: хотя практикующие христиане составляют 68 % от всего населения Германии, количество мечетей в стране растет, а число христианских храмов уменьшается. Религиозность христианского населения падает, католические храмы и лютеранские кирхи стоят пустыми даже по воскресеньям, зато «парады любви» собирают десятки тысяч участников. Смешными и нелепыми выглядят запрет на рождественские елки и праздник Рождества в ряде федеральных земель или превращение традиционного Дня святого Мартина в «праздник солнца, луны и звезд». В Германии есть исламофилы и исламофобы. Среди последних и видный представитель немецкой политической элиты Тило Саррацин, выступивший против губительной демографической, социальной, миграционной и образовательной политики, на протяжении многих лет проводимой либеральными властями Германии. Его книга «Германия: самоликвидация», его заявления («Турки покоряют Германию так же, как албанцы покорили Косово — с помощью рождаемости»,

«Я не хочу, чтобы страна моих внуков и правнуков стала преимущественно мусульманской») вызвали скандал в Германии. Проблемы демографии в Германии не только в том, что падает рождаемость среди немцев, но и в том, что большое число немцев, образованных, стремится покинуть Германию и попытаться счастья в США, Канаде, Австралии. Оказывается, число эмигрантов, выезжающих из Германии и Голландии, уже превышает число иммигрантов, в эти страны въезжающих. По прогнозам, в Берлине к 2020 году немецкое население составит всего 20 %, а к 2050 году немцев в стране останется всего 50 миллионов. Такой интересной статистики в книге немало. Автор склонен думать, что закат Европы уже наступил. Грустный анекдот: «2050 год. Берлин: — Папа! А в Берлине немцы есть? — Нэт, сынок, это фантастика!» Немало страниц отведено внешней политике Германии. Систематизированы сведения о дипломатических отношениях ФРГ с мусульманскими странами, об отношении «заклятых друзей» — ФРГ и Израиля, о столкновениях внутри Европейского союза по «турецкому вопросу». Внешняя политика ФРГ — это и германские миротворцы, советники, вооруженные силы ФРГ в Ираке, Пакистане, Сомали, Сирии, и роль Германии в кавказских военных столкновениях последних десятилетий. Эта книга — действительно энциклопедия, но очень своеобразная. В ней есть место и официальным документам, и статистике, и фактам, и выдержкам из прессы, и материалам дискуссий в Германии, что ведут политики, общественные деятели, немецкие интеллектуалы, и рассказам о конкретных людях и ситуациях, и личным впечатлениям от пребывания в Германии и общения с ее насельниками.

Публикация подготовлена  
**Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ**

*Редакция благодарит за предоставленные книги  
Санкт-Петербургский Дом книги (Дом Зингера)  
(Санкт-Петербург, Невский пр., 28, т. 448-23-55, [www.spbdk.ru](http://www.spbdk.ru))*

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

## ЧЕСМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ — ПАМЯТНИК СЛАВЫ РОССИЙСКОГО ФЛОТА

### **Предисловие. Чесменское сражение 1770 года**

Во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов из Кронштадта в Средиземное море вышло пять эскадр, чтобы открыть новый театр военных действий на Балканах и блокировать Дарданеллы. С первой эскадрой, под командованием адмирала Г. А. Спиридова, связан первый выход российского флота в океан, и впервые же решал он сложные стратегические задачи вдали от своих берегов.

В камер-фурьерском журнале за 1769 год повествуется об отправлении русского флота в экспедицию. «18 июля в субботу Ее Императорское Величество (Екатерина II) в 4 часа пополудни в двух шлюпках отправилась к Кронштадту из Ораниенбаума к отправляющемуся в море в поход флоту, который стоял в гавани.

По прибытии соизволила она отправиться на корабль флагманский «Евстафий», где встречена была офицерами и при этом играна была музыка на трубах и литаврах. Ее приветствовал архимандрит Евстафий, затем на корабль прибыли Генерал-аншеф и кавалер Мордвинов и Главнокомандующий Генерал-аншеф и кавалер Спиридов, который засвидетельствовал Ей свою всеподданнейшую благодарность. Затем Императрица повелела Спиридову созвать со всех кораблей офицеров, и когда это было исполнено Ее Императорское Величество к руке всех жаловать изволила, затем пила вино за здоровье присутствующих и за благополучное возвращение, и повелела подать всем присутствующим офицерам по кубку шампанского. Ее Императорское Величество соизволила возложить на генерала Спиридова орден Святого Александра Невского. Затем Императрица отбыла с корабля в Ораниенбаум при восклицаниях «ура», на что со шлюпок ответствовано было».

В ночь с 25-го на 26 июня 1770 года отряд из семи русских кораблей и четырех брандеров атаковал турецкий флот, насчитывавший 71 корабль, стоявший в бухте Чесма под прикрытием береговых батарей. К утру турки потеряли весь флот: 65 кораблей были уничтожены огнем, а шесть кораблей взяты в плен. Русские корабли потерь не имели. О подробностях этого сражения с гордостью повествовала императрица Екатерина II.

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

«Мой флот под командою графа Алексея Орлова, разбив неприятельский флот, сжег его совершенно при порте Чесменском, иначе называемом Либерно и Целаборн. Я получила вчера прямое известие об этом. Около ста кораблей всякого рода превратились в прах; я не смею означить числа мусульман, погибших при этом; насчитывают их до двадцати тысяч...

Турецкий флот был преследуем от Наполи-ди-Романия до Хиоса. Граф Орлов знал, что подкрепление было отправлено из Константинополя; он думал, что предупредит соединение, напав на неприятеля без потери времени. Прибыв в Хиосский пролив, он увидел, что это соединение совершилось; он находился с девятью линейными перед шестнадцатью оттоманскими кораблями; число фрегатов и других судов было еще более неравное. Он не поколебался и нашел умы в таком расположении, что единодушно было решено: победить или умереть. Сражение началось. Граф Орлов был в центре, адмирал Спиридов, у которого на корабле находился граф Федор Орлов, командовал авангардом, контр-адмирал Эльфинстон арьергардом.

Турецкое войско было расположено так: одним крылом оно опиралось на каменистый остров, а другим было обращено к мели. Огонь был страшный с той и другой стороны в продолжение нескольких часов. Корабли подходили друг к другу так близко, что ружейный огонь смешивался с огнем из пушек. Корабль адмирала Спиридова имел дело с тремя турецкими военными кораблями и шебекой; не смотря на то, он сцепился с капитаном-пашой, у которого было девяносто пушек, бросил туда столько гранат и других зажигательных веществ, что огонь распространился по кораблю, перешел на наш, и они оба взорваны были на воздух в ту минуту, когда адмирал Спиридов, граф Федор Орлов и с ними около 90 человек только что сошли с корабля.

Граф Алексей, видя в пыли сражения адмиральские корабли на воздухе, считал своего брата погибшим. Тогда он почувствовал, что он человек, и упал в обморок; но скоро пришедши в себя, он приказал поднять все паруса и бросился со своим кораблем на неприятеля; в минуту победы один офицер принес ему известие, что его брат и адмирал живы. Он говорит, что не может описать того, что чувствовал в этот счастливейший миг своей жизни, «когда после победы он снова увидел своего брата, которого считал погибшим». Остаток турецкого флота в беспорядке удалился в Чесменский порт.

Следующий день был употреблен на приготовление брандеров и распоряжения к пальбе против неприятеля в порте, на что он отвечал тем же. Но в ночи брандеры были пущены и так хорошо исполнили свое дело, что, менее чем в шесть часов времени, турецкий флот был истреблен; земля и вода дрожали от множества взорванных неприятельских кораблей; это отдавалось даже в Смирне, которая отстоит от Чесмы на двенадцать миль.

Наши во время этого пожара вывели из порта турецкий шестидесяти-пушечный корабль, который находился за ветром и потому не был сожжен; они овладели также батареею, которая была оставлена неприятелем. Этот турецкий корабль, по имени «Родос», был отдан капитану Крузе, командовавшему адмиральским кораблем, и вот каким образом он уцелел: вместе с кораблем взлетел на воздух и капитан; потом он упал в воду, откуда вытащила его одна из наших шлюпок, и с ним случилась только та беда, что он вымок.

Когда граф Орлов потребовал волонтеров для зажигания брандеров, то их явилось столько, что нельзя было им всем дать место; между прочими был один гусарский поручик; граф для редкости отправил его, и он исполнил свое дело с большим присутствием духа и решительностью.

Граф Орлов сказывал, что на другой день после сожжения флота он увидел с ужасом, что вода очень небольшого Чесменского порта побагровела от крови, столько там погибло турок. Некоторые из людей экипажа двух взорванных кораб-



лей, упав в воду, цеплялись за находившиеся там обломки, и в этом положении встретясь с неприятелями, еще старались схватиться с ними или потопить их»<sup>1</sup>.

Победа, одержанная российским флотом в Чесменской бухте Эгейского моря в 1770 году, надолго осталась в памяти жителей острова Хиос. Именно здесь, около этого острова, российский флот в екатерининскую эпоху обрел славу в знаменитом Чесменском сражении. Русские паломники, посещавшие этот остров после русско-турецкого сражения, общались с греками, которые были очевидцами Чесменской битвы. Один из них — насельник Саровской пустыни иеромонах Мелетий, побывавший на Хиосе в 1793 году, писал: «Чесменский залив, или гавань, чрез пролив, который в том месте не широк, противно лежит устьем своим Хиосской крепости. Здесь в 1770 году 26 июня сожжен был россиянами весь турецкий флот. Сказывал мне один хиосский житель, сидя со мною на набережной площади, против упомянутого залива, который был у нас в виду, что та ночь, в которую горели корабли, представлялась превращением света. Пушечная стрельба, как страшные громы ударили, от горящих же и возжигающихся кораблей весь окружающий нас воздух как бы в пламени был и горел, равным образом кипение морское, шумящий ветер и тяжелый запах от горящих материй, великий трепет и ужас производили. Отрывки от кораблей, дерево и железо, поныне на берегах чесменских находят»<sup>2</sup>.

Через год после блестящей победы, одержанной российским флотом, в Царско-сельском дворце было совершено богослужение с благодарственным молебном, за которым присутствовала Екатерина II. Об этом сообщает запись в камер-фурьерском журнале под 24 июня 1771 года.

«В комнатах дворца была отслужена утренняя, в 12.00 Ее Императорское Величество в сопровождении своего придворного штата, на линее, соизволила шествовать до верхнего дворца и проходить в парадную церковь к Божественной Литургии, по окончании которой был отслужен молебен Всевышнему с коленопреклонением, в воспоминание о даровании Богом победы над турецким флотом, того 24 числа в прошлом 1770 году при Чесме, по окончании службы произведена пушечная пальба в 21 выстрел. Ее Императорское Величество возвратилась в Монплеизр и обедала одна».

Торжественное богослужение, за которым присутствовала Екатерина II, было совершено и в Петропавловском соборе столицы. «После столь знаменитого сражения, каково было Чесменское, первая морская победа, одержанная флотом Российской Империи по истечении 900 лет, казалось делом очень естественным воздать основателю этого флота (Петру I. — А. А.) дань общественной благодарности в городе, им построенном, — писала императрица. — Итак на другой день после молебна, в церкви, где этот император погребен, была отслужена с большою торжественностью, по обряду Православно-Кафолической Греческой Церкви, литургия за упокой его души. Но прежде начала обедни Тверской епископ (архиепископ Платон. — А. А.) произнес слово, в похвалу души и гения Петра Первого. Не было никого, кто бы в тот день не показал умиления благодарности к памяти этого великого человека. И мы все вышли из церкви очень довольные друг другом. Я только сожалела,

<sup>1</sup> Письмо Екатерины II к Вольтеру с подробностями о сожжении турецкого флота при Чесме. С. Петербург, 14 (25) сентября 1770 г. // Сборник Русского Исторического Общества, т. 13. Бумаги императрицы Екатерины II. СПб., 1874. С. 38—41.

<sup>2</sup> Путешествие во Иерусалим Саровския общежительных пустыни иеромонаха Мелетия в 1793 и 1794 годах. Изд. 2-е. М., 1800. С. 318.

что знамя Оттоманской империи, сорванное нами с адмиральского турецкого корабля, взлетело на воздух вместе с нашим кораблем „Евстафием“, что лишило меня удовольствия повергнуть это знамя моими руками к подножию гробницы Петра Великого»<sup>3</sup>.

Но уже в следующем, 1772 году государыня смогла «повергнуть турецкое знамя» к гробнице Петра 1. Об этом сообщается в камер-фурьерском журнале под 29 августа 1772 года.

«В среду в день празднования Усекновения Главы Иоанна Предтечи пред полуднем в половине 10 часа Ее Императорское Величество в сопровождении генералитета и придворных кавалеров от пристани на Фонтанной реке со всею свитою, водою в шляпках, соизволила иметь выход в церковь Петропавловского Собора. Ее встречал Его превосходительство Николай Николаевич Зиновьев Обер-комендант Петропавловской крепости с штаб-офицерами.

По приближении Ее Императорского Величества к притвору церковному, представлены были членами Коллегии Адмиралтейской, флагманами и офицерами, присланные от главнокомандующего над Российским флотом в Архипелаге Графа Орлова, к Ея Императорскому Величеству трофеи победы, одержанной над турецким флотом при Чесме и при Мителине, состоящие в военных флагах и вымпелах турецких, опущенные со своих флагштоков и простертые к стопам Ее Величества.

По вступлении Ее Величества в церковь, члены Священного Синода, Преосвященные Архиепископы, соборно отправляли панихиду о всех, за веру и отечество на бранях живот свой положивших, потом за упокой Преосвященным Гавриилом Санкт-Петербургским и Ревельским отправлялась божественная литургия по окончании которой, первый флаг Галерного Главного командира, взятый при Мителине в нынешнем году, поднесен был Ее Императорскому Величеству коллегии Адмиралтейской Вице-президентом графом Чернышевым, и Ея Величество приняв оный, подоити соизволила ко гробу Государя Императора Петра Великого и повергнуть к подножию части гробницы сего великого предка, в бозе погибшего Монарха, в честь, яко первому основателю Российского флота.

После чего соизволила Ее Императорское Величество возвратиться в Летний дворец».

Весть о победе при Чесме быстро обошла все Средиземноморье. Лейтенант российского флота Сергей Плещеев, находившийся в 1772 году в плавании у берегов Палестины, сообщал о том, что победа эта была затем закреплена и турецкому флоту был нанесен большой урон. Находясь на корабле, «именуемом „Тартар“ о двадцати пушках», стоявшем в гавани древней Акры (близ нынешней Хайфы, Израиль), Сергей Плещеев «уведомлен был, что пришедшая из Кипра фелюка привезла следующие известия: что российский флот высадил десант в острове Хио и что множество взято призов нашими крейсерами... чему в Акре народ весьма радовался, ибо все они считают себя счастливыми, что вспомоществуются противу турок россиянами»<sup>4</sup>. Правда, Чесменская битва не была решающей, и остров Хиос долго оставался еще в руках турок.

Примечательно, что предки Пушкина имели прямое отношение к российскому флоту, сражавшемуся против турок. Излагая историю своей родословной, А. С. Пушкин упоминает Абрама (Ибрагима) Ганнибала: «Прадед мой Абрам Петрович Ган-

<sup>3</sup> Письмо Екатерины II к Вольтеру о Праздновании Чесменской победы. С. Петербург, июнь 1771 г. Там же. С. 121–122.

<sup>4</sup> Дневные записки путешествия из архипелагского, России принадлежащего острова Пороса в Сирию... Российского флота лейтенанта Сергея Плещеева в исходе 1772 года. СПб., 1773. С. 69.

нибал, крестник и воспитанник Петра Великого»<sup>5</sup>. (Петр I приказал крестить Ибрагимом в Вильно (1707), и, по словам А. С. Пушкина, «во крещении наименован он был Петром, но (так) как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом»<sup>6</sup>).

Находясь в кругу приближенных Петра I, Абрам Ганнибал мог быть свидетелем кипучей деятельности царя — основателя российского флота. И неудивительно, что впоследствии его сыновья, избирая жизненный путь, пошли «по морской части». «Старший сын его, Иван Абрамович, столь же достоин замечания, как и его отец, — пишет А. С. Пушкин. — Он пошел в военную службу, вопреки воле родителя, отличился и, ползая на коленях, выпросил отцовское прощение. Под Чесмою он распоряжался брандерами и был один из тех, которые спаслись с корабля, взлетевшего на воздух»<sup>7</sup>. Что же касается другого сына Абрама Ганнибала, то, как сообщает Пушкин, «дед мой, Осип Абрамович... служил во флоте»<sup>8</sup>.

### Чесменский дворец

В честь Чесменской победы в окрестностях Санкт-Петербурга было создано несколько памятников. Среди них — Чесменский обелиск в Гатчине, Чесменский зал в Большом Петергофском дворце. Каждый, кто посещает Екатерининский парк Царского Села (г. Пушкин), попадает в «Пантеон российской славы». Здесь, над гладью Большого пруда, высится роstralная Чесменская колонна, сооруженная по проекту А. Ринальди в 1774—1776 годах в честь крупнейшей морской победы российского флота над Османской Портой. В царскосельских парках есть и другие памятники в честь русского оружия: Морейская роstralная колонна, Катульский обелиск и Крымская колонна. В своем стихотворении «Воспоминания в Царском Селе» (1829) Пушкин писал:

Садятся призраки героев  
У посвященных им столпов...<sup>9</sup>

В записках Екатерины II содержатся интересные сведения об истории создания царскосельских памятников славы. «Если эта война (русско-турецкая. — А. А.) продолжится, то мой царскосельский сад будет походить на кегельную игру, потому что после каждого блистательного подвига я воздвигаю здесь какой-либо памятник. Битва при Кагуле, где семнадцать тысяч человек разбили сто пятьдесят тысяч, вызвала там обелиск с надписью, которая гласит только о деле и имени генерала; Чесменская битва была поводом к появлению среди озера роstralной колонны; завоевание Крыма будет также увековечено массивною колонною, высадка в Морее — другою. Все это делается из самого лучшего мрамора, какой только можно видеть, и которому даже итальянцы удивляются. Этот мрамор находят частью по берегам Ладожского озера, частью в Екатеринбурге в Сибири; он бывает почти всех цветов»<sup>10</sup>.

<sup>5</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М., 1949. Т. X. Критика и публицистика 1819—1834 гг. С. 153.

<sup>6</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. XII. Критика. Автобиография. М., 1949. С. 312.

<sup>7</sup> Там же. С. 312.

<sup>8</sup> Там же.

<sup>9</sup> Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. М., 1948. Т. III. Стихотворения 1826—1836 гг. С. 190.

<sup>10</sup> Письмо Екатерины II к Вольтеру. С. Петербург, 14 (25) августа 1771 г. Там же. С. 146.

В 1780 году название Чесменского получил дворец на седьмой версте по Царскосельской дороге. Он был задуман как путевой дворец — для кратковременных остановок во время переезда императорского двора из Санкт-Петербурга в Царское Село.

Этот дворец в готическом стиле, окруженный валом и рвом, выстроил в 1774—1777 годах. Юрий Матвеевич Фельтен — российский архитектор немецкого происхождения. На том месте близ дороги на Царское Село (ныне Московского проспекта), по преданию, императрица Екатерина II получила от курьера известие о Чесменской победе над турецким флотом в 1770 году. Эта местность носила название «Кикерикексен», иногда сокращавшееся в «Кикерико» (по-фински — «Лягушачье болото»), поэтому дворец первоначально назывался Кикерикексенским<sup>11</sup>. Государыня называла его по-французски: «La Grenouillere»<sup>12</sup>. В официальных документах он вначале обозначался топографически: «Каменный дворец, что не доезжая Средней Руки».

Автором проекта Чесменского дворца является архитектор Ю. М. Фельтен. Несмотря на отсутствие подлинных подписных чертежей, атрибуция памятника не вызывает сомнений. На Фельтена как строителя Чесменского дворца, указывает историограф Санкт-Петербурга И. Г. Георги (конец XVIII столетия). Указание Георги подтверждается дошедшим до нас формулярным списком Ю. М. Фельтена<sup>13</sup>.

Строительство велось «под смотрением» генерал-инженера Михаила Ивановича Мордвинова. Основным источником для истории строительства Чесменского дворца являются донесения М. И. Мордвинова императрице Екатерине II о постройках на Кекерекексинской даче в 1773—1778 годах и обширное дело «О Чесменском дворце 1781—1789 годах», сохранившиеся в фондах Госархива в ГАФКЭ (Москва)<sup>14</sup>.

Летом 1773 года заведующий постройкой генерал-майор Мордвинов требовал от конторы кирпичных заводов: «чтобы дозволено было сделать к препорученному его превосходительству Кекерекексинскому строению слизового кирпича двести тысяч». Однако еще 8 июля ему в этом было отказано ввиду того, что по приказу Петра Великого заводы могли выделывать только кирпич с песком<sup>15</sup>.

Таким образом постройка не могла начаться раньше осени 1773-го или же весны 1774 года, когда 7 июня в камер-фурьерских журналах встречается первое о нем упоминание: «В проезде строящегося по Царскосельской дороге, не доезжая Средней Руки, каменного дворца Ея Императорского Величества и их Высочества соизволили, выйдя из кареты, смотреть того строения».

Камер-фурьерский журнал сообщает, что 18 мая 1777 года, направляясь в Царское Село, Екатерина II, «не доезжая до Средней Рогатки, изволила быть на малое время в новопостроенном маленьком дворце». 6 июня того же года состоялось торжество «кропления», освящения, здания в присутствии императрицы, членов императорской семьи и двора, после чего был обед. В тот же день в торжественной обстановке императрица вручила награды за постройку дворца.

Об этом дворце упоминал в своих записках Луис дель Кастильо — испанский дипломат, живший в России в 1788—1792 годах: «Царствующая императрица приказала выстроить красивый дворец в 12-ти (семи. — А. А.) верстах от столицы и на-

<sup>11</sup> Шульц. 175.

<sup>12</sup> Письмо Гримму 25 июня 1782 года // Сборник Русского Исторического Общества. Т. 23. С. 242; Письмо английского посла Дж. Гарриса // Старые годы, 1910, февраль. С. 38

<sup>13</sup> Петров А. Н. Чесменская церковь // Историческая справка КГИОП. Л., 1941.

<sup>14</sup> Д. № 241 и 251, XIV-го разряда. См. Петров А. Н. Чесменская церковь // Историческая справка КГИОП. Л. 1941.

<sup>15</sup> М. О Арх. М. И. Двора: Крепленные протоколы конторы строений домов и садов» № 70050, дело № 64.

звала его Kikiriki, по той причине, наверное, что места те изобилуют лягушками; архитектура его вся готическая»<sup>16</sup>.

Вот как выглядел дворцовый интерьер: он был «украшен живописными во весь рост портретами владеющих (правящих. — А. А.) европейских государей с их фамилиями (семьями. — А. А.), а вверху над ними поставлены барельефы, сделанные из белого мрамора, великих князей, царей и императоров российских, с надписями, изъясляющими лета вступления на престол, владения и жизни их»<sup>17</sup>. Здесь были представлены портреты многих королевских династий: английской, датской, шведской, прусской, португальской, испанской, французской, сардинской, австрийской («римской»)<sup>18</sup>.

Собрание барельефных изображений всех великих князей и царей русских от Рюрика до Елизаветы Петровны включительно было самой большой достопримечательностью дворца. Русские рельефные портреты были исполнены скульптором Шубиным (вероятно, с помощниками, так как портретов 58 и они неравного достоинства) на овальных медальонах белого мрамора и размещены во всех покоях верхнего этажа. Дом Романовых, конечно, в наиболее почетном месте — в Купольном зале, где для них Фельтенем были сделаны нарядные лепные обрамления. К сожалению, сейчас мы не можем судить, имелись ли таковые для барельефов в остальных комнатах. Возможно, что обошлись без них, так как все медальоны имеют довольно широкий бордюр, на котором написаны имя и годы правления. Эти барельефы были органически связаны с убранством дворца и немало способствовали его украшению.

(Точных архивных данных о заказе этих барельефов Шубину найти не удалось, но в течение 1774 года по требованию Екатерины ему в январе жалуют 1500 р., выдают 1000 р., а в марте заведующему постройкой Чесмы Мордвинову отпускают 17 000 р. на заказанные им по повелению Екатерины мраморные портреты)<sup>19</sup>.

Напрасно было бы искать исторической правды в этих портретах даже тех правителей допетровской Руси, от которых сохранились изображения. Не сообразуется Шубин и с характеристикой изображаемых лиц: так Федор Иоаннович представлен сильным здоровым купчиной, Алексей Михайлович с испитым лицом какого-то раскольника, а Федор Годунов — человеком средних лет. Особняком стоят портреты Петра I и его преемников. Здесь, конечно, Шубин должен был считаться с существовавшими изображениями монархов, хотя трактовал их вполне самостоятельно. Кроме того, эти медальоны исполнены более плоским рельефом и в профиль, в то время как остальные в фас или в три четверти. При Николае I после перестройки дворца под военную богадельню барельефы были отправлены в Москву и висели в Серебряной и Оружейной залах Оружейной палаты.

Украшением Чесменского дворца являлась и Галерея живописных портретов современных Екатерине иностранных монархов с их семьями. Мысль о создании галереи портретов иностранных государей зародилась у Екатерины II одновременно с постройкой дворца, хотя точных данных, что они сразу же предназначались для Кекерекексина, не имеется. Уже с 1773 года «Кабинет Ее Величества» ассигновывает суммы то на заказы, то на перевозку этих портретов<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> Луис дель Кастильо. Краткий хронологический компендиум истории и нынешнего состояния Российской империи // Образ Петербурга в Испании. СПб., 2003. С. 49.

<sup>17</sup> Достопамятности Чесменского дворца, состоящего по Московской дороге на 7 версте от Санкт-Петербурга, описанные находящимся при церкви оного дворца диаконом Матвеем Светловым в 1782 году. СПб., 1872. С. 2.

<sup>18</sup> Подробное описание: там же. С. 6—20.

<sup>19</sup> Именные Указы по Кабинету. ОП 352/1343, д. № 35, С. 200, д. № 36. С. 200, д. № 37, С. 39 и 80.

<sup>20</sup> Архив Мин. Двор., оп. 352/1343, № 35, 36, 39.

По описанию дьякона Матвея Светлова, в 1782 году этих портретов было 56. Вот что пишет о них И. Г. Георги: «Комнаты вокруг „купольного зала“ составляют вместе весьма достопамятную галерею портретов большей части царствовавших в 1775 году владетелей с их фамилиями. Они писаны все в естественную величину, подарены по большей части самими владетелями... Портреты одного двора, как, например, Австрийского, Английского, Прусского и пр. находятся вместе».

В Купольном зале висело 12 портретов Австрийского и родственных ему Французского, Неаполитанского и прочих домов. Остальные были размещены по всему бельэтажу, за исключением первой от входа комнаты, где находились портреты Екатерины, Павла и двух его супругов. (Висели портреты под медальонами, что дало повод Екатерине написать свой «Разговор между портретами и медальонами, будто бы подслушанный часовым», в котором Екатерина высмеивает испорченные нравы европейских дворов и выставляет заслуги некоторых древнерусских великих князей.)

Галерея живописных портретов считалась главной достопримечательностью дворца, хотя художественное значение большинства ее портретов незначительно. Любопытен отзыв о них уже цитированного английского посла Джемса Гарриса: «Несколько дней тому назад императрица взяла меня и двух своих царедворцев в пригородный дворец, куда она поместила портреты всех коронованных особ Европы. Мы много разговаривали о их достоинствах, а еще больше о недостатках современных портретистов, основываясь на том, что во всей коллекции (исключение один из наших двух старших принцев, исполненный Westom) нет ни одной картины, интересной по рисунку, краскам или замыслу».

Но Гаррис все же пристрастен. Среди портретов были писанные Ализаром (принцесса савойская, Мария-Антуанетта и Людовик XVI), Томиром (Людовик XV, граф и графиня прованские), и Эриксоном (король, королева и наследник датские). Это собрание портретов говорит нам о второй и, может быть, основной цели построения дворца. Прибывшая в Россию из «Немецчины», Екатерина нуждалась хотя бы в иллюзии родового замка, в котором были бы собраны изображения ее предков и родственных царствующих домов. Это должно было поднимать ее престиж в глазах ее подданных и иностранных послов, которым непременно показывался Кекерекексинский дворец. Вот почему и был избран для него тип старинного средневекового замка, какими обладали многие владетельные немецкие князья на родине Екатерины.

С 1783 года в Чесменском дворце проводились заседания Кавалерской думы ордена Св. Георгия. Вера в св. Георгия как споспешника в бою с неверными распространилась в государствах Западной Европы в эпоху крестовых походов. В Германии, Бургундии, Голландии, в Риме, Венеции и других странах и городах появилось множество орденов и обществ, учрежденных в память великомученика Георгия. Ко второй половине XVIII века в Западной Европе не было государства, которое среди своих орденов не имело бы ордена Св. Георгия.

В России орден святого великомученика Георгия был основан Екатериной II 26 ноября 1769 года, — для «награждения отличных военных подвигов и в поощрении в военном искусстве»<sup>21</sup>. В этот день императрица возложила на себя орден 1-й степени, а на следующий день был обнародован первый статут ордена. Императрица Екатерина стала первым гроссмейстером нового ордена, а лица, сопричисленные ему, с этого момента именовались кавалерами Св. Георгия.

День утверждения ордена торжественно отмечался в Санкт-Петербурге и должен был Высочайше праздноваться как при дворе, так и во всех тех местах, где «случит-

<sup>21</sup> Полное собрание Законов Российской империи. Т. XVIII. № 387.

ся кавалер большого креста». Описание празднования в день торжества военного ордена Св. великомученика и победоносца Георгия содержится в камер-фурьерском журнале за 1773 год.

«Утром в придворной церкви было богослужение, благодарственный молебен служил придворный священник. В 11 часов ко Двору Ее Императорского Величества приехали кавалеры в цветном парадном платье и дамы в робах, военные были облачены в шарфы и „в строевом убранстве“.

Кавалеры, знатные персоны и иностранные министры собрались в комнате, где пост кавалергардов. В это же время Их Императорские Высочества из своих покоев прошли к Ее Императорскому Величеству во внутренние апартаменты.

В начале 12 часа Ее Императорское Величество в армейском мундире с Их Императорскими Высочествами, предшествуемая кавалерами ордена Георгия Победоносца проследовала в придворную большую церковь к Божественной литургии, по окончании которой проповедь говорил Тверской Епархии Троицкого Калязина монастыря архимандрит Арсений. После духовные персоны приносили Ее Императорскому Величеству и Их Императорским Высочествам свои поздравления и жалованы были к руке, а Преосвященный Гавриил говорил торжественную краткую речь. С крепостей Санкт-Петербургской и Адмиралтейской была произведена пальба. С Божественной литургии кавалеры ордена сопровождали Ее Императорское Величество в парадные покои, где она принимала поздравления и жаловала к руке иностранных министров и кавалеров ордена.

Перед дворцом гвардейские полки и воинские команды музыкой и барабанным боем поздравляли Государыню»<sup>22</sup>.

Орденом Св. Георгия награждались только военные «за ревность и усердие для поощрения к дальнейшим по военному искусству подвигам». Ордена удостоивался офицер, отличившийся в сражении, то есть совершивший «отличный воинский подвиг, увенчанный полным успехом и доставивший явную пользу», или офицер, прослуживший в этом звании 25 лет и принявший участие хотя бы в семи сражениях, флотские офицеры награждались, если принимали участие в 18 кампаниях, длившихся не менее шести месяцев<sup>23</sup>.

Награждались орденом так же и за выслугу лет. Манифест 13 февраля 1807 года утвердил знак отличия военных орденов для нижних чинов, сначала знак этот имел лишь одну степень, а с 1856 года — четыре степени, каждой была присвоена пенсия. Право пожалования Георгиевским орденом предоставлялось первоначально только императрице, но впоследствии такие полномочия были переданы и главнокомандующему армией, «с удостоением Думы», состоящей из присутствующих в столице кавалеров.

Всеми орденами Российской империи ведал Капитул Российской империи и царских орденов (входил в Министерство Императорского двора), гротмейстером (главой) всех орденов был император, канцлером — министр Императорского двора. Всего за всю историю в России было восемь орденов, каждый из которых возглавляла Кавалерская дума.

«Кавалерские думы — временные собрания кавалеров некоторых орденов для рассмотрения представлений о награде этими орденами отдельных лиц. Екатерина II учредила кавалерские Думы для орденов св. Владимира (1782) и св. Георгия (1783); они утверждались для окончательного рассмотрения представлений о наградах орденом св. Георгия 3 и 4 степени, св. Владимира 3 и 4 степеней, или

<sup>22</sup> Камер-фурьерский журнал за 1773 год. СПб., б. г., С. 895–897.

<sup>23</sup> Кавалеры ордена святого Георгия Победоносца: сборник. СПб.: НКПЦ «Хронограф», 1994. С. 2–8.

за выслугу определенного в орденских статутах срока. Думы их были закрыты при Павле I, и снова восстановлены при Александре I. Николай I установил Думы для знака отличия беспорочной службы (1827) и для ордена св. Анны (1829). В 1839—1855 гг. существовала также Дума св. Станислава»<sup>24</sup>.

В первоначальном статуте военного ордена Св. Георгия о Кавалерской думе упомянуто не было. Она была учреждена при издании «дополнительных правил» к статуту ордена, Высочайше утвержденных 22 сентября 1782 года, причем Кавалерской думе дозволено было «иметь **в Чесме, при церкви Иоанна Крестителя**, дом, архив, печать и особую казну». В Чесменском дворце Дума собиралась до 1833 года, когда по воле императора Николая Павловича ее собрания были перенесены в Георгиевский зал Зимнего дворца<sup>25</sup>. (Существуют также сведения о том, что при Александре I заседания Думы были перенесены, по указу от 5 ноября 1811 года, в Зимний дворец). С 1883 года наблюдение за правильным ведением дел георгиевских кавалеров принадлежало управляющему делами Капитула орденов.

При Екатерине II большой круглый зал Чесменского дворца на втором этаже служил для заседаний Кавалерской думы военного ордена Св. Георгия Победоносца. Напротив главного входа под портретом государыни находился стол, покрытый красным бархатом с чернильницей работы французского художника де Мальи. В Чесменском дворце ежегодно праздновали орденский праздник Великомученика Георгия, поэтому Иоанно-Предтеченский храм иногда называли «храмом ордена Святого Георгия».

### Чесменская церковь

В России Чесменская победа была запечатлена и в храмовом зодчестве. Екатерина II распорядилась в честь этой победы построить церковь — близ путевого дворца. Этому храму российское правительство всегда придавало особое значение. И не случайно, что и при его закладке, и при освящении присутствовали высокопоставленные иностранные гости. В 1777 году в Санкт-Петербурге находился шведский король Густав III (1746—1792), прибывший сюда 5 июня с частным визитом под именем графа голландского. 6 июля он присутствовал на церемонии основания Чесменской церкви. Шведский король сам положил камень в основание храма, названного впоследствии в честь Св. Иоанна Предтечи<sup>26</sup>.

Вот что сообщали по этому поводу «Санкт-Петербургские ведомости»: «Сего июня 9 дня Ее Императорское Величество, прибыв на свою дачу, называемую Кеке-рекексино, состоящую по Царскосельской дороге расстояния от Санкт-Петербурга на седьмой версте, изволила там, во-первых, с обыкновенными духовными рядами заложить церковь во имя святого пророка Иоанна Предтечи, яко день славной Чесменской победы, а потом в построенном в сей даче доме иметь обеденный стол. Ее Императорское Величество удостоила указать высочайшее свое благоволение главному смотрителю сего строения господину генералу-инженеру и кавалеру Михаилу Михайловичу Мордвинову. И как милость и щедроты везде сопутствуют сей монархине, то и при сем случае Ее величество благоволила пожа-

<sup>24</sup> Энциклопедический словарь Брокгауза Эфрона. т. 21. С. 229.

<sup>25</sup> Верховец Я. Д. Подробное описание жизни, чудес и страданий св. великомученика Победоносца Георгия и чествование его имени. СПб., 1893. С. 175.

<sup>26</sup> Грот Я. К. Екатерина II и Густав III // Сборник отделения русского языка и словесности императорской Академии наук. СПб., 1877. Т. XVIII — № 1. С. 22.



ловать сему генералу богатую табакерку с бриллиантами. Каждый же из офицеров, потребленный при сем строении, получил знаки высочайшей ее милости. А к вечеру Ее величество изволила обратно отбыть в Царское Село.

Господин Готландский ездил поутру в 11 часов в новопостроенный дворец, где находился при заложении церкви и положил камень при основании фундамента оной. В сем дворце были представлены Ее императорскому величеству графом Никитой Ивановичем Паниным приехавшие сего года графы шведские, господа сенаторы, графы Шеффер и Пуссе, генерал-майор Троле, камергеры графы Штейбок и Поссе и приглашены были к столу Ее Императорского Величества. После обеда господин граф возвратился в город»<sup>27</sup>.

Эта церковь, как и дворец, была выстроена по проекту того же Ю. М. Фельтена. К моменту начала постройки Чесмы за Фельтеном числится уже целый ряд работ: он заменяет Растрелли по Зимнему дворцу и Смольному монастырю; строит гранитную набережную на Неве; проектирует «место» и решетку для фальконетовского памятника Петру, строит Екатерининскую лютеранскую церковь на Васильевском острове и так называемый Второй Эрмитаж, законченный в 1775 году. К этому времени он уже избран профессором Академии художеств и награжден чином надворного советника, Чесма — памятник начала расцвета его творчества и немало содействовала его славе.

Чесменская церковь принадлежит к группе архитектурных памятников псевдоготического стиля, получившего распространение в России во второй половине XVIII века. Дань увлечению псевдоготическим стилем отдали почти все выдающиеся русские мастера второй половины XVIII века, в том числе В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ю. М. Фельтен, В. И. Неелов.

Возведение храма было закончено в 1780 году — к 10-й годовщине победы, одержанной русским флотом при Чесме. В это время в Санкт-Петербурге находился австрийский император Иосиф II (1785—1790); он прибыл в Россию по приглашению Екатерины II, с которой и встретился в мае 1780 года в Могилеве. Это был неофициальный визит, и он остановился в Санкт-Петербурге под именем графа Фалькенштейна. По сообщению петербургской печати, освящение Чесменской церкви «происходило 24 июня 1780 г. в присутствии бывшего тогда в Петербурге императора Иосифа II в этот же день место было переименовано Чесмою»<sup>28</sup>.

24 июня 1780 года Екатерина II в сопровождении штата дежурных фрейлин и камералеров «соизволила шествовать в линии в Кекерексинский дворец». При колокольном звоне Екатерина II, генералитет и граф Фалькенштейн пришли из дворца «во вновь построенную церковь во имя святого Иоанна Предтечи», где были встречены архиепископом Новгородским и Санкт-Петербургским, которым и был совершен обряд освящения новопостроенной церкви.

**«Санкт-Петербургские ведомости»:** «В минувший вторник, т. е. 23 июня Ее Императорское Величество и их Императорские Высочества изволили прибыть в сей город, а на другой день изволили быть на освящении новой церкви, в прежде называемом Кикерекексине, которое того дня Ее Императорское Величество изволило переименовать Чесмою в память славной и беспримерной победы в 1770 году под Чесмою российским флотом одержанной, под предводительством Его сиятельства графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского 24 июня в день рождения Иоанна Крестителя, почему и церковь сия посвящена сему святому. Церковное чиновное служение отправлял преосвященный Гавриил Новгородский и Санкт-Петербургский, при чем присутствовал и господин граф Фалькенштейн. Ее Императорское Вели-

<sup>27</sup> Санкт-Петербургские ведомости, № 46, 09.06.1777.

<sup>28</sup> Там же. С. 22. Примечание 2. См. также: Санкт-Петербургский вестник. Ч. V. С. 480.

чество и их Императорские Высочества также изволили иметь обеденное кушание с помянутым графом. К столу приглашен также Преосвященнейший с другими знатными светскими особами»<sup>29</sup>.

По окончании церемонии в Чесменском дворце был дан обед на 56 «кувертах», причем стол был сервирован предметами знаменитого фаянсового сервиза, заказанного Екатериной II в Англии в 1777 году у Уэджвуда специально для Чесменского дворца. (Сервиз Чесменского дворца состоял из 952 предметов, украшенных видами английских дворцов, замков, аббатств, парков, мостов, руин и т. д., в значительной части написанных по рисункам с натуры. Отличительным признаком этого сервиза было изображение на каждом предмете зеленой лягушки посреди щита. В настоящее время сервиз находится в Государственном Эрмитаже.)

Английские мастера внесли свой художественный вклад и в чесменскую военную тематику. Так, 11 октября 1772 года в аудиенц-камере Екатерина II осмотрела привезенные из Англии картины «о разбитии турецкого флота» (видимо, речь идет о картинах работы Патона, которые императрица впоследствии купила).

Вот что писал шведский посланник в Петербурге Нолькен: «В прошедшую среду граф Ф. сопровождал Ее величество в Киккерике на освящение церкви, которой основание положено было за три года перед тем графом Готландским вместе с Императрицею и которая по этим двум обстоятельствам вечно будет достопамятна. Церковь была названа по имени Иоанна, празднуемого в этот день<sup>30</sup>, и Киккерике, со всеми своими принадлежностями, переименовано Чесмою в память бывшего в этот же день знаменитого морского сражения»<sup>31</sup>. В камер-фурьерском журнале за 1780 год содержатся интересные подробности, повествующие об этом событии.

«Ея Императорское Величество, сего числа (24 июня), во время Высочайшего Своего присутствия в Кекириках, соизволила оный при освящении церкви наименовать Чесмою, где на тот случай построены были гостиный двор и прочие для мелких товаров лавки, которые во время пребывания Ея Императорского Величества для собравшегося разного звания народа открыты были с разным товаром. Сего же числа Ея Императорское Величество изволила быть в морском длинном мундире».

Ровно через год — 24 июня 1781 года, государыня снова посетила Чесменский дворец, о чем имеется запись в камер-фурьерском журнале.

«В 11 утра Ея Императорское Величество и Их Императорские Высочества, фрейлины, генералитет прибыли в церковь Чесменского дворца при колокольном звоне и были встречены Архиепископом СПб и Новгородским Гавриилом и прочим знатным духовенством, Ея Императорское Величество и Их Императорские Высочества приложились ко Кресту и приняли окропление Святой Водой, после чего изволили слушать Божественную Литургию, а по окончании ее принимали поздравление от Генералитета. В круглом зале дворца был накрыт обед на 6 столах на 53 куверта, в продолжение которого играла музыка, столы сервированы в 2 перемены на фаянсовом сервизе. В 3 часа дня Ея Императорское Величество уехала в Санкт-Петербург».

<sup>29</sup> Санкт-Петербургские ведомости, № 51, 26.06.1780 г.

<sup>30</sup> Рождество св. Иоанна Крестителя празднуется 24 июня (ст. ст.).

<sup>31</sup> 24 июня (6 июля) 1770 г. Император Иосиф II в России: Донесения шведского посланника Нолькена // Русская старина, 1883, т. 40, № 10–12. С. 318.

Позднее при входе в церковь была помещена мраморная доска с бронзовыми литерами: «Сей храм сооружен во имя св. Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, в память победы над турецким флотом, одержанной при Чесме 1770-го года в день его Рождества. Заложен в 15-е лето царствования Екатерины II в присутствии короля шведского Густава III под именем графа Готландского. Освящен 1780-го года июня 24-го дня в присутствии Его Величества Римского императора Иосифа II под именем графа Фалькенштейна»<sup>32</sup>. Эту доску мог видеть последний польский король Станислав Август Понятовский, который незадолго до своей смерти был здесь в 1797 году. Один из членов его свиты записал в своем дневнике под 6 июля: «Король осматривал в нем орден св. Георгия, и в одной из надписей сказано, что церковь сего замка заложена при шведском короле Густаве III, а кончена при императоре Иосифе II»<sup>33</sup>.

Одним из клириков, приписанных к Чесменской церкви, был диакон Матвей Светлов (Феодор Козловский). Его перу принадлежит брошюра, озаглавленная «Достопамятности Чесменского дворца, состоящего по Московской дороге на 7 версте от Санкт-Петербурга, описанные находящимся при церкви одного дворца диаконом Матвеем Светловым в 1782 году». На первой странице сочинения автор поместил свое стихотворение под названием «Надпись к храму, при Чесменском дворце находящемуся». Вот эти бесхитростные строки:

Екатерина сей соорудила храм,  
В знак благодарности своей ко небесам,  
За изливание ко флоту россос блага;  
Близ Азии в Чесме среди Архипелага,  
Где сил Ея морских немного число  
Весь агарянский флот разбило и сожгло;  
Чрез то возвысилась на свете слава россос  
Превыше пирамид огромных и колоссов.

При Соломоне цвел израильский народ,  
Царицы южняя во дни его приход  
В священных царственных замечен книгах зрится,  
И свет его досель премудрости дивится;  
Екатериныных среди щастливых дней,  
Россия с Севера и Юга зрит царей,  
Грядущих обожать на троне добродетель,  
Чему сей самый храм священный есть свидетель.  
Иосиф и Густав, высоки имена  
Во вечны будут здесь читаться времена,  
И дондеже цветет российская держава  
Екатеринына немолчна будет слава<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> Коршунова М. Ф. Юрий Фельтен. Л., 1988. С. 70.

<sup>33</sup> Отрывки из дневных записок последнего польского короля Станислава Августа Понятовского, писанных во время его пребывания в России, с 2 марта 1797 по 12 февраля 1798 гг. // Вестник Европы, 1808, июнь, № 11. С. 239–240.

<sup>34</sup> Достопамятности Чесменского дворца, состоящего по Московской дороге на 7 версте от Санкт-Петербурга, описанные находящимся при церкви одного дворца диаконом Матвеем Светловым в 1782 году. С. 1.

В своей книге диакон Матвей Светлов приводит краткое описание Чесменской церкви.

«Церковь сделана о пяти главах, и вокруг ея каменная ограда с башенками. В ней образа местные. Икона Спасителя Пресвятой Девы с Превечным Младенцем. Святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, с изображением внизу вида сожжения при Чесме турецкого флота. Св. Великомученицы Екатерины, со представлением ея страданий. Лампады пред образами и другая церковная утварь серебряная и вызолоченная, притом как в алтаре, так и вне алтаря все украшено великолепно.

Оная церковь заключает в себе длины 10 сажен с половиною, и такую же широту; вышины и со крестом 14 сажен. В переднем куполе поставлены часы»<sup>35</sup>.

Чесменская церковь представляет собой редкий памятник архитектуры Петербурга в псевдоготическом стиле. В плане она напоминает «четырёхлистник», каждый из лепестков которого имеет полукруглую форму и увенчан полусферическим со шпилевидным завершением куполом с крестом. Поверхность стен, обработанных узкими вертикальными тягами и лепными стрельчатыми арками, прорезают высокие стрельчатые окна. Купола были увенчаны острыми готическими шпилями<sup>36</sup>. Интересные иконы в иконостасе — Распятие Спасителя, Умовение ног, св. Иоанн Предтеча с видом Чесменского боя — написал неизвестный мастер.

Екатерина II и ее окружение высоко оценило фельтеновский замысел.

Вскоре после окончания постройки Чесменской церкви фаворит Екатерины II, А. Д. Ланской воспользовался проектом Фельтена при сооружении церкви в своей усадьбе Посадниково, Новоржевского уезда Псковской губернии. Церковь была закончена постройкой в 1784 году. (Колокольня пристроена в 1789 году.) Были воздвигнуты два идентичных сооружения: одно в окрестностях столицы, другое в провинциальной глуши. Судьба их не оказалась, однако, столь же тождественной, как и их архитектура. В 1890-е годы церковь в Посадникове, заброшенная и неподдерживаемая, была на грани полного разрушения. Обследовавший ее инженер Станкевич обнаружил описание церкви, относящееся к 1830 году. Из него мы узнаем, какова была историческая окраска здания. Как говорится в описании, церковь была «выкрашена снаружи желтою охрою с разнообразными белой известью фигурами». Аналогичным образом была окрашена, очевидно, и Чесменская церковь<sup>37</sup>.

Императрица нечасто посещала эти места — раза два в год, лишь на храмовый праздник и на Масленицу. Обычно, приезжая с гостями утром, Екатерина слушала Божественную Литургию. Ее место, отделанное красным бархатом, с балдахином и двуглавым орлом на спинке, располагалось справа от входа в церковь. По придворному штату к церкви Иоанн Предтечи были приписаны священник и диакон, в торжественных случаях служил приезжавший из Петербурга митрополит или духовник императрицы. По окончании литургии и благодарственного молебна следовали гуляния, катание с горок или на санях — если была зима, или в лодках — летом (озеро располагалось на месте нынешней бани). А в соседней роще устраивалось народное гулянье, с ярмарками и фейерверком<sup>38</sup>.

Интересные сведения о праздниках в Чесменском дворце содержатся в книге известного историографа И. Г. Георги «Описание Российского столичного города Санкт-

<sup>35</sup> Там же. С. 2—3.

<sup>36</sup> Шульц. 175.

<sup>37</sup> Петров А. Н. Справка о Чесменском мемориальном комплексе. 28.06.1941 г. // СПб. ГИОП. 1969.

См. также: «Зодчий», 1892, № 3—4. С. 31—32.

<sup>38</sup> Кобак. 282.

Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного» (СПб., 1794). Георги пишет, что Увеселительный замок Чесма при Екатерине стоял на заросшем травой лугу, а возле церкви находились 12 деревянных лавок в один ряд и перед ними аркада. Каждый год в годовщину Чесменской победы Екатерина совершала парадный выезд в свой замок и проводила здесь целый день, устраивая торжество не только для своих офицеров и придворных, но и для простого народа, так что Чесменские гуляния походили скорее на многолюдные ярмарки. Сама государыня была первой покупательницей товаров, привозимых сюда из города, приобретая на тысячи рублей всякого рода вещей и тканей и тут же раздавая их своим придворным.

Как отмечает Георги, народные праздники редко обходились без комических представлений, продолжительность которых была не более 30 минут, а количество представлений в день могло доходить до 30. Показывали одновременно трагедии, комедии, басни, сказки. Вход на такое представление стоил 5 копеек. Во время праздников играли в горелки, водили хороводы, катались на качелях и каруселях. Из музыкальных инструментов использовали балалайки, гудок, гусли, волынку. Можно предположить, что перед Чесменским дворцом разворачивались такие же театральные действия.

Екатерина Великая любила Чесму, окруженную тогда (ныне исчезнувшими) прудами. Здесь каталась она на лодках при громе музыки в сопровождении блистательной многочисленной свиты. На Сырной неделе возле дворца устраивались горки (кубический подмосток из бревен в 6 сажень вышины, с лестницей и волнистым ледяным скатом), по ним некоторые ловкачи спускались не только на санках, а и на ногах или на коньках. В Светлую неделю на лугу ставились качели, шалаши для комедиантов и танцовщиков на веревке. Ежегодно 24 июня в Иванов день устраивались ярмарки, летом и зимой по праздникам бывали фейерверки.

В 1793–1794 годах Чесменский комплекс подвергся «поновлению». Сохранились две сметы на ремонт всех зданий Чесменского дворца, подписанные Е. Т. Соколовым и И. Е. Старовым. По ремонту церкви предполагались «внутренние и наружные починки»: изготовление дверей, лестниц на колокольни, исправление крыльца, крыши, окон, ограды, ворот и замощение перехода от церкви ко дворцу. Общая стоимость работ исчислялась в сумме 2062 рубля<sup>39</sup>.

### Годы правления Павла I (1796–1801)

Чесменский дворец и церковь при нем представляют чуть ли не первый и, во всяком случае, наиболее значительный архитектурный ансамбль ложногоготического стиля в окрестностях Петербурга. Не случайно именно этот дворец был выбран для заседания Думы – правления ордена Св. Георгия, основанного в России 26 ноября 1769 года. Еще при Екатерине II церковь и дворец были переданы капитулу ордена, который занимался выдачей наград и пособий офицерам, особо отличившимся на полях сражений.

А позднее, в 1799 году, дворец был передан Капитулу (или Думе) ордена Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден), магистром которого стал Павел I, способствовавший тому, чтобы орден обосновался в России.

Это имело место 12 июля 1799 года именным указом императора Павла I; предполагалось устроить во дворце больницу и содержать ее за счет капитула ордена. Для устройства больницы была учреждена комиссия, которая, осмотрев дворец, нашла его неудобным для предложенной цели, и 3 сентября того же 1799 года по-

<sup>39</sup> Петров А. Н. Справка о Чесменском мемориальном комплексе. 28. 06.1941 г. // СПб. ГИОП. 1969.

следовал Высочайший указ о возвращении Чесменского дворца в придворное ведомство<sup>40</sup>.

Церковная политика императора Иосифа II была во многом схожа с той, которую проводила в России Екатерина II, осуществившая в 1764 году секуляризацию церковного землевладения. Вот что пишет об Иосифе II отечественный исследователь Я. К. Грот: «В отношении к Церкви он издал достопамятный закон о веротерпимости, которым предоставлял свободу богослужения и равные с католиками политические права последователям протестантских исповеданий и Греческой Церкви. Затем он уменьшил число монастырей на целую треть, упразднив около 700 монастырей и от 30 до 36 тысяч монашествующих. Сбереженные таким образом суммы он обратил на улучшение учебного дела, на учреждение новых приходов, училищ и благотворительных заведений... Далее он сократил разные внешние обряды, например, процессии; велел переводить Библию на народные языки и ввел в церквах пение немецких псалмов, ограничил влияние папы и сообщения духовенства с Римом и проч.»<sup>41</sup>.

### Эпоха Александра I (1801 – 1825)

В начале XIX века Чесменский дворец находился в ведении Гоф-интендантской конторы. (В архиве этого учреждения сохранился ряд дел по Чесменскому дворцу). Долгое время Чесменский дворец использовался для кратковременных остановок Двора во время переездов из Петербурга в Царское Село. Одно время загородный дворец использовали его как дачу для благородных девиц.

В 1811–1812 годах в нижнем этаже дворца была устроена зимняя церковь, в которую была перенесена храмовая утварь бывшей Троицкой походной церкви царя Алексея Михайловича и императора Петра I. 11 декабря 1812 года храм был освящен во имя Рождества Христова протопресвитером Павлом (Криницким). Перенесенный в храм из Эрмитажа иконостас походной церкви отличался замечательной пышностью. Иконы для иконостаса были вышиты в «кремлевской светлице» при царе Федоре Иоанновиче царицей Ириной в 1590 году по бархату золотом, серебром и разноцветными шелками<sup>42</sup>. (Этот уникальный памятник почти полностью сгорел в августе 1871 года. В следующем году его заменили резным белым с золотом иконостасом, поместив уцелевшие части в отдельном киоте, который в 1919 году попал в Русский музей. Рисунок нового иконостаса и образа в нем исполнил академик Прохоров)<sup>43</sup>.

С правой стороны от царских врат находились иконы святого Феодора Стратилата и святой великомученицы Ирины (в память о царе Федоре Иоанновиче и его супруге); слева — иконы Тихвинской Божией Матери и Успения Пресвятой Богородицы; на северных вратах был изображен благоразумный разбойник Раф. В алтаре церкви находилась древняя плащаница.

В сохранившихся делах 1817 и 1819 годов со сметами архитектора П. Писцова, по ремонту зданий Чесменского дворца, есть указания на исправление наружной

<sup>40</sup> ЦГИА СССР, Ф. 466, оп. 36, д. 1629, № 186. О передаче Ордена Иоанна Иерусалимского церкви...; см. также: Шклярский В. Историческое описание Николаевской Чесменской военной богадельни. СПб., 1860. С. 9.

<sup>41</sup> Грот Я. К. Указ. соч. С. 322.

<sup>42</sup> Шульц С. Храмы Санкт-Петербурга. СПб., 1994. С. 176.

<sup>43</sup> Антонов В. В., Кобак А. В. Святые Санкт-Петербурга. Христианская историко-церковная энциклопедия. СПб., 2003. С. 282.

штукатурки церкви, ее ограды, устройство деревянных мостиков от дворца к церкви, а также окраске дворца, церкви и ее ограды. В особой записке о необходимости ремонтных работ архитектор Писцов указывал: «С наружности церковь нужно бы всю хорошенько оштукатурить, а не местами, как ежегодно по неимению суммы делается и внутри оной»<sup>44</sup>.

19 ноября 1825 года в Таганроге скончался император Александр 1. Известие о его смерти было получено в Петербурге 27 ноября. Скорбное письмо, написанное Елизаветой Алексеевной императрице Марии Федоровне, начиналось словами: «Notre ange au ciel» («Наш ангел на небесах»). Эти слова облетели мгновенно всю Россию. Они печатались в некрологах и вырезались на траурных кольцах и медальонах с изображением почившего. Гроб с телом императора следовал из Таганрога в Москву, где оставался несколько дней, и прибыл в Петербург. 5 марта 1826 года гроб с телом императора был поставлен в Чесменскую дворцовую церковь, откуда на следующий день был перевезен в Казанский собор (там он находился в течение семи дней) и уже потом — в Петропавловский собор, где 13 марта было совершено отпевание и погребение<sup>45</sup>.

### Эпоха Николая I (1825—1855)

В апреле 1830 года император Николай I повелел передать Чесменский дворец под богадельню для инвалидов-ветеранов Отечественной войны 1812 года, после чего, в 1831 году, дворец перешел в ведение Комитета о раненых.

В том же году, после передачи дворца под богадельню, портреты дворцовой галереи по указу Николая I были отправлены в Петергоф — в Английский дворец, вместе с сервизом и люстрами (последние — в Большой дворец)<sup>46</sup>. (Ныне портреты находятся в Государственном Эрмитаже и Гатчинском дворце.)

С появлением в 1830 году в Чесменском дворце новых жителей — стариков-инвалидов — были возобновлены и традиции служить Божественную Литургию и устраивать большие обеды для приглашенных гостей.

Автор проекта перестройки архитектор Александр Егорович Штауберт в 1832—1836 годах пристроил к главному корпусу дворца три двухэтажных флигеля (позднее они были надстроены еще двумя этажами). Здесь разместились жилые помещения для 400 рядовых и 16 офицеров — кавалеров ордена Святого Георгия.

В 1834 году по проекту, утвержденному императором Николаем I, был сооружен готический деревянный павильон на так называемой горке для цейхгауза. Под павильоном находились погреба для хранения заготовленных на зиму припасов.

В том же 1834 году начались работы по устройству парка. Лес был расчищен и частично вырублен, было посажено свыше 500 молодых берез, произведены значительные земляные работы. Из общей площади участка богадельни в 24 десятины 10 десятин было занято парком. По прямому указанию Николая I были снесены двое готических каменных въездных ворот и вместо них установлены чугунные ворота на каменном фундаменте. Со стороны шоссе участок был обнесен чугунной готической оградой<sup>47</sup>.

<sup>44</sup> Петров А. Н. Справка о Чесменском мемориальном комплексе. 28.06.1941 г. // СПб. ГИОП. 1969.

<sup>45</sup> Петербургские страницы воспоминаний графа Соллогуба. СПб., 1993. С. 67 (Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882)).

<sup>46</sup> Петергофский Архив цехмейстерской части 1830 г. № 7.

<sup>47</sup> Петров А. Н. Справка о Чесменском мемориальном комплексе. 28.06.1941 г. // СПб. ГИОП. 1969.

После окончания перестройки в июне 1836 года церковь перенесли в значительно большую круглую залу второго этажа, так как старое помещение было тесным для живших в богадельне инвалидов<sup>48</sup>. Церковь была устроена там, где раньше заседал орденский капитул. Она была торжественно освящена 23 июня 1836 года, за четыре дня до открытия богадельни, в присутствии императора Николая I, чье имя с 1855 года она носила. Рисунок иконостаса в готическом стиле сделал сам архитектор Штауберт.

При этом пострадал купольный зал, часть стен которого была закрыта громоздким иконостасом и купол украшен образами святых по именам которых учреждены российские ордена. Сохранился проект этого таубертовского иконостаса, просмотренный царем. Он был выполнен в готическом стиле<sup>49</sup>.

По случаю освящения новой зимней церкви во имя Рождества Христова, устроенной на втором этаже дворца на месте бывшего орденского круглого зала георгиевских кавалеров, из Петербурга приехал ряд высокопоставленных особ. (Чесменскую богадельню курировал Александровский комитет о раненых, а попечителями были великие князья). В этот день на клиросе пели не только призываемые старики, но и известные городские певчие. По обычаю, день основания богадельни отмечался торжественным богослужением и народным гуляньем.

В храме богадельни хранилась плащаница XVI века, привезенная из Кахетии (сгорела в 1871 году), Иерусалимская икона Божией Матери (греческого письма), подаренная Екатерине II Патриархом Иерусалимским Софронием, и памятные иконы «Апостол Павел» и «Равноапостольная Мария Магдалина», вышитые золотом и серебром императрицей Марией Феодоровной. (В настоящее время — в Павловском музее.)

До появления железной дороги в зимнем храме богадельни устанавливали перед въездом в столицу гробы особ Императорской фамилии, скончавшихся вне Петербурга, и здесь по ним служили панихиду. На прилегавшей к церкви и дворцу территории было устроено небольшое кладбище, где хоронили ветеранов, доживавших свой век в инвалидном доме.

Кладбище при Чесменской церкви существует с сентября 1836 года, когда был подписан план отмежевания 8 десятин земли у Волковской слободы (первоначально), но выделено было лишь 2 десятины земли. (Некоторые исследователи считают, что кладбище, или, точнее, погост, существовало с 1780 года и на нем хоронили солдат-инвалидов, охранявших Чесменский дворец.)

До появления у богадельни собственного кладбища ветеранов хоронили на Волковском кладбище. Открытие кладбища при Чесменской церкви состоялось 15 июля 1836 года, когда здесь был погребен прах героя суворовских походов унтер-офицера лейб-гвардии Преображенского полка Романа Свитова. С 1836-го по 1853 год в Чесменской богадельне скончалось 1359 человек<sup>50</sup>.

В 1848 году были произведены крупные ремонтные работы по всему ансамблю дворцовых построек. Общая стоимость их должна была составить по смете 5510 рублей серебром. «Сметные предположения» по ремонту были проверены архитекторами Стасовым и Брюлловым, осматривавшими здание на месте. Ими был внесен ряд корректив в программу ремонтных работ. Так, вместо устройства новой желез-

<sup>48</sup> Шульц. 176. Церковь во имя Рождества Христова При Чесменской военной богадельне (Чесменский дворец близ Московского тракта, ныне ул. Гастелло, дом 15).

<sup>49</sup> Весь иконостас подробно описан у Шклярского. Остатки древнего иконостаса описаны в «Старых годах», 1915. № 7—8. С. 54 (теперь в Русском музее).

<sup>50</sup> Лебедев П. С. Поездка из Царского Села на Главную Пулковскую обсерваторию и в Чесменскую военную богадельню 23 июля 1853 года — СПб.: Военная типография, 1853. С. 32.



ной кровли, они нашли достаточным исправить старую, «сделанную из белого железа, со спайкою листов и добавкою нового белого железа, которое, по надлежащем исправлении, проолифке и при хорошем надзоре будет прочнее новой обыкновенной железной». В записке, составленной этими двумя наиболее авторитетными и опытными мастерами, отмечалось, что «богадельня расположена на глинистой почве, которая не пропускает воду в грунт, потому в низменностях около строений держится долго вода и сырость вредная для строений».

Для того чтобы предохранить здание церкви от разрушительного действия сырости, в 1848 году у фундаментов были проложены дренажные трубы с уклоном по направлению к одной из канав, ограничивавших участок дворца. (Трубы были изготовлены из трехдюймовых сосновых досок; они исправно функционировали до 1890-х годов.) Кроме того, в цоколе здания были устроены отсутствовавшие ранее продушины, для проветривания подполья<sup>51</sup>.

С 1836 года жалованье причту обеих церквей, зимней и летней, выдавалось из сумм Комитета раненых и больных. Церковь и причт находились в ведомстве главного священника армии и флотов, а с 1852 года были подчинены ведомству главного священника гвардейских и гренадерских корпусов<sup>52</sup>.

К 1853 году относится описание праздника в Чесменской военной богадельне; оно находится в книге, написанной тремя авторами, — это Н. С. Голицын, П. С. Лебедев и А. О. Витт. Заголовок этой книги говорит сам за себя: «Поездка из Царского Села на Главную Пулковскую обсерваторию и в Чесменскую военную богадельню, 23-го и 24-го июля 1853 года» (СПб., 1853).

Приведем наиболее интересные выдержки второй главы этой книги; она полностью посвящена Чесменской богадельне.

«23-го июля, в четвертом часу пополудни, мы въехали в красивые ворота богадельни. Вместо обычной тишины в ней было большое движение: старички-инвалиды суетливо прохаживались перед зданием; в жилых флигелях видна была большая деятельность; примыкающая к зданию роща почти опустела; на вопрос наш о причине этого, нам отвечали: старики приготавливаются ко всеобщей своего храмового праздника...

Раздался звон колокола, призывавший ко всеобщей, и мы поспешили вмешаться в толпу стариков, которые шли в церковь; в камерах остались только немощные — все остальные, пришедшиеся в сюртуки, явились молодцами ко всеобщей.

Необыкновенное впечатление производила на нас эта семья старцев, усвоенных и приретенных за долгую и верную службу их Отечеству. Тишина, благочиние, усердие молитвы, внушали невольное благоговение, поддерживаемое благолепием служения и стройностью голосов певчих. Временами дрожащие голоса старцев сливались с хором певчих, в особенности когда возглашалась молитва за создателей храма и Царствующий Дом, и это невольное изливание простых душ, сознающих всю великость сделанного для них благодеяния, поистине могло растрогать каждого до глубины сердца.

По окончании всеобщей мы присутствовали при ужине стариков; весело было смотреть на аппетит их и попечительность, с которой заботились о слепых и немощных неугомимые их прислужники. Старцам наливали в тарелку пищу, резали хлеб, даже кормили из рук, как детей; после ужина старики разбрелись по камерам; но долго слышны были их толки о завтрашнем празднике, к которому ожидали они гостей из города.

24-го поутру прибыл г-н директор богадельни, в сопровождении градского главы — Ивана Петровича Лесникова, и был встречен смотрителем и членами

<sup>51</sup> Петров А. Н. Справка о Чесменском мемориальном комплексе. 28.06.1941 г. // СПб. ГИОП. 1969.

<sup>52</sup> Там же.

Хозяйственного комитета богадельни. Благолепие служения увеличилось хором прекрасных певчих, которых, по усердию, пригласил церковный староста.

По окончании литургии и совершения молебствия с водосвятием было провозглашено многолетие Царю—Благодетелю и Царствующему Дому. После чего инвалиды собрались в свою столовую, где директором богадельни и И. П. Лесниковым провозглашены были тосты за здоровье государя императора, государыни императрицы, государя наследника и всего Царствующего Дома, и всякий раз молодецкое „ура!“ — от которого трепетали некогда враги отечества и рушились твердыни, противопоставляемые ими русскому штыку, — потрясло воздух. В заключение г-н директор богадельни обратился к своим подчиненным со следующей простой, душевной речью: «Почтенные старики! Вы все уже познакомились со смертью, и каждый день, молясь Богу, просите у Него только тихой кончины. Вы ближе к Нему, чем мы, грешные люди; но я ежедневно прошу также Бога, чтобы еще долго праздновать с вами этот день, и желаю, чтобы честным и добропорядочным поведением вы поддержали честь славного Русского солдата, которого вы здесь представляете». Общий, вырвавшийся из сердца крик, был ответом на это приветствие отца-командира!..

После обеда загремела в роще музыка, раздались голоса Жуковских песенников — и все население богадельни высыпало в рощу. Старики расходились на радости, двое даже захотели вспомнить прошлое и пустились в плясовую под веселые звуки родимой песни... Все пело, гуляло, веселилось — чудный день еще более увеличивал всеобщую радость; казалось — скорбь, нужда и забота не смели заглянуть за ограду тихого убежища заслуженных русских воинов...»<sup>53</sup>

### Эпоха Александра II (1855—1881)

В 1871 году в зимней церкви богадельни возник пожар. Пожаром был уничтожен находившийся в ней иконостас походной церкви Петра I, престол и над ним сень. Походный иконостас Алексея Михайловича пострадал менее. В связи с пожаром в 1872 году были предприняты значительные ремонтные работы.

24 июня 1880 года было торжественно отпраздновано 50-летие учреждения Николаевской богадельни. «В день памяти рождения Иоанна Предтечи, 24 июня в церкви Чесменской военной богадельни ежегодно совершается церковное торжество, — отмечалось в тогдашней печати. — В этот день инвалиды-воины устраивают у себя праздник, принимая своих сослуживцев, родственников и знакомых и угощая их чем Бог послал. На этом празднике инвалиды-воины делятся со своими гостями воспоминаниями о совершенных ими походах, описывая в безыскусственных рассказах победы русских над неприятелем, и праздник вообще проводится оживленно ветеранами нашего славного русского войска»<sup>54</sup>.

Неподалеку от богадельни, по Старой Московской дороге, находилась Александровская слобода для семейных инвалидов, где в 1866 году инженер-полковник Н. И. Мюссард выстроил каменную шатровую часовню Св. Александра Невского. (Построенная в память о чудесном избавлении императора Александра II от гибели, она была разобрана в 1925 году.) Позже в слободе были поставлены бронзовые бюсты Александра II, Александра III (1894) и Николая II (1896). У въезда в богадельню стояла еще одна каменная часовня, а две деревянных — на инвалидном кладбище и Румянцевской даче в двух с половиной верстах.

<sup>53</sup> Голицын Н. С., Лебедев П. С., Витт А. О. Поездка из Царского Села на Главную Пулковскую обсерваторию и в Чесменскую военную богадельню, 23-го и 24-го июля 1853 года. СПб., 1853. С. 19—23.

<sup>54</sup> Церковный вестник, № 27, 1880. С. 12.

### Конец XIX — начало XX века

В 1891 году в церкви Рождества Христова был проведен капитальный ремонт, после чего встал вопрос о ремонте богадельни. До 1893 года богадельня не имела в своем штате архитектора. В 1893 году в богадельню был принят на штатную должность архитектор Цвейберг. Под его надзором в 1895 году начаты большие ремонтные работы.

На их производство был израсходован кредит в 83 420 рублей. В числе работ, намеченных к осуществлению в 1895—1897 годах, был капитальный ремонт и реставрация старой летней церкви Св. Иоанна Предтечи. При ремонте в 1895 году были сняты «за полным разрушением» две деревянные декоративные скульптуры-статуи ангелов — аллегорические изображения «веры» и «вестника». Этими скульптурами увенчивались пилоны по сторонам главного входа в церковь. «По заключению Русского Археологического Общества они были признаны не заслуживающими реставрации».

Ремонтные работы были весьма значительными, так как после их окончания было произведено так называемое «малое освящение» церкви. В отчете директора богадельни за 1897 год находим следующую, ничего не разъясняющую фразу: «Летняя церковь и живопись в ней реставрирована очень хорошо». К сожалению, при ремонте стены были окрашены изнутри масляной краской, что способствовало увеличению сырости. Вот почему уже через несколько лет после окончания капитального ремонта возник вопрос о борьбе с сыростью в здании церкви<sup>55</sup>.

От сырости страдало не только здание церкви, но остальные постройки на участке. В директорском отчете за 1908 год находим следующую характеристику состояния здешней богадельни: «Наибольшая часть зданий, старинная, времен царствования Екатерины II и Николая I (1770 и 1831), следовательно возраст этих зданий более 130 и 70 лет: выстроены они капитально, но стоят на сырой торфяно-глинистой почве: почвенная вода оказывается на глубине 1-1 1/4 аршина. Вследствие этого, в нижних этажах многих строений заметна сырость и в стенах появляются пока трещины: видимо, надо постепенно проложить во многих местах дренажные трубы, но как общая сумма (9972 р.), отпускаемая на ремонт зданий, едва достаточна для этого назначения, то придется обратиться к исходатайствованию особого ассигнования для капитальной поддержки и укрепления исторических зданий»<sup>56</sup>.

В 1912 году в газете «Русский инвалид» появилась заметка под заголовком «Внимание любителей русской старины». «В Чесме две церкви, — писал автор заметки, — зимняя и летняя, Последняя — гордость архитектуры, создание знаменитого Растрелли, за отсутствием капитального ремонта, видимо, преждевременно гибнет от сырости. Бронзовые ангелы, украшавшие вход в эту церковь исчезли, но, конечно, не от сырости».

По поводу этой заметки директору богадельни пришлось дать разъяснения военному министру Сухомлинову. Из поданной записки видно, что капитальный ремонт церкви и работы по устройству дренажа до 1912 года не производились. Были ли они осуществлены в 1913-м или в 1914-м, неизвестно. Какие-либо ремонтные работы едва ли производились в период между 1914 и 1917 годами<sup>57</sup>.

К 1896 году на Чесменском кладбище было похоронено более 5000 (или, по другим данным, 4488) человек из них 114 офицеров, остальные солдаты и матросы. На Чесменском кладбище были захоронены ветераны суворовских походов,

<sup>55</sup> Петров А. Н. Справка о Чесменском мемориальном комплексе. 28.06.1941 г. // СПб. ГИОП. 1969.

<sup>56</sup> Там же.

<sup>57</sup> Там же.

Отечественной войны 1812 года, Севастопольской обороны (1854–1856), русско-турецких войн (1828–1829 и 1877–1878), Русско-японской войны (1904–1905), солдаты Первой мировой войны (1914–1918). К 1917 году общее количество погребенных составляло 6560 человек. Во время Гражданской войны здесь были похоронены также красноармейцы, павшие в боях с Красновым и Юденичем.

С 1915 года священником в обеих Чесменских церквях служил прот. Александр Иоаннович Веселовский<sup>58</sup>.

### Между двумя мировыми войнами

В мае 1919 года в Чесменском дворце разместился первый в Советской России лагерь принудительных работ (концлагерь), известная «Чесменка». Военная богадельня просуществовала до 1 июня 1919 года, когда ее спешно в трехдневный срок ликвидировали, а старики инвалиды были переведены в богадельни Петроградского района.

Обе Чесменские церкви закрыты властями 1 июня 1919 года. Затем на неделю домовый храм снова открыли, но в начале 1922 года его ликвидировали<sup>59</sup>. (По другим данным — 14 апреля 1920 года<sup>60</sup>.) Иконы и утварь церкви были экспропрированы и переданы в Государственный Эрмитаж.

Однако прихожанам удалось перенести церковь в личный дом барона Вебера, располагавшийся по другую сторону Московского шоссе на его заводе лаков и красок — даче Вебера (Московское шоссе, 29). Здесь приход церкви Рождества Иоанна Предтечи просуществовал с 6 октября 1919 года до 17 июля 1924 года<sup>61</sup>. Последним приходским священником этой церкви был отец Иоанн Попов.

Концлагерь «Чесменка» закончил свое существование 15 ноября 1922 года. Его сменила сельскохозяйственная колония при втором исправдоме. И наконец в мае 1923 года Чесменский дворец вновь преобразовался в инвалидный дом. С 1 мая 1923 года бывшая Чесменская богадельня перешла в ведение Губсобеса и была занята под общежитие инвалидов труда в память «25 Октября». Помещение Иоанновской церкви не использовалось и находилось под наблюдением органов охраны памятников. В июне 1925 года здание бывшей церкви осматривал архитектор И. Б. Михаловский. В составленном им акте осмотра констатировалась полная негодность железной кровли. Средний и восточный шпили церкви рухнули и лежали на крыше.

Крыша местами была покрыта обломками кирпича и оставшейся штукатурки: обрешетка кровли обнажилась. В одном месте на крыше выросло дерево. Из-за неисправности водосточных труб штукатурка во многих местах отпала, и стены обнажились до кирпича. Из-за протечек началось разрушение внутренней штукатурки. Нижние части стен отсырели, и штукатурка на них отстала вследствие сырости, поднимавшейся снизу.

В период между 1925 и 1930 годами по инициативе органов охраны памятников был проведен ряд осмотров зданий дворца и бывшей церкви и составлена смета на ремонтные работы. Однако средств на ремонт не было, и здание продолжало разрушаться. В проломленное отверстие во фрамуге над входной дверью внутрь церкви проникали воры, частично расхитившие церковную утварь и другие ценные пред-

<sup>58</sup> Антонов В. В. 282.

<sup>59</sup> Там же.

<sup>60</sup> Шульц. 176.

<sup>61</sup> Там же.

меты. Как писал И. Б. Михаловский в акте осмотра, датированном 7 марта 1928 года, здание бывшей церкви «продолжало оставаться без ремонта и быстро приходило в упадок, приближаясь к разрушению»<sup>62</sup>.

Летом 1930 года здание бывшей летней церкви осматривал архитектор А. Н. Петров. Несмотря на протечки, состояние внутренней штукатурки было еще вполне удовлетворительным. Близ церкви можно было еще видеть остатки готического иконостаса и балюстрады солеи.

Осенью 1930 года здание бывшего Чесменского дворца со всеми прилегающими строениями было передано Автодорожному институту. Тогда же в здании бывшей церкви была устроена столярная мастерская, где в конце 1930 года или в начале 1931 года возник пожар. В результате пожара процесс разрушения здания приобрел особо интенсивный характер. Пожаром были уничтожены все оконные и дверные переплеты. После пожара здание не использовалось арендатором, стояло без крыши, окон и дверей и разрушалось<sup>63</sup>.

В одном из актов технического осмотра здания бывшей церкви, после пожара, находим следующую характеристику его состояния: «Здание сильно повреждено пожаром. Кровля отсутствует. Штукатурка снаружи и внутри здания разрушается. Имеется опасение, что в скором времени будут утеряны еще сохранившиеся местами фрагменты лепки и штукатурки тяг, чем внутренняя реставрация здания чрезвычайно осложнится. На сводах имеются трещины, оконные рамы отсутствуют. Разрушаются зубцы, заканчивающие кирпичные стены здания». «Необходимо, — отмечалось в акте осмотра, — в первую очередь восстановить кровлю здания, а затем произвести восстановление его внутренней отделки».

Меры по восстановлению кровли и изготовлению оконных и дверного переплетов были приняты лишь в 1937 году. Восстановление оконных переплетов потребовало довольно сложной изыскательской работы. Найти фото, дающее представление о рисунке переплетов, оказалось труднее, чем можно было предполагать. Составление проектов переплетов и восстановление кровли было поручено архитектору Д. Смирнову. Переплет фрамуги и входной двери восстановлены не были. Вместо существовавшей массивной дубовой двери (судя по рисунку, относящемуся к последней четверти XIX века) была установлена сосновая дверь самого примитивного характера. К восстановлению внутренней отделки в 1937 году не приступали. Не была своевременно произведена и фотофиксация сохранившихся после пожара фрагментов внутренней отделки<sup>64</sup>.

Помещение зимней церкви использовали как театр, лекционный зал и библиотеку. Вместо креста на куполе водрузили «символы труда»: наковальню, клещи и молот. В годы Великой Отечественной войны церковь сильно пострадала, и ей грозило полное разрушение.

Во дворце после закрытия лагеря принудительных работ организовали сначала богадельню для инвалидов труда, а осенью 1930 года передали Автомобильно-дорожному институту. В 1930-е годы флигели бывшего Чесменского дворца были надстроены на два этажа.

В период с 1933-го по 1940 год в институте проходили постоянные массовые «чистки». Если с 1931-го по 1933 год из института увольняли только за систематические прогулы и злостное нарушение общественного порядка: воровство, пьяные дебоши, то с 1933 года увольнение за «социальное положение» или по «вынесенному решению партъячейки» (или ВЛКСМ) становится массовым и нормальным яв-

<sup>62</sup> Петров А. Н. Справка о Чесменском мемориальном комплексе. 28.06.1941 г. // СПб. ГИОП. 1969.

<sup>63</sup> Там же.

<sup>64</sup> Там же.

лением. Причем информация об увольнениях бодро смаковалась, чуть ли не на каждой странице местной многотиражки, подробности «раскрытых преступлений» общесоюзного и внутриинститутского характера занимают 70 % газеты. На 1937–1938 учебный год пришлось самая яростная борьба с «врагами народа».

Накануне войны здание дворца было передано Ленинградскому институту авиаприборостроения. Оно находилось на самом рубеже обороны и сильно пострадало: в главный купол и корпуса попали осколки снарядов.

В 1946 году, когда институт вернулся из Ташкента, где был в эвакуации, кругом был пустырь, и только несколько домиков скрашивали унылый пейзаж. На месте нынешних бань был глубокий пруд, сохранившийся еще со времен Екатерины II, а за ним – низкий корпус учебных мастерских. Дворец не отапливался, стекол в окнах не было, часть из них была заколочена фанерой. К октябрю 1946 года здание института было отремонтировано силами сотрудников и студентов.

(В настоящее время (2005) во дворце находится общетехнический факультет Академии аэрокосмического приборостроения.)

### **Послевоенные годы**

В годы Великой Отечественной войны на территории кладбища были захоронены бойцы 42-й армии, 13-й, 63-й, 64-й, 109-й, 110-й, 291-й стрелковых дивизий, защитники Ленинграда, павшие на Пулковских высотах, всего примерно 1000 человек<sup>65</sup>.

Вскоре после окончания Великой Отечественной войны была произведена реставрация Чесменского дворца. Что же касается кладбища, имевшего площадь 16 352 кв. м, то оно вследствие пренебрежения и забвения к началу 1950-х годов «пришло в полное запустение и превратилось в свалку строительного мусора и гниющих куч опавшей листвы»<sup>66</sup>. По свидетельству местных жителей, могильными плитами в 1950-е годы мостили мостовые, делали поребрики. На семи братских одиночных захоронениях были установлены снятые с чужих могил надгробные монументы со стесанными первоначальными надписями.

3 декабря 1959 года перед исполкомом Ленинградского городского Совета был поставлен вопрос о благоустройстве кладбища и превращении его в памятник-пантеон защитников Родины. По решению № 865 от 12.10.1964 «О благоустройстве территории комплекса Чесменского кладбища и бывшей церкви-памятника архитектуры» военное кладбище восстановлено, и 9 мая 1965 года на могилы были торжественно возложены венки.

### **Реставрация Чесменского мемориала**

С 1965 года в Чесменской церкви начались долгие и сложные реставрационные работы, которые проводились Государственной инспекцией охраны памятников (ГИОП). В этих работах активное участие принимали Центральный военно-морской музей и моряки Ленинградской военно-морской базы.

В 1965–1966 годах рассматривался проект обустройства территории Чесменского мемориала. Площадь у церкви с двух сторон должны были окружать березовые посадки, площадь должна была быть обнесена якорной цепью, украшена старинны-

<sup>65</sup> ЦГАОР Ф.7384, ОП. 43, д. 419, л. 228, 233, 235.

<sup>66</sup> Юревич П. Историческая записка о Чесменском архитектурном комплексе 26 августа 1969 г.

ми якорями и пушками, само кладбище по плану представляло собой две равные части прямоугольной формы (ближняя к церкви часть — старое кладбище, дальняя — новое). Две дорожки, перпендикулярные друг другу, должны были делить кладбище на четыре прямоугольника равного объема, каждая часть старого кладбища украшалась обелисками. Но в те годы этот проект так и не был осуществлен<sup>67</sup>.

В 1968 году планировалось создать на территории Чесменского кладбища могилу неизвестного матроса с вечным огнем. Архитектор П. Юревич предлагал доставить прах «откуда-либо или, приняв одного из захороненных здесь в прошлом, ввести в качестве традиции в день Военно-морского флота регулярный салют и украшение флагами» этого места. Этот проект также не был осуществлен<sup>68</sup>.

Тем временем продолжалась реставрация церкви Св. Иоанна Предтечи; в 1971 году в помещении храма была открыта экспозиция Военно-морского музея, посвященная победе русского флота при Чесме. После завершения реставрации бывшая церковь в 1977 году стала филиалом Центрального военно-морского музея; в стенах храма была размещена экспозиция «Чесменское сражение» («Чесменская победа»).

### Возрождение прихода

В 1989 году группа прихожан обратилась к городским властям с просьбой передать храм Рождества св. Иоанна Предтечи в их ведение. Более двух лет в горисполкоме, а потом в мэрии рассматривалось ходатайство верующих о возобновлении богослужений в Чесменской церкви. И вот наконец комиссия по определению форм сдачи в аренду зданий-памятников на своем очередном заседании определила ее судьбу. Было решено, что в 1995 году храм полностью будет передан в безвозмездное пользование Санкт-Петербургской митрополии.

В 1990 году храм был передан Санкт-Петербургской епархии, приходу во главе с настоятелем протоиереем Алексеем Крыловым. Первый молебен состоялся 31 декабря 1990 года. В нем участвовало около 30 человек. Первый год молебны и панихиды совершались на улице, прихожан не допускали в храм сотрудники музея. 7 ноября 1991 года — в храме была отслужена первая литургия.

А через несколько месяцев историческая справедливость восторжествовала: в 1992 году храм снова был возвращен верующим, среди которых есть и моряки. (Ведь не случайно бытует пословица: «Кто в море не ходил, тот Богу не маливался».)

На переходный период было предусмотрено совместное использование храма православным приходом и филиалом Центрального военно-морского музея, который все еще располагался в здании церкви. До 1994 года музей занимал храм, поэтому служили в правом приделе, где был выстроен временный иконостас по проекту о. Михаила (Бравермана).

Наконец музею — филиалу ЦМФ «Чесменская победа» было предоставлено другое помещение. «Немаловажное значение для принятия такого решения имела доброжелательная позиция командования, — отмечалось по этому поводу в городской прессе. — Ведь в будущем Чесменский храм станет «своим» для верующих офицеров флота»<sup>69</sup>. И можно надеяться, что, приходя в свой храм и вспоминая друзей и близких, погибших на море, они не забудут помянуть рабов Божиих Абрама Ганнибала и его сына Ивана:

<sup>67</sup> Строительство и архитектура, 1971, № 2. С. 34.

<sup>68</sup> ЦГАОР Ф. 7384, оп. 43, д. 419, л. 226.

<sup>69</sup> Степанова И. Чесменская Победа // Вечерний Петербург, № 229, 1992, 5 октября.

И был отец он Ганнибала,  
 Пред кем средь чесменских пучин  
 Громада кораблей вспылала,  
 И пал впервые Наварин<sup>70</sup>.

В 1996 году музей покинул стены церкви и начались работы по восстановлению здания, в 1998 году был воссоздан иконостас по проекту Фельтена. В том же году состоялось полное освящение церкви митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром.

Войдем под своды храма, обретшего свое второе рождение.

Каменная пятиглавая церковь во имя Рождества Предтечи и Крестителя Иоанна неоготического стиля сильно вытянута вверх. Центральное помещение церкви с полукруглыми апсидами по четырем сторонам и с возведенными над ними башенками представляет собой в плане греческий равноконечный крест. Центральная башня и четыре меньшие боковые оканчиваются крестами. Первоначально в передней башенке были установлены часы, а в двух боковых — колокола, сейчас колоколенка расположена в передней башне.

В декоре церкви использованы элементы средневековой готической архитектуры: стрельчатые окна, вертикальные белые тяги, остроконечные башенки — пинакли, зубчатый переплет. Главный вход обрамляют пилоны портала, перевитые лепными лентами; на нем установлены две аллегорические статуи: Веры — с крестом и чашей в руках и Надежды — с пальмовой ветвью и пламенем. Над входом располагается фронтон, украшенный барельефом, изображающим Всевидящее Око Господне в обрамлении лучей и головок херувимов. Главным элементом внутреннего декора стен служат белые тяги, филенки и розетки.

Иконостас в готическом стиле выполнен современными петербургскими резчиками по проекту Фельтена и окрашен белой краской (под «французский лак») с позолоченной резьбой. Иконы живописные, выполненные в итальянской манере современными петербургскими художниками. В нижнем ярусе расположены образа Спасителя, Пресвятой Богородицы с Превечным Младенцем на руках, святого Иоанна Предтечи, у ног которого изображено сожжение турецкого флота, великомученицы Екатерины. На северных и южных вратах изображения архидиакона Стефана и архангела Михаила. Во втором ярусе иконостаса — святой Давид Солунский и священномученик Ианнуарий. Над царскими вратами — образ Тайной вечери, в медальонах врат — четыре евангелиста и Благовещение Пресвятой Богородицы. Иконостас венчают позолоченные скульптурные изображения Распятия Господа с предстоящими Марией и Иоанном Богословом, четырьмя фигурами ангелов, держащих орудия страстей Господних и четырьмя кадилными чашами с фимиамом.

В 2000 году увидел свет церковно-литературный альманах «Чесменский сборник», на страницах которого прихожане общины опубликовали свои стихи и прозу. Некоторые из стихотворений были посвящены Чесменской церкви.

Просторная площадь. Под вечер  
 Пух с тополя под ноги льнет.  
 Во храм Иоанна Предтечи  
 Задумчивый пастырь идет.

О чем его думы, заботы?  
 Старинный алтарь возвести...  
 Повсюду хватает работы...  
 А главное — души спасти...

<sup>70</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. III. С. 263.



Чесменская выиграна битва,  
И ныне, сквозь дым голубой,  
К Престолу восходит молитва,  
Чад верных ведет за собой.

Окно. Синеватая рама.  
Из школы — с планеты другой —  
Изящную вычурность храма  
Я вижу — струн тоненьких строй.

А если взглянуть с поднебесья  
На башенки и купола,  
То в немощи немощной песни  
Замрут, удивившись, слова<sup>71</sup>.

### Начало третьего тысячелетия

Осенью 2002 года при подготовке территории под строительство в деловой зоне «Пулково-3» бульдозеры сняли слой земли и обнажили бывшие боевые порядки нашей 42-й армии. Это были окопы, стрелковые ячейки, воронки, в которых лежали кости погибших бойцов. Поисковики военно-патриотического объединения петербургских отрядов «Возвращение» прибыли на место и обнаружили длинные шлейфы из подсумков, патронов, остатков касок и противогазов, а также человеческих останков, которые растащили бульдозеры по местности.

К делу подключилась городская прокуратура, которая на основании двух законов о захоронении запретила любые работы в данном квадрате, пока поисковики не обнаружат и не соберут все останки, чтобы затем захоронить их.

Поисковики старались изо всех сил, они рыли, протыкали землю шупами, собирали останки в мешки. Но силы таяли; не было денег даже на гречку и чай. У всех семьи, надо зарабатывать. Поиск постепенно остановился, и на площадку снова прибыли бульдозеры. (Постановление прокуратуры было забыто.) У ребят оказались на руках кости тридцати с лишним бойцов (прочие остались где-то в земле уже навсегда)<sup>72</sup>.

Однако власти Московского района вежливо отказались хоронить бойцов, найденных на своей территории, город тоже отвернулся от проблемы. Кости пулковского взвода целый год держал дома в центре города один поисковик из отряда «Звездочка». Затем их перевезли в сарай в поселке Саперный, и они лежали там.

Администрация Московского района к концу 2003 года наконец сдалась под напором «Возвращения» и подключившихся к делу ребят и учителей из гимназии № 49. Последние, кстати, собирали по всему городу деньги на захоронение и на памятный знак на месте гибели бойцов<sup>73</sup>.

Эта история завершилась удивительным образом. Похороны «пулковского взвода» состоялись 20 февраля 2004 года на Чесменском кладбище, близ того места, где когда-то хоронили ветеранов Отечественной войны 1812 года...

<sup>71</sup> Ширнина Елена. Чесменское чудо // Чесменский сборник. Стихи. Проза. СПб., 2000. С. 74.

<sup>72</sup> АиФ-Петербург, № 39, 25.09.2002.

<sup>73</sup> Федоров Владимир. «Пулковский взвод» захоронят // АиФ-Петербург, № 7, 2004. С. 5.

В настоящее время часть кладбища, около 8800 кв. м, окруженная металлической оградой, — это место захоронения воинов, павших при защите Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В 2003 году перед входом на огороженную территорию кладбища был установлен гранитный крест.

В настоящее время Чесменское кладбище является официальным местом торжеств в Московском районе накануне Дня Победы.

В настоящее время в Чесменской церкви совершаются ежедневные богослужения, читаются акафисты, действуют воскресная детская школа и приходская школа для взрослых, клуб «Чесменских бабушек», действует группа «Витязи». При церкви работает детский кризисный центр, создан сайт, выпущен компьютерный диск «Богослужения Православной церкви», собрана фонотека церковных песнопений, ведется научная работа.

Краткий обзор истории Чесменской церкви можно завершить небольшим стихотворением, опубликованным в «Чесменском сборнике»:

Есть чудный храм... Найди к нему дорогу,  
Войди в него, и ты увидишь сам —  
В нем есть душа, в нем все стремится к Богу  
И дивный хор возносит к небесам.

Что видели готические своды  
За двести лет сражений и невзгод?  
Ушли эпохи, царства и народы,  
А светлый храм по-прежнему живет.

По воле Божьей храм наш возродился,  
В нем вера христианская живет.  
Проснись, душа! Стремись к добру и свету!  
Пока мы живы, вера не умрет<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> Богачева Тамара. Чесменская церковь // Чесменский сборник. Стихи. Проза. СПб., 2000. С. 10.

## СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НЕВА» ЗА 2016 ГОД

### Проза

- Азнаурян О. SITUS INVERSUS. *Повесть*. VII, 104.  
Бартфельд Б. Фирс. *Рассказ*. XII, 129.  
Беккин Р. Казанские истории. VIII, 131.  
Беседин П. Родина березовых ложек. *Повесть*. IX, 133.  
Воронин Д. Гиблое место. *Рассказ*. III, 102.  
Галкина Н. Начальник Всего. *Роман*. XII, 8.  
Греков А. Безлунье (Непрожитая жизнь Михаила Булгакова). *Фарс-фантазмагория в четырех видениях с прологом и эпилогом*. V, 6.  
Ершов А. Пламя. *Рассказ*. VII, 130.  
Ефимов И. Беглец. *Роман в письмах и кинокадрах*. IV, 7.  
Заньковский А. Ветошница. *Роман*. VII, 7.  
Захаров С. Белый пух нашей Ядвиги. Средний Восток. *Рассказы*. II, 131.  
Злобина А. Вальс для Керосинщика. *Рассказ*. IV, 74.  
Зубарева В. Дороги эмиграции. *Рассказы*. X, 105.  
Катков И. Олимпиец. *Повесть*. VIII, 110.  
Кириллов С. Рассказы. XII, 138.  
Козырев А. ДРУЖОК@RU. *Киноповесть-пародия*. V, 44.  
Колисниченко Д. Освобожденный. *Повесть*. I, 97.  
Крофтс Н. Как умирало слово. *Цикл рассказов*. I, 139.  
Крюкова Е. Солдат и царь. *Фрагмент романа*. VIII, 9.  
Ломтев А. *Рассказы*. VI, 115.  
Лукин Е. Чеченский волк. *Повесть о Джохаре Дудаеве*. II, 10.  
Мелихов А. Перстень Достоевской. *Рассказ*. IV, 94; Свидание с Квазимодо. *Роман*. X, 7.  
Неклюдов А. Партизаны. *Аист. Рассказы*. II, 144.  
Новикова Е. *Рассказы*. V, 107.  
Орлов Д. Корректор. *Новелла*. XI, 7.  
Пальшина М. Белый крик, красная песня. *Повесть*. IV, 106.  
Петров Б. *Рассказы*. VIII, 152.  
Пономарев А. Кара-Борз. *Рассказ*. II, 104.  
Пшеничников В. Все отрезано. *Рассказ*. V, 95.  
Ратников А. На районе. *Роман*. I, 7.  
Родионов М. Ганга. *Повесть в рассказах*. III, 117.  
Рыбаков В. На мохнатой спине. *Роман*. VI, 9.  
Рыбин А. Хуже, чем война. *Повесть*. I, 154; В поисках острова Дильмун. *Повесть*. VII, 77.  
Сванидзе Г. *Рассказы*. VI, 127.  
Семиградова Е. Синяя Лампа, или Двенадцать трагедий. XI, 49.  
Скрундзь Т. Птичий поцелуй. Последний день Валентины. Каргазун. *Рассказы*. VII, 140.  
Скрягина М. Морская стекольная мастерская. *Повесть*. XI, 87.  
Титов А. Про Митьку. *Маленькая повесть*. V, 82.  
Умарова А. Невидимый ПВР. *Рассказ*. I, 121.  
Фетисов Е. *Рассказы*. VIII, 167.  
Харичев И. Пикник на платформе. *Рассказ*. II, 121.  
Шуваева-Петросян Е. Деревенские рассказы. X, 126.  
Шуляк С. Andante maestoso. *Мелороман*. IX, 7.  
Шумейко И. Где все? *Роман*. III, 6.

### Поэзия

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Алейников В. II, 3.    | Замшев М. III, 162.     |
| Введенский С. VII, 3.  | Иванов В. II, 127.      |
| Габриэль А. VI, 137.   | Каминский Е. IV, 3.     |
| Газизова Л. III, 99.   | Карпенко А. V, 3.       |
| Гейдэ Н. VIII, 126.    | Колыма И. IV, 130.      |
| Городницкий А. II, 99. | Комаров А. X, 123.      |
| Дмитриев А. IX, 3.     | Комаров К. VII, 73.     |
| Дьячков А. VI, 3.      | Косогов В. I, 117.      |
| Егоркин Г. IV, 101.    | Костенко И. II, 118.    |
| Зайцева С. I, 134.     | Лихтенфельд Б. IX, 156. |

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Лукомская А. VII, 69.   | Синицын Т. I, 3.       |
| Мнацаканян С. VIII, 3.  | Скобло В. XII, 125.    |
| Немарская М. VII, 100.  | Слепухин С. X, 3.      |
| Нечаев А. II, 140.      | Степанов Е. VI, 112.   |
| Носов С. V, 40.         | Тенишев А. III, 3.     |
| Петрушкин А. XI, 45.    | Учаров Э. III, 113.    |
| Пикалова Ю. XII, 134.   | Хосид Б. VIII, 149.    |
| Попов Е. X, 102.        | Шацков А. VI, 122.     |
| Репина Т. I, 93.        | Шевцов А. III, 165.    |
| Розенфельд С. VI, 141.  | Шемшученко В. IX, 128. |
| Рубанов Р. VIII, 106.   | Ширали В. IV, 90.      |
| Синдаловский Н. IV, 70. | Шмелев А. VII, 127.    |
| Синельников М. XI, 3.   | Щёлоков И. XII, 3.     |

### Публицистика

- Амусин М. Интеллигенция: конец пути? VI, 150.
- Асманов А. Почем она, рыбка золотая? *Заметки бывшего миллионера*. VIII, 173.
- Беркович Е. Томас Манн и Альфред Прингсхайм: писатель и математик под одной крышей. III, 174; Новелла Томаса Манна «Кровь Вельзунгов» и проблемы литературного антисемитизма. V, 122.
- Брасс А. Казнь первомайцев. IV, 134.
- Ефимов И. Крутые ступени цивилизации. II, 175; Жажда сплочения. X, 132.
- Костоев М. Репрессированное детство мое... II, 184.
- Мелихов А. Либерализм бездомных и либерализм домовладельцев. III, 168; И вечный бой... XI, 119.
- Минаков С. Три Славы Василия Лисунова. Семейная история о молодом герое-харьковце. VI, 144.
- Степанян К. Фрагменты из дневника. 2014–2015. V, 115; 2016. XII, 146.
- Фрумкин К. Постмодернистские игры вокруг нацизма и коммунизма (*Размышления над фантастическими романами 2013–2015 годов*). V, 146; Ленин как менеджер. *Размышления над деловой перепиской предсовнаркомма*. VII, 150.

### Критика и эссеистика

- Белодубровский Е. Владимир Набоков, Джойс, Пруст и Машенька. IV, 164.
- Беляева Н. Александр Кушнер: восемь граней таланта. IX, 182.
- Беркович Е. Меланхолия, музыка и математика. *Гравюра Дюрера «Меланхолия» и ее отражения в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус»*. XII, 153.
- Влащенко В. Трагедия Печорина. III, 190; Сто лет «Легкому дыханию» Бунина. IV, 148.
- Комаров К. Дорастающие до Имени. *Молодая поэзия «толстых» журналов в 2015 году*. I, 178.
- Лукин И. Два писателя и соловьи. VII, 165.
- Набоков Н. Музыка под надзором генералов. *Глава из книги*. XII, 168.
- Райков А. «Анна Каренина». *Пять сочинений*. I, 191.
- Синдаловский Н. Петербургские поляки в городской мифологии. VII, 176; Легенды и мифы нереализованных проектов. X, 144.
- Таганов Л. ...Риск жизни и свобода умереть. XI, 126.
- Ушакова Т. Николай Гумилев в Интернете: русский и английский взгляд. IV, 173.
- Харченко В. Эвристика Бориса Корнилова. XI, 136.
- Щербинина Ю. Джейсон Эклз как лицо российской фантастики. *О моде в книжном дизайне*. II, 193.

## Кодекс Карамзина

Зиновьева Е. О государственной судьбе. VIII, 182;  
О наследовании идей. IX, 166.

## Из архива

Гладков А. Дневник. 1973 год. *Публикация и комментарии М. Михеева*. VI, 161; 1974 год (январь—июнь). X, 169; 1974 год (июль—декабрь). XI, 144.

## Кинотекст

Бюклинг Л. Михаил Чехов в голливудском кино. XI, 238.  
Глазунова О. «Тихий Дон» Сергея Урсуляка в нашей беспокойной жизни. II, 251.  
Ковалова А. Кинорежиссер № 5 (Чеслав Сабинский до 1917 года). VI, 249.  
Лукин Е. Долой КГБ, или Эффект очуждения. V, 247.

## Круглый стол. К 125-летию со дня рождения М. А. Булгакова. Один-единственный литературный волк

*Участники:* Сергей Арно, Ирина Белобровцева, Надежда Дождикова, Владимир Елистратов, Владимир Звиняцковский, Елена Крюкова, Александр Мелихов, Ольга Новикова, Сергей Носов, Валерий Попов, Вячеслав Рыбаков, Татьяна Рыжкова, Алексей Семкин, Роман Сенчин, Игорь Сухих, Евгений Яблоков. *Материалы Круглого стола подготовили И. Н. Сухих и А. М. Мелихов*. V, 158.

## Особый ракурс

Боярская К. Невыдуманные истории из жизни туристической «мекки». III, 241.

## Петербургский книговик

Абросимова С. «Жизнь в стеклах витрин», или Стиль vs фактура. I, 220.  
Аннинский Л. Эхо идеологии. V, 183.  
Бачинин В. Европейская Реформация как производство искусства. *Теологическая эстетика исторического*. VII, 205; Ницше-динамит и предсмертный танец белой медведицы. XII, 187.  
Бердников Л. Пульс времени. *Драматургия Рашида Хин*. VI, 209.  
Богданова О. Существенный этап. XII, 211.  
Ванина А. Не бог, не царь и не герой. I, 225.  
Васильева Е. В поисках утраченного звука. XI, 194.  
Вергелис А. VERSUS CONSERVAT OMNIA. VIII, 219.  
Глазунова О. «Большие книги» современной литературы. «*Рассказы о животных*» С. Солоуха, «*Лестница Якова*» Л. Улицкой, «*Авиатор*» Е. Водозазкина. X, 208; «*Травля*» С. Филипенко, «*Ненастье*» А. Иванова, «*Крепость*» П. Алешковского, «*Зимняя дорога*» Л. Юзефовича. XI, 177.  
Гранцева Н. Шекспир и проблемы дезинформации. IV, 189.  
Гуськов Н. «Последний луч трагической зари» (о забытом проекте Крутицкого). IX, 194.

- Даутова А., Иваненко Е. Ян Шванкмайер: между Дон Жуаном и Фаустом. VIII, 207.
- Дом Зингера. Публикации Е. Зиновьевой. I, 233; II, 240; III, 230; IV, 208; V, 201; VI, 225; IX, 220; X, 232; XI, 202; XII, 214.
- Жилина А. «Для меня жизнь моя — черновик...». I, 218.
- Зубарева В. И снова «Дама с собачкой»... VI, 203.
- Измайлов А. «Как иногда бывает хорошо и странно жить!» V, 194; «Через память мою...». VIII, 199.
- Клементьевская М. Борис Викторович Шергин. (Не)юбилейное. VII, 197.
- Колесников Д. Поэт памяти. IV, 201.
- Кузьмин Е. Звук и отзвук. VII, 221.
- Литвинова Ю. «Голос Себастьяна» и «перо журналиста». I, 228.
- Лихтенфельд Б. Поэт не для поэтов. VIII, 224.
- Марченко А. Сальто-мортале под куполом цирка. VIII, 212.
- Маточкина А. Мусульмане в северной столице. VII, 218.
- Мелихов А. Не мудрствуя лукаво. XII, 206.
- Муравьева И. «То, что мы зовем душой...». XII, 194.
- Ратников А. Слишком быстро, царевна. VII, 223.
- Синдаловский Н. Жди горя с моря, беды — от воды, или Стихия наводнений в стихии городского фольклора. II, 221.
- Сухих И. Жизнь примечательных людей: о других и о себе. I, 218.
- Терехова Н. Без Юлии словарь неполный! V, 185.
- Фомичев С. Эта книга не затеряется... IV, 203.
- Фрумкин К. Демон с тысячью лиц: тема судьбы в русской драме начала XX века. III, 211.
- Харченко В. «Инженеринг» Жюль Верна. IV, 181.
- Чайковская И. Александр Солженицын с близкого и дальнего расстояния. *Размышления над книгой Бенедикта Сарнова*. I, 212. «В небо-скребно-бетонном раю — птицей на ветке темной». *К 90-летию поэтессы Валентины Синкевич*. IX, 205. Наша «Зона ответа». XII, 201.
- Чисников В. Л. Н. Толстой в Петербурге в феврале 1897 года. *Поиски и находки*. II, 203; Воспоминания А. И. Куприна и В. А. Данилова о встрече с Львом Толстым. X, 219.
- Чкония Д. К морским глубинам тянется душа. IV, 205.
- Шипунова В. «Бенедикт Камбербэтч никогда не будет просто Шерлоком Холмсом». I, 231.
- Шматко А. «Причудливое сочетание временного и вечного в отдельном человеческом существе». I, 223.
- Юдин Ю. Остап Бендер как былинный герой. III, 222.

## Пилигрим

- Архимандрит Августин (Никитин). Францисканские мотивы в русской поэзии. «Гимн солнцу». I, 242; Русская Палестина. Яффа: город св. апостола Петра и праведной Тавифы. *Часть 1*. IV, 219; *Часть 2*. V, 211; Град Иудов в Горней. *Часть 1*. VI, 234; *Часть 2*. VII, 224; *Часть 3*. VIII, 231; *Часть 4*. IX, 230; *Часть 5*. X, 241; *Часть 6*. XI, 212. Чесменская церковь — памятник славы российского флота. XII, 223.

# Contents

## Prose and Poetry

- Ivan Schyolokov.** Poems • 3  
**Natalia Galkina.** Chief of Everything. Novel • 8  
**Valery Skoblo.** Poems • 125  
**Boris Bartfeld.** Fiers. Story • 129  
**Yulia Pikalova.** Poems • 134  
**Sergey Kirillov.** Stories • 138

## Publicistic Writings

- Karen Stepanyan.** Extracts from the Diary (2016) • 146

## Criticism and Essays

- Yevgeny Berkovich.** Melancholy, Music and Mathematics. Dürer's Engraving «Melancholy» and its Reflection in Thomas Mann's «Doctor Faustus» • 153  
**Nikolay Nabokov.** Music under Generals' Supervision. Chapter from the Book • 168

## Petersburg Bookman

- Person and Fate.** *Vladislav Bachinin.* Nietzsche-Dynamite and Death-Dance of Polar She-Bear. **Reviews.** *Irina Muravieva.* «What We Call the Soul ...». *Irina Tchaikovskaya.* Our «Reply Zone». *Alexander Melikhov.* Simply and Unpretentiously. *Olga Bogdanova.* Essential Stage. **The Singer's House.** *Elena Zinovyeva's publication* • 187

## Pilgrim

- Archimandrite Augustine (Nikitin).** The Chesme Church — Russian Navy Glory Monument • 223

- Contents of the journal «Neva» for 2016 • 251

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал „Нева“»  
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18  
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9  
Телефон: (812) 314-50-52  
E-mail: nevaredaction@mail.ru; nevaredaction@yandex.ru

Сайт «Невы» в «Журнальном зале»: <http://magazines.russ.ru/neva>  
Ресурс в сети Интернет: [www.nevajournal.ru](http://www.nevajournal.ru)

*Проект «Слово, одухотворенное временем»  
реализован на средства гранта Санкт-Петербурга*

*Проект «Сподвижники Истории»  
реализуется на средства гранта Санкт-Петербурга*

**Подписку** на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет агентство «Роспечать» по каталогу ОАО «Роспечать», подписной индекс 73276.

**Свежие номера журнала**, а также отдельные номера за последние годы можно приобрести:

**в Санкт-Петербурге** – в редакции журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23); **льготную подписку** можно осуществить непосредственно в редакции журнала (наб. р. Мойки, 18, тел. 312-49-23).

**За рубежом** подписку на журнал осуществляет АО «Международная книга» (117049, Москва, Большая Якиманка, 39, телефакс: (495) 230-21-17, 238-46-34).

**Оптовая и мелкооптовая продажа:** Санкт-Петербург, ООО «Журнал „Нева“», e-mail: officeneva@mail.ru

**Почтовую рассылку** отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства [www.nevajournal.ru](http://www.nevajournal.ru)

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-34950 от 15 января 2009 г.  
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.  
Учредитель: ЗАО «Журнал „Нева“»

Подписано в печать 15.11.2016. Гарнитура «Октава».  
Формат 70×108<sup>1/16</sup>. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.  
Тираж 2500 экз. Заказ № 1627  
Издательство «Журнал „Нева“»

Отпечатано по технологии СтР  
в Первой Академической типографии «Наука»  
199034, Санкт-Петербург, 9-я линия В. О., 12/28